

Н О В Ы Й
М И Р

1

1966

ИЗВЕСТИЯ МИРА

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 1

Январь, 1966 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАСИЛЬ БЫКОВ — Мертвым не больно, повесть. Авторизованный перевод с белорусского М. Горбачева	3
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Два стихотворения. Перевел с балкарского Н. Гребнев	67
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Захар-калитá, рассказ	69
ВЛ. ПОЛЯКОВ — Возвращаются ветры..., Сторожа, стихи	77
АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА — Из прошлого	79
ИЛЬЯ ФОНЯКОВ — Четыре стихотворения	134
А. ПЕРЕДРЕЕВ — Робот, Ветер, стихи	137
ТАКЭСИ КАЙКО — Гиганты и игрушки, повесть. Перевел с явонского З. Рахим	139

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВЛАДИМИР СОРОКИН — За волнами — край света	168
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

В. ПОКШИШЕВСКИЙ — Население мира и будущее	200
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СУРВИЛЛО — Мысль художника (О повестях Эм. Казакевича)	214
Т. МОТЫЛЕВА — Завещание Ромена Роллана (К столетию со дня рождения)	229

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	241
Л. Левицкий. От сердца к сердцу. — Нат. Ильина. Сказки Брянского леса. — Н. Реформатская. Маяковский и его современники. — Р. Орлова. «В ответе за всех людей...».	

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
	260
<i>Политика и наука</i>	
Г. Федоров. Мера ответственности.— Ю. Шаранов. Публицист возвращается в строй.— Г. Лисичкин. Смелые размышления.— Л. Зак. Закономерный перелом.— А. Каждан. Рукописи из Кумрана.	

К семидесятилетию Ильи Эренбурга

Б. ПОЛЕВОЙ — Нет, это не старость!	274
------------------------------------	-----

КОРОТКО О КНИГАХ — В. Богомолов. Сердца моего боль.— И. Меттер. По зовести.— Виктор Голявкин. Рисунки на асфальте.— А. Таланов. К. С. Станиславский.— Ст. Рассадин. Обыкновенное чудо.— А. Анастасьев. Советский театр сегодня.— Р. Беньяш. Без грима и в гриме.— Г. Коган. Ферруччо Бузони.— Бернард Шоу. О музыке и музыкантах.— Дмитрий Иванов. Это было на Балтике.— Л. П. Плешаков. Вокруг света с «Зарей».— А. Эйнштейн. Физика и реальность.— Виктор Вайскопф. Наука и удивительное.— Человек перед судом. Сборник.— Дэйзи Бейтс. Длинная тень Литл-Рока.— В. Родионов. Африка на стыке столетий	276
---	-----

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286
-----------------	-----

ВАСИЛЬ БЫКОВ

★

МЕРТВЫМ НЕ БОЛЬНО

Повесть

1

Звонит телефон, и администраторша снимает трубку. Мы притихаем. Навалившись на широкий прилавок, барьер, с нетерпением следим за тем, как она делает какие-то торопливые отметки в бланках, лежащих перед ней на стекле. Наконец она отрывает от уха трубку.

— Товарищи, мест нет.

— И не будет?

— Не могу сказать.

Над барьером продолжительный вздох.

Нет, видимо, хватит. Сколько же можно ждать?

Напротив за круглым столом в вестибюле освобождается стул (кто-то не выдержал), и я пытаюсь вылезть из очереди. Сзади остается лысый сутуловатый человек в очках, он запомнит меня. А то уж совсем неважно — ноет нога. Мой мучитель протез с первого же шага противно скрипит. В этой толчее я остерегаюсь наступить кому-нибудь на ногу. А тут еще напирают те, что пытаются пролезть без очереди.

— Разрешите пройти!

Кто-то отступает в сторону, кого-то я задеваю плечом. А этот в сером легком пальто лезет навстречу — уж не на мое ли место?

— Товарищ! Нельзя ли потише?

Он не отвечает. Он ни на кого не обращает внимания, его взгляд устремлен туда — к администратору... И вдруг перед моими глазами расплывается зыбкий туман. Кажется, я вдруг перестаю ощущать себя. Тугой колокольный удар в ушах мигом отбрасывает меня в прошлое. В сознании вспыхивает одно только слово — «Сахно». Нет, я не вспомнил этого человека, просто я никогда не забывал о нем. И теперь вот он пролезает между людьми в шаге от меня с несколько обрюзгшим лицом, бровастый и по-прежнему угрожающе решительный. На голове небрежно надета поношенная шляпа. Китайское габардиновое пальто не застегнуто, борта его смялись. Окинув меня бессмысленным взглядом, он решительно протискивается к барьеру.

Я выбираюсь из толчей и тут же останавливаюсь в совершенной растерянности. Его надо задержать. Так почему же я медлю? Неужели я спасовал? Впрочем, я совершенно иначе представлял нашу с ним встречу. У меня были приготовлены полные гнева слова, и вот — на тебе! Если бы он теперь подошел и ударил меня, я, пожалуй, не нашелся бы, что ответить. Меня парализовал один вид этого человека.

Однако я все же овладеваю собой и через минуту лезу в самую гущу — за ним. Проклятый протез! Как он мешает! Теперь мне нужны железные ноги и стальные кулаки. Видно, на моем лице отражается что-то недоброе. Несколько человек в очереди с готовностью расступаются, и я боком пролезаю к барьеру. Я уже возле него.

А он тем временем донимает администратора:

— Я за тысячу километров приехал. Так где я ночевать должен?

— Это не мое дело.

— А чье тогда дело? Вы для чего здесь сидите? — Он отстраняется от барьера и резко поворачивается: ему нужен союзник. — Слышали: не ее дело! Удивительная логика!

Но мой вид, должно быть, его охлаждает. Он снимает шляпу и ладонью вытирает мокрую от пота полоску подкладки. Я не отрываясь гляжу в его обозленные глаза. Черт, неужели ошибаюсь? Я узнаю и не узнаю. У него заметно выпирающий под пальто живот, широкая лысина. Тот был с отличной строевой выправкой и жесткой шевелюрой. У этого глаза наглые, с заметной припухлостью под ними — видно, пошаливают почки. Рост... Рост почти тот же, только этот гораздо упитаннее.

Но ведь прошло двадцать лет.

Превозмогая какое-то внутреннее оцепенение, я отохожу и облакачиваюсь о барьер. Смятение мое понемногу проходит. Я неотрывно наблюдаю за ним. Он или не он? Мне не хочется, чтобы он тоже узнал меня. Тогда наверняка скроется. Впрочем, узнать меня, пожалуй, не просто. В то время я был почти мальчишкой. Девятнадцатилетний младший лейтенант, каких было тысячи. К тому же для него я убит.

В нескольких шагах от меня, тоже прислонясь к барьеру, молча стоят двое с ромбиками на бортах пиджаков. Они последние в очереди. У ног — видавшие виды чемоданчики. Один дает другому прикурить от сигареты, и потом оба враз поворачиваются к очереди. Возле администратора какое-то оживление. Не нашлись ли места?

Нет, тревога оказалась напрасной. Просто в очередь пробует влезть какой-то простодушный дядька в новой стеганке и с полной сеткой баатов. Кто-то запоздало его отчитывает:

— Как не стыдно! А еще пожилой человек. Вы где стояли?

— Ну, стоял. Ну! Что я, врать буду?

— Покажите, где вы стояли?

Дядька, видать по всему, нигде не стоял. Но он во что бы то ни стало хочет занять место поближе к администратору. И тогда откуда-то из хвоста очереди выскакивает разбитной с виду человек в черном шуршащем плаще.

— Дядька, а паспорт у тебя есть? Нет? Вот то-то. А без паспорта сюда не ходи. Не веришь? Девушка, скажите ему.

— Без паспорта мы не можем, — говорит из-за барьера администраторша.

— Слышал? Так что мотай отсюда, дядька.

Дядька нерешительно отходит в сторонку. Человек в плаще занимает его место. Мои соседи негромко ругаются.

— Думаешь, он так себе увивается?

— Ну как же! Тоже без очереди влезть хочет. Разве не видно!

Человек в плаще действительно исподволь начинает переговоры с администратором. Но меня занимает другой, тот, что стоит с ним рядом. Его пальцы крепко вцепились в барьер, и он глаз не спускает с женщины. Я знал этот взгляд и угрожающим, и растерянным, и омерзительно-угодливым. Теперь он — обозленный и требовательный. Женщина делает вид, что занята бумагами и не замечает его. Но не заметить

его невозможно. Конечно, он чувствует это и самоуверенно возвышается над барьером. Своего он добьется.

Временами я теряю уверенность. То кажется — он, окончательно и бесповоротно. То вдруг в лице его появляется что-то незнакомое мне, чужое, как будто в первый раз увиденное. Я не знаю, как мне поступить, и стою.

В приглушенный гостиничный говор и суету врываются нездешние голоса, незнакомые фразы. Толпа туристов, неторопливо вливаясь сквозь огромные двери, заполняет просторный вестибюль. Они не спеша, будто даже с какой-то ленцией, вносят свои сумки, чемоданы, пледы. Усердствуют швейцары. На середине вестибюля возле колоны вырастает целая гора чемоданов.

— Французы! Нет, итальянцы, — определяют мои соседи.

Люди начинают расходиться. Кто-то говорит: «Пошли, посмотрим салют!» Кто-то не соглашается: «Давай лучше на вокзал, пока скамейки не заняли». В конце барьера я остаюсь один. Жду, пока не объявляют, что мест больше не будет.

Нечаянно я теряю его из виду. Спohватившись, подхожу ближе, оглядываюсь, но его уже нет. Нет возле администратора, не видно в вестибюле. Как будто провалился сквозь землю. Удивительно!

Я останавливаюсь перед барьером и оглядываюсь по сторонам. Людей становится все меньше. Как-то надо собраться с мыслями. А вдруг все же он? Что тогда? Что я должен предпринять?

Надо бы все обдумать и что-то решить. Или, не раздумывая, догнать его, обратиться к милиции? Впрочем, милиция здесь ни при чем.

Наконец в вестибюле остается только администратор за перегородкой и какой-то подвыпивший тип. Подпирая спиной колонну, он не может произнести ни слова и тупо смотрит в паркет.

Что ж, делать тут больше нечего.

Туго бряцает дверь, и я попадаю на улицу. Все куда-то идут, идут, идут — видно, к памятнику на площадь. В ясном предвечернем воздухе — горьковато-скипидарный запах тополиной листвы. Кучка людей возле мороженщицы терпеливо дожидается своей очереди. Тут же бабка с пучком подснежников. Я медленно бреду по улице. Начинает болеть голова. Всегда, как разнервничаюсь, болит голова. В карманах, к сожалению, ни одной таблетки. Надо бы поискать аптеку. И пристанище. Но я почти ничего не замечаю. В растревоженной памяти начинает разматываться длинная нить давних событий. Я уже знаю, что от прошлого не отделаться, его не залить водкой, не забыть. Оно всегда в сердце, потому что оно — это я.

2

Снег. Дорога. Колонна...

Мелькают сапоги, валенки, ботинки, треплются на ветру заснеженные полы шинелей, шуршат промерзшие плащ-палатки.

— Старший лейтенант Кротов, — в голову колоны! — раздается далеко впереди, потом ближе и наконец уже совсем рядом.

Последним команду выкрикивает боец, замыкающий роту. Он идет впереди меня и тут же поворачивается, будто усомнившись, расслышали ли сзади его хриплый, простуженный голос. У нас его, конечно, слышат, но команда дальше не идет, и на немолодом, одутловатом от стужи лице, стиснутом ушами туго подвязанной шапки, — недоумение. Вытягивая из воротника морщинистую шею, боец шарит по колонне беспокойным взглядом, не замечая, как командир шестой стрелковой роты Кротов, опоясанный по телогрейке кавалерийской портупеей, будто не слыша вызова, с развальцей бредет рядом по сыпучему снегу обо-

чины. Как всегда, в темных недовольных глазах старшего лейтенанта излишек командирской строгости.

— Вас — в голову колонны, — говорю я, решив, что ротный недослышал команды. Кротов, однако, не взглянув на меня, угрюмо бросает:

— Слышу. Не оглох!

Растянувшаяся колонна тем временем постепенно останавливается. Задние еще устало бредут по растоптанному сотней ног снегу, а передние уже спешат использовать неурочную коротенькую остановку и торопливо снимают с себя отяжелевшее за дорогу оружие. Торчмя, прикладами в снег, ставят длиннющие стволы ПТР, осторожно, рукоятками вниз опускают на землю грузные тела «максимов». Минометчики с явным облегчением сбрасывают с плеч тяжелые ребристые плахи опорных плит. И вот уже кто-то блаженно разваливается на нетронutom снегу полевой обочины, кто-то бредет по нужде в заросли кукурузы, что обступают дорогу. В предвечерних сумерках над заснеженной степью веет удивительно ароматным и домовитым дымком махорки.

— Ну что ж, перекурим это дело, — говорит все тот же немолодой, видно рачительный боец и с сознанием заслуженного отдыха сворачивает на обочину. На спине у него болтается пристегнутая к вещмешку, исцарапанная, с облупившимися боками каска. На худой конец и такая согдидлась бы на мою ничем не прикрытую голову, если бы не тот злополучный осколок, который вчера едва не лишил меня жизни. Правда, он недобрал несколько миллиметров и ничего страшного не случилось, только вот после перевязки оказалось, что шапка поверх бинтов не налазит, а в каске больно. Так я и остался с замотанной бинтами головой. На беду санинструктор не смекнул заодно забинтовать и уши, которые прошлой ночью изрядно прихватил мороз.

Я тоже схожу на обочину, туда, где на краю дороги стоит пулеметчик из третьего взвода нашей роты. Это молодой боец в низко накрученных обмотках. Зачерпнув серой домашней варежкой чистого снега, он с наслаждением сосет его, поглядывая вокруг живыми глазами. Другой рукой парень придерживает опущенный прикладом на дорогу «дегтярев».

— Видно, шестую роту в ГПЗ¹? — говорит он. — Теперь, считай, все трофейчики ихние.

Белоброее лицо его полно любопытства и сдержанного мальчишеского лукавства. Старший из четвертой роты тоже подходит к нам и спокойно соглашается:

— Да, повезло этим...

Он шарит руками в карманах, доставая махорку и провожая взглядом четверых разведчиков, что торопливо идут куда-то в хвост колонны. Разведчики — в белых перепачканных маскхалатах, поверх которых навешаны автоматы и брезентовые сумки с магазинами. Хлопцы заметно спешат, и вид у всех недовольный. Наверно, где-то не ладится с разведкой.

— Марухов, привет! — кричит пулеметчик, узнав среди них знакомого. — Что, шестую в ГПЗ?

— Какой черт — ГПЗ! — зло ворчит передний. — Кротову шею мылят.

Пулеметчик раскрывает рот.

— Наверно, за Ивановку? Ага?

— Ага.

— Ну и ну! — говорит пожилой, держа в заскоружлых пальцах кисет и обрывок газеты. — Коли за Ивановку, то, похоже, всыпят.

¹ ГПЗ — головная походная застава.

Он начинает скручивать сигарку. Кто-то за моей спиной лаконично подтверждает:

— И всыплют и врежут.

Бойцы умолкают, и мне вспоминается, как сегодня на рассвете в Большую Северинку прискакал к комбату штабной офицер Сахно. Запершись в штабе батальона, он долго допрашивал Кротова, вызывал бойцов. Потом Сахно уехал, но вот четверть часа назад колонну нагнал старшина Шашок — ординарец, вестовой или как там его называют, — словом, писарь из штаба. Он еще спросил у меня, где комбат, и я махнул рукой туда, в голову колонны. Видно, потому и остановили батальон среди степи. Кажется, в самом деле этому Кротову не поздоровится.

— Эй, вы! — кричит пулеметчик бойцам из шестой. — В штрафную заремите!

Шестая не остается в долгу:

— Обозники! Лаптем щи хлебаете!

— Лапти — не позор! А вы тю-тю — фрицев проспали!

— Хватит! — обрываю я пулеметчика, и тут спереди доносится новая команда:

— Младший лейтенант Василевич, — в голову колонны!

Это уже меня. Но зачем? Кажется, я не замешан в таких малопрятных делах, как Кротов, рота которого недавно переночевала в одном селе с немцами. Случилось так, что бойцы мирно проспали ночь под бок у фрицев, и те на рассвете, построившись в колонну, спокойно подались себе на большак. Пока спохватились, подняли людей, было уже поздно. По крайней мере так рассказывают бойцы. Начальство же, видно, имеет насчет этого иные соображения.

— Ну что! Влипли! — услышав команду, начинают злорадствовать в шестой.

— Да что мы! Вот вы так влипли!

— А ну прекратите! — приказываю я пулеметчику.

Издалека через головы бойцов слышен голос самого комбата:

— Василевич! Тебя долго ждать?

— Иду, иду!

Придерживая на груди ППС, я устало бегу размятой дорогой. Я не могу позволить себе по вызову идти шагом, потому что из всех ротных в батальоне я самый младший — и по годам, и по званию. Видно, по этой причине от комбата мне достается больше других, и я вынужден всегда поторапливаться.

Комбат сидит на бугорке возле межевого столбика и мерзлым курузным стеблем ковыряет в снегу. Рядом, шурша на коленях картой, примостился наш усатый начштаба. Напротив стоит мрачный, темнолицый Кротов, а чуть в стороне, держа за поводья усталого коня, ждет чего-то старшина Шашок. Новенькая, сизого комсоставского сукна шинелка плотно облегает его широкую спину.

— Ну как голова? — взглянув на меня, спрашивает комбат.

— Ничего.

— А уши? Наверно, спеклись?

— Немного, — осторожно отвечаю я, не совсем схватывая суть его несколько необычных вопросов. Но чувствую, это неспроста.

— Пойдете в санчасть, — объявляет комбат и бьет стеблем по снегу. Снежная пыль сыплется на мои сапоги, попадает начштабу на карту, и тот с досадой стряхивает ее покрасневшей ладонью.

— Товарищ капитан, — пытаюсь возразить я, но комбат не хочет меня и слушать. Пожалуй, как и все командиры на свете, он не терпит никаких возражений.

— Пойдешь в тыл. Все равно с такой головой — не вояка.

— Но ведь в роте никого не остается. Вы же знаете.

— Знаю. Завтра Басмак придет. А пока старшина Дорофеев по-командует.

Известное дело, наш старшина может покомандовать и сегодня и завтра, человек он самостоятельный, стреляный. И все-таки мне все не хочется покидать роту и отправляться в санчасть. Если бы он послал куда меня днем раньше, хотя бы прошлой ночью, когда мы мерзли под огнем в снегу после неудачной атаки... А теперь легко ему стащить на роту старшину, когда части входят в прорыв, огибают немецкие фланги. и уже вон он, Кировоград. Днем из Северинки мы видели его пригороды, дымы пожаров и высокие строения, которые штурмовали наши ИЛы.

— Вот с Кротовым и пойдете,— говорит комбат, кивая головой на командира шестой роты.

Тот стоит черный, как земля, и не глядит на людей.

— Да еще этих субчиков прихватите. Заодно, чтобы конвоиров не посылать.

Это он про трех немцев, которые стоят невдалеке плечом к плечу, настороженно поглядывая на начальство. Один из них — просто-волосый, без шапки крепыш, второй — без шинели, в мундирчике с отвисшими карманами и большими профессорскими очками. Третий — пожилой, нерасторопный толстяк, с красным, распухшим носом. Веселая компания, ничего себе, черт бы ее побрал... Удружил комбат, нечего сказать.

Комбат же, нарочито не замечая моего недовольствия, так же как и мрачного вида Кротова, достает из кармана алюминиевый портсигар, густо испещренный резьбой.

— Угощайтесь, старшина.— Он протягивает портсигар Шашку.

Тот делает шаг навстречу и жестом равного берет папиросу. Потом к портсигару тянется рука начштаба. Кротов из-под нахмуренных бровей поблескивает злым взглядом и, как мне кажется, тяжело, осуждающе вздыхает. Нам папирос комбат не предлагает. Они втроем молча закуривают, и старшина, оставив в сторону обутую в немецкий валенок ногу, сквозь дым косится на меня одним глазом.

— Ты что же это, младшой, с таким скрипом приказ выполняешь?

Я поглядываю в его самоуверенное начальническое лицо и, сдерживая в себе злость, молчу. Какое ему в конце концов дело и кто он такой, чтобы делать мне замечания?

Кротов, которого донимают свои заботы, решительно поворачивается к комбату.

— Так мне что? Роту сдавать или как?

Комбат морщит лоб и старательно раскуривает папиросу.

— Ну почему сдавать? Что это вы уж... Сразу в панику...

— Роты пока не сдавать,— уверенно объявляет старшина, и комбат вслед за ним подтверждает:

— Да, пока не сдавать. Нет такого приказа.

— Дело ясное,— мрачно вздыхает Кротов.— Дело ясное, что дело темное. Ну и черт с ним. Пусть!

Он отчаянно ругается и отходит в сторону, всем своим видом давая понять, что безразличен ко всему и ничего не боится. Комбат встает с бугорка и вытягивает голову, заглядывая в хвост колонны.

— Ну, где там Косенко? Не дожدهшься, черт побери!

Косенко — командир взвода разведки, и я начинаю думать, что, возможно, и его пошлют с нами в тыл полка. С Косенко, конечно, было бы

веселей. Парень он живой и разговорчивый. Только вряд ли его отправят с передовой: теперь, когда идет наступление, он нужен здесь, впереди.

Тем временем начинает темнеть. Стихает самолетный гул в зимнем небе, становится слышнее шелест кукурузы на ветру. К ночи крепчает мороз, и я поднимаю воротник шинелки — помороженные уши тихонько побаливают от стужи, все хочется потереть их, но даже притронуться больно.

Вместо Косенко на дороге появляется разведчик; лихо шелкнув каблукми, он останавливается перед начальством.

— Товарищ капитан, лейтенант Косенко коня не дают.

— Как это — не дают?

— Не дают, и все. Говорят: хутор надо разведать. Хуторок там впереди.

— Хутор, хутор. Вот и на этом разведает.— Комбат тычет пальцем в сторону коня старшины.— Чем не рысак? А то еще вылупляется. Тоже мне кавалерист!

Разведчик переступает с ноги на ногу. На его круглом раскрасневшемся лице ни тени смущения — мол, мне что: лейтенант не дает, а я тут при чем? Но комбат, кажется, этого не понимает и строго оглядывает бойца.

— Они говорят, пусть старшина Шашок на своей дохлятине и ездит, коли лучшего не умеет приобрести.

— Вы мне оставьте эти разговорчики! — распляется комбат.— Я приказываю! А его дело исполнять. Понял?

— Я-то понял, — охотно соглашается разведчик.

— Так исполняйте! — повышает голос комбат.

Рядом стоят, слушая эту не совсем обычную стычку, бойцы, переминаются с ноги на ногу немцы. То на комбата, то на разведчика выжидающе поглядывает старшина. Я терпеливо жду и думаю, что коник Косенко уже, видно, сдох. А ничего себе был трофейный рысачок в белых чулочках на передних ногах. Однако недолго погарцевал на нем взволнованный. Раз уж им приглянулся, то пиши пропало, рано или поздно отберут. На это они мастера.

Со стороны я замечаю, как старшина строго поджимает тонкие на мясистом лице губы и что-то решительное появляется в его глазах. И тут он поворачивается ко мне.

— Ладно, вы идите. Берите тех, — кивает он на немцев, — и дуйте напрямки. Я догоню.

Он говорит это почти по-приятельски, и я не знаю, как понимать его: то ли хочет со мной подружиться, то ли видит во мне здесь старшего. Но ведь Кротов выше меня по званию и должность у него постоянная, не то что у меня, временного ротного. Я вопросительно поглядываю на комбата, тот недовольно говорит: «Идите» — и я поворачиваюсь к озябшим немцам.

— А ну марш! Марш, фрицуки паршивые!

3

Через минуту мы идем в кукурузе по следу глубоко влаленных в снег танковых гусениц, Кротов и я — по правой колее, а немцы — по левой. Кротов никак не может примириться с тем, что его сняли с должности, и зло, в три этажа ругается. Гнев его, как и всегда, имеет определенный адрес и теперь направлен против комбата.

— Обормот. Лакейская морда!..

Немцы покорно шагают рядом — очкастый в мундирчике впереди, за ним тот, что без шапки — мрачный чернобровый парень, внешностью

совсем не похожий на немца. Пожилой же с трудом ковыляет сзади, то и дело отстает, шмыгая большим простуженным носом. К плену он хорошо подготовился, сразу узнаешь хозяйственного человека — на ремне котелок, фляжка, через плечо перекинута свернутое в скатку одеяло, на боку — похожая на охотничий ягдташ брезентовая сумка. Не удивительно, что он отстает с таким грузом, и я, время от времени оглядываясь, покрикиваю:

— Шнель! Шнель, фриц!

Передний также поворачивается и, будто старший среди них, что-то лопочет последнему. Я понимаю только: «Шнеллер...»

Пожилой несколько ускоряет шаг, разбрасывая сапогами снег, и ворчит про себя, кажется, в том смысле, что, мол, хорошо тебе, молодому, легко одетому, а я утомился уже, хочу закурить, да и вообще по самое горло сыт войной и вашим фашизмом. Это вполне естественно для него, так как год уже сорок четвертый и немцы на фронте далеко не те, что были в сорок первом.

Передний чем-то похож на унтера, хотя мундир на нем без всяких знаков различия. Лицо у него продолговатое, в меру худощавое, с прямым носом и широким лбом. Под толстыми стеклами очков — настороженные, но, кажется, рассудительные, без злобы глаза. Простоволосый же, что идет следом, выглядит уж очень унылым и мрачным. За все время он не произнес ни единого слова и ни разу не взглянул ни на кого.

Кротов с виду вовсе безразличен к пленным, переживает свою беду и то помолчит, то снова начинает ругаться.

— Может, надолго не задержат там, — говорю я, имея в виду полковой штаб, куда его вызывают. — Напишите объяснительную и завтра будете в роте.

— А мне наплевать! Пусть задерживают. Что мне, в тылу хуже, чем на передовой? Я о том, почему они придираются сдуру.

— Бдительность.

— Нечего сказать — бдительность! Делать ему нечего — этому бабнику, вот он и цепляется. Ну, вскочили впотьмах в деревню, не разглядели, не развели. Так что тут особенного? Ни одного человека не погубили. Разве лучше, если бы в степи полроты обморозилось? Или как тот дурень Сарафьянов за два дня всю роту уложил?

Я молча несу на плече свой ППС и слушаю, глядя, как сапоги ротного мнут аккуратно впрессованный в снег след гусеницы. Походка у Кротова энергичная и легкая, какая бывает у закаленного пехотинца. Старший лейтенант не признает полушубков и с осени ходит в туго перетянутой ремнями телогрейке. На руках у него теплые овчинные рукавицы на тесемке, перекинутой через шею, и он в гневе широко размахивает ими.

— Приказано было атаковать, ну и атаковал. Пока восемь человек не осталось. Небось его за это в особый отдел не потащат!

Да, пожалуй, за это не потащат. Напротив, могут представить к ордену за усердие и настойчивость в выполнении боевого задания. Кому там разбираться, что этот Сарафьянов — набитый дурак и горлопан, что его давно надо гнать из батальона. Но комбат наш все же не такой, вообще он неплохой командир, не крикун и не трус. Разве что излишне тянется перед начальством. Однако про таких говорят: дисциплинированный.

Кротов будто угадывает мои мысли.

— Дисциплинированный! Дошел до чего, перед каким-то старшиной расшаркивается, папиросочками угощает. И кто этот старшина — холуй самый настоящий.

Да, конечно, старшина — невелик чин, штабной писарь. Но все

дело в том, что писарь не простой, не из какой-нибудь хозчасти или финсектора, а писарь самого капитана Сахно.

На повороте танковой колеи я оглядываюсь. Мы прошли по кукурузе далеко, батальонная колонна исчезла, будто растворилась в вечерней степи. Шашка почему-то нигде не видать. Но это не так важно: старшина догонит, а если и нет — тоже не беда. Хуже вот, что третий, пожилой, немец все время отстает, видно, устал, и на мое строгое «шнель» почти не реагирует. Надо подождать, так как темнеет, и я, признаться, немного беспокоюсь, чтобы этот фриц куда-нибудь не скрылся. «Подождите», — говорю я Кротову. Старший лейтенант оборачивается, охотно останавливается немцы, и все мы ждем. Кротов, наверное, уже примирился с моим тут командирством и подчиняется. Мне все же неловко перед ним, и, чтобы смягчить эту неловкость, я достаю из кармана два сухаря.

— Хотите погрызть?

Завтракали мы на рассвете еще в Северинке, уже крепко проголодались за день, и потому сухарь кажется необыкновенно вкусным. Я слышу, как Кротов с наслаждением откусывает от него, и с полминуты мы сосредоточенно грызем жесткие куски. Потом невольно поглядываем на немцев, стоящих в трех шагах от нас, и перехватываем пристальный взгляд очкастого. Кротов перестает жевать.

— Что, доняло? — будто впервые заметив пленного, язвительно говорит он. — Навоевался, собачий сын? Жрать захотелось? Держи!

Старший лейтенант разламывает сухарь и бросает кусок очкастому. Тот, ловко подхватив его, с удовольствием вгрызается зубами. Рядом стоит второй, без шапки, и я засовываю руку в карман. Там еще один сухарь, последний из моей сегодняшней нормы, и я не без сожаления протягиваю его через дорогу. Немец секунду медлит, потом берет сухарь и, оставив нижнюю губу, неопределенно чмокает. Я не успеваю понять, в чем дело, как он коротким взмахом через плечо швыряет сухарь в кукурузу.

— Ах ты гадина!

Кротов перестает жевать и замирает с желваком за щекой. Потом ступает в снег.

— А ну подбери!

Немец, насупившись, молчит и не трогается с места.

— Подбери, гнида, — приказывает Кротов и, выждав, коротко бьет его в челюсть.

Пошатнувшись, тот, однако, удерживается на ногах.

Старший лейтенант кричит:

— Сволочи! Воши ползучие! По вашей милости я полгода в госпитале простонал! Вы мою деревню дымом пустили! Из-за вас меня начальство таскает! Получай еще, гад!

Немец, едва заметно вздрогнув, выдерживает и этот удар. Своенравное упрямство его и во мне отзывается злобой. Какая-то животная ненависть так и подмывает заехать ему в морду, как это сделал Кротов, и я, чувствуя, что не сдержусь, говорю старшему лейтенанту:

— Ладно. Пошел он к чертям!

Пожилой тем временем догоняет нас и, видно смекнув, в чем дело, услужливо лезет в кукурузу. Сдунув с сухаря снег, он почтительно подносит его разъяренному Кротову. Тот бьет немца по руке, и сухарь отлетает в снег еще дальше.

— Прочь! Прочь, гады! Я вас всех сейчас!..

Ротный хватается за кобуру на ремне, и я едва успеваю остановить его.

— Ладно. Ну их к чертовой матери!

Смерив всех троих ненавидящим взглядом, Кротов неохотно переходит в правую колею.

Вот же гад фашистский, думаю я, притотстав и украдкой наблюдая за немцем. Волосы у того черные, жесткие, к ушам он и не притронется, будто и не ощущает мороза. За всю дорогу он не произнес ни одного слова, ни разу не взглянул на нас. После случая с сухарем я невольно настораживаюсь и передвигаю свой ППС на грудь: мало ли что еще может выкинуть этот фашист!

Степь затихает к ночи, но даже и эта тишина полнится множеством неясных звуков. Идет наступление. Отзвуки его прорываются до слуха приглушенным танковым гулом, далекими взрывами. Где-то на юге, за Кировоградом, пылает край неба: огненное зарево на небосклоне то ширится, разгораясь, то медленно затухает. Доносятся невнятные голоса людей — наверно, поблизости проходит дорога.

4

Шашок догоняет нас, когда уже устанавливается ночь и в высоком январском небе густо высыпают звезды. В полную силу светит луна. Длинные тени неслышно волокутся за нами. В морозных сумерках стынет кукурузное поле. На краю его мы с Кротовым замечаем подвижную тень. Коня почти не видно в кукурузных зарослях, но над стеблями скользит силуэт всадника. Мы останавливаемся и ждем.

— Фу, думал, не догону,— говорит Шашок с заметным облегчением, что наконец избавился от одиночества в ночном поле.— Ну как, не разбежались фрицы?

— Не разбегутся,— говорю я.

Старшина направляет коня по левой колее и вплотную подъезжает к немцам. Кротов на ходу оглядывается (кажется, он стал спокойнее) и с минуту присматривается к всаднику и его лошади.

— Ну что, не вышло?

— Не вышло,— охотно отвечает Шашок.— Заупрявился разведчик. Не хотелось скандал учинять.

Все ясно: Шашок на той самой мухортой лошадке, на которой и приехал в батальон. Значит, Косенко показал характер до конца. Он такой, этот наш лейтенант-разведчик!

— Я бы тому коню пулю в ухо, чем тебе отдавать,— говорит Кротов.

Шашок ему не отвечает и развязно кричит на немцев:

— Шнель! Шнель, вашу мать! Затопчу, фашисты!

Он и в самом деле подстегивает поводьями коня. Задний немец испуганно выскакивает из колеи, простоволосый едва уклоняется от лошади. Старшина довольно хохочет.

— Завоеватели, такую вашу!.. Уступай дорогу русскому воину!

— А ну кончай! — строго оглянувшись, приказывает Кротов.— Сперва в плен возьми, а потом будешь конем топтать.

Шашок притихает и сверху вниз настороженно оглядывает ротного.

— А вам что, жалко?

— Не жалко, а гадко!

— Значит, защищаете? Немцев защищаете?

— Пошел ты к черту! — взрывается Кротов.— Хочешь дело пришить? Не боюсь я вас!

— Так-так! — многозначительно говорит Шашок, но все же придерживает лошадь.

Немцы переглядываются, видно что-то поняв из этой перебранки, и мне становится неловко: нашли место ругаться! Но это все Кротов. Ко-

нечно, он теперь злой, рассерженный, и поэтому в самом деле недолго до скандала.

Только я напрасно тревожусь, поругаться как следует они не успевают. На очередном повороте колеи нам встречаются люди.

Это связисты. Обвешанные катушками с кабелем, телефонными аппаратами и оружием, они, только завидев нас, пугливо бросаются из колеи. Потом, видно признав своих, несмело выходят из реденькой кукурузы и выжидающе застывают на дороге. Взгляды всех четверых почему-то опасливо направлены в сторону.

— Что такое? — спрашивает Кротов.

Связисты топчутся на месте, дзижения у них робкие, голоса встревоженные.

— Там немцы, — наконец тихо сообщает один, с карабином на шее.

— Чуть не напоролишь, — охотнее добавляет второй.

Все они напряженно глядываются в кукурузу. Я смотрю в том же направлении, но нигде ничего не вижу. Кажется, повсюду все тот же густо испещренный тенями снег и тишина.

— А в штанах у вас еще не того? — спрашивает Кротов.

— Ей-богу, товарищ командир, — шепчет первый. — Тянем нитку, вдруг — голоса. Присмотрелись — сидят в кукурузе двое. Один другому прикурить дает и по-немецки лопочут.

— Иди ты, парень, знаешь куда! — возмущается Кротов. — Откуда им тут взяться? Вон где немцы! — Он показывает назад, на зарево над Кировоградом.

— Безусловно, — уверенно подтверждает Шашок. — Я еще засветло тут проезжал, никого не было.

Действительно, откуда тут взяться немцам, уже почти что в глубоком тылу полка? Батальоны ушли далеко вперед, танки еще дальше. Если бы что случилось неладное, то командование уж наверняка бы о том знало.

— И танк! Стоит, кукурузой обложенный. «Тигр»! — будто не слыша наших возражений, в каком-то трансе твердит связист.

Кротов с нарочитой простоватостью в голосе спрашивает:

— Танк?

— Танк.

— «Тигр»?

— Ага. Наверно, «тигр». Большой такой. Прямо огромный.

— Знаешь, парень. Был бы ты в моей роте, я бы тебе показал «тигра»! Он бы тебе потом котенком показался... А ну тяните связь, куда приказано. И чтоб без паники мне! Живо!

Связисты топчутся на месте. От командирской категоричности решимости у них, видать, мало прибавилось. О чем-то переговариваясь, они остаются, а мы идем дальше. Я начинаю зорче, чем до сих пор, всматриваться в ночные сумерки, Кротов сдвигает на поясе кобуру. Немцы, вряд ли поняв что-нибудь из нашего разговора, тихо бредут своей колеей. Сзади молча едет старшина Шашок. Он первый нарушает наше молчание.

— Младшой. Ты это вот что... — Глядя по сторонам, он что-то решает. — Ты вот что... Веди их прямо, а я... А я подскочу в батальон. Знаешь, забыл одно дело.

Что ж, подскакивай. Мне что? Только никакого у тебя дела там нет. Просто ты испугался, писарская душа, думаю я. Кротов, недобро засопев, оглядывается на него, но молчит. Шашок торопливо заворачивает коня и с места пускает его в галоп.

— Уже наложил! — говорит Кротов.

— Что?

— Струсил, говорю,— громче повторяет ротный.— Ну и черт с ним. Баба с воза — кобыле легче.

Немцы, видно, все же кое-что поняли из нашей заминки. Передний, в очках, не оборачиваясь, сообщает что-то остальным, и чернявый с явной заинтересованностью всматривается в сумеречную даль. Стараясь внимательнее следить за ними, я правой рукой нащупываю рукоятку затвора.

Никто нам не встречается, поблизости, кажется, ни одной подозрительной тени, никакого движения. Кротов решительно сплевывает на снег.

— Этим тыловикам завсегда черти снятся. Такой уж на...

Он, видно, хочет сказать «народ», но замирает на полуслове и неожиданно останавливается. Я едва не наскაკиваю на него сзади и тут отчетливо, хоть и не совсем реально (словно во сне), вижу впереди людей. Человек пять стоят, всматриваясь в нашу сторону. Рядом с ними что-то темнеет. Все это появляется перед глазами так неожиданно, что, еще ничего не поняв, я вздрагиваю от первой и самой страшной догадки: «Немцы!»

Я еще не успеваю вполне осознать эту опасность, как Кротов, приглушенно вскрикнув, сильным рывком выпрыгивает из колен. Пригнувшись, он бросается на ту сторону дороги. Секунду я не соображаю, в чем дело, я только вижу, что один из наших немцев бежит по кукурузе.

— Стой! Стой, гад!..

Это — Кротов. На бегу он пытается выхватить из кобуры пистолет, но тот будто застревает или это мне так кажется. Зацепившись за стельку, Кротов падает в снег, тут же пытается вскочить, и тогда первая трескучая очередь прошивает морозный воздух. Я падаю в снег, дергаю рукоятку затвора. Невдалеке что-то вспыхивает. На мгновение в глазах мелькает спина и задранный локоть Кротова. Взрыв стегает по лицу снегом и ослепляет. Не сразу затем из звездной темноты проступают спутанные стебли кукурузы. Неподвижно висит низкий месяц, на снегу — две тени. Одна лежит на месте, а вторая, падая и вскакивая, уходит, правда не к немцам и не назад, а куда-то в сторону. «Удерет», — мелькает в сознании, и я, не целясь, нажимаю на спуск. Автомат вздрагивает, и треск его выстрелов возвращает меня к реальности. Я бросаюсь на другой бок дороги. Немец впереди также вскакивает и, пригнувшись, широко сигает меж редких стеблей. Я, задыхаясь, кричу: «Назад!» Он испуганно бросается в другую сторону. Но в несколько прыжков я все же настигаю его. Шумно дыша, он лежит, вглядываясь в меня, и ждет. Одежда его вся в снегу. Я скидываю автомат и шепотом команду: «Назад!» Немец послушно поднимается на колени и торопливо ползет ко мне. Я пропускаю его вперед и на четвереньках ползу следом. Откуда-то сбоку отчетливо доносится встревоженная немецкая речь. Кротова нет. Мерзлые тугие кукурузные стебли путаются под руками, задевают плечи и голову. Но они все же скрывают нас, и мы торопливо удаляемся от того злополучного места. Нас только двое. Тот, в колее, так и не поднимается. Я не знаю даже, который это из них, как не знаю, который ползет со мной. И не понятно, что с Кротовым? На секунду задержавшись, я оглядываюсь — немцев не видно. Уже начинает казаться, что мы немного оторвались от них, как вдруг совсем рядом раздается крик:

— Хальт!

— Хальт, рус!..

И очередь — одна, вторая, две сразу. Мы падаем и по рыхлому снегу опять бросаемся в сторону. Мое внимание раскалывается надвое — я ловлю все, что угрожает нам сзади, и не упускаю из вида

немца. Он вертится, как уж, ползет, и я тоже извиваюсь, кувыркаюсь, ползу, чтобы не отстать от него.

И вдруг я слышу одиночный пистолетный выстрел и затем снова, приглушенные расстоянием, крики немцев. И тут же какой-то хрипловато-загнанный крик, отдаленно напоминающий голос Кротова:

— Нет! Нет! Сволочи-и...

И снова шелкает слабый пистолетный выстрел — второй. Третий, видно, накрывает очередь, и все стихает.

Что же это? Как? Почему так? Передо мной лежит немец. Я только теперь узнаю его — это тот очкастый, в мундирчике. Только очков у него уже нет. Он тяжело дышит и растерянно моргает своими белесыми глазами. Я вскакиваю на ноги и тут же приседаю от боли в стопе. Нога заметно тяжелеет, что-то горячее, остро жгучее расплзается по стоне. В сапоге становится мокро. «Ну вот и все!» Я распластызаюсь на снегу и в недобром предчувствии замираю. Однако через минуту спохватываюсь. Привстав на колени, наступаю на раненую ногу — цела ли хоть кость? Если подломится — тогда пиши пропало. Нс нога, слава богу, не подламывается, только болит и жжет. Боль, конечно, не в счет — боль мы как-нибудь стерпим. Пригнувшись, я толкаю автоматом немца, и мы постепенно скрываемся в кукурузном массиве.

5

Люди идут, идут, идут...

И я иду. Иду без цели, безразлично куда, навстречу теплой весенней ночи. Вечерняя тишина высокого погожего неба миром и благостью вливается в душу. Мелкой трелью рассыпается-журчит «спидола». Это впереди размеренно шагают, словно плывут в людском потоке, трое молодых людей. Черные вечерние костюмы, остроносые туфли, аккуратно подстриженные затылки...

Теперь, через двадцать лет, можно судить по-разному, хотя, признаться, я и до сих пор толком не знаю, как все это тогда произошло. Возможно, отступая, немцы преднамеренно оставили в нашем тылу танковую группу, а может, наши части сами обошли ее, чтобы не замедлять темпа наступления. Вперед, не обращая внимания ни на что, как можно глубже в оборону противника — было неписаным правилом каждой наступательной операции. А танки остались. Важно было окружить Кировоград, поставить под угрозу разгрома десяток немецких дивизий. Кому там заботиться, что в каком-то месте наших боевых порядков образовалась брешь, в которую влезли немцы.

Для фронта это было не страшно, для армии тоже. Дивизии было хуже. А вот для нас... Для меня, Кротова, бедолаг раненых, так же как и для беспечных тыловиков, это стало вопросом жизни и смерти.

Людской поток с тротуара вливается в огромную толпу на площади. Тут памятник. Высоченный, не слишком оригинальный монумент, сооруженный по помпезным канонам своего времени. Наверху — орденская звезда Победы. Высокая, усыпанная драгоценностями награда, доставшаяся за войну маршалам, генералиссимусу и румынскому королю Михаяу. К Белоруссии она имеет отношение разве что символическое.

Хлопцы впереди ловко и уверенно прокладывают себе путь в толпе, ближе к памятнику. Там вечный огонь. На могиле Неизвестного солдата. Вокруг шум и толчея. Толпа теснится, сдвигается в сторону, пропуская к памятнику строй пионеров со знаменем. Лесной аромат хвои от венков настраивает на похоронный лад. Торжественная минута возложения. Людской шум немного притихает, громче звучат марши из репродукторов. Возле памятника слышится какая-то команда. Я думаю,

тут будет митинг. Хотя на митинг как будто не похоже — нет ни милиции, ни трибун. Отработанным, хорошо поставленным голосом юная воспитанница школьной самодеятельности читает стихотворение. «Никто не забыт, ничто не забыто» — звонкой медью разносятся над площадью бодрые, полные оптимизма слова.

Неизвестно зачем я пробираюсь меж людей к памятнику. Что мне там надо увидеть? На меня никто не обращает внимания. Тем лучше. Я понимаю, что найти тут кого-нибудь — безнадежное дело. Иголка в стогу сена. И все же я проталкиваюсь в середину. Гранитное подножие монумента завалено зеленью венков. Сколько еловых веток! На войне они сопутствовали убитым в их последнем земном пути. Терпкий смолистый запах стоит над площадью.

К огню, однако, не подступиться. Оттуда идут пионеры, стройные ряды белых рубашек и кофточек, торжественно алеют галстуки. Я застреваю в плотной группе молодежи. Юноши и девушки. Снова остроносые туфли, каблочки-шпильки, пышные, нарядные прически. И откуда-то из-под пиджаков, из карманов — та же приглушенная россыпь транзисторов:

А за окном то дождь, то снег,
И спать пора-а-а...
Но никак не уснуть...

- Старина, что смотреть! Провыремся?
- Эдик, нахал! Ну тебя!
- Посмотри, вон та. С ямочкой.
- ...Такой чудак! Он мне говорит... Я ему говорю...

Торжественная церемония возле памятника их мало занимает. Они живут своим, куда более близким. И я их понимаю. В самом деле: прошло почти двадцать лет. Многие ничего уже не помнят из своего раннего детства. Многие родились после войны. Война для таких — абстракция. Как оледенение Европы. Как неолит.

Медленно я пробираюсь между их плотных рядов. Мне нужен вечный огонь. Зачем — я не знаю сам. Разве чтобы на минуту приблизиться. Во всяком огне есть неизъяснимый притягательный зов. Мне бы только взглянуть на него.

Не очень деликатно раздвигая людей, я все же пробираюсь к обелиску. Правда, огня почти не видать. Низкая бронзовая горелка со всех сторон обложена венками. Над хвоей прозрачно струится горячий воздух. В широком молчаливом кругу замерли люди — взрослые и дети, мужчины и женщины. Строгие взгляды всех прикованы к одной точке. Лица торжественно-сосредоточенны. Но как-то они очень мудры сегодня и очень светлы, эти лица. Трудно даже поверить, что это самые обычные лица самых обычных людей. Впрочем, здесь те, по судьбам которых всей своей тяжестью прокатилась война. Едва взглядевшись, я сразу понимаю это.

Что ж, пожалуй, я тоже не буду тут лишний.

Я вытягиваю голову из-за чьей-то широкой черной спины и молча стою со всеми. Горелка струит едва приметный на еловом фоне дымок. Позолотой поблескивают карнизы и лепные рельефы памятника. Напротив, будто мраморное изваяние, — неподвижно скорбное лицо женщины в большом темном платке. Невдалеке, скрестив на рычагах руки, сидит инвалид в коляске. И вдруг совсем рядом я слышу вопрос:

- Он какой, огонь-то? Настоящий?
- Самый взаправдашний, папка. Это от газа огонь. Как на кухне у Кузьмичевых.

Восьмилетний мальчонка тормозит за руку человека. Тот стоит ровно, едва склонив голову.

— Большой?

— Большой. папка. Только венками завалили — не видать.

— А венков много?

— Много. На мазовский самосвал не влезит.

— Самосвал — он как «студебеккер»? Да?

— Что?

Мальчик не расслышал или не понимает незнакомого слова. Я объясняю:

— Много венков. Пожалуй, на полный «студер» с верхом.

Человек вполборота поворачивает ко мне побитое порохом лицо.

— Большое спасибо.

И мне становится хорошо здесь, в этом тесном строю, на этом стихийном митинге без ораторов. Мальчонка из-под отцовской руки с уважительным любопытством оглядывается на незнакомого человека.

Я начинаю выбираться из толпы. Все-таки вечный огонь в память о павших — это здорово. Если только вечность его не окажется слишком короткой.

Я перехожу тротуар и натякаюсь на ряд красных газировочных автоматов. Возле них тоже толпятся люди. Шелкают медяки, неторопливо гудят железные механизмы, аккуратно отмеривая ровные порции. Обойдя лужу на асфальте, ишу стакан. Возле крайнего автомата, заслоня друг друга, что-то хитрят двое уже немолодых людей, по возрасту, пожалуй, фронтовики. У обоих в руках по стакану. Ясное дело, не с газировкой.

Один из них, перехватив мой озабоченный взгляд, прячет за автомат бутылку. Я останавливаюсь в сторонке и жду. Мужчины украдкой чокаются стаканами. Один рослый, тяжеловатый, с кирпичного цвета лицом. На его пиджаке три ряда орденских планок. Два — Красного Знамени, по одному — Александра Невского и Отечественной войны. У второго, который помоложе, лацкан коричневого пиджака оттягивают две Красные Звезды. Видно, привинтил специально к празднику. Мужчины торопливо пьют и, крякнув, заедают сушеной воблой. Старший выразительным кивком головы указывает на мою ногу.

— Что, на войне?

— На войне.

— А газировку пьешь. Иль не заработал? — грубовато упрекает он и спрашивает:— Стукнуло где?

— На Втором Украинском.

— Сосед. Я с Первого. А этот с Ленинградского,— с треском ломая воблу, кивает он на собутыльника.

Я жду, а он, помедлив, наклоняется над бутылкой. Широкая большая его рука щедро наливает полстакана.

— Давай! За тех, кто хочет, да не может.

— С удовольствием бы. Да не пью.

На глазах хмелея, человек возмущается:

— Как это не пьешь? Тогда ты не фронтовик. Ты — железнодорожник!

У него неторопливые движения, непререкаемый командирский тон, тяжеловатый взгляд человека, знающего себе цену. Тот, что помоложе, напротив, добродушно улыбаясь, грызет вставными зубами воблу и подмаргивает.

— Давай, друг! За русских Иванов.

Мне вовсе не хочется пить. Разве что за Иванов. Младший отламывает кусок воблы, и я торопливо, захлебываясь, пью. Как на фронте.

Случайная чарка среди незнакомых соседей — танкистов или минометчиков. Правда, там не было и следа неловкости.

— Ну и ничего! — говорит старший. — Справился. Трепался только. В каком звании?

— Я?

— Ну не я же.

— Младший лейтенант.

— Понятно. Ванька-взводный?

— Да. Хотя и ротным был.

— Я тоже. До Берлина вырос в дивизионного.

Соленый кусок рыбы обжигает рот. Сознанием овладевает хмельная расслабленность. Из репродукторов гремит «Священная война». Рядом ходят, толкаются люди, но мы уже не обращаем на них внимания. Меня интересует мой собутыльник. Насчет дивизионного, по-видимому, он все же «загнул».

— Не слишком ли высоко?

— Высоко? Думаешь, до дивизии недобрал? Да? А ну, подсчитаем. Один комплект роты двести человек...

— Смотря какой роты.

— Какой? Штрафной, конечно.

— Штрафной?

Я с новым интересом поглядываю на этого человека. Плечом тот прислоняется к красной обшивке автомата.

— Ну и вот. Двести умножь на двенадцать. Двенадцать раз формировались. Не считая частичных пополнений. Дивизия!

Конечно, не дивизия, но немало. Я впервые вижу человека, который на фронте командовал штрафной ротой, и с нескрываемым любопытством гляжу на него. Младший разрывает пачку «беломора». Возле нас появляется женщина в прозрачной косынке с медяком в пальцах.

— Стаканчики свободны?

— Заняты! — бросает старший.

— Пьяницы проклятые!

— Цыц, тетка! У нас поминки!

Женщина, отойдя, грозитя:

— Вот позову дружинников, тогда помянете. В отрезвитель вас, алкоголиков!

— Что? Дружинников? Зови! Зови дружинников! — начинает расплываться старший и угрожающе шагает от автомата. Младший хватается за руку.

— Кузьмич, спокойно! Спокойно, Кузьмич!

— Что спокойно? — кричит Кузьмич. — Пошли вы!.. Давай еще стакан.

Младший достает из-за пазухи новую бутылку, и Кузьмич сворачивает с нее белую головку. На этот раз они пьют вдвоем и молча. Я понимаю: пора идти. Но Кузьмич, выплеснув остаток водки под ноги, поднимает на меня покрасневшие недовольные глаза.

— Что смотришь? Осуждаешь, да? Осуждаешь? Двенадцать на двести, думаешь, где? В земле! И думаешь, преступники? Черта с два! Из плена поприбежали! Не усидели до конца войны. Вот! Кто сегодня в героях? Брестская крепость и так далее! А я четверых из Брестской крепости на Сандомирском закопал. Вот! Тогда не спрашивали, как в плен попал. Спрашивали, почему не застрелился! Ясно? — с яростью заканчивает он.

— Кузьмич, спокойно! Тихо, Кузьмич, — старается успокоить его младший.

Кузьмич зло и почти бессмысленно смотрит на меня. Кажется, он уже забыл, кто я, и готов обрушить на меня весь свой накопленный с войны гнев.

— Ладно. Будьте здоровы! — говорю я. — Спасибо.

Младший жмет мою руку.

— Не за что. Ты не обижайся. Знаешь, Кузьмич — он добрый...

Я не обижаюсь.

Прихрамывая, я не спеша иду по тротуару. У выпившего хромота становится всегда заметнее. А сегодня я хочу ее скрыть. Сегодня она мне ни к чему.

И все же я размазня и трус. Надо было сразу же задержать его, спросить документы. Если что — позвать на помощь людей. Столько предумано о нем, а когда представилась наконец просто невероятная, может единственная, в жизни возможность расквитаться, так я и растерялся. Фронтовик называется!

Водка заметно будоражит. Хочется что-то предпринять, на что-то решиться. И я бреду, куда ведут меня улицы. Сначала по проспекту, потом на перекрестке сворачиваю за угол. Постепенно поток прохожих на тротуаре редет. Разом, вспыхнув, загораются вверху фонари. Их матовые шары светятся в небе, над мелкой еще листвой лип. По мере того как темнеет небо, они разгораются все сильнее...

6

Не скоро еще мы выбираемся из кукурузы в чистое поле с разбросанными там скирдами. Я вслушиваюсь. Откуда-то доносятся голоса, но это далеко и не сразу определишь — свои или немцы. В сапоге хлюпает кровь, руки закоченели от мороза. Рукавица осталась только одна и та мокрая от снега и не греет.

Немец, спотыкаясь, бредет сзади. Без очков он совсем стал слепым, и я, сжимая от боли зубы, время от времени покрикиваю на него.

Что же это случилось, как же это? Не могу я понять. Как это в своем тылу мы угодили в такую ловушку, нарвались на засаду? Бедный Кротов! Мне то жалко его, то поднимается злость на него. Впрочем, я ругаю себя, комбата, старшину Шашка, хотя руганью ничего уже не исправить.

Танки! Откуда они взялись тут и что мне, подстреленному, делать дальше? Конечно, надо как можно скорее доложить начальству. Надо принять какие-то меры, нельзя допустить, чтобы в тылах батальонов хозяйничали вражеские танки.

Но кому скажешь? Как назло, нигде никого из своих. Хотя бы связисты, они помогли бы. Только связистов уже давно и след простыл. Кругом дремотно покоится широкая степь. Пересыпается под ногами неглубокий снег. Поодаль неподвижно темнеет несколько заснеженных скирд. И никому нет дела до нашей беды.

Я то и дело пытаюсь бежать. Только нога моя очень болит, я сильно хромаю, и немец постепенно начинает меня опережать. Так мы дробедаем до скирд и тогда недалеко впереди видим повозки. Глухо стуча колесами, они неторопливо катятся куда-то по невидимой в сумерках дороге.

— Эй! Эй! — кричу я на бегу.

Упустить их мы не можем. Наверно, это последняя наша возможность предупредить беду, которая нависла над батальонами, а может, и над полками.

— Эй! Стой! Стой!

Передняя повозка все катится, наверно, никто там меня не слышит, а задняя и в самом деле останавливается. Но это все же далековато,

и я изо всех сил нестерпимо долго бегу, хромя, разбрасывая сапогами рыхлый, рассыпчатый снег. Мне все кажется, что ездовой не дожидется нас и повозка вот-вот тронется следом за первой. Но, к счастью, он дожидается, и мы с немцем наконец добираемся до дороги. В подводе несколько человек. Все молча и не очень дружелюбно всматриваются в нас.

— Там танки!.. В кукурузе!..— говорю я, едва справляясь с дыханием и стараясь выглядеть как можно спокойнее. Только это, видать, мне плохо удается.

В повозке молчат.

— Танки! Немецкие танки. Понимаете? Где командир? Давайте к командиру!— требую я, выбравшись на дорогу. И тогда в повозке недочерчиво отзывается кто-то женским голосом:

— Что? Здорово тюкнуло? Может, и контузия, а?

Эта ничем не прикрытая ирония выбивает из меня остатки моего самообладания.

— Какая контузия?! Пошли вы к черту! Танки! Понимаете, немецкие танки! В кукурузе!

На подводе зашевелились, кто-то, опершись на плечо ездового, соскакивает на снег. Это, оказывается, девушка в полушубке и шапке. Я не знаю ее: видно, подвода не нашего, а другого полка.

— А ну покажи голову!

— Да не голова! Ты вот ногу перевяжи. В ногу ранило!— кричу я, теряя терпение ст этой неуместной ее невозмутимости.

— Ногу?

— Да! Ногу! Не веришь?

Я опускаюсь на снег и, чтоб не взвять, сжав зубы, стаскиваю с раненой ноги сапог. Там мокро, и я опрокидываю его голенищем вниз— на снегу появляется темное пятно крови.

Это убеждает. Девушка сдвигает наперед санитарную сумку и вдруг замирает в недоумении.

— Постой! А это кто?

— Немец. Не бойся, не укусит: пленный!

Нога дико болит, мокрые пальцы стынут на морозе, я уже готов возненавидеть эту «помощницу смерти» за ее недоверие и медлительность.

— Давай на подводу!— говорит она. Затем уверенно берет меня под руку и прикрикивает на немца:— А ну помоги! Что глядишь, как Гитлер?

Немец догадывается о смысле ее слов и с неловкой деликатностью подхватывает меня под локоть.

— Ладно, идите вы! Я сам...

На одной ноге я допрыгиваю до повозки. Там, оказывается, лежат на соломе еще двое раненых. Один тихо стонет, откинув голову, второй, приподнявшись, запавшими глазами на исхудалом лице глядит на меня.

— Вот тут, в уголок.

Девушка с ездовым устраивают меня на самом краю подводы. Затем она ловко и туго перевязывает бинтами мою простреленную стопу. Но тут обнаруживается новая беда— сапог на перевязанную ногу уже не налезает, да и боль такая, что нет сил вытерпеть это мучительное обувание. Напрасно помучившись с минуту, я бросаю сапог в солону. На снегу возле дороги остается окровавленная портянка.

— Повезло,— говорит девушка.— Еще бы миллиметр и -- кость вдребезги.

«Кость, кость!»— меня раздражает теперь это ее неуместное сочувствие и медлительность.

— Давай быстрее! — нетерпеливо говорю я. — И немца посади.
— Некуда! Пусть протрясется.

— Протрясся уже. Последний остался. И Кротова ухлопали...

Я сам с трудом верю в свои слова. Неужели действительно Кротов погиб? Ведь только же был рядом, ругался, ел, шел. И вот его нет. И никогда уже не будет. Девушка, примащиваясь возле ездового, удивленно оглядывается:

— Кротов? А что Кротов?

— Убили, что!

— Кротова? Командира роты?

— Ну да.

— А ты не треплешься, младшой?

Она впервые настораживается.

— Только и не хватало еще трепаться с вами! Гони в полк! Танки вон в километре! — кричу я. — Ты понимаешь или нет?

— А ты не кричи! Тоже командир нашелся!

Я умоляюще гляжу на нее и думаю: «Ну не буду, не буду кричать, только давай же быстрее! Милая, хорошая или как там тебя назвать, гони же!» Девушка поглядывает в ночную степь, секунду вслушиваясь, потом толкает притихшего ездового.

— А ну погоняй!

И ездовой быстро гонит пару шустрых лошадок, от которых курит паром, и все оглядывается. Повозка то дребезжит и подскакивает на кочковатых выступах ненаезженной полевой дороги, то стихает, увязая колесами в сыпучем снегу. Сидеть мне страшно неудобно. Коченеет нога, горячей болью жжет рана. Но и подвинуться нельзя ни на сантиметр. Я и так сижу чуть ли не на самых ногах раненого, который стонет, ругается и умоляет девушку:

— Катерина! Катя! Тише! Черт бы тебя побрал. Живодер ты, а не сестра, тише! Ух!.. Ох! Катюшенька!..

Катя наклоняется с передка, одной рукой придерживает его голову и просит с той неестественной на фронте нежностью, какая уместна только по отношению к тяжелораненым:

— Потерпи, миленький! Ну, потерпи, родной! Сейчас уже. Скоро. — И тут же, повернув лицо к немцу, который, утомившись, бежит за подводой, кричит: — Быстрее, немчура проклятая! Быстрее!

Я молчу, и, видно, потому она поясняет:

— Была бы моя власть, я бы его погнала! Я бы его до Северного полюса погнала. За наши муки! Пусть бы померз, помучился, сколько русский народ мучается. — Затем с твердостью человека, привыкшего, чтоб его слушались, тихо говорит ездовому: — Погоняй! — И опять наклоняется к раненому: — Потерпи, потерпи, миленький!

Да уж терпи как-нибудь: надо спешить. Я и сам едва держусь, нога не только дико болит, но еще и мерзнет под полый шинели. И все же надо терпеть до села. Там штабы, командиры, они что-нибудь сделают.

7

Село возникает неожиданно. На снежной белизне пологого склона балки появляется длинный ряд мазанок. Возле них — изгороди, заросли вишенника на межах, кое-где мирно и уютно мерцают окошки; с улицы доносится урчание машин и голоса. В селе свои. Правда, меня немного удивляет эта беспечность под носом у немцев. Но ведь здесь тылы. Полки, видно, наступают неплохо, впереди танки, артиллерия, чего им бояться?

Дорога катится вниз, дребезжит, грохочет повозка, бога и всех чертей поминает бедолага-раненый. Даже второй, что поспокойнее, и тот поднимается на локте и сжимает челюсти. На его белом, неестественно ошетилившемся лице страдальческая гримаса. Катя заикающимся от тряски голосом успокаивает:

— Счас, счас, родненькие... Счас...

Мы быстро спускаемся по отлогому склону и, проехав короткую, обсаженную вербами греблю, сворачиваем в улицу. Но по улице не поедешь. Впереди, перегородив дорогу, урчит огромный многосильный «студебеккер». Из приоткрытой дверцы кабины высовывается шофер, привычным движением руля он помаленьку сдает назад. У плетня спиной к нам кто-то в полушубке командует нервным осипшим голосом:

— Лево руля! Лево! Еще лево! Давай, давай!..

«Студебеккер» пролезает в непомерно узкие для него ворота, тяжелыми скатами вминает снег, и вдруг обмазанный глиной плетень с хрустом падает на землю. Человек в полушубке вскидывает кулаки.

— Куда даешь?! Куда даешь, собачий ты сын! Где у тебя глаза? Где глаза у тебя, я спрашиваю?

В бешенстве он подскакивает к кабине, кажется, вот-вот набросится на шофера, который неожиданно спокойно басит:

— Во лбу глаза, товарищ капитан.

— Во лбу? — кричит капитан. — Разве они у тебя во лбу? В другом месте они у тебя! Давай вперед!

— Стой, — говорю я, подъехав. Ездовой придерживает коней. Катя соскакивает с передка.

— Товарищ капитан!

Капитан не слышит. Отступив на шаг, он снова кричит шоферу:

— Вперед и право руля. Еще, еще право! Давай, давай!

— Капитан! В степи танки! Кому доложить?

Катя вплотную подступает к командиру. Я слезаю с повозки и на одной ноге тоже скачу к нему.

— Товарищ капитан! Там немецкие танки!

Капитан будто не слышит.

— Право, еще право! Так, так! — Он приседает, заглядывая под кузов машины. «Студебеккер», тяжело урча, начинает въезжать во двор.

— Что, танки? Много? — И сразу к шоферу: — Давай, давай! Прощло! — с облегчением объявляет он и будто впервые замечает меня рядом с Катей.

— Танки! Немецкие! Вы слышите? — кричит Катя. — Вот ударят, будет вам тогда «давай, давай».

— Что? — спрашивает капитан, и осипший голос его снова становится сварливым. — А что вы на меня кричите? Что я — ИПТД¹? Идите в арtpолк и докладывайте. Мне приказано, я ДОП² разгружаю.

— Какой к черту ДОП! Вот двинут на село — будет тогда и ДОП и поп.

— Товарищ капитан! — говорю я как можно рассудительнее. — Послушайте нас.

Катя машет рукой.

— Да ну его, младшой! Он чокнутый.

— Ага, чокнешься! Мне к двадцати четырем ноль-ноль надо шесть «студеров» разгрузить. Понимаете? Наплевать мне на ваши танки.

— Ладно. Дурака кусок, — бросает Катя. — Давай дальше.

¹ ИПТД — истребительный противотанковый дивизион.

² ДОП — дивизионный обменный пункт для распределения продовольствия по частям дивизии.

Она вскакивает в передок, я заваливаюсь в повозку. Ездовой хлещет коней, и, объехав «студебеккер», мы мчимся по улице. А в селе так по-вечернему спокойно и мирно, что мне становится страшно.

В одном дворе, аккуратно «притертый» к стене, стоит «виллис». Возле него молча копаются двое — кажется, выгружают имущество. Где «виллис», там, конечно, начальство, и Катя, завидев машину, сразу останавливает повозку.

— Сиди, младшой, я сама.

Я остаюсь на подводе, а она бежит во двор и что-то встревоженно там объясняет. Вскресе те двое и Катя выходят на улицу.

— Вот младший лейтенант наткнулся. Командира роты убило, — говорит девушка и умолкает, с надеждой поглядывая на впереди стоящего человека.

Я также всматриваюсь в него. Это высокий мужчина, поверх шинели затянутый ремнями, на его плечах широкие, с двойным просветом погоны. Других знаков не видно. Но он в ушанке, и я определяю: майор или подполковник.

— Вы где видели танки? — спокойно обращается он ко мне.

— В степи, товарищ подполковник. — (На всякий случай я беру с запасом, за это не обидится.) — Километрах в трех отсюда.

— Вы думаете, это немецкие?

— Немецкие, — говорю я. — Нас обстреляли. Командира роты убили. Мы с пленным едва вырвались.

Подполковник молча оглядывает меня, затем немца, который в терпеливом ожидании стоит возле подводы, подрагивая от стужи.

— Так. Хорошо. Можете ехать, — помедлив, говорит командир.

Мало что понимая из этого разрешения, я спрашиваю:

— А куда пленного сдать?

— Пленного в Ивановку. Согласно распоряжению командующего сборный пункт для военнопленных в Ивановке.

— Да тут все ранены, — говорит Катя. — Возьмите вы немца.

— Нет. Отправляйте в Ивановку, — с непоколебимой твердостью говорит командир. — И, кстати, сообщите там о танках. Скажите, подполковник Волох послал.

Вот тебе и раз! Мы — им, а они — нам. Договорились! Получили приказ! Подполковник и тот, что в телогрейке, отходят к хате и закуривают. Катя остается с нами, и мы удивленно переглядываемся. Слышно, как тот, второй, тихо предлагает начальнику:

— Видно, надо смываться... Ну их к дьяволу, эти танки...

Я не слышу, что отвечает подполковник, скоро они вдвоем скрываются во дворе. Что-то во мне надывается, и тогда я ругаюсь. На повозке стонут раненые. Катя вспыхивает:

— Тыловики проклятые! На концентратах отъелись — не прошибешь! Хоть караул кричи!

— Гони! — кричу я ездовому. — Гони дальше!

Ездовой опять гонит лошадей. Черт с ними, поедем в Ивановку. Только где она, эта Ивановка? Легко ли ее найти ночью и сколько на это понадобится времени? А тут еще эти раненые... И моя мокрая от крови нога, которая уже почти одеревенела на морозе...

Свернув за угол, мы наскაკиваем на группу бойцов, которые с руганью шарахаются в сторону. Один прижимается к плетню, и по новой цигейковой шапке, а скорее по сумке на боку я узнаю в нем командира. Я хочу остановить подводу, но он останавливает ее сам — в ярости хватая за уздечки коней и заворачивает их поперек улицы.

— Стой!

Голос его не обещает добра — кажется, некстати такая встреча. Но теперь это меня мало огорчает: к черту этикет, если в тылы прорвались танки! И я хочу сказать ему об этом, но он опережает меня.

— Кто такие? Чья повозка?

— Да раненные! Не видите, что ли? Из батальона Шаронина, — отвечает Катя.

— Товарищ командир, — говорю я. — Надо как-нибудь передать в штаб, в разведотдел... Комдиву. В степи недалеко танки. Немецкая засада.

Командир мрачно выслушивает меня. Потом подходит к подводу, заглядывает в нее и, будто не слыша моих слов, тоном, исключаящим возражение, приказывает:

— Слезть всем!

— Да вы что? — возмущается Катя. — Вы что: тут тяжелораненные.

— Санинструктор, да? Ко мне, санинструктор! Вы, раненый, тоже! — не принимая во внимание ее слова, кивает он мне.

Откуда-то возле него появляется автоматчик, теперь их уже двое. Командир стоит в двух шагах от повозки, грозный и неумолимый. Я всматриваюсь в его плечи, стараясь определить воинское звание, но там ничего не поймешь.

— Повторяю: санинструктор, вы — с забинтованной головой, повозочный и вы, — указывает он в сторону немца, — следуйте за мной.

Ничего не поделаешь. Катя первая соскакивает на землю, неохотно покидает свое место ездовой. Держась за края повозки, слезаю и я. Командир ступает вперед.

— Марш в помешение.

Я думаю, что это просто недоразумение. Куда он нас поведет и что мы ему сделали? И я хочу объяснить:

— Вы понимаете: танки. Мы спешили доложить. Через час-другой они могут быть тут.

Командир оглядывается.

— Попрошу помолчать. Пока вас не спрашивают.

— Ну пошли, подумаешь! — говорит Катя и шагает во двор.

За ней идет ездовой, потом немец. Я, хватаясь за изгородь, на одной ноге прыгаю следом за ними. Возле повозки с двумя ранеными остается автоматчик.

Командир ведет всех через двор, затем в темные сени и открывает дверь в хату. На косяке тускло горит коптилка, окна завешаны каким-то тряпьем. Трое ребятишек пугливо бросаются на печь.

— Прошу документы! — говорит начальник, подходя к коптилке, и оборачивается. Я оглядываю его плечи — вот тебе и на. Всего-навсего капитан, а держит себя, как генерал, не меньше.

— Пожалуйста! — с готовностью, но и с подспудным вызовом говорит Катя и лезет за пазуху.

Я нащупываю под шинелью нагрудный карман и достаю удостоверение. Ездовой наш, довольно пожилой, с крестьянским лицом дядька, неторопливо распоясывается и долго копается в складках одежды, пока находит аккуратно завернутую в бумагу красноармейскую книжку. Минуту капитан молча изучает наши документы. Потом обводит всех придирчивым взглядом и останавливается на четвертом — немце, который сутулится в полумраке у самого порога.

— А вы что?

— Это пленный, — говорю я. — Мы его на сборный пункт ведем. В Ивановку.

Я думаю, что он сразу прицепится ко мне и пленному, документов на которого у меня нет, они остались в батальоне. Видно, в том ви-

новат я. Только кто предполагал, что мое конвоирование обернется таким образом! Но капитан, кажется, не намерен придираяться к пленному и складывает наши документы.

— Где вы видели танки? — спрашивает он меня, стоя под самой контилкой.

— В кукурузе. Километра за три отсюда.

— Кому о том доложили?

— Где тут доложишь! — опережает меня Катя. — Тут у вас все как пыльным мешком добитые.

— Два раза докладывал, — говорю я. — Капитану из ДОПа и одному подполковнику.

— Так вот, зарубите себе на носу! — строго говорит капитан. — Больше чтоб ни слова. Поняли? А то панику мне развели! Как в сорок первом. Я вам покажу танки!

— При чем тут паника! — говорит Катя. — Мы докладываем. Что мы, на всю улицу кричим, что ли? Да тут у вас хоть голяси — никого не проймешь.

Капитан выслушивает ее слова и оставляет их без внимания. Обращается он ко мне одному:

— Вы поняли, младший лейтенант? А теперь марш отсюда! В третьей от церкви хате сбор раненых.

Он отдает наши документы и засовывает руки в карманы шинели.

— А пленного? — спрашиваю я. — Возьмите у нас пленного. У меня вот, нога...

— Я не конвоир, — отвечает капитан.

Помолчав, мы нерешительно поворачиваемся к порогу и, натываясь на холодные стены в темных сенях, выбираемся во двор. Морозный снег поскрипывает под ногами.

— Ну и черт с ним! Поехали. О тех надо подумать, а то окочурятся, чего доброго, — говорит Катя и направляется к повозке.

8

Хата санчасти приветливо встречает нас огнями в двух окнах (третье заткнуто охапкой соломы) и песней. Кто-то во все осипшее горло натужно тянет под нестройный басовитый гул нескольких струн гитары:

Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя привозил,
И все биндюжки вставляли,
Когда в пивную он входил...

Знака или флажка на хате нет. Во дворе также ни малейших признаков санитарной части. Но, как говорил капитан, это третья хата от церковушки, что скромно сереет невдалеке, и Катя останавливает коней. Ездовой соскакивает на снег, слезает с повозки Катя. Я также вываливаюсь из подводы, говорю немцу: «Ком!» — и на одной ноге прыгаю к крыльцу. Катя широко отворяет дверь. Пленный уныло идет следом.

Песня и гитара сразу обрываются. В углу и на припечке неярко светят огни двух «катуш». Под потолком, колеблясь, висит плотный слой дыма, в углах царит не побежденный копилками мрак. Резкий запах свежих бинтов, крови и прокисшая вонь шинелей бьют в нос.

— Рама! В укрытие! — после секундной паузы в фальшивой тревоге выкрикивает чей-то голос.

Вслед за Катей я пропускаю немца и перескакиваю через порог. Первым на глаза попадается гитарист. Вытянув на кровати у порога

толсто забинтованную ногу, он замирает с гитарой в руках и, сверкнув озорными глазами, упирается взглядом в Катю. В углах на соломе сидят еще раненые. Кто-то до пояса обмотан бинтами — и грудь и голова, — должно быть, обгоревший танкист.

— Дурной! — с хода бросает Катя. — Чего орешь? А ну встать! Кто старший?

Гитарист, не выпуская гитары и не сдвигая с места раненой ноги, всем телом разворачивается к Кате. Под накинутой на плечи курткой десантника тихо бряцает связка медалей. На потолке замирает большая ломаная тень.

— Отставить! Уже навставались. Теперя все! Крышка!

— Кто старший?

— Старший? Был да весь вышел. К начальству. Хошь — буду я?

— Обойдемся без самозванцев. А ну слазь! — Катя бесцеремонно дергает его за рукав. Куртка сползает — на погонах сержантские нашивки. — Тут тяжелых положим. Где санитары?

— Стоп, рыжая! Не трожь! Я контуженный! — паясничает гитарист и с силой бьет по струнам. — Санитары! Эй, санитары!

Откуда-то из-за перегородки, откинув одеяло, выходят двое в неподпоясанных шинелях. Оба пожилые, мешковатые, видно недавно мобилизованные дядьки.

— Тяжелых внести! Живо! — чувствуя себя начальством, приказывает гитарист и тычет в санитаров пальцем. — Ты и ты! Этот ихний поможет, — указывает он на пленного и вдруг недоуменно моргает. — Ого, Гансик! Братва, Гансик! Ей-богу! Айн, цвай, битерфляй... Ком!

Все в хате оборачиваются к порогу. Забинтованный на полу неестественно выпрямляется, ногами скидывает с себя полшубок и выбирается вперед руки, также забинтованные по локти.

— Немец? Сейчас же кокнуть! Кокнуть к чертовой матери! — выкрикивает он.

Второй, что лежит рядом, что-то приговаривая, укрывает его полшубком. Сержант быстренько соскакивает с кровати и, неся перед собой прямую и толстую, как бревно, ногу, подступает к немцу.

— Спокойно! — говорю я. — Это пленный.

— Ну, конечно, спокойно. Зачем спешить. Успеем!

Сержант ухмыляется и с нарочитой вежливостью берет немца за концы воротника.

— Он же добрый. Он сознательный. Гитлер капут? — ехидно спрашивает он.

— Гитлэр капут, — не очень уверенно, но с готсвностью соглашается немец. Губы у него заметно подрагивают.

Сержант оборачивается к остальным.

— Вот видите! Он добрый. Трофейчики, конечно, все выпотрошили? Ур нету? — миролюбиво спрашивает сержант и сноровисто лапает немца по пустым отвисшим карманам. — Ну, конечно, в кармане вошь на аркане.

И озорно дергает немца за длинный козырек шапки, которая налезает ему на самые глаза. Сержант возвращается назад к койке. Немец покорно поправляет шапку, а я отхожу от порога и опускаюсь у стены на солому. Больше сесть тут негде. На единственной скамейке в простенке кто-то лежит, койку займут тяжелораненые. Гитарист, бережно уложив ногу, берет гитару. К «Гансику» он уже потерял интерес.

Из раскрытых дверей вкатывается облако холода — санитары вносят раненых. Катя укладывает обоих на койку, укрывает рваной шинелью.

— Полежите до завтра. Утром в госпиталь отправка. Доктор сказал.

Один из раненых, видно, уже доходит — глаза полужакрыты, нос заострился, в опавшей груди слышен трудный, тягучий хрип. Второй прерывисто стонет, борется с муками и, повернув набок голову, безучастно оглядывает людей.

— Браток, сверни закурить, — обращается он к сержанту. — В кармане там, браток... И бумага...

Сержант с готовностью откладывает гитару.

· Пожалуйста, отец. Это можем. Пока руки целы. Откуда будешь, землячок?

— Воронежский я.

Раненый сводит челюсти, будто глотает слюну. Взгляд его беспокойно мечется по темному потолку хаты.

— Ну, так совсем земляки. Что Воронеж, что Ростов — одна Расея. На, потяни — полегчает, — участливо обещает сержант и справляется: — Пехота?

— Пехота, — выдыхает затычку раненый и губами снова ловит сигарку.

Немец неловко топчется у печи, не зная, где приткнуться. Держит он себя робко, даже трусовато. Я замечаю это и подзываю его к себе.

— Ком! И садись. Нечего торчать.

Он понимает и, поджав длинные ноги, неуклюже садится напротив на земляном полу. Глаза его осторожно скользят по мне, по сержанту и останавливаются на гитаре. Катя у печки при тусклом свете копошится в медицинской сумке — готовит лекарства. Сержант с силой дергает басовую струну и не в лад затягивает:

Первая болванка попала в бензобак...

— А ну прекрати свое трень-брень, — строго приказывает от печки Катя.

Кто-то из угла добродушно говорит:

— Пусть играет. Может, боль немного заглушит.

Сержант энергично откашливается, собираясь запеть если не лучше, то во всяком случае громче.

Первая болванка попала в бензобак,
Вылез я из танка, сам не знаю как...—

снова фальшивит он, видно, понимает это и, встретившись с немцем взглядом, зло обрывает песню.

— Чего зенки выпучил, фриц? Не нравится? Может, лучше умеешь? Что ты вообще умеешь, фрицевская морда?

— Нэмножко, — вдруг отчетливо произносит немец и протягивает руку к гитаре.

Сержант, склонив вперед голову, с полминуты недоуменно смотрит на него, будто размышляя, стоит ли всерьез принимать его просьбу.

— А ну, а ну! Изобрази-ка... Посмотрим, что ты умеешь. Ну! Давай! Дуй! — неожиданно решает он и отдает гитару.

Немец осторожно берет ее, улаживает на коленях и тихо перебирает струны. В углу снова вскидывается забинтованный. Он ничего не видит и сквозь едва сдерживаемую боль кричит:

— Ага, фриц! Почему вы его не прикончите? Почему вы мучаете меня?

Тогда с соломы поднимается его сосед и легонько, словно ребенка, кладет обгоревшего на спину.

— Ладно. Тихо пока. Помолчи.

Немец не спеша настраивает гитару, мы все с затаенным любопытством смотрим на него — все же нечасто приходится видеть такое. Интересно, что у него получится. У сержанта на узколобом лице уже не ухмылка, а угроза. Мне кажется, если немец чем-то не угодит, то ему уже не спустят — придется тогда защищать. Почему-то я хочу, чтобы он действительно сыграл неплохо. Невольно мною уже овладевает сочувствие к нему в этой хате. Все же он «мой» немец.

И действительно он быстро настраивает гитару, легко и сноровисто начинает перебирать струны. Простой, всем известный мотивчик:

Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч...

Вот так чудо — вот тебе и немец! Играет наше, русское. И раненые, гляди ты, притихли, ни один не вякнет ни слова — слушают. Кто-то в углу вздыхает, потом всхлипывает. Кажется, это обожженный. Ну да что ж ты сделаешь! Что мы все тут, в этой хате, можем сделать, кроме как терпеть боль. Кто больше, кто меньше, кто на день-два, кто на долгие месяцы. Ожоги же будут долго болеть — нет худшей боли, чем от ожогов. Там, в степи за Кировоградом, наступают, окружают, отбивают атаки, освобождают села и станции, а мы тут — сплошной ступок боли.

Сержант на краю кровати смущенно сдвигает измятую, с растопыренными ушами шапку.

— Здорово, шельма! Ничего не напишешь.

— Хоршо шпарит, — одобряют в углу. — А ну еще.

Немец легонько прикасается пальцами к струнам, пробуя их звучание. Сержант подобревшими глазами разглядывает его сверху.

— Ты кто, фашист? — спрашивает он, в упор глядя на немца. — За Гитлера?

— Гитлэр капут! Гитлэр плёхо, — быстро отвечает немец привычной фразой. Снисходительное внимание русских заметно ободряет его.

— Вот это я понимаю, — говорит сержант и бесцеремонно, но уже без угрозы хлопает его по плечу. — Что, сам сдался? Сам плен ком?

— Я, я. Сам, — подтверждает немец.

— Правильно. Одобряю. Дай пять. — Сержант коротко пожимает локоть его занятой гитарой руки и уже почти дружелюбно предлагает: — А ну изобрази еще что-нибудь! Вот эту: «На позицию девушка провожала бойца...»

— «Огонек!» — догадывается немец и быстрым пробегом по струнам заканчивает мелодию.

Удовлетворенный его сообразительностью, сержант одобрительно кивает:

— Вот-вот!

Немец вполне прилично наигрывает «Огонек», и я только удивляюсь, откуда он знает наши песни. Сержант хрипло подпевает, а меня клонит в расслабляющую сладость дремоты. Я чувствую: не надо поддаваться ей, нельзя, мало ли что... Тревога в душе какое-то время борется со сном, но постепенно сон осиливает все — и заботы, и тревогу, и мою боль в ноге...

Проснувшись, я не сразу соображаю, где я и что вокруг происходит. Какие-то люди, встревоженные выкрики, далекие и близкие голоса. Но вот из этого гомона слух выхватывает слова, смысл которых возвращает меня к реальности.

— Младшой! А младшой! Твоего немца забирают...

«Немца? Какого немца?.. Ага! Я же в санчасти».

Я поднимаю тяжелую голову — напротив в хате все в том же прозрачном свете коптилок стоит «мой» немец, и возле него двое — один в шинели, второй в полушубке. Это Шашок и Сахно.

Сахно оборачивается на голос, затем — ко мне. На его выбритом лице с низко надвинутой на лоб черной кубанкой угрюмая важность.

— Вы куда? — осипшим голосом говорю я. — Это пленный.

— Младшой, не давай! Пусть сами попробуют в плен взять, — подбивает с койки сержант.

Сахно круто поворачивается к нему:

— Замолчать! Вас не спрашивают, товарищ сержант! — И ко мне несколько сдержаннее, но все тем же приказным тоном: — Василевич, придемте с нами!

— Куда он пойдет? У него нога!

Это Катя. Она тут же за их спинами. Я вижу ее светлые, рассыпанные волосы и, не понимая еще, в чем дело, но чувствуя, что мне не надо поддаваться им, говорю:

— У меня нога. Вот.

Сахно окидывает меня недоверчивым взглядом и, не произнеся ни слова, возвращается к немцу.

— А пу взк!

Шашок открывает дверь, Сахно легко толкает в нее пленного, который на глазах мрачнеет и, не взглянув ни на кого, выходит.

Взяли — пусть. Мне его не жалко, только развяжет руки. Раненым же, которых, кстати, прибыло, своеволие этого человека не нравится.

— Вот тебе и доигрался! Надо бы сидеть да сопеть в две дырки.

— Повели и шлепнут.

— Факт, шлепнут.

— А что за шишка этот капитан? — спрашивает кто-то из угла.

Ему не отвечать. Катя от порога взмахивает рукой, приказывая замолчать. Все настороженно прислушиваются, я тоже. В сенях слышна какая-то возня, сквозь щель в двери мелькает свет фонарика, доносятся приглушенные голоса:

— Повернись, живо!

— Держи!

— А ну, посмотри сапоги.

— Карманы обшарил?

— Пусто. Все очисти.

— Ладно. Черт с ним...

Сержант ворочается на койке и плюется.

— Сволочи! Была б моя власть — я б их...

Катя надевает на голову шапку и подпоясывает полушубок. Она сердито смотрит на сержанта.

— Чья бы коровка мычала, а твоя б молчала. Сам такой.

— Я такой? Я не такой! — распаляется сержант. — Я кровь проливал. Если что — я кровью плачу. А эти?..

— Ладно тебе. Наплатился...

Круглое рябоватое лицо сержанта расплывается в шутливой улыбке.

— Ты меня не трожь, рыжая. Я злой и контуженый.

— Ханыга ты! — в упор объявляет Катя, шевельнув русыми бровями. В глазах ее, однако, игривость. Видно по всему — этот ершистый десантник все-таки ей нравится.

— Рыжая! Ах ты!.. — Сержант делает стремительный выпад, чтобы ухватить Катю, но та бьет его по парусиновому рукаву куртки и уклоняется.

— Ханыга!

Девушка прорывается к двери, но не успевает выйти, как дверь распахивается. На пороге опять появляется немец, за ним — Шашок и Сахно. Кубанка у Сахно лихо сдвинута на ухо, колючий взгляд подозрительно бегаёт по лицам людей, будто говоря: «А ну, что вы тут без меня думали?» Поведя сюда-туда фонариком, он подступает ко мне.

— Вы что, в самом деле не можете? И встать не можете?

— Нет, почему же...

— Тогда встаньте.

Я пробую встать. Нога отяжелела, повязка набрякла кровью. Где-то в глубине раны дергает — кажется, в эту ночь обработать рану уже не придется. И куда он меня поведет?

— Оружие брать?

— Не надо.

Я кладу на солому свой ППС, который мне, одному, довольно-таки мешает, и опираюсь на чью-то спину. Сахно неуверенно окидывает фонариком обшарпанные стены мазанки. Яркий глазок света останавливается на завешанном одеялом проходе.

— А ну пройдем туда!

Вслед за ним, хватаясь по очереди за койку, лавку и печку, я допрыгиваю до перегородки. Капитан отдергивает одеяло и, посветив фонариком, выгоняет оттуда двух сонных раненых. Мы заходим в темноту, и Сахно приказывает Шашку:

— Давай свет!

Шашок быстро вносит «катюшу», возле фитиля густо присыпанную соль, ставит ее на стол и сам удобно пристраивается на скамье. Я сажусь на какой-то сундук в конце стола. Сахно — напротив.

— Давно тут?

— С вечера.

— А ногу где ранило?

— В степи, где же. На танки напоролись. Он же знает, — киваю я на Шашку.

Тот, однако, не двинет и бровью, будто ничего не помнит, будто и не был с нами в кукурузе. Копаясь в полевой сумке, он выкладывает из нее бумаги.

— А где Кротов? — вдруг быстро спрашивает Сахно и во все глаза, не моргнув, пристально смотрит на меня.

— Кротов погиб.

— А двое пленных?

— Один удрал, наверно, а другой тоже убит. Остался в кукурузе.

— Убит? — с иронией переспрашивает Сахно.

Я с недоумением гляжу в его освещенное «катюшей» лицо. На нем маска сдержанной до времени подозрительности и недоверия.

— Убит, факт.

— Кем убит?

— Ну немцами, кем же еще.

Сахно кивает Шашку:

— Так, записывай.

Тот разворачивает на столе блокнот в мелкую линейку, с черным немецким орлом на обратной стороне обложки. Блокнот — трофейный, это точно, но я невольно задерживаюсь взглядом на этой эмблеме, и что-то вызывает во мне не осознанный еще протест.

— Значит, пленный немец убит немцами? Так? И Кротов также убит немцами?

— Ну, конечно.

— А ну расскажите подробней.

— Что рассказывать! Вон старшина с нами ехал. А потом он вернулся, а мы и нарвались.

Я коротко, без особой охоты передаю суть нашей злополучной стычки с немцами.

— Так-так.— Сахно оживляется и грудью налегает на стол. Стол скрипуче подается в мою сторону. От капитана сильно разит овчинной кислятиной нового полушубка.— Так-так, интересно. Ты записывай, Шашок.

— Записываю.

Шашок, оттопырив нижнюю губу, не очень сноровисто, но старательно скребет ручкой в блокноте. «Что тут записывать? — думаю я.— Что тут непонятного, в чем они сомневаются?» Глаза мои не могут оторваться от фашистского орла на обложке, и я жду, что Сахно спросит еще.

Сахно тем временем продолжает допрашивать.

— А почему вы не побежали за ним?

— Я и побежал. Как ударила очередь — сразу побежал. Не за ним — за немцем.

— А что было раньше: очередь или раньше он побежал?

— Очередь.

— Очередь. Так? А вы же сказали, что Кротов кинулся бежать до очереди.

«Путаает. Ловит. Пошел ты к чертям! Попал бы туда, пусть бы тогда и замечал, что раньше», — раздраженно думаю я и говорю:

— Это все почти разом. Немец кинулся в сторону, Кротов за ним. Тут и очередь.

— Значит, все же раньше Кротов побежал за немцем. Так и запишем.

Что они меня ловят? Что ему надо, этому человеку? Что им до мертвого Кротова?

Но Сахно, очевидно, знает, что ему надо. Он удовлетворенно откидывается на лавке, достает из-за портупеи на груди засунутые туда перчатки и громко хлопает ими по широкой ладони.

— Вот это и требовалось доказать.

— Что?

— А это самое.

Сахно встает, привычно поправляет кобуру на ремне и начинает аккуратно натягивать на пальцы перчатки. Они чего-то добились от меня, но я не понимаю их цели. Я только чувствую, что они перехитрили меня.

— А теперь подпиши, младшой,— говорит Шашок и подсовывает мне тот самый блокнот.

— Не буду подписывать.

Шашок замирает рядом. Сахно останавливается за моей спиной.

— Как это не будешь?

— А не буду, и все!

Оба на несколько секунд умолкают. Я чувствую их растерянность и знаю, что для меня это может кончиться плохо.

— Это почему? — с некоторым даже любопытством спрашивает Сахно. Освещенное снизу тупоносое, старательно выбритое лицо капитана скрывает угрозу.

— А что вы цепляетесь к Кротову? Что он вам сделал?

Не отвечая на мой вопрос, Сахно подступает ближе:

— Не прикидывайтесь! Вы отлично понимаете, что он сделал!

— Ничего он не сделал! Он погиб!

— Ах, погиб! — вдруг взрывается капитан и хватается со стола блокнот. — Погиб! Ну тогда пеняй на себя, сопляк! Понятно? — И тычет под нос блокнотом. — А ну подписывай!

— Сказал: не буду!

— Пожалеешь! Да поздно будет.

Пусть — пожалею. Возможно, я в чем-то ошибаюсь, но я не хочу возводить напраслину на человека, который мне не сделал плохого. Хлопцы за перегородкой утихают. Наверно, отсюда слышно все, но пусть!.. Черт с ними, с этими двумя, что они мне в конце концов делают?

Я снова жду крика, но Сахно вдруг шагает к двери.

— Хорошо! Мы еще вернемся! Мы еще поговорим с тобой! Понял?

Шашок торопливо пихает в сумку бумаги, блокнот и вслед за капитаном выходит. Я медленно поднимаю со стола «катушку». Руки мои дрожат.

В хате гул. От порога ступает Катя. Оказывается, она не выходила, была тут и все слышала. Я знаю, она заступится.

— Что пристали к младшему? — бесцеремонно говорит Катя. → Кротов убит.

Сахно шелкает фонариком и направляет его в круглое, по-мальчишески обветренное и грубоватое лицо Кати. Девушка мучительно хмурит брови, но не закрывается от света — выдерживает его с вызовом в серых глазах.

— А ты видела?

— Видела, — моргнув наконец от резкого света, говорит Катя. — Если б не видела, не говорила бы.

— Проверим! — обещает Сахно, не сводя кружка света с ее лица. Катя вдруг резко бьет его по руке.

— Иди ты со своим фонарем. Чего слепишь?

Сахно опускает фонарик.

— Проверим!

— Вон фрица лучше проверь. Если такой проверяльщик ловкий.

С койки отзывается сержант:

— Проверяли уже и фрица. Сколько можно!

— Не ваше дело. — Сахно оглядывается. — Надо будет — проверим. Кого нужно.

Они идут к двери. Шашок откидывает на толстый зад туго набитую полевую сумку. Забирать немца они, кажется, не намерены.

— Нечего угрожать, — раздается из угла. — Нас уже проверили. Осколками проверили. А то наел харю и угрожает.

— А ну тихо, пехота! — прикрикивает сержант.

Сахно и Шашок не задерживаются. Делают вид, что эти выпады их не касаются. И только сильнее, чем нужно, грохают дверь.

Я ставлю на припечек «катушку» и перевожу взгляд на свое место у стены. Там в полумраке возле автомата, поджав колени, сидит на соломе немец.

— Марш отсюда!

Немец вскакивает, уступая мне место. Завозившись на койке, поворачивает голову сержанту.

— Ганс, садись, где стоишь. Вот передо мной. Посадил бы сюда, да тесно.

Действительно, на койке тесновато, хотя там уже только один раненый. Того, что хрипел, уже нет. Немец, потоптавшись, неохотно подбирает длинные ноги и садится напротив сержанта. Тот, видимо, уже не прочь помириться с пленным. С «моим» пленным.

А в конце концов черт с ним! Чем он дальше от меня, тем лучше! Что я, обязан все время заботиться о нем, оберегать, заступаться? Такой он «мой», как и сержанта, Кати или кого-либо еще. К тому же, может, еще какая-нибудь сволочь, из-за которой снова будет таскать капитан Сахно. Только свяжись — не разделаешься потом.

Болит натруженная нога, на душе противно, будто я совершил подлость. Скорее бы дождаться утра да оставить эту хату, это село.

10

Времени между тем проходит немало. Я не сплю и после всего, что случилось, невесело гляжу в печь, которая жарко пылает, гоняя по стене напротив мерцающие отсветы.

Возле печки, шурша соломой, хлопочут санитары и Катя — они варят картошку. Катя без полусубка, покрасневшая от домашней женской работы, сноровисто двигает казанами на припечке. Сержант перевешивается грудью через койку и своими широкими лапищами все норовит схватить девушку. Та едва ускользает от его рук, изредка не очень больно хлопая его черенком ухвата по голове. Сержант хохочет, сдержанно улыбается немец.

Скоро, наверно, сварится картошка. Я уже ощущаю ее душистый пар в хате и порой забываю о ране, о степи с танками, о своей стычке с Сахно, которая черт знает чем еще кончится. Я прислушиваюсь к каждому стуку в сенях — только скрипнет дверь, а мне уже кажется, это за мной. Но это ходят бойцы, носят солому, воду. Неожиданно в хату вваливается высокий в расстегнутой шинели санитар. В обеих руках у него что-то серое и мягкое.

Катя испуганно шарахается в сторону.

— Ой, что это?

Санитар тихо смеется и бросает на пол две неподвижные кроличьи тушки.

— Где ты их взял? — спрашивает Катя. Испуга в ее голосе уже нет, есть удивление и радость: в самом деле, довольны были картошкой — и вдруг крольчатина.

— Там, в сенях, — кивает санитар.

Он снова выходит добывать хозяйских кроликов. Катя поднимает за длинные уши серую мягкую тушку, минуту в тихом раздумье смотрит на нее и протягивает санитару:

— На-ка, освежуй.

Санитар озабоченно сдвигает на затылок шапку. Оказывается, он не умеет.

— Вон фриц пусть.

Немец, кажется, уже освоился в этой хате и с интересом наблюдает за тем, что происходит вокруг. Видно, он догадывается, в чем дело, и не заставляя себя упрасивать.

— О фройлен! Могу это сделать.

Катя секунду медлит. Испытующе смотрит на немца и говорит уже незлобиво:

— Ах ты шкуродер. Набил на людях руку...

— Ладно, ладно! Пусть, — обрывает ее сержант. — Давай делай, арбайт, Ганс.

— Нехай повозится, чего там, — замечает санитар. — Держи финку.

Он достает из кармана кривой садовый нож на цепочке, отцепляет и отдает его немцу. Тот с готовностью приседает на колени и в свете печи прямо на полу начинает свежевать тушки.

— Айн момент, фройлен. Бистро. Бистро.

Мы все с любопытством следим, как он надрезает задние лапки, распарывает кожу и, словно чулок, снимает с тушки мягкую влажную шкуру. Сержант с койки похваливает:

— О, правильно, Гансик! Покажи класс. Сразу видать: спец!

Катя хмурит брови, наблюдая за уверенными движениями немца. Светлые отросшие волосы падают ему на глаза, и он оттопыренным большим пальцем то и дело откидывает их назад.

— Ага, гляди ты! Молодец! И тут мастер,— отзывается кто-то из угла.

— Рукастый.

— Потому что работяга. Не то что вы,— говорит сержант.

Немец бодро приговаривает:

— Айн момент. Дас ист кароши братен. Жаркёя.

— Жаркое! Смотри, понимает! — восхищаются в углу.

— А что ж ты думал! Мало нашего добра пережарили за три года. Научились.

В углу вскидывается с соломы спеленутый бинтами обгорелец:

— Доктор! Доктор тут есть?

В хате все умолкают при виде этого белого, как привидение, в бинтах человека.

— Доктора нету,— говорит Катя.— Он оперирует. А что вам?

— Выбраться из этого свинушника. Сколько можно ожидать?

— Сказали — утром.

— Что значит — утром? — возмущается обгорелый.— Майора вон когда увезли!

— А майора в авиаторский госпиталь. Он летчик,— говорит на кровати сержант.

— Летчик? Я тоже летчик. Вы что — не видите? Я обгорел! Отправляйте и меня.

Все молчат. Действительно, это не шутка, если так сильно обгорел. К тому же летчик. Летчиков мы уважаем. Было бы на чем везти, наверно, каждый уступил бы ему свое место.

— Ладно, потерпите немного. Вот скоро крöльчагины наварим,— примирительно говорит Катя и прикрикивает на немца: — А ну, Гитлер, шевелись мне живей!

Но немец и так усердствует, даже вспотел. Нашей болтовни он не слушает — все его внимание сосредоточено на работе. Пожалуй, он неплохой дядька. Правда, как почти и все пленные, он несколько глуповат с виду, потому что не понимает по-нашему. А так прост и услужлив, видно, легок на руку и охоч к работе. И все-таки кто он? Внешне — обыкновенный, далеко не фашистского склада солдат, а может, и унтер-офицер, который хлебнул лиха на войне, попал в плен и вот вынужден угождать, потому что боится. Неизвестно только, как он оказался в плену: сам сдался или сцапали хлопцы из батальона. Хотя в конце концов это не так уж и важно.

11

Вкусно пахнет вареной картошкой и мясом. Катя, склонившись над казанами, раскладывает картошку в котелки, миски и даже пустую каску, которую, присев на корточки, держит широко-скулый боец узбек. Тут же на полу сидит немец. Поварская работа у печи окончилась, нужда в пленном отпала, и он, видно по всему, без дела снова чувствует себя лишним.

В это время за Катиной спиной открывается дверь, и с облаком пара через порог стремительно вваливается кто-то в густо заиндевешей шинели.

— Привет! — весело говорит вошедший.

Молодое курносое лицо покраснелось от стужи, голос выдает совсем еще мальчишеские годы. Он ранен и правую руку держит на бинте-подвязке.

— О, тут и фрицы! — радостно удивляется парень, увидев немца.— Гут абенд, фриц!

Немец вскакивает с пола и привычно щелкает каблуками.

— Гутен абенд, герр офицер!

— Вольно! — усмехается офицер.

И тут я улавливаю что-то знакомое в этом голосе, смехе. Постой, да это же...

— Стрелков! Юрка! — кричу я, пытаюсь встать.

Юрка бросает в мою сторону несколько растерянный взгляд и в недоумении раскрывает рот. Он не узнает, да и можно ли тут узнать кого-нибудь в этой темени. И все же он догадывается:

— Василевич?

— Я самый! Давай сюда!

Я на минуту забываю о всех моих бедах, неудачах и даже о боли в ноге. Да и как не забыть, если это Юрка Стрелков, мой однокашник, друг, младший лейтенант, пехотинец, с которым мы полгода назад вместе окончили училище и попали в одну армию. После дождливого дня под Харьковом, где нас разлучили кадровики, я, по правде, уже и не надеялся увидеть его. И теперь вот такая встреча!

Широко расставляя между лежащими свои заснеженные валенки, Юрка торопливо лезет ко мне, хватая левой рукой мои пальцы и крепко жмет их.

— Ленька! Ты жив, Ленька!

— Да вот как видишь!

Едва справляясь с волнением, я гляжу в затемненное сумерками такое знакомое, оживленное лицо друга. Юрка тоже эгладывает меня и смеется:

— Какой ты обвязанный — не узнать!

— Ерунда! Бинтов намотали. А у тебя что — рука?

— Да, понимаешь, угодил ненароком.

— Легко?

— Царапина. Вот только стрелять мешает. А так... Ну да знаешь, мы отыгрались! — Юрка говорит, глаза его блещут.— Уж так дали, так дали, чтобы ты только знал. Учинили побоище не хуже Ледового...

— Ты садись! Вот, на солому.

Юрка опускается рядом со мною, хлопцы отовсюду поглядывают на него — заснеженного, разговорчивого, веселого. А он, кажется, полон чем-то своим.

— Ты понимаешь! Ты понимаешь — я же только из степи. Вот час назад! Ну мы им там и задали! Да так ловко, без выстрела, без звука подпустили на пятьдесят метров... Комбат на этот раз просто молодчага...

— Постой, постой!.. Ты где? Я даже не знаю, в какой ты дивизии служишь. У Терехова?

— У какого тебе Терехова! У полковника Калюжного. Гвардия!

— Так, так...

— Ты понимаешь? За десять минут мы сделали из них мясокомбинат. Разом как ударили из всего оружия. Девять станкочей, две сорокапятки. Ты бы поглядел, что там делалось!..

Я и так рад. Еще толком не зная, что там произошло, я уже готов завидовать Юркиной ратной удаче. Да я и завидую. Что и говорить, пехоте нечасто перепадает на фронте минуты вроде только что пережи-

тых Юркой, когда грудь распирает от хмельного счастья удачи. Нам привычнее серые будни войны — стужа, мокрые ноги, кровавые бинты на немом теле, уничтожающий немецкий огонь — и — как награда за все — короткий тревожный сон где-нибудь на соломенном полу в хате.

— Понимаешь, целую колонну, человек триста с артиллерией! Ты понимаешь или нет? — тормозит он меня за рукав.

— Понимаю, понимаю, Юрка. Но давай сперва подкрепимся. Эй ты! — кричу я на немца. — Поддай котелочек. На двоих.

Немец охотно подает нам плоский котелок, полный картофеля. Потом на погнутую крышку Катя кладет кусочек крольчатины.

— Вот вам и ножка, товарищи командиры, — говорит санитар, передавая крышку через головы других.

Юрка жадно втягивает носом воздух и удивляется:

— Что? Мясо? Вот это да! Ну коли так, то... Держи!

Он решительно отстегивает от ремня немецкую фляжку и протягивает ее санитару. Тот, не понимая, вертит ее в руках. Но тут над его плечом мелькает цепкая рука сержанта, и фляжка оказывается на койке.

— А ну, а ну...

В хате легкое замешательство, все поворачиваются в нашу сторону. Сержант же, придав комически глубокомысленное выражение хмурому лицу, исследует фляжку. Для этого он сперва тихонько взбалтывает ее и прислушивается.

— Шнапс!

— Что-то в этом роде! — отвечает Юрка. — Трофей наших войск.

Сержант важно открывает пробку, нюхает и выразительно крикает от удовольствия. Кто-то из угла кричит:

— Не ломай комедию! Разливай!

Сержант округляет глаза:

— А если отравлена? Нужна проба.

— Иди ты! Какая еще проба!

Ну, конечно же, пробу он берет сам. Задирает голову и громко глотает, правда только один раз. Раненые не отрываясь следят за его лицом, а сержант на минуту застывает, будто прислушивается к движению водки внутри. Потом решительно объявляет:

— Люкс! А ну давай тару! Младшой, от лица службы тебе благодарность!

— Служу советскому народу, старшине и помкомвзводу! — смеется Юрка и тут же обращается ко мне: — Ты понимаешь, я сам опорожнил шесть лент. Шесть лент — ты понимаешь? «Максим», как самовар, раскалился.

Неожиданная догадка заставляет меня насторожиться.

— Стой! Это где? Не возле Алексеевки?

— Ага. Невдалеке. Видно, прорывались на запад, к своим.

— Пехота?

— Пехота и артиллерия.

— А танки?

— Что?

— Танков не было там?

— Нет, танков не было. Пехота. Глядим: идут к кукурузе, растянулись, как кишка. Ну, комбат положил всех и командует: замри. Так удачно подпустили, луна светит, уже пуговицы на шинелях видны стали. И как врезали! — восторгается Юрка и несколько тише сообщает: — На меня наградной лист написали. На «Отечественную»... Второй степени.

«Отечественная» — это здорово! Надо бы поздравить, но я не поздравляю — я вглядываюсь в покрасневшее лицо товарища и стараюсь понять, что же он рассказал мне. Действительно, это уходила пехота,

а где же танки? Значит, танки остались? Они на прикрытии. Пехота, очевидно, двинулась раньше, подтягивалась к Алексеевке, а танки...

Черт возьми, мне снова становится жутковато. Внимание невольно переключается на слух. Не слышно ли чего? Нет, кажется, гула не слышно, только вдалеке проржал конь да кто-то, проскрипев на снегу, прошел возле хаты.

В деревне тихо. А в хате тем временем начинается шумный беспорядочный разговор:

— Ну, будем здоровы!

— Чтобы скорей раны залечивались.

— Катюша, не отказываться. Хоть немножко! За разведчиков.

— А фрицу? Хлопцы, фрицу налили? — беспокоится кто-то в углу.

— Нет, тебя ждали, — простуженным басом отзывается сержант и с алюминиевой чашкой для бритья поворачивается к немцу.

— Ганс!

Пленный с несколько чрезмерной торопливостью вскакивает и щелкает каблуками.

— Яволь!

— Держи.

Немец слегка приподнимает чашку и провозглашает в полупоклоне:

— Гитлер капут!

— Давай-давай! — одобряют кругом.

— Ну, поехали, ребята! За победу!

Я также поднимаю большую — на пол-литра — луженую кружку, на дне которой плещется немного жидкости: это нам с Юркой. Кажется, мы пьем с ним вместе первый раз в жизни, хотя почти год пробыли в училище. Но тогда было не до выпивки — тогда мечтали хотя бы поесть досыта.

— Юрка, дружище! — говорю я. — Холера! Как хорошо, что мы встретились!

Юрка беззаботно смеется.

— Ну давай!

Три глотка обжигающей жидкости, потом — захватывает дыхание и прорывается предательский кашель. Ого, видно, это не шнапс, похоже спирт. Но тут — горячую картошину в рот и прядочку волокнистого белого мяса. После меня, также поперхнувшись, из кружки допивает Юрка.

А ничего себе — и выпивка, и горячая картошка (если бы еще хлеба!). Торопливо, с усиливающимся шумом в голове едим, а из души уже рвется наружу вместе пережитое, то, что отошло в прошлое, но вдруг воскресло во мне с приходом Юрки.

— Слушай, а ты Дроздовского не встречал?

— Дроздовский же погиб. Еще на Днестре. Под бомбежку попал.

— Гляди ты! Такой осторожный. А где это наш помстаршина Одиноков?

— Одиноков — ого! Одиноков комбатом стал.

— Комбатом?

— Правда, недолго. Ноги оторвало. Под Пятихаткой.

— Жаль... Только зануда он.

— Зануда, — соглашается Юрка.

— Да-а... Ну, ты ешь. Бери вот кость.

— Нет уж, кость ты бери. Я картошку.

Картошку мы едим дружно. Кость на крышке остается — ее не поделишь. Черт с ними, с танками, я уже их не боюсь. В конце концов ни черта они нам не сделают. Ротмистровцы из пятой танковой уже, видно, окружили Кировоград, мы наступаем, наша берет. Плевать нам

на танки, пусть себе уютжат в степи кукурузу. Завтра привалят ИЛы, устроят им Сталинград.

Мне становится хорошо, легко, даже весело. Я люблю Юрку, Катю, этого арапистого сержанта в куртке десантника и тех вон санитаров, что с блаженными улыбками на щетинистых лицах подпирают плечами печь. И даже немца. О, как он мирно и вкусно выскребает картошку из котелка — любо поглядеть.

Разговор в хате становится громче, оживление растет. Нет-нет да и раздастся смех. Раненные забывают про свою боль. И все Юркина фляжка!

В углу под клубами табачного дыма кто-то, смакуя сигарку, рассудительно, со скрытым желанием поразить своей удачливостью рассказывает:

— Да-а. Душа, она чутье свое имеет. Как-то лежу под тыном — село одно брали. Пули верхом идут. Да что-то меня будто подмывает — а ну, Петро, перебегай. Не хочется вставать, пули свистят. Но побежал. И только я это упал под стенку, сзади ка-ак шарахнет! Как раз на том самом месте. Вот как бывает.

В другом углу, возле перегородки, видно, собрались бывалые солдаты, и у них уже другая тема и другой разговор.

— Пуля что! Пуля аккуратная. Тюкнет — и маленькая дырочка.

— Особенно если навыйлет.

— Точно комар укусит. Месяц — и все готово: заживет, как и не было.

— Ну не говори. Бывает, рикошетом которая, та уж продырявит здорово.

— Пуля — что! Осколок — вот это калечит!

— Осколок, оно, конечно.

— На четверть разворотит! Да еще докторá на две четверти распосуют.

— Ага. Рассечение называется. Я знаю.

— Ну. Вот тогда повоешь. На квартал, не меньше.

А откуда-то неподалеку из шума и говора пробивается тихий, рассудительный голос:

— Понимаешь, пришел. А она возле меня увивается... Говорю: «Как живешь, Глафира?»... Так спокойно, но гляжу, мельтешит у нее что-то в глазах. А знаешь, люди мне уже кое-что шепнули... «Стерва, говорю, кому изменяешь?»... Понятное дело, ремень, он хоть и брезентовый, но твердый... Ну, завязал вещмешок и на станцию... Капитан говорит: «Ты что, Сокольников, досрочно?» — «Досрочно, говорю, желаю быстрее врагов бить». — «Молодец, говорит, патриот. Берите, товарищи, пример с рядового Сокольникова».

Накинув на плечи полушубок, по ногам к нам пробирается Катя.

— А ну, подвинься.

— Пожалуйста, сестра, — говорит Юрка, с готовностью давая ей место у стены.

Катя молча садится, прикрыв колени полой полушубка. На койке захмелело кричит сержант:

— Ганс, ком!

Немец выдрессированно вскакивает с пола.

— Ты за кого? А ну скажи? Чтоб все слышали!

Пленный старается понять, но это ему не удается, и он мучительно моргает глазами. Сержант старательно разъясняет:

— Ну, кто ты? Буржуй? Рабочий? Фашист?

— Их бин дейчер лерер, — наконец догадавшись, отвечает пленный.

Но бойцы вряд ли понимают его и вопросительно глядят из углов, со скамьи, с пола. Они пока что отвоевались и теперь добрые. В глазах удовлетворение и покой. И хотя белеют в сумраке забинтованные руки, ноги, головы, но это теперь не беда, а скорее удача, ибо главное — живы. И если все же болит где-то, то разве в том вина этого вот покорного, услужливого и даже пугливого немца, который сам сдался в плен? Немец, наверно, чувствует это и спокойно смотрит, как из угла пробирается к нему низенький в обмотках пехотинец с рябоватым от оспы лицом. Под накиннутой шинелью у него толсто забинтованное плечо. Это, кажется, тот, что беспокоился, налили ли немцу выпить.

— Слушай, фриц! А у тебя дети есть? — спрашивает он.

Немец не понимает.

— Ну дети, кумекаешь? Пацаны, вот такие? — Ладонью он отмеривает высоту вровень с поясом.

← Киндер? — догадывается немец и торопливо отвечает: — Цвей киндер. Два ребьёнка.

— И у меня двое детей! — Рябоватое лицо пехотинца сияет в простодушном восторге.

Немец тычет себе в грудь пальцем:

— Их никс наци. Их бин ляндререр.

— Да, да,— вряд ли что понимая, соглашается боец.

Я поправляю на соломе ногу. Рядом удобнее устраивается Юрка. Катя, кутаясь в полушубок, говорит:

— Не верю я ему.

— Ну почему? — возражает Юрка.— Бывают и среди них люди.

— Ирод он, а не человек.

— Почему так?

— Так.

— Вот те и раз! Это что такое? — вдруг удивляется сержант, поднимая колпачок от Юркиной фляжки, в который он наливал соседу по койке. Спирт в колпачке остался нетронутым.

— Эй, землячок, ты что махлюешь?

Он тихоенько толкает раненого в плечо. Еще недавно тот стонал и метался, а теперь и не пошевелится.

— Эй! — Сержант встревоженно присматривается к нему.— Да он уже готов!

К кровати подходят санитары, встает Катя. Они долго щупают у бойца пульс.

— Фу ты, холера! И спирта не допил, чудак.

Санитары за полы шинели стаскивают труп с койки и, напустив холоду, выносят его из хаты. Им помогает немец, потом он возвращается и, не зная, куда себя девать, жметя к порогу. Но его скоро замечает сержант.

— Ганс, ком сюда. Место есть. Ну, помянем земляка! — говорит он и ловко опрокидывает колпачок. Немец учтиво садится на койку.

— На здоровье!

Сержант крикает и хлопает немца по плечу.

— Правильно, Ганс. Ты где так по-русски наловчился?

— Руссише шпрехен? О, биль фаль¹, — скромно отвечает немец.

Фаль! Будто знакомое слово, только я уж не припомню, что оно означает. В голове моей все устало путается.

— Юрка! А Юрка!

Юрка, прислонившись к стене, молчит. Я заглядываю в его затененное лицо: вот тебе и на — уже уснул...

¹ Случай (нем.).

Юрка устало спит рядом, уронив на грудь светлую голову. Здоровой рукой он осторожно поддерживает раненую и тихо посапывает в нос — по-домашнему мирно и сладко. Кругом успокаиваются, устраиваясь на ночь, раненые. Шум в хате постепенно утихает. Густо, не продохнуть, воняет шинелями, потом, бинтами. У меня сильнее начинает болеть нога, горит, жжет в стопе. Уснуть я уже не могу и молча гляжу на моего сонного друга.

Эх, Юрка, Юрка! В самом деле, как это здорово, что мы вот так неожиданно-негаданно встретились сегодня, а завтра, возможно, сядем в санитарную машину и рванем в тыл — подальше от танков, от огня и бесконечных фронтовых тревог.

В сонной тишине хаты память возвращается к недавнему прошлому, к нелегким училищным месяцам.

Я вспоминаю, как однажды мы с Юркой в наряде простояли ночь на двухсменном посту, который на день обычно снимался. Этот пост давал нам право отлежаться в караулке на нарах (если голько не было к нам никаких дел у грозного бога роты — старшины Шквары). Впрочем, в тот день с рассвета первым завалился спать я, так как отстоял свое на посту, и прохрапел до самого завтрака. Юрка же, сменившись позднее, побежал к столовке раздобыть харчей, и там ему подвернулся прямо-таки невероятный по тому времени случай.

Возбужденный, он пулей влетел в караульное помещение и, с трудом растолкав меня, еще не пришедшего в себя ото сна, потащил к складу. Оказывается, там нас ждала автомашинка-фургон, в которой возили из города хлеб и к которой Юрка только что подрядился в грузчики. Заведующий складом, молчаливый пожилой мужчина в куртке, терпеливо ждал Юрку, хотя рядом, наперебой предлагая услуги, стояло человек шесть курсантов. И все же Юрка, рискуя остаться ни с чем, бежал за мной, и мы, едва переводя дыхание от усталости, наконец залезли в кузов машины. Заведующий сел в кабину.

Мы ехали, рассчитывая через час вернуться, наевшись свежего хлеба и (если повезет) еще прихватив буханочку-другую про запас. Ради хлеба мы сознательно жертвовали завтраком — двухсотграммовой пайкой, миской супа и чаем.

Правда, заведующий складом разочаровал нас. Оказалось, что, прежде чем ехать за хлебом, надо привезти мясо. Около часу мы таскали на мясокомбинате бараньи туши в машину и положили их столько, что едва поместились сами. Потом голодные сгружали туши на складе и, не позавтракав (так как уже опоздали), на той же машине снова отправившись в город. Но и на этот раз хлебозавод остался в стороне, мы приехали на базу, где нам была приготовлена еще более трудная работенка — перенести целый штабель мешков с мукой. Наверно, каждый из нас в отдельности весил меньше, чем любой из этих стандартных шестидесятикилограммовых мешков, которые мы просто не могли поднять. Но что мы могли сделать, коль вызвались в грузчики? Хорошо, помог завскладом, но когда мы муравьиным способом перетащили муку в машину, оказалось, что сил у нас осталось только на то, чтобы самим залезть в кузов. А впереди еще ждала разгрузка. К тому же мы прозевали и обед и опоздали в караульное помещение. В перспективе была гауптвахта, а может быть, и того хуже.

Но третий рейс действительно был за хлебом, и мы рискнули: все равно влипли. Что уж горевать по лишнему часу самовольной отлучки, если мы не были в казарме восемь часов.

Хлебозавод встретил нас такой концентрацией хлебного запаха, что

мы готовы были забыть про все наши беды и вообще не возвращаться в тот день в училище. Поджаристыми, душистыми до охмеления буханками были уложены десятки ячеистых стеллажей с узкими проходами между ними. Хлеб целыми стеллажами взвешивали и отдавали на погрузку в машины. Казалось, мы могли съесть по десятку буханок, но съесть даже кусочка тут было нельзя. Мы думали: пусть! Наедемся потом.

Это «потом» представилось только тогда, когда в закрытой машине мы тряслись рядом с теплой грудой буханок и глотали, не жуя, мягкие, распаренные корки. Впрочем, много ли их можно проглотить за каких-нибудь пятнадцать минут дороги по ухабам зимней окраинной улицы? Потом мы разгружали — честно, до последней буханки.

Завскладом немало помучил нас, но и неплохо отблагодарил. Мы получили три еще теплые буханки и побежали в свои казармы. Спешить в конце концов не имело смысла, так как на поверку мы давно уже опоздали. В городке все утихло, только по дорожкам возле казарм ходили патрули. Они-то и задержали двух похожих на воров или диверсантов нарушителей воинского порядка.

Стычка с ними была не очень приятной, зато все же недолгой. Чтобы не попасть к дежурному по училищу и не потерять все, пришлось пожертвовать одной буханкой. Вторую мы предусмотрительно припрятали в снегу возле забора, а с последней под полой у Юрки, едва преодолевая страх, открыли двери казармы.

Нам решительно не везло в тот день, и мы окончательно поняли это, как только переступили порог и увидели между нар на проходе нашего старшину Шквару. Двое дневальных начинали мыть полов, а старшина, по-наполеоновски скрестив на груди руки, холодным взглядом всевидящих очей глядел на нас. «Где были? Отвечайте! Молчать, когда разговариваете со старшиной! Я вас спрашиваю, где были? Молчать! На губу захотели?..» И вдруг старшина сменил гнев на ехидную милость: «А ну, а ну, что это у вас? А ну?..»

Так безвозвратно погибла наша вторая честно заработанная буханка, вместо которой старшина тут же наградил нас четырьмя нарядами (мало нам в тот день пришлось потрудиться!). Сняв шинели и почти глотая слезы, мы принялись драить пол.

Мы проклинали тогда старшину, ледяную воду, которую надо было таскать в ведрах от самой столовки, проклинали заведующего складом, который довел нас до таких мучений, и все на свете. Единственным нашим утешением была третья буханочка, которая ждала нас под забором.

Но к той буханке раньше нас добрались собаки.

Когда мы, уже далеко за полночь справившись с полами, увидели возле забора примятый собачьими лапами снег с крошками хлеба, то на минуту онемели. Юрка, видно, первый раз в жизни выругался и опустился на снег. Мы едва добрались до нар...

Правда, наутро, позавтракав, мы уже не считали это самой большой неудачей в жизни. А еще через неделю рассказали ребятам про наш злополучный заработок. И хлопцы надрывались от смеха. Да и мы тоже.

...В хате густой — не передохнуть — смрад. Кто-то бормочет во сне, кто-то стонет. В двух местах храпят. На припечке догорает последняя «катушка». Немец на кровати тоже утих и, навалившись на колени, спит сидя. Дремлет у порога санитар. Один только сержант возится в изголовье, поудобнее устраивая ногу и кутаясь в десантную куртку. Потом он собирается закурить и достает из кармана круглый оранжевый портсигар.

В который раз я поправляю на полу ногу. Сержант поднимает голову.

— Болит?

— Болит, зараза!

— Моя тоже. Днем еще терпимо, а ночью рвет, не уснуть.

— Наверно, ночью все раны сильнее болят.

— Ну, а ты думал,— соглашается сержант и после паузы сообщает: — Слушай, младшой, а твой немец, кажись, ничего.

— Кто его знает. Может, и ничего.

— Понимаешь,— сержант сосредоточенно прикуривает от зажигалки.— Понимаешь, я было хотел его шпокнуть. Поначалу. Зол я на них, есть причина. Да гляжу — какой-то уж очень он не такой, этот фриц. Двое детей у него... Хотя бы уж буржуй какой-нибудь. Или эсэсовец.

Я молчу. Я понимаю его злобу на немцев. Только вот думаю: очень уж легки у нас стали на суд и расправу. Ни тебе начальства, ни трибунала, так просто, за здорово живешь — шпокнуть! Впрочем, видно, виноват и я — пленным надо доводить до места, а не отираться с ними по санитарным частям, где раненые нервные, злые. Но это уже другой разговор.

— Понимаешь, третий раз не везет,— выдыхая дым, тихо говорит сержант.— Все не могу. Или, может, тютхтяй такой стал. Первый тяжелораненый попался, встать не мог. Взял его винтовку, думаю, сейчас я тебя доконаю. Загнал патрон в патронник, а он так глянул на меня и говорит: «Данке, рус! Найн Сибир!» Ах ты, думаю, гад, Сибири боишься. Тогда живи, отведай Сибири! Не стал стрелять. Другого под Золочевом схватили. В разведке. Хотел пырнуть финкой, да не смог — молодой такой, пацан пацаном. Как наш Маковчик. Был такой в роте. Худенький, тоненький и кашляет. Ну и отвел в штаб, черт с ним, думаю. Попадется же в конце концов эсэсовец, тогда расквитаюсь.

Сержант, кряхтя, удобнее прилаживается на койке и прислушивается к грохоту какой-то машины за окном.

— Завтра эвакуируют. На месяца два теперь отдых... Перевязки. Сестра — утку! Паскудство одно. Не люблю! — отрезает он и затыгивается из трофейного мундштука. Потом хмурится.— А Маковчика через неделю осколком в позвоночник. Эх! Разрази тебя в тысячу трахтарарах!..

Он остервенело ругается пятиэтажным матом и злобно плюет в порог. Рядом поднимает голову Катя; оказывается, она не спит — печально сидит, опершись на коленки, словно обособившаяся от всего в этой хате. В ее невеселых глазах слезы. Я даже пугаюсь.

— Вы что?

Она даже не повернет головы.

— А тебе что за дело?

— Да я так. Думал...

— Отстань.

Можно и отстать, коли нет желания ответить. В самом деле, чего мне набиваться с сочувствием, разве мало своих забот и своей боли? К тому же усталость берет свое, и меня снова начинает одолевать сон. До утра, видно, еще далеко...

Га-ах!

Улица озаряется разноцветной огненной вспышкой. Пешеходы, радостно вздрогнув, вскидывают вверх лица. Мерцающий зеленовато-красный отсвет разливается по мостовой.

Фейерверк вырывает меня из прошлого. Я оглядываюсь. Незнакомые строения, узкий малолюдный тротуар. Булыжную мостовую прорезают трамвайные колеи. Несколько дальше — глухой неокрашенный забор с козырьками и обрывками афиш на досках. Черт знает куда меня занесло.

На краю тротуара смущенно останавливается старушка с посошком и сумкой в руках. Испуганно вглядывается в полное отсветов небо. Из сумки блестят фольгой головки молочных бутылок. Кончик посошка мелко дрожит на асфальте.

— Не бойся, бабка. Это салют.

Старушка поднимает на меня морщинистое лицо. Под ее подбородком торчат два уголка низко повязанного платка.

Видно, она не слышит и пристально смотрит, раскрыв беззубый рот.

К уличному перекрестку с визгом и грохотом катится трамвай. Из переулка выскакивает «волга». Старушка нерешительно ступает на мостовую и испуганно возвращается на край тротуара.

— Может, помог бы? А, сынок?

Я беру ее под руку. Старушка отрывает от тротуара свой посошок и мелкими шажками идет со мной на середину улицы. Рядом, легко опередив нас, перебегают две девушки.

На середине нас настигает новый воздушный залп. Разноцветные огненные сполохи загораются в окнах этажей. Девушки, мелькнув лодыжками, вскакивают на тротуар и оборачиваются.

— Линочка, какая прелесть!

— Чудо!

Старушка вся сжимается и от страха, кажется, вот-вот готова присесть.

— Ой, боже милостивый! Ой!

— Не бойтесь! Что уж вам-то бояться?

Она тяжело взбирается на тротуар и успокаивается, будто тут взрывы ее не достанут.

— Ну что же они? Так долго! — нетерпеливо притоптывают на краю тротуара девушки. Замедляя шаг, мы подходим к первому же подъезду, и старушка останавливается.

— Ну, спасибо тебе, сынок. А то так боязно ходить тут. Знаешь, раньше мы на Комаровке жили, да вот дом на ремонт взяли. Так теперь восьмой месяц у чужих маемся. Ну, пойду. Пока сготовишь поужинать... Да и Витенька заждался. Один дома.

Я прощаюсь с ней и окликаю девушек:

— Скажите, это какая улица?

Как по команде, они обе враз поворачиваются. Из-под мохнатых ресниц стреляют два любопытных взгляда. Какие-то они уж очень стройные, легонькие и похожие одна на другую. Как сестры.

— А вам какую надо?

— Да мне чтоб к центру.

— К центру — туда. К вокзалу — туда, — машет одна поочередно в оба конца улицы.

На минуту я останавливаюсь. Зачем мне идти к центру? Все равно в гостиницу уже не устроишься: время позднее. Не лучше ли отправиться на вокзал? Там хоть можно как-нибудь скоротать ночь. Опять же хочется есть. Кажется, я так и не пообедал сегодня. Только выпил полстакана водки.

И я поворачиваю в сторону вокзала. Девушки сзади кричат:

— Гражданин, не в ту сторону! Центр — туда.

— Спасибо. А я — сюда.

Не оглядываясь, я слышу, как они там хихикают:

— Чудак. Он действует от обратного.

Покоем и вечерним уютом светятся окна домов. На углу из большого «гастронома» выгружают молочную тару. Высокие штабели проволочных ящиков с бутылками, мелко позвякивая, сдвигаются на тротуар. Рабочие ловко орудуют железными крючками. Одна за другой спешат женщины-хозяйки с сумками, хлебом, кульками — торопливые покупки на исходе дня. Им не до праздника. До отдыха им также еще не близко — надо прибрать, накормить, приготовить что-нибудь к завтраку. Мужчина на краю тротуара, бережно придерживая, катит велосипед с картонным ящиком, хитроумно прикрепленным к багажнику. Не иначе телевизор из универмага. Рядом — жена. Они о чем-то оживленно спорят — видно, никак не решат, в каком месте комнаты «утвердить» покупку.

За магазином на углу начинается улица пошире, в конце которой — залитая светом площадь. Это вокзал. На тротуаре поток пешеходов оттуда — с чемоданами, узлами, свертками; кажется, пришел поезд. Двое в сбитых, перевернутых козырьками назад кепках уже едва держатся на ногах и, вцепившись один в другого, ведут не очень праздничный диалог:

— Костя, сукин сын! Ты мне друг или нет?

Костя, однако, не слушая, широко размахивает рукой.

— Мы их били? Били! И будем бить! Чтобы дух из них вон! Кишки на телефон!

Широкий тротуар становится им тесен, и они заходят на газон. Но там деревья. Тогда, наткнувшись на одно из них, гуляки принимают самое целесообразное в таком случае решение:

— Лешка! Леш... Отдохнем?

— Лады!..

И падают оба под липу.

Чем ближе к вокзалу, тем все больше людей. На стоянке такси — большущая очередь, которой лихо распоряжается дежурный с красной повязкой. Запоздалые пассажиры спешат на пригородный поезд. С флегматичной неторопливостью, убивая время, по тротуару проходит комендантский патруль — два солдата и майор. В петлицах технические эмблемы, майору на вид лет сорок пять. Да, постарел офицерский корпус, думаю я, не то что в войну. Когда-то у нас в полку самому старшему офицеру — начальнику артвооружения — было тридцать восемь. Командиру полка было тридцать два. Батальонами командовали двадцатипяти-двадцативосьмилетние хлопцы. Впрочем, нам, взводным, они в то время казались почти пожилыми.

Вокзальный вестибюль гудит от народа. Суета, толчея и гомон. Слышен плач. Действительно, у выхода на перрон плачет женщина, только ничего не видно — толпа любопытных отгораживает ее плотной стеной. Наверно, что-то случилось.

Держась за перила, я поднимаюсь на второй этаж. Вдобавок ко всему с каждым годом сдает мое сердце. Одышка заставляет останавливаться и хватать ртом воздух. Вот тебе и молодой человек! Впрочем, я знаю: это, вылечив легкие, я «посадил» сердце. Проклятый тришкин кафтан. Ошметки вместо здоровья.

Возле буфета, в зале транзитных пассажиров, — очередь. Длинный ряд людей вдоль прилавка до самой двери. Хотелось бы выпить чашку кофе и чего-нибудь съесть. Только придется долго стоять. А куда мне спешить?

— Кто последний?

— Я.

Короткий взгляд. Миловидное юное личико под бронзовой копной волос. Мгновенно вспыхивает и гаснет любопытство в широких глазах. Конечно, чем тут интересоваться? Худой, с залысынами на лбу дядька, увядшее, потрепанное жизнью лицо. К тому же хромой. Но, черт возьми, все-таки я хотел бы ей чем-то понравиться. Только зачем? Опять же я понимаю, что это невозможно. И удивляюсь своему желанию.

Нет, видно, об этом надо забыть.

Рядом, высматривая кого-то в очереди, ходят двадцатилетние мальчишки. Ничего не скажешь — симпатичные парни. Спортивная осанка, свежие воротнички отглаженных белых рубашек. Какие дураки когда-то ломали копья по поводу узких штанов! Ведь это красиво. А для молодежи красота, может быть, главное. По крайней мере лет в двадцать. У нас, правда, все было иначе. Мы носили неуклюжие шаровары хабе и кирзачи. Они мало благоприятствовали любви, хотя и не в состоянии были сдерживать наши чувства. Помню, когда мы с ней где-нибудь сядились рядом, ноги у нас были одинаковые, не отличишь. Разве что ее сапоги немножко меньше размером. И такие же одинаковые шинелки — жесткие, тяжелые в мокрядь и жару и холодные в стужу. Однажды мы лежали под обстрелом в борозде, и взрывом ее всю залепило грязью, попало в лицо и в глаза. Она умывалась слезами и ничего не видела. А надо было бежать. Тогда я схватил ее за руку. Бойцы в залегшей цепи удивлялись: чего это они бегут, взявшись за руки, словно на прогулке?

Прогулка под минными взрывами сделала свое дело. К немалым и без того заботам прибавилась новая. Я подкарауливал ее где только мог. При каждом удобном случае норовил сбегать в батальон, имел несколько неприятностей с ротным. Я собирался ей что-то сказать. Самое важное и самое мое первое слово. Только я опоздал. В большом приднепровском селе над плавнями остался свежий гравийный холмик, который отмежевал ее от живых. Все остальное, что случилось со мной потом, было не то и не такое. Да и сам я стал другим...

Однако очередь почему-то расходится. Кончились пирожки. Мило хмыкнув вздернутым носиком, уходит и моя девчушка. Оставшиеся в очереди продвигаются, и я оказываюсь у самого прилавка. Кофе еще есть, и то неплохо. После водки донимает жажда.

И тут вдруг я вижу его.

Какое-то время, словно окаменев, я молча гляжу на него. Он отходит в сторону и останавливается. Потом снова возвращается к стойке и что-то рассматривает за стеклом. Бряцает мелочью в горсти. Вид у него молчаливо-озабоченный. Сахно! Ей-богу, Сахно.

Да, теперь или никогда! Я буду подлецом, если упущу его. Нет, бить его я не буду. Зачем бить? Я скажу ему, что он гад. И предатель! Изменник родины! Скажу прямо в глаза. Пусть тогда бьет он. Будет скандал, прибежит милиция, и я объясню, почему так поступил. Пусть тогда меня арестуют.

Я выхожу из очереди и делаю два шага вперед. Сердце мое тут же срывается. Кто-то подходит к прилавку и становится между нами. Я прикусываю губу — он мне мешает. Вдруг Сахно поворачивается и упирается взглядом прямо в мое лицо.

Его брови вздрагивают. Узнал, гад? Но глаза сразу становятся спокойными. Он сует в пальто руку и звонко ссыпает мелочь в карман.

— Не удалось?

— Что?

— А в гостинице?

— Нет, не удалось, — говорю я не своим голосом и, будто замороженный, гляжу в его выцветшие, малоподвижные глаза.

— Проклятый город, поесть не добьешься. Вы ужинали?

— Нет.

— Может, пройдем в ресторан? Тут напротив.

Поникший, я стою, как дурак, как идиот. По-видимому, он и считает меня идиотом. Но я снова не знаю, что делать. Я не узнаю его. Сахно и не Сахно.

— Ну? Составите компанию?

Он идет меж людей к двери, и я растерянно иду за ним. Первый, самый удобный момент упущен. Теперь я уже не могу отважиться, меня охватывают сомнения. Может, потребовать у него документы или спросить фамилию? Однако это не может тянуться долго. Так я не выдержу.

Мы выходим из зала ожидания. Он доверительно оборачивается ко мне.

— Бордель, а не город. У нас, в Харькове, стоит позвонить — и гостиница обеспечена. А тут не могут забронировать одно место. Республика называется.

Сволочь! Что ты знаешь про эту республику? Не досталось места в гостинице? Кончились пирожки? А про полумиллионную армию партизан в этой республике ты слышал? Про девять тысяч белорусских Орадунов и Лидице ты знаешь? Про два с лишним миллиона жертв? Про то, что и до сих пор эта республика не достигла довоенного числа жителей?

Он не спеша, с достоинством раздевается в гардеробе. Перед зеркалом старательно расчесывает на затылке остатки своей шевелюры. Потом мы заходим в зал. Тут также битком народу. Свободных столов нет, и мы идем между рядами. Но вот у окна поднимаются четверо офицеров. Мы сразу занимаем их места. На скатерти гора неубранной посуды. Он брезгливо отодвигает от себя тарелки.

Разговаривать со мной у него, видно, пропало желание, конечно, собеседник из меня неважный. Но мне не до разговоров. Меня изводит вопрос: он или не он? В голове снова начинает пронзительно звенеть. Он же, очевидно, меня не узнает. Что ж, тем лучше! Я напрягаюсь, как перед рывком в атаку, и спрашиваю его в упор:

— Вы — Сахно?

— Что? Нет, не Сахно.

Не Сахно! Другой возможности узнать, кто он, у меня пока нет. Что же делать дальше, как поступить? Он забрасывает ногу за ногу и откидывается на спинку стула. Достает из кармана газеты. Кажется, он совершенно спокоен, целиком поглощен собою. Ни одна жилка на его лице не дрогнет. Шурша газетой, бросает на меня взгляд.

— А почему вы спросили? На кого-то похож? Да?

— Похож.

— Бывает, — выдыхает он и оживляется. — Я в Харькове одного инженера год путал с бухгалтером управления. Похожи как две капли воды.

Черт! Кажется, я влип! Неужели действительно не он? А может, притворяется? Что-то чувствует и боится. Наверно, кое-что из своего прошлого скрыл.

Однако нет. Держит себя без притворства, уверенно. Широко разворачивает «Правду», «Труд» протягивает мне.

— Почитайте. Пока тут дождешься...

И, не договорив, погружается в чтение. Я машинально просматриваю заголовки и ничего не понимаю.

Неужели я и теперь останусь в дураках, как и двадцать лет назад?

Нам приносят обед и ужин — все сразу. Немолодая полнолицая официантка в наклоне ставит две тарелки с бифштексом и по селедке с луком. Мой сосед оживает. Откладывает газету и, довольный, придвигается к столу. Перво-наперво берет пузатый графинчик и наливает две рюмки.

— Ну что ж! Глотнем. К слову сказать, я и не знаю, как вас величать, — говорит он, задерживая поднятую рюмку.

— Василевич.

— Василевич? Белорусская фамилия. А я Горбатюк. Павел Иванович.

Исподлобья я вглядываюсь в его лицо. Нет, черт возьми, для Сахно он ведет себя чересчур уверенно. Пожалуй, там, в гостинице, все это мне померещилось, и я едва не наделал глупостей. Он бросает на меня короткий, почти приятельский взгляд.

— Ну, будем здоровы!

И со сдержанным наслаждением выпивает. Хакнув, берется за вилку. Я продолжаю держать рюмку в руке. Чтоб выпить за здоровье, надо его иметь, иначе это пустой и формальный гост. У меня есть другой. Я буду пить не «за». Я выпью «против». Против того, что меня привело сюда. Чтобы оно мне не мерещилось.

Мы принимаемся за еду. Я без особой охоты выбираю с тарелки лук. Мое внимание переключается на соседей, что за спиной Горбатюка. За двумя сдвинутыми столами четверо парней и три девушки пьют шампанское. Одна, что сидит напротив в конце стола, — маленькая, вся в черном, миловидная брюнетка. Там она — центр внимания.

— Вы воевали? — ни с того ни с сего прямо в лоб спрашиваю я Горбатюка. Тот с достоинством выпрямляется на стуле.

— А как же. Всю войну. На Западном, а потом на Втором Белорусском.

— А на Втором Украинском не были?

— Украинском? Нет, не был. На Украине, к сожалению, не пришлось. Больше в Белоруссии. В Польше. Берлин брал. Вот где была баталия!

Он энергично и с аппетитом работает сильными квадратными челюстями. И снова то же спокойствие с нотками горделивости в тоне — брал Берлин! Нет, видно, я круглый дурак. Идиот! Едва не устроил скандал. И все потому, что двадцать лет держу в памяти каждую мелочь из военного прошлого. Не лучше ли махнуть на него и забыть. Как это сделали многие другие.

Если бы это было возможно!..

Горбатюк тем временем отодвигает пустую тарелку и снова поднимает графинчик.

— Ну так что? По второй? За победу.

На этот раз он протягивает руку, и мы чокаемся. Горбатюк сразу опрокидывает рюмку. Я нерешительно держу свою двумя пальцами. За соседним столом, лукаво улыбаясь глазами, пригубливает бокал чернушка. Ее компания за столом взрывается хохотом.

— Эрна, восхитительно!

— Два ноль в пользу Эрны!

Плечистый блондин в серой с карманами на груди рубашке склоняется над ее рукой. Горбатюк оглядывается и со значением кивает головой.

— Тунеядцы белорусские?

Я не отвечаю. Рядом возле своего столика в простенке хлопчет официантка. В зале — приглушенный гул. Хорошо еще, что вокзальные рестораны обходятся пока без оркестра. Иначе раскололась бы голова.

Тем временем Горбатюк берется за нож и вилку.

— Вы офицер? — спрашиваю я.

— Гвардии майор запаса.

Отрезав кусок бифштекса, он отправляет его в рот. Майор? Может быть. Конечно, после капитана следует майор. Если действительно не Сахно, то, видно, какой-нибудь командир батальона. А может, политработник? Или помпотех. Если, скажем, служил в танковых войсках. Если танкист — я ему признаюсь во всем и попрошу извинения. Перед танкистом я сниму шапку.

— Ну, может, и по третьей? Раз не повезло с гостиницей, так хоть выпьем, — раскрасневшись и заметно подобрев, говорит Горбатюк. — А ты почему не ешь?

— Я ем.

— Что это за еда? Разве так, бывало, на фронте ели. Котелок пшеники на двоих — и как вылизанный. Ординарцу и мыть не надо.

— Котелок давали на четырех. По крайней мере в пехоте.

— Ну в пехоте я не был, — признается Горбатюк.

Перед нами еще что-то блестит в графине. Горбатюк наелся, полноватые его щеки лоснятся, глаза прищурились в снисходительной доброте. В конце концов черт с ним, с этим Сахно! Ошибся, так, может, и лучше. Зачем мне встречаться с ним? Да и жив ли он вообще? Наверно, пристрелили где-нибудь немцы — и конец. А я двадцать лет терзаюсь.

Горбатюк откладывает нож и вилку и мнет в кулаке бумажную салфетку. Я облокачиваюсь на стол. Не терпится узнать о нем до конца. Чтобы уж без всяких сомнений.

— Скажите, вы не танкист?

— А как же! Танкист! — восклицает Горбатюк. — Три года в танковой армии. От Орла до Берлина. Все стежки-дорожки прошел. Что, может, тоже танкист?

— Нет, пехота, — отвечаю я. Но мой ответ его не разочаровывает.

— Пехота — царица полей. Основной род...

Взрыв веселого смеха за его спиной обрывает фразу. Возле чернушки, положив на ее плечо широкую руку, улыбается плечистый блондин.

— А тише нельзя? — строго спрашивает Горбатюк.

— Можно, — отвечает крайний за столом, круглолицый и светлобрый, в темном костюме парень. — Эрна, просят на полтона ниже.

— На полтона ниже! — приказывает Эрна соседу. Тот, выждав, пока за столом уймется оживление, несколько тише продолжает:

— Ну скажите! Скажите, почему я ее люблю? Что в ней? Осанка? Грация? Красота? — наивно округляя глаза и жестикулируя, спрашивает он. — Шпингалет! Кого она может родить, такая блоха? Разве что другую блоху! Это в биологическом плане. А в общественно-политическом?..

Ребята наперебой кричат, раздается смех.

— Ну так что? Взяли? — для приличия спрашивает Горбатюк и разливает остаток водки. — Как говорят, дай бог не последнюю.

— Ну...

— А впрочем, куда спешить? Посидим до закрытия. — Он оставляет рюмку и закуривает. Жадно затягивается. Потом окидывает меня пристально-испытующим взглядом. — Что-то невеселый, гляжу. Иль характер такой?

— Характер.

— Откуда приехал?

— Да тут недалеко. Из-под Минска.

— Ага. Белорус, значит. А где работаешь?

— В клубе.

— Значит, по культурной линии?

В свою очередь я спрашиваю:

— А вы по какой линии?

— Я? Юрисконсульт. На полставке. Больше не выгодно — пенсию режут.

— Понятно. Пенсионер?

— Вроде этого. Пятьдесят два года. Но у меня выслуга. Всего двадцать восемь. С льготными, конечно... Эх, жаль, пивка не заказали. Духотища такая. — Он зовет официантку: — Девушка! Девушка! На минутку.

Но «девушка» не слышит или не хочет слышать и идет себе меж столов на кухню. Тогда он встает.

— Ты посиди. Я закажу все же...

За столом я остаюсь один.

14

Сон мой прерывается взрывом:

Что это? Где? Фу ты, сыпануло чем-то за шиворот. На спине — будто муравьи или, может, песок. Я вскакиваю и сразу понимаю: беда!

В хате почти светло, за окнами — раннее рассветное утро. Меня обдает холодом, снежная пыль сыплется на лицо, голову, за воротник. На полу удивленные лица людей. Возле кровати, обхватив голову, жмется к полу сержант. С потолка осыпается перемешанная со снегом штукатурка.

Кажется, под самым окном гремит новый взрыв. В окно врывается туча снега с землей. Мелкие осколки стекла, дробью осыпая раненых, оседают в складках шинелей. Невольно отшатнувшись от окна, я окончательно прихожу в себя и пугаюсь: где Юрка? Но Юрка рядом, он тоже недоуменно моргает заспанными глазами и спрашивает:

— Что такое? А? Бомбежка, а?

Нет, Юрка, не бомбежка и даже не обычный огневой налет. Это другое. Тр-р-рах! — рвутся снаряды дальше, в огородах. Кто-то там матерится — слышны испуганные выкрики, топот бегущих ног. Что-то происходит неладное. Я вслушиваюсь в эту сумятицу звуков, и — пропади оно пропадом, это вчерашнее мое предчувствие, — оно оправдывается. В промежутках между разрывами откуда-то издалека доносится тяжелый прерывистый гул танков.

Ну вот и дождались! Доспались, доотдыхались, донадеялись, черт возьми! Теперь расхлебывай!

Наверно, другие тоже что-то уже слышат. Сержант, за ним Катя и Юрка бросаются к разбитым взрывами окнам. Вскрываю на одной ноге и я, еще кто-то припадает к окну. О, там картина! Самая противная и страшная изо всех картин на войне — «драп».

По улицам, по огородам, мимо нашей хаты и дальше одиночками и группами бегут из села люди. Бешено несутся кони, разбрасывая скатами снег, мчатся машины. Видно, все, кто тут был, ринулись за околицу, мимо разбитых осколками мазанок, прыгая через плетни, падая и вскакивая. Неподалеку на улице пылает разнесенный взрывом «студебеккер». Возле опрокинутой повозки, издыхая, бьется головой о дорогу конь. Там и тут рвутся снаряды. Но мы уже не обращаем внимания на них — мы всматриваемся в даль, за околицу. По отлогому склону из степи ползут в село танки.

Жвик-жвик-жвик! Тр-р-рах!

Взрыв отбрасывает нас на пол. Хата приподнимается и оседает. Кажется, рушится потолок. Сухим пыльным смрадом забивает дыхание. Кто-то стонет, кто-то ругается и, вскочив, бросается к двери.

— Ложись! Ложись! — кричит в этом пыльном хаосе Катя. Она по-мужски ругается, но это никого не удивляет.

Юрка поднимает запорошенное штукатуркой лицо — его не узнать, один только, полный тревоги и недоумения, взгляд: что делать?

— Сестра! Сестричка! Ой, спаси же!.. Ой! — кричит кто-то в хате.

Пыль быстро выдувает ветром, не ветром — настоящим вихрем, ибо уже ни окон, ни дверей нет. Дверь, очевидно, раскрыта, и на пороге распласталась неподвижная фигура. Это наш санитар, что вчера на том самом месте бросал кроликов. Над углом, в потолке, пролом с дыркой наружу. В ней курится снег, и под ним, внизу, на соломе, слепо мечется обвязанный бинтами летчик: Коленями и локтями он толкает, тормозит соседа:

— Эй, товарищ! Товарищ!

Из-под шинели торчат длинные ноги в кирзачах, они не двигаются. Кажется, его сосед, который вчера ухаживал за летчиком, «уже». Но пошло в хате, видно, не только ему одному.

— Сестра! Сестрица! — причитает кто-то в другом углу (не тот ли рябой). — Кровь... Второй раз гвозданули, гады!!

— Тихо! Тихо! Ложись! — командует Катя и с треском разрывает очередной перевязочный пакет. Она с распущенными волосами, без шапки мечется по хате то к порогу, то к углу, где не унимается обезумевший незрячий летчик.

— Где сестра? Сестра!

Катя склоняется над обгоревшим, уговаривает его:

— Ладно, ладно. Все будет хорошо. Ты ляг! Лежи! Все будет хорошо...

Ее удивительно ровный, сочувственный голос на минуту кое-как успокаивает бойцов. Обожженный умолкает. Катя, переступая через людей, подается в другой угол, к перегородке. Там тоже кто-то, надрынаясь, стонет.

Возле печки поднимается с полу последний наш санитар — маленький напуганный пожилой человек, — и Катя кричит ему:

— Ты! Бегом к начальству! Ну, живо! Повозки живо!

Санитар, пригнувшись, трусливо перелезает через труп напарника на пороге и исчезает в сенях. За окном, слышно, мчится подвода. Задворками бегут люди. Трещат разрозненные очереди.

— Счас, родненькие! Счас! Все будет хорошо. Все хорошо, — приговаривает Катя.

Я поглядываю на Юрку, он лежит на боку рядом и кусает губы. Наверно, в моем взгляде он тоже улавливает немой вопрос и пытается успокоить дружеским пожатием руки.

— Ладно. Подожди. Подожди чуток.

Ждать, конечно, не самое лучшее. Как раз ждать теперь и нельзя. Но что делать? Попали из огня да в полымя! Называется покимарили ночь — все прокимарили. Хочется немедленно что-то предпринять, кого-то обвинить. Только кто тут виноват? Разве что я сам. Надо же было вчера так успокоиться, забыться в этой тишине, махнуть рукой на танки в степи... Теперь вот получай.

Скорчившись на соломе, я вслушиваюсь в канонаду на улице. Рядом — также весь в слухе — Юрка. Взрывы прижали нас к полу. Во дворе топот ног, стоны, короткие выкрики. Вдруг в окне появляется потное, встревоженное лицо.

— Эй, славяне, где тут сестра?

— А что, повозка? Ага? Давай сюда!

С пола неуклюже вскакивает сержант и хватается за подоконник. Но лицо исчезает. На секунду вспыхивает надежда — а вдруг за нами?

Хотя для одной подводы нас многовато. И тут я впервые за это утро встречаю забытый уже, печально-терпеливый взгляд. Это жметя под койкой «мой» немец. Как гость на чужой беде, забился туда и ждет. Только чего ждет?

Пули и осколки прошивают крышу. Ветром заносит в хату соломенную труху со снегом. Мы вбираем головы — видно, они все же доконают нас. В сенях слышится топот. Сквозь раскрытую дверь, переступив через санитаря, вваливается боец в телогрейке. За ним второй с винтовкой за спиной — они втаскивают кого-то в шинели и опускают возле печи.

— Сестра! Где сестра? Вот, погляди...

Катя, торопливо забинтовав чью-то голую окровавленную спину, по солдатским телам лезет к порогу.

— А что вы мне его принесли? — через минуту кричит девушка. — Я не похоронная команда. А ну тащите назад.

На потном лице бойца — удивление, почти испуг.

— Как это назад? — тихо спрашивает он.

— А так. Не знаете как? — бросает она и спешит в угол к почти обезумевшему летчику.

Боец онемело стоит возле печи. Мне хорошо видно выражение растерянности на его исхудавшем, ошетиленном лице. С минуту он недоуменно вглядывается в труп на полу, потом поднимает рукавицу, чтобы вытереть пот. И тут — тр-р-рах!

Это близко, но все же не так, как в предыдущие разы. На Юркину шинель отскакивает гниловатая щепка от подоконника, а боец с рукавицей, вытирая спиной побелку, быстро сползает на пол. Я еще не успеваю сообразить, что произошло, как он, обмякнув, падает на бок, глухо ударившись головой о пол. Из рта его идет кровь. Его напарник бросается в сени.

На полу матерится сержант:

— Где санитар? Где начальство? Через минуту доконает всех...

Хватаясь за койку, он неуклюже встает и, неся впереди прямую, как бревно, ногу, поворачивается ко мне.

— А ну дай автомат! Я им наведу порядок!..

Это так уверенно и категорично, что я сразу, не подумав, отдаю ему свой ППС. Сержант торопливо скачет к двери. Катя кричит из угла:

— Подводы! Подводы давай сюда! Слышишь?

— Не глухой! — долетает уже из сеней.

Мы снова ждем, припав к заброшенному штукатуркой полу. В селе бой. Вовсю гремят танки, бьют пушки, неистово заливаются пулеметы. Однако что-то там застопорилось — все же, видать, опомнились «славяне», оказали сопротивление и пока зацепились на той окраине. Только надолго ли?

Юрка, должно быть, тревожится о том же и, привстав, начинает выглядывать из-за косяка. Я гляжу на него снизу, но на лице Юрки ни капельки облегчения. Пожалуй, на этот раз беда обрушилась на нас со всей своей неотвратимостью.

Вскоре Юрка опускается на пол.

— Ты идти не можешь?

Я шевелю раненой ступней. Болит, холера, как тут идти? Юрка без слов понимает.

— Так. Значит, так. Я... Надо туда. — Он кивает головой за окно. — Там мало народу. Понимаешь?

Я понимаю. Конечно, предстоит драться. Оказывается, для нас война не кончилась, передыху не будет. Ну что ж!.. Только вот рана...

мать — бухгалтер детского сада. О себе я молчу. Мой адрес теперь не понадобится — он по ту сторону, под немцем.

— Ну, давай первый! — Юрка легонько толкает меня в плечо.

Ясное дело, он не хочет отрываться, терять меня, одногого, из своего поля зрения. Чтоб не отстал.

Опираясь на карабин, я перелезаю через полуповаленный плетень, раз-другой наступаю на забинтованную пяту. Болит, но надо держаться, иначе мне не пройти. На одной ноге далеко не уйдешь. Юрка, пригнувшись, бежит в трех шагах рядом. Порывистый ветер низко стелет черные космы дыма от «студебеккера» с улицы, временами накрывая им середину огорода, котсрая от копоти будто посыпана золой. Мы бросаемся туда, в этот дым, и тут снова: пи-у-у-у... пи-у-у-у...

— Ни черта они нам не сделают! — кричит Юрка.— А ну, давай быстрее!

Он резко вырывается вперед. Рядом рвутся мины. В воздухе — клубы дыма. На несколько секунд я перестаю видеть и, пригнувшись, устремляюсь вперед, в сумеречную, зловонную полосу дыма и взрывов. Глаза заливают слезы, я едва не налетаю на обрушенную глинобитную стену. Падаю, отчетливо чувствуя, как осколок с лета пропарывает полу моей шинели. Но ноги, кажется, уцелели — это главное. Под стеной протираю запорошенные глаза и оглядываюсь.

Юрки нет.

Сначала ни испуга, ни сожаления, одно лишь недоумение — он же только что был рядом. Затем внезапная догадка заставляет меня вскочить. Сизое облако от мины рассеивается, ветер понемногу относит дым в сторону, и я вижу на снегу Юрку. Он лежит ничком, широко размавав руки, и не двигается.

Минутный испуг во мне сменяется ужасом. Не оберегая больше раненую ногу, я кидаюсь назад и через несколько шагов расплываюсь возле Юрки. Я переворачиваю его на бок. Подстриженная под бок светловолосая голова его беспомощно запрокидывается на снег. Шапки на ней нет. Полузакрытые веки быстро-быстро синеют, и глаза совсем закрываются.

— Юрка! Юрка! — кричу я, бессмысленно ощупывая его тело, так как не вижу раны и не могу понять, куда ему попало. Все во мне дико протестует: нет, нет, он живой, он выживет! Его только оглушило, контузило. Но он, видно, не слышит меня, зубы его почему-то судорожно стискиваются, и, не разнимая их, он тихо, на выдохе говорит:

— Черт!.. Не удалось...

На губах его появляется кровавая пена, он захлебывается ею, напрягается в моих руках, будто пытаясь повернуться на другой бок. Я пугаюсь, чувствуя, что он кончается.

— Юрка! Юрочка, куда тебя? Что тебе?.. — глупо кричу я, ощупывая его тело, и только теперь ощущаю на руках кровь. Да, кровь на шинели и на снегу под ним.

Жвик-жвик-жвик! — пронесится близкая очередь и тут же: тр-р-рах!

Нас снова накрывает взрывом. Возле моего локтя, зашипев, вонзается в снег горячий осколок. Рыжее глиняное облако стелется по огороду. Это угодили в мазанку, от которой я отбежал сюда. Секундная радость — пронесло! Но только меня, а не его. Его не миновало, и в этом мое несчастье и, пожалуй, моя гибель.

Я чувствую, что немцы приближаются, бой с окраины перемещается в центр села. Они зажали нас в огневые клещи, которые стискиваются все теснее. Кругом уже никого не видно, и я не знаю, что делать с Юркой. Но рядом на прежнем месте еще стоит хата, из которой мы только что высочили. Очень не вовремя высочили!

Я закидываю за спину карабин, хватаю Юрку под мышки и тут же падаю вместе с ним в снег. Поднять его я не смогу. Тогда я вцепляюсь в его портупею и, низко склонившись, волоком тащу его к поваленному плетню, назад в хату.

Вжик-вжик-вжик-вжпк! Фить-фить!

Это очереди. Они в клочья разносят соломенные крыши, дырявят глиняные стены мазанок. В паузах между разрывами я улавливаю угрожающе близкий стрекот и лязг гусениц: танки уже на улице.

Задыхаясь, весь в холодном поту, я втаскиваю отяжелевшее Юркино тело в сени. Как и прежде, дверь в хату распахнута. На полу кто-то из раненых. Из угла на меня оглядывается Катя.

— Э, помогите! — кричу я, так как уже не в состоянии перетаскать Юрку через порог. К тому же я боюсь, что будет поздно. Я жду, что они все кинутся ко мне. Но кидаться тут некому — людей стало мало. Раненые, наверное, не дожидаясь худшего, разбрелись кто куда. Я вижу только Катю, которая хлопочет возле обгоревшего, и все те же трупы на пороге. Да еще немец! Действительно, какой-то несуразный фриц! Он не сбежал и, увидев Юрку, удивляется:

— О, майн гот! Юнгер офицер!

— Майн гот тебе! — от злсбы нелепо кричу я и обращаюсь к Кате: — Сестра! Быстрее! Быстрее!

Только Катю, пожалуй, торопить не надо. Она уже рядом и быстро расстегивает на Юрке ремни. Задыхаясь от изнеможения, я падаю на пол.

— Танки... Танки уже там!..

Катя бросает на меня жесткий ненавидящий взгляд, будто я виноват во всей этой беде.

— Где сержант? Где та сволота? Ты не видел?

Я отрицательно качаю головой. Катя приходит в ярость:

— Сбежал, зараза! Болтун, трепло! Расстреливать таких гадов! Подлец! Теперь погибай из-за него!

До этого недалеко. Действительно, дела наши плохи. Расстреливать некого и незачем, вряд ли этим поможешь беде. И все же напрасно я отдал ему автомат. Чем теперь будем отбиваться? Разве что одним карабином. Ну и ну!

Несколько пуль с улицы бьет по стенам. Одна через окно откалывает кусок угла от печи. Нас осыпает глиной. Катя склоняется над Юркой, покрикивает на немца — теперь тот помогает. Я приподнимаю голову Юрки — на висках сильно вздуваются вены, он еще жив.

— И на кой черт я с вами связалась! Мало мне в батальоне было! — зло говорит Катя.

— Быстрее! Быстрее, Катя! Он же задыхается... — прошу я.

— Погоди ты!.. Вот оно что, — говорит Катя.

Она возится под верхней завернутой одеждой Юрки. Там все окровавлено, я не могу смотреть. Сколько я уже видел их — окровавленных — живых и мертвых, своих и немцев, и ничего — смотрел. А тут не могу: это же Юрка.

— Та-ак, — сосредоточенно говорит Катя и, быстро заправив края рубашки поверх гимнастерки, обматывает бинтом грудь.

Я спрашиваю:

— Он выживет, а? Выживет, Катя?

— А я что — бог? — кричит в ответ Катя. — Я не бог тебе!

Она поспешно запикивает в сумку бинты и бросается к окну.

— Где повозки? Где повозки? Где та сволочь болтливая?

Но нет ни сержанта, ни повозок. В этом конце села мы, кажется, остались одни.

Хату сотрясает разрыв. В окно несет пылью и тротильным смрадом. Катя падает, мы все прилипаем к полу. А когда поднимаем головы, видим в двери огромную фигуру в темно-серой незастегнутой куртке с меховым воротником, накинутой прямо на нижнюю рубашку. В ее разрезе лохматится волосатая грудь.

— Бинта надо! У кого есть бинт?

Человек одной рукой зажимает на шее рану, из которой меж пальцев в рукав и на куртку струями льется кровь. В другой руке у него автомат. И тут я удивляюсь — это же мой ППС! Вот и медная проволочка на ремне, которую я приспособил когда-то вместо оборванного тренчика.

Но прежде чем я успеваю что-то сказать, к человеку подскакивает Катя.

— Где взял? Откуда это? — Она резко дергает его за полу куртки. На лице девушки ярость. Человек сперва не понимает, хлопает глазами то на Катю, то на свою куртку. И тогда я вдруг догадываюсь, что как автомат, так и куртку он взял у сержанта, которого мы теперь ждем.

— Это? — наконец догадывается человек. — Не украл. У убитого взял.

— Где убитый? — зло кричит Катя.

Человек в тон ей отвечает:

— А ты что — прокурор? Вон на дороге лежит. Сходи погляди.

Как-то сразу увянув, Катя уныло опускается на пол.

— Где танки? — спрашивает она упавшим голосом.

— Прут, сестра. Вам тут не место.

В углу кричит летчик:

— Сейчас же отправляйте меня! Не имеете права. Я к Герою представлен. Я требую...

Катя вскидывает на нас острый, моментально оживший взгляд, в котором уже — решение.

— Выносить! Выносить всех! На дорогу! Быстро! Пулей! Живо!

Да, выносить! И все же это не самое лучшее из возможного. Выносить — значит дальше тащить на себе. Только далеко ли утащишь от танков?

Делать, однако, нечего.

Я под мышки поднимаю Юрку. Человек в сержантовой куртке топорливо обматывает бинтом шею и, запихнув за воротник концы, подхватывает Юрку с другого бока. Немец без понуждения услужливо подбегает к Кате. Он уже в чьей-то шинели и похож на красноармейца, только шапка у него немецкая. Вдвоем они берут летчика.

— Огородами, огородами давай! Туда, в конец! Дорогой не пройдемь, — командует мой помощник.

Мы выбираемся во двор, обходим разбитый угол хаты, которая давала нам пристанище, и бежим огородами. Сбоку — высокий тын с натянутой поверху колючей проволокой. Мы бежим вдоль тына. Только бегу из меня все же плохой, Катя с немцем вырываются далеко вперед. Хорошо еще, что сзади нас прикрывает хата. Но откуда-то с улицы нас видят немцы. Не успеваем мы отбежать и сотни метров, как длинная очередь врзается в крышу этого строения. Наверху вдребезги разлетается труба, и осколки ее градом сыплются во все стороны. В воздухе солома и снег. Мимо наших голов проносятся пули.

— Дают, сволочи! — зло оглядывается боец. — Не война, а расправа. Я было кидался, кидался с тем одноногим. Человек двадцать задержали, да и сами напоролись.

Я в каком-то душевном онемении. Мысли путаются. С трудом соображаю, как лучше действовать. Я только чувствую, что погибает Юрка, что я не спасу его, не успею. Из рта у него сочится кровавистая пена, и

мне кажется, что он вот-вот задохнется. Я то и дело сдерживаю шаг и неловко подхватываю его за голову, которая откидывается вниз. Юрка то стонет, то вдруг умолкает, и мне тогда кажется: конец! Нога моя ооченела и сильно болит в мокрых бинтах. Но я безжалостен к ней — я наступаю через боль, которая до бедра распирает ногу. Теперь не до боли! Надо быстрее, иначе смерть всем.

В конце тына мы продираемся через тугие, как проволока, заросли вишенника на меже. Новая очередь укладывает нас в бурьян. Как только она идет стороной, мой помощник вскакивает и отстраняет меня от Юрки.

— Пстой! Давай я!

Длинный, рукастый и, видимо, очень сильный, он одним махом взваливает на спину Юрку. Пригнувшись, широким шагом спешит по снегу. Я оглядываюсь — все танки уже вползли в село. На косогоре по ту сторону пусто. Скоро они будут тут.

— А ну быстрее!

Обеими руками опираясь на карабин, я бегу за человеком. Теперь немного легче.

— Черт побереи! — говорит он, неуклюже оборачиваясь ко мне под ношей. — Выскочил без гимнастерки. С ней все документы накрылись. И надоумил же дьявол заночевать в крайней хате!

«Заночевали! — механически повторяю я, так как другого ничего и не слышу. Другое не доходит до моего сознания. — Заночевали. И проспали — проворонили все на свете...»

— А вы кто? — спрашиваю я сзади.

— Я? Да старшина из ДОПа. Евсюков. Не слышали разве? — говорит он, широко шагая по снегу.

Кто его знает, может, и слышал. Действительно, в ДОПе — не в батальоне — там даже сержанты известны по всей дивизии. Только теперь я уже не припомню. Теперь это уже и неважно. Я отбрасываю в сторону жердь, которая мешает ему, и мы перелезаем в соседний огород. Впереди бежит Катя с немцем.

— Ничего! — успокаивает меня или, может, самого себя старшина. — Сдержат! Должны сдержать! Иначе беда!

Конечно, беда, несчастье, позор! Ну и село! Ну и утро!

Вдруг мы слышим: Катя что-то кричит нам, а сама сворачивает меж хат к улице. Я приостанавливаюсь и улавливаю, как где-то невдалеке за хатами дребезжит повозка. В грохоте разрывов мы не сразу услышали ее и, наверно, опоздали. Старшина пускается бегом, я опять отстаю. Вскоре мы пересекаем забросанный соломой двор и выскакиваем на улицу.

Посередине ее прямо на нас бешено мчит нагруженная с верхом повозка.

— Стой! Стой! — кричу я, сознавая, что это последняя наша возможность спастись. Другой уже не будет.

— Стой! — ревет Евсюков. На мои руки он сваливает Юрку и бросается прямо под коней. Но пара рыжих, видно напуганных не меньше людей, пронесется мимо. Из-под копыт в меня летят крошки снега. На подводе целая гора каких-то тряпичных тюков, на которых, как на возу с сеном, — боец. Второй яростно стегает коней.

— Стой! Хусаинов, стой!

Старшина после секундной остановки бросается вдогонку. Повозка, свернув на обочину, останавливается. К ней уже бегут Катя и немец, им ближе. Я волоку Юрку. Он все еще в забытьи и оттого непомерно тяже-

лый. Ноги мои вязнут в мягком, как песок, перетертом колесами снегу — хоть бы успеть! Сзади нас прикрывает поворот у хаты, где мы ночью наскочили на придирчивого капитана. Танки нас здесь не видят.

Тр-рах! Тр-рах! Тив-в... Бах!

Это все еще там — за поворотом, откуда, на наше счастье, выскочила эта повозка. Хорошо, что там какой-то знакомый старшины. Но, кажется, мы все в ней не поместимся. Разве что уложим Юрку. Старшина подбегает к повозке и хватается за веревку, которой перевязан груз.

— Скидай тряпье! Сгружай все! Быстро! — кричит он тому, что на самой макушке воза. Но тот не спешит разгружаться. Он еще ниже втискивается в тюки и толкает ездового.

— Пашел! Нелзя скидай! Не разрешал!

— Хусаинов, ты что, очумел? Вон раненые! — кричит старшина и срывает с воза веревку. Два тюка с угла тяжело падают на дорогу. Несколькo их скидывает старшина. Боец на повозке вскакивает во весь рост:

— Нелзя! Я отвечал! Я расписка давал!

Он сверху ногой толкает в плечо старшину. Тот хватает его за валенок и с силой рвет вниз.

— Дурак! Прочь отсюда!

Хусаинов, неуклюже выгнувшись, падает с воза задом на снег. Старшина в мгновение вскакивает на повозку и начинает отчаянно скидывать все на землю.

— К чертовой матери! А ну кидай! Быстро! — командует он ездовому, который в испуге едва держит коней.

Я волоку Юрку и со все возрастающей надеждой думаю: авось успеем! Успеем. Возле повозки уже Катя с немцем. Они подтаскивают туда обгоревшего и, усадив его на снегу, тоже начинают кидать с повозки тяжелые тюки. Теперь мне видно — это телогрейки, должно быть, с какого-то склада ОВС.

Хусаинов тем временем встает. Что-то невнятно прокричав, хватается за карабин, который торчит у него за спиной. Он снимает его через голову и отскакивает на шаг. В тот же момент раздается выстрел. Схватившись за руку ниже локтя, старшина на возу приседает и недоуменно выпрямляется. На его пальцах кровь.

— Ах ты гад! — после секундной растерянности выверивается он на Хусаинова. — Ты так? Так, сволочь?!

— Стойте! Постойте! Что вы делаете! — кричу я.

К Хусаинову прямо на его винтовку кидается Катя. Но он уклоняется.

— Стрелял вас буду! Убивал буду. Я расписка давал. Приказ бира! — кричит Хусаинов, снова клацая затвором. Но старшина опережает его и, дернув рукоятку автомата, прямо с груди бьет короткой, в три пули очередь. Хусаинов взмахивает рукой, будто пробуя заслониться, и ноги его подкашиваются.

— Дурень! Идиот! — кричит на подводе старшина.

Я опускаю Юрку на снег — бог ты мой, что это делается! Что творится? Но тут сзади и совсем близко рвется снаряд. Тр-р-рах! Пыльные куски глины градом сыплются на дорогу. Одним углом оседает в снег мазанка, что стояла на повороте. Но это не мина — это уже танки. Они на подходе.

Взрыв нас отрезвляет. Я подхватываю Юрку. От подводы ко мне бегут Катя и немец — спасибо им обоим. На лице у Кати решимость. Волосы выбились из-под шапки, полушубок расстегнут. Немец, напряженный и молчаливый, кажется, весь ушел в слух. Будто его внимание

не тут, а где-то далеко, возможно, там, где гремит бой. Вслушивается, ждет своих, что ли? Только теперь черт с ним, теперь бы скорее!

— Быстрее! — кричит с повозки старшина. В ней почти уже пусто, на дне лежит обгоревший. Сбоку на дороге куча стеганок. Мы укладываем на повозку Юрку. Следом в угол забиваюсь я. Катя вскакивает уже на ходу. Ездовой безжалостно стегает коней. Повозка вздрагивает, я едва удерживаюсь в ней и оглядываюсь — из-за поворота пока никого не видно. Неужели вырвемся?

И вдруг впереди огонь, треск и грохот. Туча земли со снегом взмывает к небу, и мы с лета вскакиваем в это мрачное пекло дыма, земли и снега. Кони шарахаются в сторону, повозка клонится набок. Чтобы не вылететь, я обеими руками цепляюсь за ее борт. Рядом в отчаянии ругается Катя:

— В сторону! Сворачивай в сторону!.. Раз-зьява!..

Ездовой, едва не вскочив с лошадьми в глубокую воронку на улице, кое-как объезжает ее. Кажется, пронесло. Повозка выпрямляется, кони рвут в галоп. Но тут же под колесами треск — что-то ломается. Это мы насккиваем посреди дороги на разбитую пустую телегу. В оглоблях бьется на снегу конь, под брюхом — лужа крови. Поодаль у плетня неподвижная солдатская фигура в задранной измятой шинели.

Одной рукой я придерживаю Юрку, оглядываю своих. Кажется, обошлось — все целы. Только старшины почему-то здесь нет. Он сзади. Вместе с немцем ухватился за перекладину и вприпрыжку бежит за повозкой. С его пальцев на полы моей шинели течет кровь.

Сквозь взрывы и густое тивканье пуль мы прорываемся на околицу. Дальше, за гатью, — широкая балка-лощина. Снег истоптан множеством ног людей и коней, колесами повозок, машин. Все из этого села устремились туда. Мы, наверно, последние. На гати — брошенный ЗИС с раскрытыми дверцами кабины. Он низко осел на простреленных скалах, разбитый кузов его перекосялся.

Повозка наша сворачивает в балку. Тряска становится сильнее.

— Ой! Ой! Стойте! Не могу. Что же это делается! — кричит закутанный в полушубок летчик.

Катя молча придерживает его забинтованную голову, чтоб не билась о доски передка. Позади потные лица немца и старшины. Евсюков все еще не может успокоиться от своей стычки и остервенело ругается:

— Дурак набитый! Обормот! За расписку — пулю. За кучу вшивого тряпья. Вот гад! Остолоп! Лучше б уж разгильдяй, да с головой чтоб!..

В самом деле, это черт знает что: свой — своего! И за что? Хорошо еще, что попал в руку. Рана у старшины, кажется, не опасная, крови он теряет немного.

По балке везде — бойцы. Бегут в одиночку и группами. Конных уже не видно. Далеко впереди скрываются за поворотом повозки. Некоторых пеших мы уже и обгоняем. Теперь мы — не самые последние. Появляется надежда — а вдруг вырвемся! Я прижимаюсь к Юрке. Шинелка на нем окровавлена: наверное, сдвинулась повязка. Он по-прежнему молчит, сжав зубы. Эх, Юрка! Держись, брат, крепись... Сам я едва удерживаюсь за борта повозки. И тут над нашими головами размашисто сверкает огневая молния. Невольно мы пригибаемся — далеко впереди взлетает вверх столб снежной пыли. Это болванка.

Тогда мы все, как по команде, оглядываемся. Так и есть — они уже вышли на окраину. На гать возле ЗИСа из-за крайних хат их выползает около десятка. Некоторые останавливаются, сверкают огненной вспышкой с дымом и опять направляются по балке вслед за бегущими.

Тр-рах! Трах! — рвется сзади и сбоку. Над нами в воздухе еще проносится снаряд. Его пугающее фыркание укладывает нас в повозку. Впереди на склоне балки вырастает красивый клубчато-пушистый разрыв. Сзади в снежном просторе густо рассыпается пулеметная трескотня.

— Гони! — кричит Катя. — Гони ты, растяпа!

Ездовой приподнимается на передке и из-за плеча кнутом лупит коней. Те все в мыле и мчатся так, что, кажется, разнесут повозку. Мы нагоняем нескольких бойцов в расстегнутых шинелях, без ремней. Один, молодой, без шапки, с круглой, под нулевку остриженной головой, на ходу пробует вцепиться в подводу. Старшина гонит его:

— Куда? Куда прешь?! Тут раненые.

Парень сворачивает и какое-то время трусит рядом. Я жду нового взрыва. В самом деле, сколько так можно проехать на прицеле у танков? Хоть бы они не останавливались — с ходу все же труднее попасть. Но ведь нагонят. Черт побери — где же тогда выход? На счастье, впереди, кажется, поворот. Вот бы успеть до него.

А пулеметная трескотня все приближается.

Тут уже много бойцов — молчаливые, запыхавшиеся, со страхом в расширенных глазах. Ими никто не командует. Это тылы — обозники, кладовщики, ездовые, техники... Многим такая горячка, видно, в диковинку, к огню они не привыкли. Я знаю, единственное средство к спасению у них теперь — ноги. Только средство это, конечно, не самое надежное.

Старшина дико ругается:

— Стойте, растакую вашу неладную! Куда прете! Раздушат, расстреляют, как зайцев. Стойте! Остановитесь!

Люди оглядываются на крик, только никто не останавливается. Незнакомый человек в куртке — для них не начальство. Тем временем над самой повозкой снова фыркает снаряд. В полусотне шагов впереди грохочет разрыв. Кони вскакивают дыбом и кидаются в сторону. Нас обдаёт снегом. Повозка едва не переворачивается. Кажется, она вот-вот опрокинется на косогоре. Каким-то чудом мы не попадаем в занесенную снегом рывтину.

И вдруг совсем рядом на склоне я вижу знакомую фигуру в полушубке и черной кубанке. Это Сахно. Одна рука у него под полую: наверное, ранена. Пустой рукав болтается на ветру. Капитан оглядывается, на его чернявом потном лице растерянность. Ко лбу прилипла черная прядь волос, рот широко раскрыт.

— Эй, ребята! Постой!

— Придержи! — бросает ездовому Катя.

Кони замедляют бег. Сахно подбегает к подводе. Зачем? Зачем он тут в такую минуту с нами? Но капитан хватается рукой за борт и, придерживая на голове кубанку, неловко вваливается в повозку. Как-никак он ранен...

Ездовой гонит коней. Повозку сильно подбрасывает на присыпанных снегом кочках. Где-то сзади рвутся подряд два снаряда. Старшина ругается:

— Что только делается, а? И где начальство? Проспали, проворонили весь Кировоград!

Сахно на повозке медленно приходит в себя, начинает оглядываться. Но молчит. Старшина злится сильнее:

— Разведка, хрен ей в глаза! Шнапсу, конечно, надулась! На радостях! Еще бы: ударили, прорвались, пошли без оглядки. Давай наградные писать. Ясное дело, лишь бы на передовой все по графику, а тут что делается — наплевать!

Сахно вдруг круто оглядывается. Холодным взглядом окидывает старшину, но тот сознательно этого не замечает. Кажется, старшина может сказать и больше, и не только такому начальнику, как этот капитан. Я доволен. Такие всегда нравятся, особенно на войне. С ними чувствуешь себя надежно.

Тряска тем временем становится невыносимой. Кажется, разнесет повозку. Обожженный под полушубком кричит:

— Сестра! Не могу я! Остановите коней!.. Я не могу...

С передка резко оборачивается Катя:

— Замолчи! Замолчи сейчас же! Что ты кричишь! Не можешь — слезай к черту!

— Болит! Болит же, у-у-у-у...

— Терпи!

Мы взлетаем на бугорок. За ним спуск, там нас уже не достать. Ну еще минутку, полминутки... От напряжения я впиваюсь зубами в губу, будто так легче. Еще немножко...

Т-р-рах! И-у-у-у-у-у...

Что это?.. Откуда?.. Повозка взлетает передком вверх, перекашивается. Какая-то сила подбрасывает меня в воздух и больно швыряет головой в снег. Рядом, возле плеча, пропахав в снегу борозду, вдруг останавливается расколотый угол повозки.

Я тут же спохватываюсь и отползаю в сторону. Повозка опрокинута набок. Кто-то отчаянно матерится. Катя поднимает со снега летчика. Один конь, упав на передние ноги, бьется головой о снег. Второй дергает повозку в сторону. Его хватает за узду старшина.

Но я, кажется, цел и, вскочив, бросаюсь к перевернутой набок подводе. Юрка каким-то чудом держится в кузове. Меня опережает немец. Плечом он сильно поддает снизу и ставит повозку на колеса. Впереди кричит Сахно:

— Режь постромки! Постромки!

Старшина хватается за постромки, а Сахно заваливается в повозку. Немец уже суетится возле Кати. Вдвоем они через борт втаскивают к себе летчика. На снегу сбоку лежит ездовой. Голова у него... Впрочем, головы нет, вместо нее... Лучше туда не смотреть.

Старшина чем-то перерезает пару толстых постромок и хлещет коня. Последнего нашего коня, который обессиленно дергает повозку. Второй остается сзади и гребет ногами по снегу. Ему уже не подняться.

— Быстрей! Быстрей!

Я не знаю, или это кричит кто-нибудь, или, может, это мне кажется. Я только каждой частью тела чувствую, что надо торопиться. Вот-вот снова ударят танки, они уже наступают на нас. Над балкой гул и лязг. Гремят выстрелы, захлебываются танковые пулеметы. К повозке подбегает какой-то сержант в гимнастерке, без шинели. Его грудь с орденом Славы густо залита кровью. Он удушливо хрипит и молча переваливается в повозку — я едва успеваю отодвинуть Юрку.

Наконец мы за пригорком. Тут уже нас не достанут. Впереди в балке, в полукилометре отсюда, село. Заснеженные мазанки, плетни, утренние дымки из труб и — дорога. Бегущих тут уже больше. Очевидно, считая, что в селе спасение, они мчатся туда изо всех сил. Но я замечаю, что в селе пусто. Организованной обороны нет. Тут вообще никого уже не осталось. Видно, поддавшись панике, драпанули и здешние подразделения. А дорога вот она — хорошее шоссе, ведущее на Кировоград. Займут и перережут — быть тогда и еще большей беде.

Все время боком, рискуя перевернуться, повозка катится по снегу. К нам бегут люди. Кто-то еще заваливается в нее, несколько раненых цепляются за борта. Пожилой боец в разорванной шинели, устало труся

рядом, глухо и молча плачет без слез. Его щетинистый подбородок судорожно дергается сверху вниз. Старшина, не переставая, лупит коня. Мы минуем группу, несколько одиночек и еще человек десять. И тогда Сахно решительно соскакивает на снег.

— А ну, стой! Стой! — кричит он на бойцов и выхватывает из кобуры пистолет. — Назад! Пристрелю всех как изменников! Назад!

Бросив вожжи Кате, соскакивает с подводы и старшина. Он также начинает кричать «стой!» и кого-то догоняет. В шею толкает его к капитану. Сахно направляется в другую сторону. Вдали по склону пригорка бегут несколько человек, и он, не целясь, стреляет туда из пистолета. Беглецы сначала останавливаются, потом, разбредясь, идут вниз. Около старшины набирается два десятка случайных людей.

— На бугор! Марш на бугор! — кричит Сахно и выбрасывает в поле руку. От группы отделяется старшина.

— Братва, а ну бегом! У кого гранаты — ко мне! Мы им покажем кузькину мать!

Усталые, они не очень решительно бегут назад на пригорок. Сахно еще кого-то останавливает и гонит вместе со всеми. Кого-то бьет рукояткой по шее. Что ж, может, так и надо. Надеяться теперь не на кого, никто тут нас не защитит. Разве что сами себя.

В какой-то неопределенной решимости я также соскакиваю с повозки. Соскакиваю и приседаю на одну ногу. (Поспешил все же!) Ну, черт с ним! Погибать, так на поле боя. На мое место сразу кто-то влезает.

Яковыляю в степь. Сзади, отдаляясь, стучит повозка, только я не оглядываюсь. Я знаю: нам уже больше не встретиться.

Уже немало пройдя по свежим следам, я бросаю короткий взгляд назад. Вблизи никого. Далеко внизу повозка въезжает в село. Но где же Сахно?

Капитана нигде не видно. Впереди его нет, а сзади... А сзади на повозке чернеет знакомая кубанка.

Почему-то мне становится до боли обидно. Ведь это же подло. Разве так можно?..

Между тем небольшая группа старшины на пригорке быстро разворачивается в цепь.

Я снимаю из-за спины карабин и выхожу на пригорок. В душе такое ощущение, будто меня, обманув, послали на смерть. Но ведь это я сам. Мне даже никто не приказывал.

17

Ну, вон и танки. На суженных интервалах, выстроившись все в ряд, они ползут по широкой ложине. Правда, ползут осторожно и, видно, не стремятся давить бойцов гусеницами — уничтожают огнем. Глубинный, внутренний гул, все усиливаясь, плывет над землей.

На фланг я уже не бегу. Пригнувшись, вхожу в цепь, где она несколько реже, и падаю в снег. Снег тут неглубокий и рыхлый, повсюду торчат серые стебли бурьяна. Справа от меня шевелится кто-то в полушубке. Возможно, какой-нибудь командир. Только он не командует. Теперь он, как и все, рядовой в цепи старшины Евсюкова. С другой стороны от меня торопливо устраивается на снегу длинноногий боец в короткой шинелке. Над заснеженной морозной степью сквозь дымку просвечивает невысокое зимнее солнце.

— Огонь! Какого черта лежать! Огонь!

Это встает на коленях старшина. Его темная куртка десантника резко выделяется на свежем снегу.

Да, конечно, нужен огонь. Иначе чем мы можем сдержать эти танки?

Только что мы им сделаем нашим огнем? Если бы хоть парочку ПТР. Да чтоб гранаты...

Из цепи редко и недружно начинают бахать винтовки. Кто-то пускает длинную очередь из автомата. Танки, наверно, пока нас не видят. Я лежу в каком-то оцепенении, вобрав руки в мокрые рукава шинели. Мерзнут пальцы. До самого колена горит, ноет нога. В карабине всего пять патронов, и я выпущу их, когда танки подойдут ближе. Чтобы попасть хоть в какой-нибудь триплекс.

Танки приближаются с каждой минутой. В балке тяжелый моторный гул, приглушенный лязг гусениц. Беглецов перед ними уже не видно — живые все за пригорком. На широком пологом склоне, истоптанном сотнею ног, — несколько трупов, разбитая повозка, а чуть ближе — наш издохший конь. И вдруг кто-то там оживает и начинает ползти. Изнеможенно волочит по снегу, видно, перебитые ноги. Сразу же на лобовой броне переднего танка вспыхивает огненный сверк, и человек навсегда вытягивается на снегу.

— Огонь! Огонь, черт бы вас побрал!.. — кричит Евсюков.

Я кладу на ладонь карабин и прицеливаюсь. Приклад туго отдает в плечо, и мне жалко напрасно истраченного патрона. Скоро он мне ой как понадобится. Неторопливо начинаю целиться снова. И тут рядом рвется снаряд. Взгляд теряет цель, меня обдает тротильным смрадом и снегом. На взрыв я не оглядываюсь — я только чувствую: ну вот и увидели! Теперь держись! Теперь дадут жару.

Но что это? Сбоку на снегу через балку, будто натягиваясь и обрываясь, нет-нет да сверкнет красноватая нить. Раз, второй. И над танком на косогоре появляется дымок. Я гляжу на соседа в полушубке. Так и есть — это он бьет трассирующими. Только почему дым? Неужели поджег?

Тр-р-рах! Тр-р-рах!

Рвет с недолетом, перед цепью. На несколько секунд танки пропадают за снежно-земляной тучей разрывов. Я утыкаюсь лицом в землю. Вокруг шаркают комья, и, когда ветер сгоняет с воронок дым, впереди открывается чудо: один танк горит.

Просто не верится, но так. Танкисты из него уже повыскакивали. В борту и в башне раскрыты люки, корма его вся в огне. Два ближних к нему танка останавливаются. Бугор отзывается трескучей стрельбой.

— По бóчкам — огонь! По бóчкам! — сквозь гул и грохот прорывается издали крик Евсюкова.

И тут только я понимаю: на танках — бочки с горючим. Потому и такая удача.

Я торопливо прицеливаюсь в ближний к нам танк, который медленно поворачивает свою широкую грудь в сторону нашего пригорка. Кажется, у него на борту что-то торчит. Бочки или что-то другое — отсюда не рассмотришь. И я быстро стреляю сбоку, пока это «что-то» еще не скрыла башня. Только знака от моего выстрела никакого — ни огня, ни дыма. А рядом посверкивают трассирующие соседа.

Задний уже горит густым пламенем. Красные космы огня шугают на ветру, и черный хвост дыма размашисто стелется над степью. Остальные его оставили, обошли и торопливо разворачиваются на нас. Воздух над цепью туго пронизывают их густые малоприцельные очереди.

Недавнее уныние исчезает. Я уже готов драться. Я даже хочу, чтобы они быстрее подошли ближе. Меня распирает азарт. И только потому, что горит их подоженный пулей танк. Остальные одиннадцать подвигаются все ближе.

Цепь дружно отвечает залпом, беспорядочно грохочет выстрелами. Торопливо бьет трассирующими сосед. Я присматриваюсь к его винтов-

ке — кажется, она трофейная, как и мой карабин. Это здорово! Я вскакиваю со своего места и бросаюсь в снег. Сзади близко рвется снаряд. Земля подо мной упруго вздрагивает, осколки с визгом распарывают небо. Я подползаю к человеку в полушубке.

— Как бы патрончиков? Хоть обоймочку, а?

Человек, не реагируя на мое появление, сосредоточенно целится и стреляет. Потом судорожно хватается за рукоятку затвора. Он уже молодой, с семью висками. Под белым воротником полушубка виден красный кант кителя — значит, командир.

— Нет патронов! Нет патронов! — хрипит он прокуренным шепелявым голосом, который мне кажется знакомым.

Да это же тот вчерашний — капитан, который в селе разгружал «студебеккеры». Вот тебе и ДОП! Не послушал тогда, а теперь приперло. Из его оттопыренного кармана торчат цветные головки патронов. Но вот не дает.

Скупердяй несчастный! Так и подмывает обругать его, хотя теперь не до этого.

— Хоть одну обойму! — раздраженно прошу я.

Капитан отрывается от карабина.

— Катись отсюда! Не демаскируй!

Он коротко поглядывает на меня, и я явственно вижу испуг на его лице. Это меня даже озадачивает: как же он тогда подбил танк? Однако что делать? Выругавшись с досады, я по снегу ползу от него на свое место. Но не проползаю и половины пути, как сзади с неистовым грохотом разверзается земля, меня совершенно оглушает. Одновременно что-то сильно бьет по бедру. Впрочем, я смутно чувствую: это не осколок. Крутнувшись на снегу, сразу же оглядываюсь — вдогонку шугает тугой клуб дыма. Секунд пять капитана не видно, затем в дымном месиве на земле начинает обозначаться воронка. Одна пусгая, свежая, пыльная воронка — и больше ничего. Разгребая руками снег, я бросаюсь в нее. Теперь там укрытие, а возможно, и спасение: второй раз в одно место снаряды не падают.

Мягкая и теплая воронка скрывает меня от огня. Правда, здесь здорово воняет тротилом и неглубоко, не больше чем до колена. Но пулям тут меня не достать. Капитана нигде нет. Даже странно! Только вот под боком что-то твердое, я шарю рукой и вытаскиваю закоптелый приклад карабина с обрывком ремня. И все. Выбрасываю обломок в снег и невдалеке вижу нечто бессмысленное. Это помятый, вывернутый шерстью наружу полушубок с обрывками портупей. И возле него еще что-то, залитое кровью. Кровь и рядом, на перемешанном с землей снегу. Эх, капитан! Но ведь патроны!.. Оглянувшись, я выскакиваю из воронки к окровавленным лохмотьям, от которых на морозе клубится легкий парок. Лихорадочно разгребая клочья одежды. В дырявом кармане две обоймы бронебойно-зажигательных патронов. Одна, правда, уже начатая, но бог с ней. Я хватаю патроны и бросаюсь в воронку.

Ну, гады, теперь ближе! — думаю я, запихивая в магазин патроны. Танки уже гораздо ближе. Теперь можно выбирать, куда целиться.

Только почему-то они не идут. Они становятся в ряд метрах в четырехстах от цепи и направляют на бугор свои орудия. Я удобнее устраиваюсь на краю воронки и не успеваю еще сообразить, что делать дальше, как бугор во всю глубину сотрясается от нескольких взрывов. Над головой высоко фыркают осколки. По ветру несет сернистой гарью тротила. Я прижимаюсь к мягкому, утыканному осколками боку воронки, втягиваю в плечи голову. Танки начинают беглый огонь из орудий.

Тр-рах! Тр-р-р-рах! Трах!.. рах!

Ого, сволочи, вот это дают! Бугор заволакивается пылью, в воздухе

висит сумеречный туман от взрывов. Снежный покров быстро темнеет от множества оспин-воронок. Я вижу, как на том фланге кто-то перебегает. Но не поймешь куда — назад или в воронку. Теперь тем, кто на поверхности, — туго.

Я стреляю. Правда, пользы от этого пока никакой. Впереди только сверкнет короткая молния — и все. Куда попадают пули, не поймешь. Теперь их не возьмешь — это не с борта. Бить же по броне мало толку.

И тут совсем рядом — разрыв. Меня снова оглушает, будто ватой затыкает уши. Сверху сыплется пыль. Ну и ну! Полой шинели я прикрываю карабин и сжимаюсь в воронке. Рвет еще и еще. При каждом разрыве тело невольно и до боли сжимается. Но надо поглядеть, где танки. Оказывается, они не спешат. После первого дружного напора их стрельба становится реже. Редеют и взрывы. Теперь они бьют прицельным огнем. Сволочи! Что делают! Выстрел — разрыв, и одного бойца в нашей цепи нет. Потом разрыв на месте другого. Вот это тактика! Такой я еще не видел. Они выбивают нас по одному. На местах бойцов в цепи — ряд черных воронок. Так нас ненадолго и хватит.

Хоть бы повезло попасть в триплекс! Ослепить какой-нибудь танк! Я снова прикладываюсь и торопливо стреляю в колпак перископа, что едва угадывается на плоской башне. Только не попадешь — далеко. Хватаюсь за рукоятку, чтобы перезарядить, как вдруг по лицу размашисто хлещет что-то, залепляет глаза, рот... Утершись рукавом, вижу — в двух шагах впереди торчит из снега снаряд. Рванет! Я сжимаюсь в воронке, обхватив голову, но тут же догадываюсь: не рванет, это болванка. Они уже бьют по нас и болванками!

Выждав с полминуты, осторожно высовываюсь из воронки. Нетрудно догадаться, какой из танков выпустил по мне болванку. Вот он, неподалеку от того, что догорает сзади. Отсюда хорошо виден черный зрачок его пушки. Она направлена сюда. Значит, выстрелит еще. Хоть бы не осколочным! Я прицеливаюсь в этот зрачок — вдруг попаду в кого-нибудь через пушку? Может же так случиться, когда перезаряжают орудие и открыт затвор. Это, конечно, маловероятно, но другой возможности у меня нет. Старательно целюсь, теперь я не могу промахнуться. Однако еще не успеваю нажать на спуск, как сзади, тяжело дыша, кто-то вваливается в воронку. Выстрел получается преждевременный, и я чувствую — не попал.

Я поджимаю ногу и оглядываюсь. В воронке молодой боец. Он с перепачканным землею лицом и в каске, которая сползла ему на глаза. Один рукав его шинели порван и залит кровью. Я думаю, парень попросит перевязать.

— Фу, добежал! — запыхавшись, говорит он, взглянув на мои погони. — Мне бы вот связать чем.

Из-за пазухи на полу шинели он выкладывает несколько гранат. Это «лимонки». Я гляжу на них и не понимаю, зачем их связывать? Обычно связывают РГД, когда бросают под танки, а «лимонки»?.. Всего три, да и те неизвестно, как можно скрепить вместе.

— Я бы сам, да вот!.. — шевелит он окровавленной, без рукавицы левой рукой. — Одной не управлюсь.

— А кинешь? — недоверчиво спрашиваю я.

— Кину. Правая же вот! Пусть подойдут.

Действительно, может, и стоит попробовать. Только чем их связать?

— А если обмоткой? — подсказывает парень.

— Давай.

Мы быстро раскручиваем на его ноге зеленую заскорузлую обмотку. Отложив карабин, я связываю ею три гранаты. Гранаты черные с

зелеными взрывателями. На планке одной из них выцарапано чем-то острым: «М. Коваль».

Невдалеке снова грохот, на голову сыплется снег. Я торопливо поглядываю на цепь — видно, скоро тут уже никого не останется. Вот тогда они, ясное дело, и пойдут. А так зачем им рисковать?

— А вы снайпер? — говорит парень и кивает головой на танки. — Ловко его! Бронебойно-зажигательной, да?

— Это не я.

— Да ну? Я же видел, — возражает Коваль, уstraиваясь рядом на боку воронки. Он молод и, видно, упрям.

— Ничего ты не видел! — говорю я. — Шпарь-ка лучше в тыл. Ранен — нечего тут отираться.

Парень косит на меня недовольным взглядом.

— Нет. Я подорву хоть одного гада.

— Подорвешь! Вот сейчас как влепит — так сам сперва подорвешься!

Боец недоверчиво выглядывает из воронки. Кажется, он действительно намеревается своими «лимонками» подорвать танк.

А они все стреляют, прямо на глазах выбивают нашу цепь. Бьют болванками и осколочными. Для каждого — персональный снаряд. Не слишком ли много чести! Должно быть, снарядов у них хватает. Наверно, это они в отместку за тот, догорающий уже танк. Капитана давно нет, а танк, им подожженный, еще горит.

Трах!

Мы оба пригибаемся, столкнувшись в воронке головами. Разрыв окатывает спины волной земли и снега. Это, кажется, по нас. Но воронка спасает. Парень поднимает глаза. В них, однако, ни капельки страха, только настороженность и упрямство.

— Герой!

— Чего? — не понимает парень.

— Говорю, герой! — кричу я сквозь грохот разрывов.

— Конечно, злой! Потому что безобразие!

Безобразие — это факт. Отбили половину Украины, прорвали фронт, окружили Кировоград. А тут вот...

Мы стряхиваем с себя снег и землю, и я думаю: не слишком ли немцы израсходовались на нас? Два снаряда на одну цель! Хотя третий, наверно, будет последним. Идиотское все же дело — ждать гибели в такой беспомощности. У меня появляется желание, чтобы танки двинулись с места, пошли хоть назад, хоть вперед, лишь бы только прекратили огонь. Со временем я тоже начинаю поглядывать на зеленую обмотку, которой связаны три «лимонки».

И тогда невзначай как-то я замечаю над степью трассер. Нет, это не пули. Красная огненная звездочка, сверкнув на башне крайнего танка, высоко взвивается в небо. Я сразу же оглядываюсь на село — в вишеннике возле крайней хаты стоит танк. Откуда он взялся? А второй выползает со двора и останавливается за плетнем. И на улице за мазанками и вишенником шевелятся серые, в облезшем зимнем камуфляже танки. Они только что подошли. Это наши танки, их не очень густо, но все же это подмога, с ними нам уже легче. Это спасение! «Ага, не нравится!» — кричу я. Немецкий танк, по которому ударил снаряд, дергается на месте, дрыгает гусеницей и торопливо разворачивает башню. Еще одна молния широко сверкает над пригорком и балкой, но — мимо. Бронебойный брызжет охапкой снега в борт рябого танка, потом, отскочив, рикошетом бьет в снег еще раз и исчезает. Но тут пронесются новые трассеры. Село начинает яростную оружейную пальбу, и она так нам теперь по душе!

Из цепи уже кто-то бежит вниз, к хатам. Кто-то встает и падает. Мелькнув среди закопченной, перемешанной со снегом земли, пропадает в воронке. Отход? Кажется, да... Вскоре я вижу на снегу знакомую фигуру в куртке — это Евсюков. Он бежит меж воронок и рукой машет оставшимся: назад!

Немецкие танки, тревожно задвигавшись, дают задний ход. Разрывы на пригорке почти одновременно стихают. Весь свой огонь немцы переносят в село. Через наши головы с двух сторон летят трассеры. Но из балки танки не уходят — они перестраиваются и берут вправо, в сторону от села. И мы ничем не можем помешать им.

Что делать дальше? Может, теперь мы тут и не нужны? Действительно, надо убираться — гибель пока откладывается. Возможно, еще все обойдется? Я встаю в воронке и окликаю бойца, но он, нахмутив свои светлые брови, почему-то не проявляет никакого проворства.

— А ну, перебежками!

Коваль сопит и замирает на дне.

— Не пойду.

— Что? Ты команду слышал?

— А что команда? Я ранен.

Он шевелит несгибающейся левой рукой, а правой прижимает к груди сверток с гранатами.

— Ты что, одурел? — кричу я. — Что ты им теперь сделаешь?

Бойцы перебегают по склону вниз. Там немецкие танки уже их не видят. Грохочет в степи и на той стороне в селе. Началась танковая дуэль, в которой пехоте уже нечего делать.

— Нет! — ершится парень и вытягивается на моем належанном месте. — Гады! Они Москальчука убили.

Он вдруг всхлипывает и грязным кулаком размазывает по лицу слезы. Взгляд его понуро упирается в немецкие танки. А те куда-то ползут и ползут. Видно, обходят село.

Тогда парень всхлипывает сильнее и выскакивает из воронки. Я не успеваю понять куда, как он быстро бежит с гранатами по бугру. Как будто на перехват танков.

— Стой! Ты куда? Вернись!

Но он даже не оглядывается. Вскоре падает в воронку, потом вскакивает и бежит дальше.

Вот дурень парень. Упрямства и ярости хоть отбавляй, а соображения ни на грош. Допустим, он их догонит, но что он там сделает со своими тремя «лимонками»?

Скоро он пропадает где-то среди воронок, мне же надо в село. Как это ни удивительно, но, кажется, еще доведется увидеть Юрку. Как он там?

И я вылезая из воронки на разметанный и искромсанный взрывами снег.

Авторизованный перевод с белорусского М. Горбачева.

(Окончание следует)



КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

С балкарского

* * *

Сидит на камне древняя старуха,
Быть может, камня этого древней.
Что ветер до ее доносит слуха?
Что в этот час дарует память ей?

Она сидит — и вновь семнадцать лет ей,
И за ее спиною две косы.
Она идет к ручью — и парни вслед ей
Глядят и крутят черные усы.

Закреть глаза — и кто-то скачет в горы,
И на заре стучат в ее окно
Лихие парни, каждый из которых
Холмом могильным стал уже давно.

Немное ей память сохранила,
Но хоть она и памятью плоха,
Ей слышен запах городского мыла
От стираной рубахи жениха.

Сидит старуха, смотрит пред собою,
А я молю: пока она живет,
Пусть затуманит время все плохое,
Пусть в памяти все светлое всплывет!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Спите, люди, тьма кругом,
Спите, ветры и метели,
Спите, речки подо льдом,
Спи, ущелье!

Спи в горах, обвал слепой,
И не грохочи спросонья.
Спи, нависший над тропой
Снег на склоне!

Прибывший издалека,
Миновавший льды и бездны,
Спи под кровом кунака,
Друг любезный!

Спи, все горе на земле,
Боли нам не причиняя.
Навсегда усни в стволе,
Пуля злая.

Смерть, ты тоже отдохни,
Стариков оставь в покое.
Пьяным сном своим усни,
Зло людское!

Спите, люди, в поздний час,
Спите, взрослые и дети,
Будто бы врагов у вас
Нет на свете!

Спящие мы все равны,
Мы во сне — все молодые.
Пусть вам, люди, снятся сны
Золотые.

Пусть придет во время сна
Все, что наяву хотите.
Если совесть не черна,
Сладко спите!

Перевел Н. Гребнев.



А. СОЛЖЕНИЦЫН

★

ЗАХАР-КАЛИТА

Рассказ

Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если нескучно, послушайте о Поле Куликовом. Давно мы на него целились, но как-то всё дороги не ложились. Да ведь туда раскрашенные щиты не зазывают, указателей нет, и на карте найдешь не на каждой, хотя битва эта по четырнадцатому веку досталась русскому телу и русскому духу дороже, чем Бородино по девятнадцатому. Таких битв не на одних нас, а на всю Европу в полтысячи лет выпадала одна. Эта битва была не княжеств, не государственных армий — битва материков.

Может, мы и подбираться вздумали нескладно: от Епифани через Казановку и Монастырщину. Только потому, что дождей перед тем не было, мы проехали в седлах, за рули не ташили, а через Дон, еще не набравший глубины, и через Непрядву переводили свои «вѣлики» по пешеходным двудосочным мосткам.

Задолго, с высоты, мы увидели на другой обширной высоте как будто иглу в небо. Спустились — потеряли ее. Опять стали вытягивать вверх — и опять показалась серая игла, теперь уже явнее, а рядом с ней привиделась нам как будто церковь, но странная, постройки невиданной, какая только в сказке может примерещиться: купола ее были как бы сквозные, прозрачные и в струях жаркого августовского дня колебались и морочили — то ли есть они, то ли нет.

Хорошо догадались мы в лошинке у колодца напиться и фляжки наполнить — это очень нам потом пригодилось. А мужичок, который ведро нам давал, на вопрос: «Где Поле Куликово?» — посмотрел на нас как на глупеньких:

— Да не Кулико́во, а Кули́ково. Подле поля-то деревня Кули́ковка, а Кулико́вка вона, на Дону, в другу сторону.

После этого мужичка мы пошли глухими проселками и до самого памятника несколько километров не встретили уже ни души. Просто это выпало нам так в тот день — ни души, в стороне где-то и помахивала тракторная жатка, и здесь тоже люди были не раз и придут не раз, потому что засеяно было все, сколько глаз охватывал, и доспевало уже — где греча, где свекла, клевер, овес и рожь, и горох (того гороху молодого и мы полушили), — а все же не было никого в тот день, и мы прошли как по священному безмолвному заповеднику. Нам без помех думалось о тех русоволосых ратниках, о девяти из каждого пришедшего десятка, которые вот тут, на сажень под теперешним наносом, легли и дóкости растворились в земле, чтоб только Русь встряхнулась от басурманов.

Весь этот некрутой и широкий взъем на Мамаеву высоту не мог резко изменить очертаний и за шесть веков, разве обезлесел. Вот именно тут где-то, на обозримом отсюда окружье, с вечера 7 сентября и ночью, переходя Дон, располагались кормить коней (да только пеших было больше), дотачивать мечи, крепиться духом, молиться и гадать — едва ли не четверть миллиона русских, больше двухсот тысяч. Тогда народ наш в седьмую ли долю был так люден, как сейчас, и эту силущу вообразить невозможно — двести тысяч!

И из каждых десяти воинов — девять ждали последнего своего утра.

А и через Дон перешли наши тогда не с добра — кто ж по охоте станет на битву так, чтоб обрезать себя сзади рекою? Горька правда истории, но легче высказать ее, чем таить: не только черкесов и генуэзцев привел Мамай, не только литовцы с ним были в союзе, но и князь рязанский Олег. (И Олега тоже понять бы надо: он землю свою проходную не умел иначе сберечь от татар. Жгли его землю перед тем за семь лет, за три года и за два.) Для того и перешли русские через Дон, чтобы Доном оштитить свою спину от своих же, от рязанцев: не ударили бы православные.

Игла маячила впереди, да уже не игла, а статная, ни на что не похожая башня, но не сразу мы могли к ней выбиться: проселки кончались, упирались в посевы, мы обводили велосипеды по межам — и, наконец, из земли, ниоткуда не начинаясь, стала проявляться затравяневшая, заглошшая, заброшенная, а ближе к памятнику уже и совсем явная, уже и с канавами, старая дорога.

Посевы оборвались, на высоте начался подлинный заповедник, кусок глухого пустопорожного поля, только что не в ковыле, а в жестких травах — и лучше нельзя почтить этого древнего места: вдыхай дикий воздух, оглядывайся и видь! — как по восходу солнца сшибаются Телебей с Пересветом, как стяги стоят друг против друга, как монгольская конница спускает стрелы, трясет копьями и с перекаженными лицами бросается топтать русскую пехоту, рвать русское ядро — и гонит нас назад, откуда мы пришли, туда, где молочная туча тумана встала от Непрядвы и Дона.

И мы ложимся, как скошенный хлеб. И гибнем под копытами.

Тут-то, в самой заверти злой сечи, — если кто-то сумел угадать место — поставлен и памятник, и та церковь с неземными куполами, которые удивили нас издали. Разгадка же вышла проста: со всех пяти куполов соседние жители на свои надобности ободрали жечь, и купола просквозились, вся их нежная форма осталась ненарушенной, но выявлена только проволокой и издали кажется маревом.

А памятник удивляет и вблизи. Пока к нему не подойдешь пощупать — не поймешь, как его сделали. В прошлом веке, уже тому больше ста лет, а придумка — собрать башню из литья — вполне сегодняшняя, только сегодня не из чугуна бы лили. Две площадки, одна на другую, потом двенадцатерик, потом он постепенно скругляется, сперва обложенный, опоясанный чугунными же щитами, мечами, шлемами, чугунными славянскими надписями, потом уходит вверх, как труба в четыре раздвига (а самые раздвижки отлиты как бы из органных тесно-сплоченных труб), потом шапка с насечкой, и надо всем — золоченый крест, пирающий полумесяц. И все это — метриков на тридцать, все это составлено из фигурных плит, да так еще стянуто изнутри болтами, что ни болтика, ни шелки нигде не проглядывало, будто памятник цельно отлит, — пока время, а больше внуки и правнуки не прохудили там и сям.

Долго идя по пустому полю, мы и сюда пришли как на пустое место,

не чая кого-нибудь тут встретить. Шли и размышляли: почему так? Не отсюда ли повелась судьба России? Не здесь ли совершен поворот ее истории? Всегда ли только через Смоленск и Киев роились на нас враги?.. А вот никому не нужно, никому невдомек.

И как же мы были рады ошибиться! Сперва невдали от памятника мы увидели седенького старичка с двумя парнишками. Они лежали на траве, бросив рюкзак, и что-то писали в большой книге, размером с классный журнал. Мы подошли, узнали, что это — учитель литературы, ребят он подхватил где-то недалеко, книга же была совсем не из школы, а ни мало, ни много как Книга Отзывов. Но ведь здесь музея нет, у кого ж хранится она в диком поле?

И тут-то легла на нас от солнца дородная тень. Мы обернулись. Это был Смотритель Куликова Поля! — тот муж, которому и довелось хранить нашу славу.

Ах, мы не успели выдвинуть объектив! Да и против солнца нельзя. Да и Смотритель не дался бы под аппарат (он цену себе знал и во весь день потом ни разу не дался). Но описывать его — самого ли сразу? Или сперва его мешок? (В руках у него был простой крестьянский мешок, до половины наложенный и не очень, видно, тяжелый, потому что он, не утомляясь, его держал.)

Смотритель был ражий мужик, похожий отчасти и на разбойника. Руки и ноги у него здоровы удались, а еще рубаха была привольно расстегнута, кепка насажена косо, из-под нее выбивалась рыжизна, брился он не на этой неделе, на той, но через всю щеку продралась красноватая свежая царапина.

— А! — неодобрительно поздоровался он, так над нами и нависая. — Приехали? На чем?

Он как бы недоумевал, будто забор шел кругом, а мы дырку нашли и проскочили. Мы кивнули ему на велосипеды, составленные в кустах. Хоть он держал мешок, как перед посадкой на поезд, а вид был такой, что и паспорта сейчас потребует. Лицо у него было худое, клином вниз, а решимости не занимать.

— Предупреждаю! Посадку не мять! Велосипедами.

И тем сразу было нам уставлено, что здесь, на Поле Куликовом, не губы распушта ходят.

На Смотрителе был расстегнутый пиджак — долгополый и охватистый, как бушлат, кой-где и подштопанный, а цвета того самого из присказки — серо-буро-малинового. В пиджачном отверстии сияла звезда — мы подумали сперва, орденская, нет — звезда октябренка с Лениным в кружке. Под пиджаком же носил он навывпуск длинную, синюю, в белую полоску ситцевую рубаху, какую только в деревне могли ему сшить; зато перепоясана была рубаха армейским ремнем с пятиконечной звездой. Брюки офицерские диагональные третьего срока заправлены были в кирзовые сапоги, уже протертые на сгибах голенищ.

— Ну? — спросил он учителя, много мягче. — Пишете?

— Сейчас, Захар Дмитрич, — повеличал его тот, — кончаем.

— А вы, — (строго опять), — тоже будете писать?

— Мы — попозже. — И чтоб как-нибудь от его напора отбиться, перехватили: — А когда этот памятник поставлен — вы-то знаете?

— А как же! — обиженно откинулся он и даже захрипел, закашлялся от обиды. — А зачем же я здесь?!

И опустив осторожно мешок (в нем звякнули как бы не бутылки), Смотритель вытащил нам из кармана грамотку, развернул ее — тетрадный лист, где печатными буквами, не помещаясь по строкам, было написано посвящение Дмитрию Донскому и год поставлен — 1848.

— Это что ж такое?

— А вот, товарищи,— вздохнул Захар Дмитрич, прямодушно открывая, что и он не так силен, как выдал себя вначале,— вот и поймайте. Это уж я сам с плиты списал, потому что каждый требует: когда поставлен? И место, хотите покажу, где плита была.

— Куда ж она делась?

— А черт один из нашей деревни упер — и ничего с ним не сделаем.

— И знаете — кто?

— Ясно, знаю. Да долю-то буковок я у него отбил, управился, а остальные до сих у него. Мне б хоть буковки все, я б тут их приставил.

— Да зачем же он плиту украл?

— По хозяйству.

— И что ж, отобрать нельзя?

— Ха-га! — подбросил голову Захар на наш дурацкий вопрос.— Вот именно что! Власти не имею! Ружья — и то мне не дают. А тут — с автоматом надо.

Глядя на его расцарапанную щеку, мы про себя подумали: и хорошо, что ему ружья не дают.

Тут учитель кончил писать и отдал Книгу Отзывов. Думали мы — Захар Дмитриевич под мышку ее возьмет или в мешок сунет,— нет, не угадали. Он отвел полу своего запашного пиджака, и там, с исподу, у него оказался пришит из мешочной же ткани карман не карман, торба не торба, а верней всего к а л и т á, размером как раз с Книгу Отзывов, так что она входила туда плотненько. И еще при той же калите было стремечко для тупого чернильного карандаша, который он тоже давал посетителям.

Убедясь, что мы прониклись, Захар-калита взял свой мешок (да, таки стекольце в нем позванивало) и, загребая долгими ногами, сутулясь, пошел в сторонку, под кусты. То разбойное оживление, с которым он нас одернул поначалу, в нем прошло. Он сел, ссутулился еще горше, закурил — и курил с такой неуголенной кручиной, с такой потерянностью, как будто все легшие на этом поле легли только вчера и были ему братья, свояки и сыновья и он не знал теперь, как жить дальше.

Мы решили пробыть тут день до конца и ночь: посмотреть, какова она, куликовская ночь, опетая Блоком. Мы, не торопясь, то шли к памятнику, то осматривали опустошенную церковь, то бродили по полю, стараясь вообразить, кто где стоял 8 сентября, то взлезали на чугунные плоскости памятника.

О, здесь были до нас, здесь были! Не упрекнуть, что памятник забыт. Не ленились идола зубилом выбивать по чугуну и гвоздями процарапывать, а кто послабей — углем писать на церковных стенах: «Здесь был супруг Полунеевой Марии и Лазарев Николай с 8-V-50 по 24-V». «Здесь были делегаты районного совещания...» «Здесь были работники Кимовской РКСвязи 23-VI-52...» «Здесь были...» «Здесь были...»

Тут подъехали на могоцикле трое рабочих парней из Новомосковска. Они легко вскочили на плоскости, стали разглядывать и ласково обхлопывать нагретое серо-черное тело памятника, удивлялись, как он здорово собран, и объясняли нам. За то и мы им с верхней площадки показали, что знали, о битве.

А кому теперь уж так точно это знать — где было и как? По летописным рассказам, монголо-татары на конях врубались в пешие наши полки, редили и гнали нас к донским переправам — и уже не защитою от Олега обернулся Дон, а грозил гибелью. Быть бы Дмитрию и тогда Донским, да с другого конца. Но верно он все расчел и сам держался, как не всякий сумел бы великий князь. Под знаменем своим он оставил

боярина в убранстве, а сам бился как ратник, и видели люди: рубился он с четырьмя татарами сразу. Однако и великокняжеский стяг изрубил, и Дмитрий с промятыми панцирем еле дополз до леса, — нас топтали и гнали. Вот тут-то из лесной засады в спину зарывавшимся татарам ударил со своим войском другой Дмитрий, Волинский-Боброк, московский воевода. И погнал он татар туда, как они и скакали, наступая, только заворачивал крутенько и сшибал в Непрядву. С того-то часа воспрянули русские: повернули стенкою на татар, и с земли поднимались и всю ставку с ханами, и Мамаю самого гнали сорок верст через реку Птань и аж до Красивой Мечи. (Но и тут легенда перебивает легенду, и из соседней деревни Ивановки старик рассказывает все по-своему: что туман, мол, никак не расходился, и в тумане принял Мамай обширный дубняк обок себя за русское войско, испугался: «Ай, силен крестьянский бог!» — и так-то побежал.)

А поле боя потом русские разбирали и хоронили трупы — восемь дней.

— Одного все ж не подобрали, так и оставили, — упрекнул веселый слесарь из Новомосковска.

Мы обернулись, и — нельзя было не расхохотаться. Да! — один поверженный богатырь лежал и по сей день невдалеке от памятника. Он лежал ничком на матушке — родной земле, уронив на нее удалую голову, руки-ноги молодецкие разбросав косыми саженьями, и уж не было при нем ни щита, ни меча, вместо шлема — кепка затасканная, да близ руки — мешок. (Все ж приметно было, что ту полу с калитой, где береглась у него Книга Отзывов, он не мял под животом, а выпростал рядом на траву.) И если только не попьану он так лежал, а спал или думал, была в его распластанной разбросанности — скорбь. Очень это подходило к полю. Так бы фигуру чугунную тут и отлить, положить.

Только Захар, при всем его росте, для богатыря был жидковат.

— В колхозе работать не хочет, вот должностишку и нашел, загорать, — буркнул другой из ребят.

А нам больше всего не нравилось, как Захар насканивал на новых посетителей, особенно от кого по виду ожидал подвоха. За день приезжали тут еще некоторые, — он на шум их мотора подымался, отряхивался и сразу наседавал на них грозно, будто за памятник отвечал не он, а они. Еще прежде их и пуще их Захар возмущался запустением, так яро возмущался, что нам уж и верить было нельзя, где это в груди у него сидит.

— А как вы думали?! — напускался он на четверых из «запорожца», размахивая руками. — Вот я подожду-подожду, да перешагну через районный отдел культуры! — (Ноги его вполне ему это позволяли.) — Отпуск возьму да поеду в Москву, к самой Фурцевой! Все расскажу!

Но как только замечал, что посетители сробели и против него не выстаивают, — брал свой мешок (важно брал, как начальник берет портфель) и шел в сторону прикорнуть, покурить.

Перебравшая туда и сюда, мы за день встречали Захара не раз. Заметили, что при ходьбе он на одну ногу улегает, спросили — отчего. Он ответил гордо:

— Память фронта!

И опять же мы не поверили: наловчился, хлюст.

Фляжки мы свои высосали и подступили к Захару — где б водицы достать. Води-ицы? В том и суть, объяснил, что колодца нет, на рытье денег не дают, и на всем знаменитом поле воду можно пить только из луж. А колодец — в деревне.

Уж как к своим, он к нам навстречу с земли больше не подымался.

Что-то мы ругнулись насчет надписей — прорубленных, процарапанных, — Захар отразил:

— А посмотрите — года какие? Найдите хоть один год свежий — тогда меня волоките. Это все до меня казаковали, а при мне — попробуй! Ну, может, в церкви гад какой затаился, написал, так ноги у меня — одни!

Церковь во имя Сергия Радонежского, сплотившего русские рати на битву, а вскоре потом побратавшего Дмитрия Донского с Олегом Рязанским, построена как добрая крепость, это — тесно сдвинутые глыбные тела: усеченная пирамида самой церкви, переходное здание с вышкой и две круглых крепостных башни. Немногие окна — как бойницы.

Внутри же не только все ободрано, но нет и пола, ходишь по песку. Спросили мы у Захара.

— Ха-га-а! Хватились! — позлорадствовал он на нас. — Это еще в войну наши куликовские все плиты с полов повыламывали, себе дворы умостили, чтоб ходить не грязно. Да у меня записано, у кого сколько плит... Ну да фронт проходил, тут люди не терялись. Еще поперед наших все иконостасовые доски пустили землянки обкладывать да в печки.

Час от часу с нами обвыкая, Захар уже не стеснялся лазить при нас в свой мешок, то кладя что, то доставая, и так мы мало-помалу смекнули, что ж он в том мешке носит. Он носил там подобранные в кустах после завтрака посетителей бутылки (двенадцать копеек) и стеклянные банки (пятак). Еще носил там бутылку с водой, потому что иного водопоя и ему целый день не было. Две буханки ржаных носил, от них временами уламывал и всухомятку жевал:

— Весь день народ валит, сходить пообедать в деревню некогда.

А может быть, в иные дни бывала там у него и заветная четвертинка или коробка рыбных консервов, из-за чего и тягал он мешок, опасаясь оставить. В тот день, когда уже солнце склонялось, приехал к нему на мотоцикле приятель, они в кустах часа полтора просидели, приятель уехал, а Захар пришел уже без мешка, говорил громче, руками размахивал пошире и, заметив, что я что-то записываю, предостерег:

— А попечение — есть! Есть! В пятьдесят седьмом постановили тут конструкцию делать. Вон тумбы, видите, врыты округ памятника? Это с того года. В Туле их отливали. Еще должны были с тумбы на тумбу цепи навешивать, но не привезли цепей. И вот — меня учредили, содержат! Да без меня б тут все прахом!

— Сколько ж платят вам, Захар Дмитрич?

Он вздохнул кузнечным мехом и не стал даже говорить. Пообмялся, тогда сказал тихо:

— Двадцать семь рублёв.

— Как же может быть? Ведь минимальная — тридцать.

— Вот — может... А я без выходных. А с утра до вечера без перерыва. А ночью — опять тут.

Ах, завирал Захар!

— Ночью-то — зачем?

— А как же? — оскорбился он. — Да разве на ночь тут можно покинуть? Да самое ночью-то и смотреть. Машина какая придет — номер ее записать.

— Да зачем же номер?

— Так ружья мне не вручают! Мол, посетителей застрелишь. Вся власть — номер записать. А если набедит?

— И кому ж потом номер?

— Да никому, так и остается... Теперь дом для приезжих построили, выдали? И его охранять.

Домик этот мы видели, конечно. Одноэтажный, из нескольких комнат, он был близок к окончанию, но на замке. Стекла были уже и вставлены, и кой-где опять разбиты, полы уже настланы, штукатурка не кончена.

— А вы нас туда ночевать пустите? — (К закату потягивало холодком, ночь обещала быть строгой.)

— В дом приезжих? Никак.

— Так для кого ж он?

— Никак! И ключи не у меня. И не просите. Вот в моем сарайчике можете.

Покатый низенький его сарайчик был на полдюжины овец. Нагибаясь, мы туда заглянули. Постлано там было убитым вытертым сенцом, на полу котелок с чем-то недохлебанным, еще несколько пустых бутылок и совсем засохший кусок хлеба. Велосипеды наши, однако, там уставлялись, могли и мы лечь, и хозяину дать вытянуться.

Но он-то на ночь оставаться был не дурак:

— Ужинать пойду. К себе в Куликовку. Горяченького перехватить. А вы на крючок запирайтесь.

— Так вы стучите, когда придете! — посмеялись мы.

— Ладно.

Захар-калита отвернул другую полу своего чудомудрого пиджака, не ту, где Книга Отзывов, и на ней оказалось тоже две пришитых петли. Из мешка-самобранки он достал топор с укороченным топорщиком и туго вставил его в петли.

— Вот,— сказал он мрачно.— Вот и все, что есть. Больше не велят.

Он высказал это с такой истой обреченностью, как будто ожидалось, что орда басурманов с ночи на ночь прискачет валить памятник, и встретить ее доставалось ему одному, вот с этим одним топориком. Он так это высказал, что мы даже дрогнули в сумерках: может, он не шалопут вовсе? Может, вправду верит, что без его ночной охраны погибло Поле?

Но, ослабевший от выпивки и дня шумоты и беготни, ссутуленный и чуть прихрамывая, Захар надал в свою деревню, и мы еще раз посмеялись над ним.

Как мы и хотели, мы остались на Куликовом Поле одни. Стала ночь с полною луной. Башня памятника и церковь-крепость выставились черными заслонами против нее. Слабые дальние огоньки Куликовки и Ивановки заслеплялись луною. Не пролетел ни один самолет. Не проурчал ни один автомобильный мотор. Никакой отдаленный поезд не простучал ниоткуда. При луне уже не видны были границы близких полев. Эта земля, трава, эта луна и глушь были все те самые, что и в 1380 году. В заповеднике остановились века, и, бредя по ночному Полю, все можно было вызвать: и костры, и конские темные табуны, и услышать блоковских лебедей в стороне Непрядвы.

И хотелось Куликовскую битву понимать в ее цельности и необратимости, отмахнуться от скрипучих оговорок летописцев: что все это было не так сразу, не так просто, что история возвращалась петлями, возвращалась и душила. Что после дорогой победы оскудела воинством русская земля. Что Мамай тотчас же сменил Тохтамыш и уже через два года после Куликова попер на Москву, Дмитрий Донской бежал в Кострому, а Тохтамыш опять разорил и Рязань и Москву, обманом взял Кремль, грабил, жег, головы рубил и тянул веревками пленных снова в Орду.

Проходят столетия — извивы Истории сглаживаются для дальнего взгляда, и она выглядит как натянутая лента топографов.

Ночь глубоко холодела, и как мы закрылись в сарайчике, так проспали крепко. Уезжать же решено у нас было пораньше. Чуть засвело — мы выкатили велосипеды и, стуча зубами, стали навьючивать их.

Обелил травы иней, а от Куликовки, из низинки, по польцу, уставленному копнами, гянул веретенами туманец.

Но едва мы отделились от стенок сарайчика, чтобы сесть и ехать, — от одной из копен громко, сердито залаяла и побежала на нас волосатомордая сивая собака. Она побежала, а за нею развалилась и копна: разбуженный лаем, оттуда встал кто-то длинный, окликнул собаку и стал отряхаться от соломы. И уже довольно было светло, чтоб мы узнали нашего Захара-калиту, одетого еще в какое-то пальтишко с короткими рукавами.

Он ночевал в копне, в этом пронимающем холоде! Зачем? Какое беспокойство или какая привязанность могла его принудить?

Сразу отпало все то насмешливое и снисходительное, что мы думали о нем вчера. В это заморозное утро встающий из копны, он был уже не Смотритель, как бы Дух этого Поля, какой-то стерегущий фавн, не покидавший его никогда.

Он шел к нам, еще отряхиваясь и руки потирая, и из-под надвинутой кепочки показался нам старым добрым другом.

— Да почему ж вы не постучали, Захар Дмитрич?

— Тревожить не хотел, — поводит он озябшими плечами и зевал. Весь он еще был в соломенной перхоти. Он расстегнулся потрястись — и на месте увидели мы и Книгу Отзывов, и единственно дозволенный топорик.

Да сивый пес еще рядом скалил зубы.

Мы попрощались тепло и уже крутили педалями, а он стоял, подняв долгую руку, и кричал нам в успокоение:

— Не-е-ет! Не-е-ет, я этого так не оставлю! Я до Фурцевой дойду! До Фурцевой!

Это было два года назад. Может быть, сейчас там опрятней и заботней. Да ведь не фельетон писан к сроку, а вспомнилось мне это наше вечное Поле, а на нем его Смотритель и рыжий дух.

К слову же помянулось, что местом этим не разумно было бы нам, русским, небречь.

1965.



ВЛ. ПОЛЯКОВ

★

ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕТРЫ...

«Возвращаются ветры на круги своя...»
Эту истину в библии вычитал я.
Я не верю в судьбу, я не верю в богов,
верю ветрам, что сбиться не могут с кругов.
Голубое дыханье в груди затая,
возвращаются ветры на круги своя.
Возвращаются ветры, возвращаются ветры,
за спиной оставляя потерь километры.
Возвращаются ветры из дальних походов,
тяжело им под грузом неожиданных находок.
Я по рекам проплыл, я летел в облаках,
я дыханием ветра до сердца пропах.
Разлюбил я в дороге и вновь полюбил,
останавливал время и вновь торопил.
Я вернулся, дыханье в груди затая,
возвращаются ветры на круги своя!
Возвращаются ветры. возвращаются ветры,
за спиной оставляя потерь километры.
Возвращаются ветры из дальних походов
к очагам непотушенным, к старым невздадам.
Что за сила их тянет в родные края?
Возвращаются ветры на круги своя.
Возвращаются ветры, возвращаются ветры,
до родного порога последние метры
проползают, дыханье в груди затая.
Возвращаются ветры на круги своя!

Сторожа

Просыпала полночь Стожары,
вполнеба пылают пожары,
и вороны грают на кручах,
пугают бедой неминучей,
и запахом пота и боли
повеяло с Дикого поля.

Эгей, сторожа! Сторожите!
Запутался перепел в жите.
Так, значит, богатством полниться
ларям, закромам и амбарам.
На поле веселые половцы
коней зануздали недаром!

Эгей, на краях, на отрожках,
ходите тревожно, сторожко!
С дороги повеяло пеплом,
и брызнула кровь в голубое,
и стрелы в колчанах окрепли
для боя, для нового боя.
Э-гей, сторожа-а-а!

Воронеж.



АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

★

ИЗ ПРОШЛОГО

Тридцать пять лет тому назад в № 8-9 «Нового мира» за 1930 год под псевдонимом А. Мейн были опубликованы фрагменты «Из книги о Горьком» Анастасии Ивановны Цветаевой. А. Мейн рассказала тогда о своих встречах и разговорах с Горьким в Сорренто. Ныне А. И. Цветаева заканчивает большую автобиографическую книгу о детстве и юности, которую мы частично предлагаем вниманию читателей.

Дочь известного деятеля русской культуры Ивана Владимировича Цветаева, основателя Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, Анастасия Ивановна Цветаева принадлежит к тому кругу художественной интеллигенции, мимо которого не прошли значительнейшие события русской истории начала нашего века. Рядом с очень живо написанными картинами детства, семейного быта мы найдем в воспоминаниях Анастасии Цветаевой отголоски революции 1905 года, описание похорон Толстого, а также портреты людей, чьи имена памятливы в истории литературы — прежде всего Марины Цветаевой, а позднее — В. Брюсова, М. Горького, Поля Элюара.

Мы надеемся, что читатели по достоинству оценят и мастерство мемуариста, и своеобразную языковую культуру автора этих записок.

Памяти моей сестры
Марины Цветаевой.

Далекое детство

Отец наш — профессор Московского университета — читал там и на Высших женских курсах историю изящных искусств. Он был много лет директором Румянцевского музея и основал Московский музей изящных (теперь изобразительных) искусств на Волхонке.

Росли отец и братья его без матери, в бедности. Отец до сорока лет ходил босиком и пару сапог берег, обувая их лишь в городе. В двадцать девять лет он уже был профессором. Начав свою ученую карьеру с диссертации на латинском языке о древнеиталийском народе осках (он исходил в Италию и на коленях излазил землю вокруг древних памятников и могил, списывая, сличая, расшифровывая и толкуя древние письмены), — он затем перешел от чистой филологии к практической деятельности собирателя слепков работ лучших мастеров Европы — для нужд студентов, не имевших средств ездить за границу изучать в подлинниках древнюю скульптуру и архитектуру. Здесь, как и в филологии, его трудолюбию не было конца. Его энергия в этом бескорыстном труде изумляла всех знавших его.

Уступчивый и нетребовательный в жизни, он проявлял невиданную настойчивость в преодолении препятствий на пути к созданию задуманного — такого и в Европе не было, — Музея слепков, а препятствий было много.

Занятость и усталость несколько и никогда не делали его раздражительным. Простой, добродушный и жизнерадостный, он в домашнем быту был с нами шутлив и ласков. Его трогательная рассеянность создавала о нем легенды.

Ему шел сорок шестой год, когда родилась Марина, сорок восьмой — когда родилась я.

Матери нашей Марии Александровне Цветаевой, рожденной Мейн, в годы моих ранних воспоминаний исполнилось тридцать лет. Она постоянно читала нам вслух, забирая нас вниз, к себе, от гувернантки (то француженки, то немки). В высокой, зимой холодной «маминой гостиной» с большим книжным шкафом и книжными полками, картинами, с ковром на старом холодном паркете, сидя за своим — еще девическим — ореховым письменным столиком, при свете зеленого стеклянного абажура ее — еще девических лет — лампы, она читала нам свои любимые, еще ее детства книги, а мы слушали ее мастерское чтение. Она прекрасно и много играла на рояле. Под музыку мы уходили в сон.

...Как вычеркнуть из памяти, из ранних воспоминаний, из сердца бродячих друзей, красивших жизнь? В однообразии хоть и милых детских будней они врывались криком своим так внезапно! Эти крики — у каждого на особый мотив.

— Мо-че-ные я-а-блоки! Яблоки моче-ны!..

И когда, мытые-перемытые, они к нам попадали — какой чудный вкус! Какой винный запах! Сразу вспоминались Таруса, хлыстовки Кирилловны, все, что вновь придет летом.

Был другой крик: «Костей! Тряпок!» И хоть он совсем к нам не относился — мы и его встречали, как доброго друга, и бежали к окнам. Татарин входил, широким вельможным жестом кидая калитку, худой, плечистый, в сером халате: шапочка его держалась на макушке чудом, потому что он шел, задрав голову кверху, и редкая — у всех них та же — борода прыгала в такт, по мосткам. Нам говорили (горничные, няни), что они все — князья, и мы, не понимая, что это, смотрели на них еще неотрывнее, силясь понять (от о б ъ я с н е н и й, что такое «князь», дело становилось понятней).

А еще милей был точильщик, когда, пройдя к черному ходу, сняв с плеча свой нелегкий станок, окруженный нами и голубями, он начинал точить вынесенные ему ножи, блеща ими, как птичьими крыльями, пробуя их на палец, шутя с горничными (в шали, а то и без, подрагивавшими от осеннего холода или мороза), и мы бегали, неся свои заветные — перочинные, глядя, как вертится колесо. День замирал на этой точке, как заколдованный, и расставанье было нелегко.

Но из всех голосов, врывавшихся так в наш день, всего родней и нужней был голс шарманщика. О, за него, летя с лестницы, не слушая мадемуазель или фрейлен, мы готовы были на вечное наказание! Яростно вдевая руки в подставленные нам рукава пальто, мы задыхались, пока нам застегивали его, топотали на месте, как кони, и, когда дверь черных сеней, провизгнув свою обычную жалобу, пропускала нас во двор, — мы всем существом рушились в мелодический дребезжащий разлив шарманочных звуков, подступающих, подмывающих, как море — песок, забыв нацело то, что было за минуту, не желая ничего, кроме — слушать и слушать волшебную неуклюжиху на одной ноге, с одной вертящейся рукой — и уйти вместе с ней со двора...

Что? «Пой, ласточка, пой...»? Конечно, «Варяг»? Нет, до него — до японской войны — оставалось еще пять лет. Вальс «Дунайские волны», быть может?..

Исполнение было недалеко от ходившего в Москве анекдота о приехавшем персидском шахе, который выразил свое восхищение красотой музыки, услышав настраивание инструментов перед началом ее, но на наше детское ухе расстроенность шарманки искупалась мелодией нацело, и ее приход — с попугаем или без — был праздником. Где кончили,

при рождении граммофонов и радио, свой сказочный век эти драгоценные ящики, бродившие с куском музыки по всей земле?

К ранним воспоминаниям просятся следующие отзвуки жизни, где-то шумевшей по шару земному и долетавшей до детских ушей: война англичан с бурами; негодование старших по поводу жестокости англичан к доблестному маленькому народу. В те дни вся бумага в доме была изрисована нашими изображениями воюющих (лучше взех, как старший, рисовал брат): длинные англичане с трубкой в зубах и маленькие буры в широкополых шляпах. Мы страстно жалели буров. Шаржи на королеву Викторию переходили из рук в руки: маленькая, толстая, носатая, с короной на голове.

Дело Дрейфуса! Сколько разговоров, сколько волнений! Единодушный протест против неправоты к нему, невиновному и преследуемому...

Сенсация иного рода — был слух о маниаке, длинной кривой иглой взрезавшем на улице кишки прохожим. Джек Потрошитель! Кто не помнит это страшное имя! Мы шептались о нем в детской, надоедали им маме...

В мамином дневнике мы позднее прочли: «Четырехлетняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы,— может быть, будет поэт?»

Еще из маминого дневника: мы (пять лет и три года) играем — Муся продает, я покупаю.

— Поцём? — спрашивает Ася.

Муся: Я задаром продаю!

Ася: Как дорого!..

Рассказ мамы о первом Мусином театре: в антракте, в ложе, не перегибаясь через ее край, думаю, от страха и отвращения глядеть вниз, а может быть, от природной близорукости не видя ничего, кроме края балкона, Муся, наслаждаясь апельсином, сосредоточенно отколупывала сильными пальцами тугую золотистую его шкурку и кидала ее вниз, в партер.

...Вечер в музыкальной школе В. Ю. Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке. Мусе семь лет. Первое выступление Муси. Когда я ее увидела на эстраде с распущенными по плечам волосами, в платье в зеленую, черную, белую мелкую клетку, спокойно, как будто с ленивым достоинством, как взрослую, за роялем и, не обращая внимания на зал, глядевшую на клавиши; когда я услышала ее игру и всеобщую похвалу ей, сердце раскрылось такой нежностью к старшей подруге игр, так часто кончавшихся дракой, что я иначе не могу назвать мое чувство в тот вечер — как состоянием влюбленности. Я никого, кроме нее, не видела. Я не сводила с нее глаз. Я не понимала, как до сих пор не видела ее такой, не восхищалась и не гордилась ею!

Старшие потом говорили, что, равнодушная к залу, чувствуя только рояль и себя, она начала было привычно считать вслух: «Раз и, два и» — но, увидев знаки своей учительницы, стала играть без счета.

Дома я помню ее в начале ночи, все такую же мне чудесную — широкое высоколобое родное ее лицо, зеленые глаза (цвета крыжовника), победные и немного насмешливые. Я не знала, чем выразить нежность и как ее удержать в грубости детских задорных будней, ссор и всего, что придет завтра.

«Дедушка и тетя приехали!»

«Тетя» — бывшая экономка дедушки и бывшая бонна мамы, для нее им выписанная из Швейцарии, — некрасивая и в молодости. старинная, с «блажами», с множеством комических черт. Рассказывали, что,

когда она собралась на родину к своему умиравшему отцу — пастору, мама, лет семи, в слезах повисла у нее на шее, не пуская ее уезжать, и она не уехала. Дедушка оставил ее в доме при маме, а после маминного замужества, в благодарность за отданную дому жизнь, чинно обвенчался с ней (для чего она приняла православное крещение).

Приезд дедушки и тети к нам был всегда праздник, но дорожке все-го — рождество.

Дом полон шорохов, шелеста, затаенности за закрытыми дверями залы, и мы прислушиваемся сверху, из детских комнат, к тому, что делается внизу. До потолка залы — высокая елка в серебряно-золотом дожде и цепях, с елочными игрушками в горе веток, и сияющее волшебство шаров — голубых, синих, зеленых. Подарки еще закрыты. Старшая сестра Лёра поправляет новые золотые цепи. Но счастье начиналось с приезда дедушки. Его рукой зажженный, бежал по белому фитилю с ветки на ветку, от свечи к свече — огонек, пока вся елка не вспыхивала, как гроздь сирени росой, вожделенным треугольником праздника! Худоба строго одетого, желто-седого дедушки, полнота атласом обтянутой, в талию (а от талии невообразимая ширина платья в раструбах и сборках), тети («Тьо», как она нам называла себя «по-русски», чаще же по-французски «la tante», тетя, в третьем лице). Запахи горячего воска, мандаринов и дедушкиной сигары...

Подарки тети и дедушки были особенные, не похожие на более скромные — родителей. Не говоря о куклах стиля «*porcées de Nuremberg*» (изделия кукольных мастеров Нюрнберга).

В весенний день моих четырех с половиной, Мусиных шести с половиной лет мы провожали больного дедушку на Брестский вокзал. Он ехал за границу лечить рак желудка. Рак тогда была болезнь редкая, мы слышали о ней в первый раз.

Мы страстно любили вокзалы, шум, гул, призыв гудков, волшебство круглых, как луна, стеклянных ламп на кронштейнах, незнакомые лица, первый, второй звонок.

Из скна вагона дедушка сказал: «Ну, подавайте мне мелюзгу!» Нас ввели в вагон. Поочередно он поднял нас на руки, поцеловал. Его желтые, с сединой щеки были худы. Высокий рост, узкое лицо. В черном. На голове черная шелковая дорожная шапочка необычного вида.

Поздней мама рассказала нам: «Ася была опасно больна, когда пришла из Москвы весть, что вернувшийся туда дедушка при смерти. Ехать к нему? А Ася? И я осталась. Вот так и вы, дети, когда-нибудь покинете меня умирать без себя, а останетесь с заболевшим ребенком...»

Но судьба не наказала ее. Я выздоровела, и она успела к умирающему дедушке: он умер при ней. Умирая, он выразил ей свое восхищение ее нравственной личностью. Она же теряла в нем самого давнего друга.

В исходе моей тяжелой болезни (воспаление слепой кишки) в Тарусу пришла от мамы телеграмма: «Дедушка тихо скончался вчера вечером».

Мать не утешилась от этого горя до самой своей смерти.

Напротив Страстного монастыря, через площадь, горят в начинающихся сумерках светло-желтые фонари вокруг Пушкина. С четырех сторон обступили памятник. Столбы — широкие внизу, уже кверху, где разветвляются на три ветви, и каждая поднимает во мглу фонарь, точно граненый бокал, налитый вином света, и посередине, выше тех трех — четвертый, кверху поднятая люстра, — и так с четырех сторон. Заложив руку за край одежды, облитой тяжелыми неподвижными складками, стоит, задумавшись, поэт. Лицо и волосы его знакомы с младенческих

лет. Нет, не так: он есть и был всегда, как есть и были лес, луга, река, небо. И сыплет, сыплет на него снег ставшее уже темно-синим небо. Когда оно стало синим? Только что — голубое! Гуще стала тьма в складках его одежды, и начинает сесть курчавая голова, все кружится от медленного кружения снега, и гуще становятся поднятые в синюю мглу золотые бокалы света. Ступеньки уже совсем белые...

Мама спешит, тянет за руку, а ноги, маленькие, заплетаются — и от упрямства еще раз взглянуть на знакомые гирлянды цепей от фонаря к фонарю, и от усталости: прожит в движении целый детский день! Я слушаю о том, что такое «дуэль», о том, как на дуэли был убит Пушкин... и кажется, что всегда-всегда были эти строки, давно, как лес и как небо...

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.

...Великий пост. Мама и я ходим из лавки в лавку в рыбном ряду. Это Охотный ряд. В огромных чанах-бочках всевозможные сорта рыб. Серебристой россыпью заиндевелой мелочи искрятся крошечные сетки. Весело и людно кругом. Пахнет сайками и блинами. На салазках опарницы, бутылки: квасы всех сортов, сбитень. И почему-то вертится в голове веселое, хоть не московское, пушкинское:

С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит...

Александровский сад, его несхожесть ни с какими московскими скверами. В него сходили — как в пруд. Тенистость его, сырость, глубина. Что-то упоительное было в нем. Особенности дети, с особенными мячиками, были там. Купы деревьев — словно куски дубрав, гроты. И была высокая зубчатая стена, за которой — Кремль. Тот Кремль, где царь-пушка, царь-колокол и где живет царь.

В Александровский сад нас водили редко; чаще на ближние — Тверской и Страстной — бульвары и на Патриаршие пруды. Об Александровском саде долго еще оставалась тоска.

Нашими любимыми игрушками были два рыночных, по двадцати пяти копеек купленных няней кога; большие, из грубо раскрашенного ситца, в сидячей позе, набитые соломой. К ним у Муси и у меня была страсть. Кукол мы совсем не любили.

Но мы любили рождественские и новогодние картинки — избушка в лесу с рыжим окошком, голое дерево и горящий блестками снег. или колокола в воздухе с осыпанной блестками лентой, лесные звери на бертолетовом снегу. Они висели над кроватями, крася день и отход ко сну. В ту пору были светящиеся насквозь открытки, сиявшие зеленова-то-лунным блеском, — замки, ночи, пейзажи, здание Большого театра. Это тоже были друзья, страстно любимые.

Помню вечер — весна или осень, — когда прошла весть о первом электрическом трамвае, на смену конке появившемся в Москве. Рассказы, дивования, разговоры...

Помню сквозь тревогу, что меня могут не взять на трамвай — «маленькая»... И было жаль милую конку, шумную, со скачущими вверх по Трубной мальчишками на конях — этот знакомый мирок, с детства наш. «Трамвай вытеснит конку»...

Вторая новинка, осиявшая Москву светом и блеском, был многоэтажный магазин Мюра и Мерилиза на Театральной площади. Сколько рассказов, сколько восхищений, споров, сборов, прогулок и поездок туда! Долгое время до его открытия москвичи обходили стройку, все выше

подымавшуюся в небо, увенчанную наконец остротой башенок, засверкавшую стеклами... Как долго еще ждать — ходили, смотрели, куда стекла не стали аквариумами света, налившимися волшебством предметов, плававших в этой световой воде. И все же это было ничто рядом с тем, что охватило нас, когда мы вошли туда в первый раз! Этажи! Сверканья! Бредовая множественность вещей! Невиданный взмах лестниц! Блеск стекла и посуды! Картины! Стоящие в натуральную величину медведи! Украшения! Игрушки! Платья! Шелка, тюли и бархаты, море материй... Кофейная — кресла, пирожные, — мы их едим высоко среди волшебства, над волшебством новизн, в гуле шагов, голосов, в звуках музыки...

И вот мы стоим перед тем, что давно обсуждают в Москве и рассказ о чем сказочен — лифт. Комнатка, светлая, как сам свет, легко, воздушно скользит вверх и вниз, увозя и привозя дам, «господинов», детей, проваливаясь в пролеты этажей, выныривая из пропасти... Стоять и смотреть! Без конца! Когда же чья-то рука крепко берет мою руку и мыдвигаемся к тому, что зовется «лифт», — мужество покидает меня, и я уже готовлюсь к своему «и-и-и»... Но поза и лицо Муси отрезвляют меня: она боится, я это отлично вижу — она такая бледная, как когда ее тошнит, но она немножечко улыбается уголками губ и шагает вперед, к лифту. Ноги ступают, как в лодку, упругую на волнах, — и, объятые блеском, точно в зеркале, мы медленно скользим вверх, мимо проплывающих потолков.

Мы нагулялись по этажам, по всем отделам до сытости. Уж веки хотели спать, уж не могли больше глаза принимать в себя вещи, когда нас повели еще раз — с другой стороны — к лифту. Он ехал вниз. Пол оборвался под нашей ногой, мы полетели, как во сне, страшным скольжением, в теле сделалась слабость, ступни ошпарило страхом, и я залилась, к стыду и презрению Муси, на весь Мюр и Мерилиз плачем.

К Мусиным годам семи я из отдельной, с няней, моей детской перешла к Мусе.

Другие девочки, с другой няней, старой, уютной, в светлом фартуке, в темной в сборку юбке, в широкой навывпуск кофте, в темном платке с цветочками, идут за руку с няней — и мне жаль, что уже нет у меня такой няни, что моя уже в прошлом.

Муся уже читала мамыны детские книги — три тома «Детского отдыха», «Задушевное слово», четыре тома Чистякова — «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Как в тумане, мне помнится заглавие «Лето в Ревеле»... Был рассказ (мама прочла нам его вслух) «Охотник Степан»: о его гневе на верного друга, собаку Дружка, укравшего окорок. Степан решил расстаться с ним — за измену. Но в тот миг, когда, продав своего многолетнего друга пса другому охотнику, он стоял у отчаливающего парохода и Дружок, поняв, взвыл и стал рваться с цепи в воду, — Степан понял, что изменник не Дружок, а он, Степан, и был готов все отдать за Дружка, но пароход уходил, и мы выли, как Дружок, под мамино чтение, и разлука их, человека с собакой, неисцелимая, так и протащилась с нами всю жизнь.

Был рассказ «Не понравилось». Мать, отдавшая богачам крошку сына, через несколько лет приходит к нему в гости, радостно купив на последние гроши дешевую игрушку. Барчонок чуждается неизвестной, плохо одетой женщины, не глядит на ее подарок. С того дня мы потащили с собой слезы матери, шедшей по темной улице, повторявшей, плача: «Не понравилось»...

Мама читала нам рассказы Чехова, Чирикова, Телешова, книжки «Донской речи». Уютно горит лампа с зеленым абажуром...

А на другой день, изменив, как Дружок, мы с братом Андрюшей кралась к посудному шкафу в передней (мама забыла ключи) и тащили к себе пирожные (как тот — окорок). А потом слезы — мамыны, наши...

Мы слушали мамини рассказы о ее детстве. Однажды, показав нам дагерротип, где были сняты кадетиком дедушка со своей матерью и подростком-сестрой, мама нам рассказала, как, окончив кадетский корпус, дедушка вышел на улицы Петербурга, не имея никого и ничего на свете, кроме сводной сестры Марии. Он поехал к ней. Она была замужем за богачом (двадцать семь домов, но — игрок). В пышном особняке лакей доложил о нем барыне: та ехала в гости. Она велела провезти его в одну из гостиных и долго заставила ждать. Вышла к нему на минуту разодетая красавица, надушенной ручкой потрепала брата по щеке, не спросила его ни о чем, дала золотой и извинилась, что спешит в гости. Оскорбленный юноша вышел из ее палат, бросив золотой швейцару, за ним хлопнули тяжелые двери,— и он вычеркнул из сердца сестру. До дня, когда узнал о ее разорении. Тогда он стал ежемесячно посылать ей деньги, заработанные трудом. Мама сказала: «Теперь, после смерти дедушки, я буду продолжать его волю — посылать ей ежемесячно деньги. Она старая и бедная. Ее красота и богатство прошли, как сон...»

Мария Васильевна Иванова, акушерка, принмавшая нас обеих у мамы, приходила к маме ежемесячно за десятирублевым золотым.

Как могла я так долго не говорить о ней? Это был один из милейших людей, встреченных мной в жизни. Ниже среднего роста, но не кажущаяся маленькой по стройности и худобе, всегда в черном, она стоит — руки за спину — у печки в дегской и, улыбаясь какой-то жалкой улыбкой, что-то рассказывает — такое же горькое и скромное, как сама. У нее сестра Александра, которая часто болеет, у той трудный характер. Иногда Мария Васильевна негодует на нее. У них множество каких-то дальних родственников, двоюродных племянников, о которых надо заботиться, хоть и не из чего: кому зашить, заштопать, кого накормить, кому постирать, кого пустить переночевать. Живет она за Москвой, в Реутове, при каком-то медицинском учреждении, и из рассказов ее встает что-то гулкое, огромное, неуютное; мне мерещатся черные чугунные лестницы (говорила ли она о них? или я их изобрела?), затурканные, злые друг на друга люди, бедность, ссоры, гул какой-то страшной жизни, в которой бьется Мария Васильевна со своей сестрой Александрой и тощими студентами-племянниками. И помнится сын ее, восемнадцатилетний Саша, умиравший от чахотки в Сухумской больнице, ждавший ее, мать, еще услышавший гудок парохода, ее везшего! Просивший врачей поддержать его жизнь до ее приезда. Была ли невыполнима его просьба, или не была выполнена? Он умер за несколько минут до ее прихода в больницу. Мы видели его фотографию — у него те же тонкие черты, что у матери, те же большие черные глаза, тот же скорбный рот.

Сколько могло ей быть лет? Не знаю. Такие люди не имеют лет. Смуглость худых щек была старческая. Волосы черным тугим пробором, что-то монашеское. Мусья и я любили ее приходы, ее добрый смешок, ее тихий голос, ее душевную ласковость.

Андрюша, сын папы от Варвары Дмитриевны Иловойской, рано умершей, был старше нас на два и четыре года, уже начинал учиться и вообще был другой. Ни нашей лирики, ни страсти к уюту, ни жадности все вспоминать и заглядывать в будущее — ничего этого в нем не было. Мы таскали вместе сладости, нас наказывали вместе, нам вместе дарили подарки, мы отнимали их друг у друга, но было чувство, что Андрю-

ша — другой, чем мы, — чуть угрюмее, чуть насмешливее. Мама Андрюшу любила — любовалась им и старалась не быть к нему строже, чем к нам. Особенно она нежна была к нему в первые его годы, когда еще не было нас. Иногда мамин гнев обрушивался на нас, как гроза, — особенно она карала нас за ложь, — но обрушивался он равно на всех.

Репетитор Андрюши, Аркадий Александрович Ласточкин, студент, был маленький человек с добрым, милым лицом. Я привязалась к нему с некоей даже страстностью. Собственно, это была любовь. Мне было четыре года. Не скрывая своих чувств к нему, возбуждая общий смех, гуляя с няней, выходила встречать его, возвращавшегося из университета по Тверскому бульвару. Зорко следила я за идущими (парами, группами и в одиночку) студентами, издали еще — скорее чутьем или привычкой близоруких узнавать не лица, а общие контуры человека — я, завидев его, бежала навстречу.

Мне было блаженно видеть его. Довольно крупное его лицо при маленьком росте, нежность женственных черт и особая пристальность сияющих глаз — все это было чудесно.

Дома он рассказывал мне сказки, то есть всегда одну (о рыбаке и рыбке) — и очень плохо. Я это понимала и, нежно жалея его за его косноязычие, спотыкание, прощала ему их, услаждалась его голосом. Муся, бывшая тут же, вела себя совсем так, как десятилетия позже в подобных случаях: сочувственно, не оспаривая качеств избранного и — в добродушии всего этого — сохраняя некий оттенок отдаленности и старшинства, деликатный холодок неучастования. Так мы сидели втроем в детской возле печки, каждый полон своим под рассказ, незадачливо звучащий чем-то вроде: «Было, эдак, море. Синее море. И был, эдак, старик. Да. А у старика была, эдак, старуха... И было у них корыто. Ничего у них, эдак, не было, кроме одного корыта...» («Нет так» — отзывалось насмешливо в Мусе, умиленно — во мне). Но деликатность и воспитание диктовали молчание.

И, опустив удила рассказа, мыслью далеко — быть может, в тех революционных делах, за которые его вскоре арестовали, — он продолжал ласковую свою несуразицу, отдававшую нежностью в моем чetyрехлетнем сердце: «И сказал, эдак, мужик рыбке: «Дай нам хату, рыбка, — нет у нас, эдак, хатки, одно корыто...» И вынесла ему рыбка корыто, а оно, глянь, обернулось хоромами, и в них царица сидит, и была это его баба — «царица».

И так он плел без конца. Печь трещала, за окном валил снег; черный кот слушал, сверкая желтыми глазами. В зале били стенные часы.

Какими слезами я заливалась в день, когда дом взволновала весть об аресте Аркадия Александровича! У окна гостиной, ненавистно глядя на толстяка городского, я ждала папиного возвращения: он уехал хлопотать за арестованного студента.

Просьбу профессора исполнили: студент был выпущен. На рождество мама, купив кукольную голову, сшила туловище, красную рубашку, синие шаровары и подарила мне мальчика «Аркашу». Эту куклу, несмотря на равнодушие к куклам, я берегла, пытаясь перенести на нее часть своей любви. Но любовь шла шире. Я собирала по углам комочки пыли — за серый цвет (цвет студенческой тогдашней тужурки).

Вечерами отец сидел в кабинете, погруженный в работу. Заграничную его переписку по делам начинавшегося музея вела мать. Горели две стеариновые свечи под зелеными абажурами; полуседая уже голова папы склонялась над бумагами, блестели очки.

Музей рождался на Урале. Под Златоустом были открыты ломки мрамора. Отец с матерью посетили их летом 1899 (или 1900?) года.

Мы оставались в Тарусе с гувернанткой и Андрюшиным репетитором. С Урала шли письма, а после рассказами о музее наполнился, как горными сокровищами, скромный домик тарусской дачи в отцветших уже сиреневых и жасминовых кустах.

На Волхонке, на голой площади бывшего Колымажного двора, мы смотрели на глыбы белого и серого мрамора, подбирали маленькие сверкавшие кусочки. Они горели, как звездное небо.

Дом отца, профессора Ивана Владимировича Цветаева, наш дом (по Трехпрудному переулку, № 8, меж Тверской и Бронной) был одноэтажный, деревянный, крашенный — сколько помню его с 1897 года — коричневой краской; с семью высокими окнами, воротами, над которыми склонялся пышный серебристый тополь, и калиткой с кольцом; нажав кольцо, входили во двор. Справа, возле мостков, ведущих к полосатому (красное с белым) парадному, — кусты желтой акации под двумя окнами. Слева от мостков — длинный низкий флигель. За домом — закоулок двора, заросший акациями и тополями и кончавшийся у высокого дощатого забора колодцем — «домиком» с длинной рукояткой для качанья воды. Помню визг ручки колодца в закоулке двора, когда его еще качали, в первые годы детства. (Затем он заглох, и в жизнь нашу вступил водовоз; открывались ворота, заливалась лаем собака, громыхали колеса, плескалась вода из бочки, зимой похожей на обледенелый замок.)

В маленьких сенях черного хода пусто. Там лишь дверка в чулан — в чулане живут керосин и воронка. Две толстые, обитые клеенкой и ветошью двери ведут в дом.

Уже пятьдесят лет со дня, когда я в последний раз в него вошла. Его давно нет. Мне изменяет память. Мне чудится, что вторая, внутренняя, дверь имеет в себе квадраты стекла. Какая-то из них, кажется наружная, издает всегда одну и ту же жалобную ноту; эта пора бывает длинней, если идешь медленно, и короче, если зевок двери краток. В маленьких теплых сенцах темно, на столике керосинка, на ней широкая белая — эмалированная с голубыми прожилками и с дырочками для пара — кастрюля, в одном месте изогнутая «носиком». От нее знакомый запах подгорелого молока. Зала — угловая пятиоконная комната, очень высокая, как и все фасадные комнаты. Когда из рук улетает воздушный шар, красный или зеленый, пахнущий резиной (когда тронешь его, он прилипает к пальцу и издает тонкий, легкий отпрядывающий звук), — приходит дворник с половой щеткой и со стула достает (под движение наших сложенных в мольбе и страхе рук: вдруг лопнет!) тычущееся об потолок сокровище.

Приходили полотеры; сдвигали диваны и кресла и плясали, босые, на щетках по золотистому паркету. С нами, детьми, они шутили, обувались, одевались и, получив деньги, исчезали неведомо куда.

В зале — рояль и два зеркала между окон на улице. По наружным стенам — филодендроны в кадках. В углу — полукруглый диван; его выемка глубока и уютна.

На белых с золотом обоях, меж вторым от угла окном и буфетом, высоко висит над залой портрет в раме красного дерева. Молодая женщина нежной и приветливой красоты с полуулыбкой смотрит с портрета. Голубой шелк корсажа, роза, волна каштановых волос, удлиненный овал лица, большие карие глаза. Андрюша, ее сын, наш старший брат, похож на нее лицом.

Это Лёрина и Андрюшина мама. Молча смотрит она на жизнь

оставленного ею дома, на нас, на наши ей на смену пришедшие дни. Вечером вбок от нее и ниже загорается матовый шар стеной, на бронзовой ножке лампы. Тогда портрет погружается в полутьму.

Из зала через теплую переднюю можно пройти в парадный ход, имевший по обе стороны шкафы-кладовки, где жили совсем необычайные вещи, обожаемые равно и нами и Андрюшей; я их не помню и, ошибаясь, быть может, в их названиях, произвольно их назову. Но не ошибусь в их сущности — это было то, что выложил из себя дом, ненужное ему ни в какой момент дня, но для неведомого момента живущее. Может быть, что-то медицинское в картонках, формалиновая лампочка; фонарь сломанный; какое-то колесо; трубка, поршень, газ. Мне кажется, там пахло нежданно соломой; лекарством? Всегда наспех, урывками: уж звали, гнали — удавалось увидеть, унюхать — и уже расставание! Так в сарае (куда раскрывались ворота) жили санки: настоящие, для коня. Разве от этого не горело сердце? Я до сих пор за них (санки без коня!) люблю наш давно исчезнувший дом.

Из другой двери залы проходишь в гостиную. В углах у высоких окон, на белых круглых колонках — бюсты греческих богов. По стенам — картины в рамках, главным образом мамина работа: замок, копии пейзажей — высокие деревья, морская даль. Маруся и я больше всего любили маленькую картину — лунная ночь, синий снег, следы на снегу, вдали — смутное очертание деревни, и на холме — волк в профиль.

Следующая комната, где стены были почти сплошь заняты рядами папиных книжных полок снизу доверху и маминым книжным шкафом, — была угловая, очень холодная. Высоко в раме — голова Зевса. Ниже — филин на ветке. И фасад (с колоннадой) будущего папиного музея.

Спальня квадратная, низкая. На окнах — занавеси. Зимой они склоняются над морозными пальмами и хрустальной игрой холода и уютно жить в доме! Над маминой кроватью — бабушкин портрет, в год ее смерти и маминого рождения, в ее двадцать семь лет. Она умерла еще моложе, чем Лёрина и Андрюшина мама. Темные ее глаза с тяжелыми веками мягко и печально глядят на нас. По старинной моде — два локона...

Волшебное существо — лестница! Она живет в доме не похожей ни на что жизнью. С чем сравнить уют широких перил с выточенными перекладинами, стоящими, как две бутылки — одна на другой, с блюдечком посередине.

Душа лестницы — это бег. Он пролетает по ней с утра до ночи вверх и вниз и не знает утомления. А тело лестницы стоит, отдавая свои ступени под счастье — бежать. Лестница — это спутник детства, его радостей и плача. Сколько моих слез (когда я убегала от обидевших старших детей к маме) видала ты, сколько радостей лететь вечером к маме, сколько предвкушенья слушать рояль, бегать под него по анфиладе высоких комнат и низкой спальней и коридорчиком мимо шуршащей двери — опять к зале! Но «вверх», где мы жили и куда вводила нас лестница, коричневая, как весь наш дом, — был особым, другим миром. Внизу было холодно зимами, наверху тепло. Жарко! Низкие комнаты с веселыми обоями, полом, крытым узорчатым коричневым линолеумом, с небольшими окнами в небо, и тополиные ветки — то яркие, пахучие, то в длинных одуванчиках инея.

Напротив лестницы — Лёрина квадратная комната. Она над спальней и выходит двумя окнами в уголок двора, где акации и колодец. Отсюда, как и из Андрюшиной и наших комнат, близко видны голуби и слышно их курлыканье. Детская длинная, с тремя окнами; два с видом на сарай, крыши домов к Тверской и купол палашевской церкви.

В глубине по торцу — окно в серебристые тополя. Там стоит моя кровать; Мусина — по той же стене, но ближе к двери. Меж ними — выступающая белая с синим, блестящая кафельная печь.

Что еще есть в детской? Не помню.

Но одно цветет нерушимо, сердцем детской — висячая лампа над столом в дальнем углу. Простая, стеклянный резервуар, в нем зеленое керосиновое море. Оно мутно сияет и плещется, когда тронешь его рукой. Горелка, стекло и круг, плоский, над ним. От дырки в нем на потолке золотое пятно. От горящей лампы пышет свет, жар. Лампа плавает в воздухе, как волшебная рыба. От нее убегает темнота. За вещами всюду вспыхивают их тени. Мусина рука тянется к книге — читать...

Как Маруся зналась мной с первых лет вблизи меня, так Лёра, старшая, зналась где-то вдали. Она появлялась и исчезала, и память первых детских лет моих о ней туманна. Но среди фотографий я время от времени окуналась взглядом в пышный серый мех (пальто с капором?), из которого глядели большие светлые глаза девочки. «Это Лёра,— говорили мне,— Лёра, когда была маленькой». (Однако мне она была всегда большой, потому что была много старше меня.) И от этого, от неясности, пробуждавшейся этим пояснением, что этой девочки нет, что она б ы л а,— глядя в фотографию, упивалась смесью любования и тоски.

Няня ли, мама ли — кто-то из них добавил раз что-то вроде: «Когда еще мама ее была жива» — и это еще больше отдалило и приблизило к нам эту девочку в меховом (а! вспомнила: это был не мех — пух), в пуховых шубке и капоре, острее сделало боль по ней: у нее была мама (другая, не наша), потом она умерла (у м е р л а!). Бездна открывалась на миг в этом слове — и жалостью рушилась в фотографию девочки, которой уже нет, за маму, которой нет тоже. Как же она жила без нее? Может быть, смутно являлось мне и еще одно чувство — что та Лёра была одета лучше, чем мы (та мама ее так одевала?). Мы были одеты проще, суровой. На миг веяло какой-то другой жизнью, ушедшей, бывшей,— и все пропадало под весом нашей жизни, быта нашего дня, и жизнь шла дальше.

Но страницы семейного альбома дарили далее другую Лёру, мне казавшуюся совсем взрослой: в темном платье, в белой пелерине, в белом фартуке, гладко назад зачесанную.

Мне было пять лет, когда мама взяла меня на какое-то Лёрино институтское торжество. Я помню миг перехода с мамой Старо-Екатерининской площади и приближения к желтому с белым зданию старого Екатерининского института. Затем помню высокий зал, что-то золотое и белое, чьи-то портреты в рост в золоченых рамах, море девушек в таких же платьях и пелеринах, как Лёра, вопросы о том, кто я, мамин ответ и себя, поднятую на руки и передаваемую из рук в руки над головами улыбающихся мне институток. «Лорина сестра, Лорина сестричка»... Я хочу поправить, что Л ё р а, а не Лора, но не слышно, и столько новых слов («акт», «шифр», «выпуск»). Жадно впивая все незнакомое, я ищу глазами Лёру и радуюсь, что мы с мамой сейчас увезем ее с собой.

Лёра была на десять лет старше Марины и на двенадцать лет меня. На семь с половиной лет старше ее родного брата Андриюши. Она никогда нас не обижала, всегда заступалась за нас перед вспыльчивой мамой. С нами шутила, тормошила нас, поддразнивала (меня — за хныканье и залихватый плач). Мы любили ее. Она была особенная, ни на кого не похожая. Из нас она отличала Мусю — за ум, характер, раннее

развитие. Муся платила ей пылкой любовью. Она поселилась в моей бывшей детской наверху, рядом с Андрюшиной комнаткой, через две двери от нашей детской. С мамой у нее бывали нелады; мы чуяли это, не разбираясь в причинах, не понимая их.

С Лёрой в доме нашем поселилось праздничное. Ее комната была — особый мир. Моему уму он был недоступен, но волновал и влек. Муся имела доступ к книжному шкафу (мамы ее, чем-то отличавшемуся от всего нашего, маминого): невысокому, цвета ореха, необычной формы, с двумя зеркалами на створках. На полках жили непонятные книги (английские), в них цвели немыслимо красоты цветные картины. Сердце от них пылало, как те лужайки, озера, и цветущие роши, и облака, — и раз, по предложению Муси, мы вырезали самое восхитившее грубым безвозвратным движением ножниц, причинившим Лёре столько же горя, сколько мечталось счастья от этого нам! Потом были негодующие мамины нотации, и наши слезы, и непоправимое ощущение пустоты в сердце, жалости и стыда. И было милое, внезапно приближавшееся на миг с улыбкой Лёрино лицо, шутливое слово, лакомство в руку и звук ее пения — чистый высокий голос, — романсы и песни, где дышали изяществом прихоть и грация — отзвук, быть может, времен до наших, живших некогда в доме. И были цветы маслом на кусках светлой клеенки, на шелку подушек — рукой Лёры. И была боль от горячих щипцов у виска, когда Лёра нас завивала и, смеясь, нам внушала: «*Vous êtes belle, il faut souffrir*»¹. И были душистые граненые пробки от флаконов духов; голова кружилась от сломанных в гранях радуг, огней, искр...

Любовь к необычайному, только совсем иначе, чем мама, поддерживала в нас и Лёра. Устраивала «живые картины», пантомимы, освещаемые бенгальским огнем. Зала — темным жерлом — была фоном; гостиная пылала вспышками зеленого, малинового, желтого великолепия. Лица были мертвенны, горящи, фееричны. Мы все на миг сказочны. Жадно пилось это фантастическое вино, и мило улыбалось нам родное лицо Лёры, строя гримасы, отвращая меня от рева («кончилось»), обещающая, что будет еще!

Во всем она помогала нам: заступалась, когда во внезапной и редкой для него вспышке строгости папа, заметив вдруг, что я не хочу есть того или другого, настаивал, чтобы я, как все, ела. Когда уж насмешливый Мусин глаз мучил меня, когда мать готовилась вспыхнуть из-за моего малодушия, папа — увидеть и понять, — Лёрина шутка вдруг смешала все, как бенгальский огонь в гостиной. Лёра ненавидела нотации, сцены. В ее почти угрюмом отвращении от них была грация иного прикосновения к жизни, и мы, не осуждавшие маму, потому что любили, все же тянулись и к Лёре.

Иногда мама с Лёрой пели дуэтом. Нравилось слушать высокий Лёрин и низкий мамин голос. Мы любили печальную удалую песнь: «Вот мчится тройка почтовая вдоль по дороге столбовой»... Этот мотив, казалось, был вечно, как строки пушкинские, будто зимним воздухом написанные:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печальный свет она...

Летами мы жили в Тарусе, куда ездили всем домом с Курского вокзала до Ивановской станции и оттуда семнадцать верст по невероятной — обрывами, то грязной, с глубокими колеями, то песчаной —

¹ Чтобы быть красивой, надо страдать (франц.).

дороге до парома через Оку, за которой виднелась Таруса (позже до станции Ока и оттуда парходом). Также рано запомнилось слово «Поленов», неотделимое от мерцавшей на закате розовым огоньком церковки села Бёхова, за Окой. Там жил папин знакомый — художник Василий Дмитриевич Поленов.

Нашу поездку туда помню глуше, чем должна была помнить Марина, которой в то время было лет восемь-девять. Помню волнение от чужого, неведомой нам жизни дома, волнение от лиц, имен, голосов большой семьи (мы и в Москве жили обособленно, редко бывали в гостях), от запахов и вещей чужих, влекущих комнат, — и поляны почти такие же волшебные, как вокруг нашего лесного обиталища за Тарусой, шум высоких крон деревьев, смену солнца и луны над ними и серебро Оки за ветвями. Деревянный шкафчик на повороте лесенки, откуда нам вынимал и дарил каждому по одному этюдики (стояли стоймя, как книги) полный, полуседой, уютный Василий Дмитриевич. Помню дочек его, Маришу и Олю (наших с Мусей однолеток), и маленькую рыжекудрую красавицу Наташу.

Праздник. Гости приглашены принять участие в клейке фонарей из цветной бумаги — для иллюминации, на приз. Жюри — Василий Дмитриевич. Первый приз взяла мама, но если Марина нигде не упомянула о том, что было изображено на мамином фонаре, то я лишь с неуверенностью назову будто бы в тумане памяти силуэт женщины, но на фоне каких гор, лесов, рек? К часу иллюминации я была сонная; помню лишь взрывы золотых и цветных ракет, золотистое, вертящееся, рассыпающееся колесо, точно завившиеся ветви осенних берез, среди которых оно рассыпалось, зажигая их расплавленным заревом волшебного ночного «пожара». Цветные луны, полумесяцы, овалы и квадраты фонарей гирляндами меж листьев, распахнутые в ночь окна с высунувшимися головами гостей и огромный костер, горевший вслед нам, отъезжавшим, освещавший поляны, купы деревьев-великанов и корни сосен, преграждавшие круто изгибающийся, колеистый темневший путь... Качало и трясло, как в море, колеса тарыхтели, спускались, проваливались в шумевшую ветками ночь. Я еще слышала Мусин голос и мамин ответ, но слова падали мягко, как в воду, — я спала.

Впереди Ока блеснула
Жидким серебром.
Ася глазки разомкнула —
«Подавай паром»...

Маленький городок на холмах, поросших березами, на левом берегу Оки. Яблочные и ягодные сады. Две церкви — собор на площади (там же ярмарка), воскресенская церковь, красная с белым, на крутом холме. Это на полпути к даче, где мы живем. На другом холме — часовенка, точь-в-точь, как на картине «Над вечным покоем».

Дороги песчаные и кремнистые; разлив тропинок. Идя домой от тети или Добротворских (два родных дома в Тарусе), нагруженные яблоками, сливами, вишнями и крыжовником, мы подбираем сверкающие, как от папиного музея, камешки. Но папины — гладкие, горят, мраморные, а эти — в них, как звезды, вкраплены горящие искры, выпуклые. Считаю, у кого больше и у кого больше горения на острых кусках камней. Мама тоже собирает. Дорогу пересекает ручей — родниковая вода, «как хрусталь». А о камнях мама говорит: «Кристалл». (Это разное, но от обоих этих слов — холодок счастья в груди.)

Вечер. Тот конец Оки (мы идем высоко над нею) — в синей дымке. Небо над водой лиловое, от месяца — струи серебра. А другой конец

речной ленты — в ржавом золоте, в золотых перьях облаков; и это еще беспокойное, но уже успокаивающееся закатное небо опрокинуто в зелено-алом, быстро гаснущем лоне вод... Мы вертим головы то назад, то вперед — нельзя оторваться и невозможно решить, что лучше. И мы уже делим: Мусе — этот синий, с месяцем, конец Оки, мне — тот, золотой, с закатом.

На почти зеркальной полоске воды посередине — силуэт лодки. И с нее, далью потушенный, как вечерняя синева позади, голос доносится, еще немножечко звонкий, строкой песни: «Чудный месяц плывет над рекою». Каждый раз, как этот мотив начинается (и еще мамино «Не для меня придет весна»), в носу начинает щипать, как от фруктовой шипучки. Я знаю, что у Муси тоже, и я боюсь на нее посмотреть, чтобы не заплакать.

Когда мы подходим к подъему на нашу длинную гору, она темная, как дубрава у замка Рингштеттена из «Ундины». Жутко. На болоте далеко кричит коростель. И так свежо вдруг стало.

Часть апреля, май, июнь, июль, август, часть сентября — сколько дней, сколько утр в нашем гнезде меж тополей, берез, ив, кустов бузины и черемухи (столь густой чащи древесной, что прорубали ее, чтоб с балкона виднелась Ока, протекавшая под горой влево к Серпухову, Бёхову, справа — от Велегова, Алексина).

Простенький серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень. Столбы качелей; старая лавочка под огромной ивой еле видна — так густо кругом. В высоком плетне — калитка на дорогу. Влево — грядки, за ними — малина, смородина, и за домом — площадка крокета. Перед балконами (один на другом, столбиком) — верхний — наш детский, доверху продолжен перекладинами — чтобы мы не упали, — столбы качелей между четырех орешников, носящих наши четыре имени: Лёра, Андрюша, Муся и Ася.

Внизу под дачей — пески, Ока, луг. Позади «большая дорога» — молодым леском выход в поле. Справа от дачи, если лицом к Оке, старый сад, поляны одичалых кислейших яблок. Мы, дети, их подбираем, режем, нижем на нитки и сушим. Есть их почти нельзя. Рот сводит.

Вся усадьба, некогда звавшаяся «Песочное», — часть когда-то большого имения. Дальше деревня Пачёво. Цель прогулки почти не по силам мне (Муся одолевает все). Идти туда можно большой дорогой, полем и через хвойный скат и заколдованную Пачёвскую долину с высохшим руслом речки, мимо хижины угольщика и высоких лиловых цветов (стержень-дудка), мимо огромных сосен и — лугом — домой; или, начав с луга, сосны, угольщика и дудки, — в колдовскую тишь Пачёвской долины (деревня где-то вверху за деревьями) и по сосновому холму, вверх, полем — домой. Мы знаем: Лесной царь — «Кто скачет, кто мчится» — был в Пачёвской долине.

...Клеенка стола, белые чашки с голубым ободком, кувшины сирени, жасмина; сливки, самовар, уют. Гудки парохода. Деревья, грибы, купанье, грозы. Жара.

Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить. Водила нас мать и сама ходила в холстиновых платьях, в дождь — в дешевых (с «ушами», на резинке, по-деревенски) башмаках. Ни Муся, ни я не любили «хороших платьев» и, надевая их в гости, злились. Но ради того, чтобы идти к тете (Тьо), мы их терпели. Шли туда обычно семьей, или мама с нами, тремя младшими детьми. Играть, шуметь, бегать, драться у тети было нельзя и за столом надо было сидеть очень чинно. Но весь быт тети был так уютен, наряден, красив, особенен, что мы любили ходить к ней. В нашей даче, кроме

рояля, все было почти по-деревенски просто. У тети были ковры, семь комнаток с белыми чехлами на мягкой мебели, дорогие сервизы, занавесы, венский шкаф-часы, игравший, как оркестр. За столом подавала прислуга в белой наколке, тарелки были нагретые, перед прибором каждого из нас всегда ждала коробка шоколадных конфет с «серебряными» или «золотыми» шипчиками. Бульон — в толстых чашках; для нас жарили цыплят. Чай пили на веранде под резными деревянными украшениями, на белоснежной скатерти. Нас ждали отборные яблоки, варенья и сладкие блюда. Сад у тети был расчищен, клумбы с цветами, песок. Сирень, липовая аллея, плодовый сад, кусты ягод всех видов.

Но самой большой достопримечательностью, важнее всего этого — и синих с золотом бокалов с мятной водой, по старинному обычаю подаваемых за стол для полоскания рта; важнее вида на Оку с крыши дома, куда вела лестница; даже важнее белого пса Лёбеди (как его звала тетя) и четырех кошек была сама Тьо: зиму и лето в белых фланелевых балахонах с оборками, маленькая, толстая, с подобием крошечного шиньона с черной наколкой на седеющей голове, в дедушкиных черепаховых очках на кончике носа (что она не видит в них, до нас не доходило) — видимо, от пиетета к памяти дедушки.

Все в доме было полно дедушкой; в глубокой полутемной спальне с лампадой — его увеличенный портрет в пальто и шляпе, с сигарой в руке (больной уже, худой, старый), под портретом в вазочках — иммортели, его книги, его картины, его карманные часы, его фонограф (в котором на одном из валиков, белых, похожих на его манжеты, после чье-то пения раздавался — шипеньем и рокотом — голос дедушки: «Браво... браво...»). Тьо душила нас в объятиях, закармливала, задаривала и без конца рассказывала о прошлом.

Со стороны матери у нас не было — кроме дедушки и его сестры — никаких родных, то есть если и были, то мы ничего не знали о них. Со стороны же отца мы в детстве знали семью Добротворских, земского тарусского врача Ивана Зиновьевича (дядю Ваню) — высокого, синеглазого, застенчивого, добро насмешливого; жену его — Елену Александровну, полную, седую, круглолицую, краснощекую, всегда улыбающуюся, но с каким-то приглядывающимся взглядом, от которого нам — Мусе и мне — было не по себе. Она очень любила Лёру, Андриюшу; маму и нас не так.

Зимой мы видели Добротворских редко, летом в Тарусе часто. Их дом на верху главной, сходящей к собору улицы — большой, серый, с резными украшениями окон, с балконами, уступами железной крыши, с цветными стеклами парадного хода — был уютен, приятен, гостеприимен. Густой, заросший сад, липовая аллея, площадка крокета, гамак. Поляны яблонь, груш, слив, ягодник; веранда, где вечно кипел на столе самовар, жужжали над вазочками с вареньем и медом осы; сладкие пироги, ватрушки и особенно любимые ржаные сдобные лепешки, которые пекла на сметане пожилая ласковая Катя, многолетняя помощница Елены Александровны. Светлые комнаты (дом был с мезонином) с особыми запахами, с кафельными печами, лежанками, со звонким боем часов, с расстроенным старинным фортепьяно, на котором никто не играл. Иван Зиновьевич — добрый гений уезда, безотказно едущий в любую погоду к больным, крупный, уютный, с разговором на «о», с всегда прямо глядящими синими глазами — сходит по скрипучим ступенькам на двор, где его ждут лошади и тарантас. В ослепительной жаре прямо пахнет ромашкой. Гуси и утки отдыхают в тени под сиреневыми кустами. Огромный рыжий пес Барон, гроза входящих во двор, громыхает цепью.

У Добротворских была большая лодка — ялик (у нас плоскодонная, маленькая), и — всегда неожиданно — они заезжали за нами на дачу,

в полутора верстах от Тарусы вверх по крутой, заросшей березами и кустами горе. Или просто звали криком с реки.

Ясные дни, светлые вечера — юность и детство...

Хочу не в очередь, может быть, — но где этому очередь? — сказать об одном: оно было неотделимо от жизни, оно было постоянным событием с первых лет — страсть к слову в буквальном смысле, к буквам, что ли, его составлявшим? Звук слов, до краев наполненных их смыслом, доставлял совершенно вещественную радость, как кусок шоколада, стакан грушевой шипучки. Только начав говорить, и почти сразу на трех языках, мы оказались — хочешь не хочешь — в таком сообществе, как попавший — по сказке — в горную пещеру к драгоценным камням, которые стерегли гномы. Само драгоценное существование и слова будило в нас такой отзвук, который уже в шесть-семь лет был владением позже вошедших в нас, от рождения, муки — счастья владычества, пред которыми написание первой стихотворной строки или первой своей прозаической фразы было лишь желанным освобождением. Детство же — рухнувший на плечи рог изобилия, подарив, не давал опомниться, мучил созвучиями, как музыка, опьянял и вновь и вновь лил вино — и это среди гувернанток, репетиторов, приходящих учительниц, горничных и кухарок, этого не знавших, хотевших от нас всегда только одного: трезвости! Мама та, — да, да и то не так все же, как требовал наш, Маринин особенно, свободы рыщущий дух!.. О чем я? Да, только о том, что немецкие слова: die Ode, die Wüste, unheimlich, wundervoll, die Höhe, die Tiefe, der Glockenklang (глушь, пустыня, таинственно-жутко, чудесно, высота, глубина, звук колокола...), и сколько еще их было, с французскими: splendeur, éclat, ténèbres, naufrage, majestueux, jadis, le gève (великолепие, блеск, мгла, кораблекрушение, торжественный, когда-то, мечта...), и все, чем переполнена первая же книга рассказов, — создавали двойной смысл тому, что старшие называли «изучением языка». Родители знали французский, немецкий, итальянский, английский, мама хотела учить еще и испанский...

Но мы отплывали от учивших нас, как на волшебном корабле, потому что каждое из этих слов было талисманом. Тем заколдованным словом Кармилхаан (Кармильхаан), которое в забытой сказке спасало — чем же, как не собой? — от этой гибели звуком своих букв, кем-то произносимых, — горевшее, как темный карбункул! А русские слова? Не ими ли так пылало сердце в сказке о Василисе Премудрой, о каких-то тридцатых царствах, унося их — или ими уносимые — в сон?

Может быть, этой органической усладой языка объяснится, что я не помню процесса трудностей «изучения» языков? Это было просто вхождение в свой дом, где все узнавалось.

Когда после долгих дней осени — рыжих верхушек деревьев, поливаемых скучно текущими дождями, так что казалось, никогда не перестанет течь, захлебываясь на лету, вода из водосточных труб с крыши, — вдруг холодало по-новому в этот раз, но знакомому издавна; когда мама и Августа Ивановна с няней или горничной Машей вынимали из сундуков шубы с запахом серебристого нафталина; когда еще мы спали, а уже трещали вовсю березовыми дровами печи, и все же мы просыпались (в детском счастье утреннего уюта) от узнаваемого комнатного холода — тогда вдруг детская сияла вся, точно ее всю по обоям побелили. И кто-то, несший теплые чулки и лифчики, объявлял радостно, как подарок:

— Ну, дети, скорей вставайте! Сегодня выпал первый снег!

И тогда босиком, дрожа у запушенных уже, как в белом меху, окон, мы видели с высоты антресолей весь длинный широкий любимый двор, на котором еще вчера топали по сухому ли холоду, по лужам ли ноги, — такую бесконечно иную, стихшую, глухо ушедшую в белизну, недоступную потому, что еще не исчерченную следами и тропинками следов, кроме котовых, Васиных (белых от такой черноты), праздничную и победную после стольких месяцев борьбы с плескавшей и облетавшей осенью. И тогда и дети и старшие — все говорили: «Пришла зима».

И тогда, только тогда — раньше оно не думалось, не могло, точно сгнуло за жаркой завесой лета, — начинало медленно брезжиться, приближаться, словно во сне обнимая, подкрадываться более всего на свете любимое, не забытое рождество — о, нет, разве она могла позабыться — не заменяемая ничем елка!

И наступал счет месяцев и недель... Продолжалась зима — до крещенья, до масленицы, до великого поста. Гудели волны колокольного звона. Дни становились длинные. Пекли пироги с грибами.

Масленица! Склон зимы, весеннее зарево в удлинившихся днях, в поздних закатах, в сосульках, увесивших особняки и старые московские домики. Охотный ряд с блеском рыб, с чернотой икры, рыже-розовой семгой... Мучные лавки, и из форток, где ни идешь, запах блинов, запах горячего масла, от которого ширятся ноздри. Так еще пахли сайки на базарах — их нам никогда не покупали, это была чужая пленительная еда (как и сбитень, которого я за все детство свое не попробовала и рецепт коего — сколько ни добивалась потом у старых людей — так и остался мне тайной). Но блины пекли, и мостками от кухни в дом, накинув шаль, спешила горничная с покрытой горой блинов, масляно отлипавших на столе друг от друга.

Растопленное сливочное масло в судке, сметана, селедка, икра и капля вина в воду.

А мимо окон мчались санки за санками, катила по снегу Русь, как в сказке покати копыта коней, и обрывки песен, тающие вслед исчезающей за поворотом в Палашки тройки, пробуждали в Мусе и мне тоску... И мы вспоминали песни той масленицы, мимо окон в санках летевшей, и говорили друг другу: «А помнишь?»

Москва нашего детства: трамваи как диковинка, медленные конки, синие халаты извозчиков, пролетки, тогда еще без резиновых шин. Медленность и грохот уличного движения. Пешеходы меж лошадиных голов. Вывески, кренделя, калачи. Разносчики. Керосиновые фонари.

Небо становилось синей, и в нем плавали круглые облака.

Дни тянулись к весне все более длинными лентами, зала делалась теплей; вытасенные из нафталина, вожделенные, знакомые и позабытые, смешные и милые, надевались драповые пальто с пелеринками и плоские матросские беретки; новые калоши с блестящими бугорками подошв сладостно шагали в новые лужи двора.

Гувернантки менялись — то из-за необходимости упражнять другой язык, то по какой-нибудь тайне нам их поведения, — вместо мадемуазель Мари — фрейлен такая-то, — мы были те же, и die stille Strasse¹ (была ли то Спиридоновка, Малая Никитская, Гранатный?) — и та же была весна. И те же были «другие дети», которых никто не знал, но которых нам всегда ставили в пример. В том, что они не знали нас и всего нашего, а мы их, была какая-то заколдованность. Это были те, у которых другие отцы и матери, но те же голуби под такими же крышами ворковали во всех дворах.

¹ Тихая улица (нем.).

И вот однажды жизнь привела нас в соприкосновение с этими другими детьми. Провожатой нашей понадобилось зачем-то в чужой двор нового дома. Мы, может быть, никогда еще не видели такого двора. Каменность несколькихэтажных стен, их серый цвет (наш дом был шоколадного цвета, и он и ближние были уютными, деревянными). Меж каменных стен — солнцем залитые пустые, как во сне (асфальт?), площадки. И туда, как и мы, забрел лоточник с грушами и виноградом. Далее, пока фрейлен говорила о чем-то с кем-то, все произошло, как продолжение начавшегося сна: к фруктам подбежали девочка и мальчик наших лет, лучше нас — наряднее — одетые, и купили, каждый выбрав, что захотел: мальчик — груш, девочка — винограда. С затаенной завистью, но и с каким-то почти осуждением смотрели мы, как продавец им подал бумажные пакеты — по фунту — и как они, не видя нас или делая вид, что не видят, занятые своею покупкой, ушли, заглядывая в пухлую, прохладную полноту мешочков, говоря о чем-то своем.

Мы глядели им вслед. Мы молчали. Мы и друг другу не хотели сказать. Мы, думаю, дали пролететь зависти мимо — туда, где ее дом. Этот дом был нам чужд тоже. Но так крепко задумалось в обеих нас в тот миг что-то, заглянув в чуждый блеск иного быта, — что, может быть, все будущее наше презрение к комфорту, богатству уже напрочно выкристаллизовалось в наших двух душах, когда опомнившаяся («А где дети?») гувернантка испуганно позвала нас.

Но помню настоящее горе: придя домой, мы узнали, что в наше отсутствие мать отдала в фургон для бедных детей наших обожаемых лошадей: вороную — Андрюшину, гнедую — Марусину, и без названия цвета, белесую, некогда со светло-желтыми волосами, ростом мне выше пояса — Палладу.

Никакие увещания не помогли. Никакие «бедные дети, у них совсем нет игрушек, а ваши лошади уже старые, их уже с чердака сняли»...

Мать была потрясена нашим горем. Пробы нас устыдить, укоры в жадности увядали: мы ревели в три ручья. Мы бегали на чердак, дышали пылью опустевших конюшен, прощались навеки — заочно. Как должны были полюбить наших коней те, чужие, бедные приютские дети, чтобы перекрыть наше горе!

Был апрель. Деревья рощ, лесов и пригорков стояли легкой зеленоватой смутой, низанные вблизи зелеными бусинами.

Тарантасы, ныряя с колеи на колею, с ухаба на ухаб по песчаным откосам, над оживающими под склонами деревьями — Дракино, Страхово, — щедро сыпали в весеннюю пастораль звенящую, разбивающуюся трель бубенцов, оглашая окрестность счастьем пути: встреч, ожиданий, приезда!

«Едем, едем!» — заличливо дребезжали они все ближе и ближе к заветным местам, и дух захватывало от краешка далекого поворота, за которым откроется — вот сейчас, вот сейчас! — знакомый ландшафт.

Глаза вливались. Голос пресекался. Ноги рвались бежать, перегнать коренника и пристяжную, сердце билось, как живая птица, где-то под горлом — и память о том, что было год назад, и два, и давно, делало счастье таким, как вросшие в землю деревья, наши товарищи, кивавшие нам со всех бугров и низин, тянувшие нам зеленые апрельские руки.

Но смутно мне открывалась особая статья Марусинога чувства, не моя! Жажда отчуждения от других, ее радости, властная жадность встречать и любить все — одной: ее зоркое знание, что это все принадлежит одной ей, ей, ей — больше, чем всем, ревность к тому, чтобы другая — особенно я, на нее похожая, — любила бы деревья, луга, путь, вес-

ну так же, как она. Тень враждебности падала от ее обладания — книгам, музыкой, природой — на тех, кто похоже чувствует, — на меня: движение оттолкнуть, заслонить, завладеть безраздельно, ни с кем не делить... быть единственной и первой — во всем.

Мама улыбается. В ее улыбке и жалобное и удалое. Лёра дружески кивает нам, любуясь ковром травы и цветов. Андрюша в другом гарантасе, с новой фрейлен — пожилой; у нее квадратные щеки и странное имя — Преториус. Колеса тяжело въезжают в светлый речной песок; горы кончились, потянулись речные кусты, повеяло сыростью. Она с нами, невидимая еще, но уже все помнящая, и когда мы уже нацело забыли леса и холмы, предали их и безраздельно предались ей, когда от внезапной прохлады, от речного ветра, рвущего за уши, за волосы и шляпы с голов, — тогда всегда вдруг (о, чудное слово, так опороченное литераторами), вдруг взблескивало вдали узкой, узчайшей полоской, непермерным меж землей и воздухом блеском, и он начинал расплескиваться — и там за кустами, и там... И дикими от упоения голосами мы кричали: «Ока, Ока!..»

И тогда впереди, за ней, над ней другим уж — калужским — берегом появлялись очертания Тарусы — домики, и сады, и две церкви: справа, низко, прямо над рекой — собор; круто наверху, на холме, слева — воскресенская церковь. Но уж и их мы не видели, потому что, как в волны пловец, кидались в спор старших, как ехать: низом, холмами над Окой, влево или верхом, вправо, через Соборную площадь вверх по горе, с заездом к Добротворским и после широкой дорогой, меж лесных полян, загибая к полям за дачей, и мимо орехового оврага по «большой дороге», подъезжая к даче — сзади, с поля и леса, а не от реки. Старшим было легко решать: где лучше дорога, где с грузом багажа легче проехать. Но — нам! Выбрать! Из двух драгоценностей! И когда давно лошади уже бежали, звоня о себе и о нас, по верхней — или по нижней — дороге и никто нас не слушал, мы все еще отчаянно жалели о пути, которым не едем, потому что сердце вмещало оба, не отдавало, спорило с сердцем взрослых.

Утро. Тишина. Я почему-то одна на верхнем балконе. Пересвист птиц и шепот листвы. Тополиные ветви у самых перекладин балкона. Я не замечаю перекладин — как в клетке, — они не мешают: я — в ветвях. Реденькой зеленью, почками и первыми листиками, клейкими, одуряюще пахнущими (тополиными), осыпанные прозрачные ветви, легко, как во сне, зеленеют неполным цветом водопады плакучих берез, за которыми блещет Ока, и солнечность воздуха, жидким зеркалом обнявшая деревья, балкон, меня. Немыслимая игра солнца и тени в листьях — апрель.

Мне шесть лет. Вокруг меня и во мне совершенное счастье. Я помню его до сих пор.

Но вдруг и оно — растет? (То, которое не могло быть больше!) Из-за старого сада, из глуши надлуговых рощ — сказочный звук: кукушка! Как год назад и как два, как давно, как всегда... Я считаю — не птичий, совсем другой звук! Точно тупой молоточек роняет свой звук — настойчивый и всегда чуть прощальный, двойным легким стуком — о воздух, синий и теплый и которому нет лет.

Роясь под нижним балконом, я нашла свой потерянный прошлогодний мяч — не очень большой, серый. О нем столько было слез! Кочерга долго гоняла его под домом, в отдушину... не выкатила. Остался там. Я не верю глазам, я не верю счастью: он тут! Чуть сырой, но весь целый, круглый, тугой, мой. Он мерз, мок один целую зиму!.. Сам выкатился?

Я прижала и глажу его, нюхаю (оглядываюсь — никто не видит), пробую чуть на язык... Неужели может быть большее счастье? Не может! «Де-ти, где вы? — Лёрин голос из окна. — Ужинать!»

По клавишам, перегоняя друг друга, мамыны руки. Мама играет! Ноги бегут вверх по балконной лестнице — сами собой.

Пожилая, неуклюжая из-за толщины, вся какая-то квадратная, фрейлен Преториус, не поспевавшая за нами и бывшая вокруг нас — один сплошной вздох, в минуту опасности отличилась неожиданным мужеством: прямо на нее, расположившуюся с нами на бугорке под березами, бежала, откуда ни возьмись, бешеная собака, пена у рта, опущенный хвост, — но крепкая еще рука Преториус нанесла ей по голове удар мирным толстеннейшим словарем, и собака — от неожиданности, что ли? — побежала дальше. Собаку было жаль: побили, да еще бешеная... Но смелость Преториус возвысила фрейлен в наших глазах.

Думаю, что от необычной природы тарусской, столь богатой горками и пригорками, и от нас, детей, не по вкусу ее немецким понятиям о детях, Преториус отдыхала, несмотря на далекий холмистый путь, — только у тети. Чинный, нарядный, богатый, хоть и в миниатюрных размерах дом с широкой террасой (пузатый красный медный самовар, белоснежность скатерти и салфеток), среди песком посыпанных дорожек сада, затейливых клумб, кустов цветущей сирени, с двором, полным живности всех видов, петухами, индюками и утками, оперение которых напоминало цветные картинки из хрестоматий; липы, яблони, ягодные кусты — все тешило глаз, все было, как надо. И обед и чай на террасе с ритуалом нагретых тарелок, хрусталем вокруг разноцветных провалов варенья, искусными десертами — это был, видимо, идеал Преториус.

Спустив черепаховые дедушкины очки на кончик носа, глядя поверх, чуть наклонив голову с двойным подбородком — ниже шла бесформенная пышность оборок фланелевого — часто и летом — платья, Тьо сидя производила несколько даже импозантное впечатление; когда же вставала, оказывалась маленького роста, и платье ее — всегда фасона маленьких девочек, хоть и до полу и очень большой ширины, — представляло незабываемую картину.

И когда за нами приходили ушедшие к Добротворским старшие и надо было идти домой, приходилось сделать усилие, чтобы вернуться к дню. Но день властно будил, руша на нас реальности, которые нельзя было оттолкнуть — корзины яблок, коробки конфет, даваемые тетей с собою, поцелуи, шум, говор людей и любимых нами уют — кто знает, сколько лет длящихся возвращений из Тарусы на далекую нашу лесную дачу с вставшим над березовой горой месяцем, лентой Оки, с одного боку сине-лиловой, с другого — закатно-огненной... И тот же голос годы — как от этого замирало сердце! — пел с той же, быть может, лодочки, как когда мы были маленькие, — удалое, печальное, звонкое и точно искрами по реке шедшее «Чудный месяц плывет над рек-о-о-ю»... Молодежь шла провожать нас — горделивая старшая Надя; добродушная, с лукавинкой, младшая Люда; молчаливый, застенчиво улыбавшийся Саня. Мы хватали с дороги обломки камней, сверкавших, как звезды. Карамели таяли во рту.

И был еще один тарусский мирок, делавший лето еще зеленей, жару — жарче: сад на Воскресенской горе, где жили Кирилловны. Их было всего две: Мария, повыше, и Аксинья, потолще. Но вокруг них жило еще много женщин в ситцевых платьях и белых платочках, и звали их люди «хлыстовки». Они жили в ягодном густом саду и были шумно-приветливы: угощали ягодами, брали на руки, ласкали, певуче приговари-

вая и веселя, и жизнь сразу становилась певучей, как их голоса, веселой, как хоровод, и немножко хмельной, как когда в праздник дадут капельку вина в рюмке.

А потом что-то начинало делаться с летом: все как-то изменялось — и облака, и Ока, и деревья, появлялись другие звуки и запахи, и мы, в горе, уж думали, что это кончается лето. Но вскоре по ставшему особенно синим небу, паутинкам в «старом саду», грибам и знакомому запаху сырой соломы — мы узнавали, предчувствовали еще новую радость, что это вовсе не «лето уходит», а что это «пришла осень»!

Изменники! Забресжившую грусть мы продавали за новую радость, бездумно окунаясь в щедро лившуюся роскошь сентябрьских рощ! Мы не успевали. Это было состояние опьянения. Но и осенью кто-то не давал надыхаться: чья-то рука так быстро меняла картины, что только бегом могли ноги поспеть и грудь хоть немножечко надыхаться: стволы и пеньки грибной рощи, где мы всей семьей — впервые — наложили уж целую корзину грибов. Мама нам надевала головные платочки: Мусин — голубой, мой — розовый. Ветер. Верхом, качая загорелые ноги, скачет на гнедой лохматой потной лошадке баба, спеша на гумно. Таинственность этого слова зажигает мгновенно предчувствие того, что настанет сейчас: над криком мужиков и кружащимися у молотилки в необычной упряжи лошадьми, над пестрыми платьями и платками помогающих в молотье баб — летящий мягкий желтый снежок половы. Смутная память — о запахах, взлетающих над рожью, давно, когда еще не было молотилки.

Вечер. Звуки рояля из окон в листву. За аллеей огненная полоска заката под тучей.

Всей семьей мы выходим в вечерний осенний ветер, мимо деревьев большой дороги — в поле. О чем-то говорят старшие, о своем. Бежим вперед, дышим ветром, машем хлыстами с листиками на конце. Уют дороги меж деревьев вдруг обрывается об огромное неприятное поле. Полоска заката уж совсем узенькая, желто-зеленая, и кажется, что она кислая, как осколок грушевой карамели во рту. Ветер бушует, платки рвутся с голов. Как холодно... Поворачиваем домой.

Только наутро мы узнавали, по какому лесу шли в темноте вчера, обходя овраг, поросший ореховыми кустами. Как мог он стать таким пестрым, рыжим, рядом — красным, а рядом — светло-желтым, а рядом — темно-рыжим, и потом — бурым и темно-красным, малиновым! Только теперь видно, какие разные кусты это были, перемешавшиеся летом в зеленой гуще! А опушка леса у большой дороги, она же всегда была такая зеленая, что даже синяя, там, где дубы (дубы были плохо видны, заросшие вокруг и с боков осинами и березами), а теперь их каждая ветвь, как выточенная, каждый лист вырезной, точеный, как желудь, — вместо синевы дубы играют в красное и в золотое всеми ветками и совсем отдельно стоят от осин и кустов.

Поля сжаты. У дорог — те, осенние, на светлом мясистом стебле цветы: шапочка мелких, светло-розовых, прошлогодних. А на зеленых, узелками, стеблях — крупные синие цветы с плоскими лепестками. Годы поздней мы узнали имя: цикорий. Кучи соломы. Мы в нее зарываемся, она пахнет. Яма в старом саду, летом заросшая густо, снова, как год назад, полна зеленой водой. И в упавшей коряге желобок тоже полон воды. Звук пастушьей дудки. Сторожевские дети у холмика роют ямку с дырой наверху для дыма, жгут под ней костер и пекут картошку. Убежав от фрейлен, несем туда утащенную на кухне еду.

Отступили назад летние запахи — бузинный, тополиный, липовый. Запах горячей от солнца малины, запах купанья, речных лопухов, матово-зеленых, с белой подкладкой — пряный, немного противный и все-таки родной. Пахнет прелыми листьями, грибами, и этим пахнет не

просто в воздухе, а — в ветре. Запахи не стоят и не веют, как летом, а — несутся, несутся! И мы несемся с горы отчаяннее, чем летом: скоро все кончится! Каждый день мы в тоске выбегаем в старый сад и на большую дорогу — глядеть, как много уже со вчера листьев сорвано ветром, как все пустей ветки, все больше неба, все меньше леса. Но в то время, как глаза печалились — ноги радовались, загребая все глубже гущу лиственного ковра.

Наконец ветер срывает все — почти совсем все — и свистел в ветках голых веток. Тогда под ногами — они шли в мягком по щиколотку — оказывалась вся сброшенная сверху краса — малиновая, желтая, рыжая, но она бурела, гасла, превращалась в шорох...

Начинался неуют осени. Ока не плыла медленным голубым зеркалом — она была сине-свинцовая и сердитая, и по ней — рябь. Шли дожди. На нашем верхнем балконе, за прямыми его, как дождевые струи, серыми решетками, одетые в драповое, мы низали бусы, срывая темно-янтарные ягодки с густых рябиновых кистей. И как терпеливо и жадно ни старался рот прожевать, ничего не получалось с рыжей мякотью — такой горькой, что дрожали даже игла и нитка, пронзавшие ягоды.

А когда после таких двух-трех дней дождя мы вновь выбежали на солнце — было так холодно и мокро, руки делались красные, и хотелось идти греться в кухню. От луж все кругом было другое, чужое... И впервые за все лето вдруг вспоминалась — Москва.

А уж в доме сборы. Мы уезжаем. Тюки, корзины, портпледы. Ямщики, тарантасы. Запах лошадиного пога — страстно любимый. (Муся его хочет — себе. Мне уступает запах дегтя — колеса, травинки.)

В миг, когда начинает дребезжать колокольчик и детей рассаживают меж взрослых и когда замер дух перед счастьем пути, в сердце кто-то поворачивает нож — расставание!

«Прощай, Таруса! Прощай, Ока!» — в слезах кричим мы.

Вечно бы так ехать. И никогда не догонишь даль. Но и в блаженстве дороги — темные пятна. (Это все виноваты старшие: ну что из того, что Мусю опять тошнит — большая беда!) Подымается шум. Никто не хочет сидеть рядом с Мусей: ни мама, ни Лёра. «Давайте ее мне», — мирно говорит папа. Мятных пастилок, воды?.. «Ничего, ничего! Все пройдет, все пройдет, — повторяет папа, похлопывая по плечу Мусю, — а вот и станция уж видна!» И вот уж и это умчалось куда-то вместе с отъезжающими от станции тарантасами, уже не нам звенят колокольчики... Как слабо уже! Ведь только что так громко звенели!

И все мчится и мчится — назад. Уж кончилось волнение перед приходом поезда — с тюками, корзинками, портпледами, саквояжами... Ух, хорошо! Как быстро летит поезд — та-та-там, та-та-там, та-та-там... «Дети, сейчас же отойдите от окон!» Вот взрослые всегда так! Если не вывешиваться, голову не высовывать — не увидишь во-он того дерева и тех коров за оврагом. (Они точь-в-точь, как те игрушечные в коробке под елкой — рыжие с белым и ма-аленькие...) И вот уж их нет — а бегит овраг, кусты бегут, бегут, кружатся, и один весь как будто фарфоровый: листья на нем все целы, все съезжившиеся, коричневые и ветер по ним прозвенел, это от поезда — ветер!

«Мам, а помнишь»...

Но мама не слышит. Мусю, кажется, уж опять укачало? «Муся, сядь сюда, лицом к движению!»

Я гляжу на бледное лицо Муси. Мне жаль ее, но я тайно горжусь. Я вот маленькая, а меня никогда не тошнит. Мама устает от дороги и сердится. Лёра — всегда спокойна. Она ласково говорит с Мусей, старается ее отвлечь, рассмешить. Муся улыбается ей через силу.

Та-та-там, та-та-там, та-та-там...
Я уж сплю, привалясь о толстый портплед.

«Москва... как много в этом звуке...»

Москва. Вечер. Черно. Блеснул вокзал с матовыми шарами стенных ламп и высокими окнами, с великаньим самоваром и всякой снедью, с шоколадом и мячиками апельсинов, с ватагой носильщиков в белых фартуках, с бляхами на груди... Нас рассовали меж взрослых, заткнули в пролетки, как дорожный багаж, и я уже хнычу потому, что хочется, чтобы верх пролетки был поднят (так уютно под его круглым шатром), а кто-то сказал, что дождя не будет, чтобы верха пролеток спустили — так удобнее для вещей. «Ася, да ты замолчишь или нет? Затянула свое «и-и-и»! Какая мука с этими детьми ездить! Бери с Муси пример: она никогда не плачет!»

Мы переезжаем огромную вокзальную площадь перед Курским вокзалом. Она блестит от фонарей: они дрожат и переливаются — желтые (как от месяца отраженье в Оке). Подковы лошадей чмокают о булыжники лужи. Москва!

Одноэтажные и двухэтажные домики окраины, сияние низких магазинных окон, золоченый крендель над булочной, запах жареных пирогов из раскрытых дверей трактира. Песня. Грохот колес по камням мостовой. Поворот из переулка в переулок. Церковки... Сон прошел.

Радость ехать домой, счастье встречи всех нас разбудили и примирили. Мама улыбается.

Мы — дома! Наш, прежний, все тот же милый дом обнял нас летним запахом пустых комнат, нафталина, печенья, чего-то еще. Стуком ставен, голосами знакомой прислуги, суетой и жаром первого вечера! Уже несут самовар. Хлеб с маслом и колбасой, яйца, сыр, витушки, калачи. В белом молочнике с синей ласточкой (ручка!) — сливки.

— А на дворе опять дождь, — говорит кто-то.

В эту осень Маруся поступила в первый класс московской четвертой гимназии на Садовой. Это было тяжелое многооконное здание двух цветов — светло- и темно-желтого.

Но то, что случилось со мной, когда я в первый раз с гувернанткой зашла за Мусей в переднюю гимназии, — меня потрясло. Сколько я ни слыхала о том, как дразнят там новичков, но когда я оказалась окружена толпой девочек в коричневом и черном, заплывавших вокруг меня, дергающих меня, кричащих, строящих мне рожи, я была ошеломлена и готовилась к реву. Уже шла мне на помощь гувернантка. Но не менее, чем озорная ватага девчонок, потряс холод, с которым не заступалась за меня Муся. Возмущенная предательством, я шла с ней рядом по Садовой и Ермолаевскому переулку домой, где мы снова будем сестрами, такими похожими, связанными целым миром всего. Обиды от нее дома не потрясали, они были в порядке вещей. Но обида такая — ее примыкание к врагам — была, как дурной сон. Я понимала, что заступиться за меня ей мешает ложный стыд, но этим не все было сказано: будь только это — она бы чувствовала вину передо мной. А этого не было. Как в дурном сне — такие бывали во время тяжелых инфлюэнций, простуд с жаром, — Муся в час наших приходов за ней каждый раз вдруг душевно примыкала к дразнящим.

Эти заходы в гимназию стали мне ежедневной мукой. Маме я, помнится, ничего не сказала — тогда по крайней мере.

Но однажды, когда девочка, с которой Муся дружила более, чем с другими, — Несмеянова — запрыгала с девочками передо мной, крича: «Цветашка, цветашка, красная рубашка!», я, для себя неожиданно, ответно завизжала ей в лицо: «Несмеяшка, несмеяшка, желтая рубашка!»

Контраст моего маленького роста (я была очень мала, казалась моложе моих лет) и отчаяния дерзкой самозащиты произвели магическое действие: с этого дня меня перестали дразнить. Честь была спасена. Тень, пававшая на мои дни, исчезла.

Однажды Маруся (мы теперь чаще звали ее так) принесла из гимназии маленького формата книжечку «Золотые кудри» (автором мне мерещится Эллиот, но, может быть, аберрация). Забыла ли книжечку она дома в парте, или оставила прочесть после — но книжка попала в мои руки, и я читала ее, не отрываясь. Что-то восхитительное было в ней: девушка в золотых кудрях — башня замка. Чей-то далекий путь, чья-то разлука, и над полем с костями (битва?) — ветер и реянье птиц. Сердце пылало почти как от Ундины, распахивалось шире и шире... В эту минуту вошла Маруся. В моем восхищенном и растерянном лице она прочла все. Молча подошла ко мне, взяла книгу, оттолкнула меня и спрятала книгу в парту. Только тогда, надменно торжествуя победу, она проронила: «Читаешь чужие книги? Без спросу?» Своего ответа не помню — он потонул в горе о прерванном счастье. Но спорить, просить было немыслимо.

Разлука с «Золотыми кудрями» была суждена, как разлука героев в книге. Спорить было не о чем. Но острота боли памятна мне до сих пор. Марина унесла книгу и никогда не приносила ее вновь. И я знала, что ее страдание ревности оттого, что в нее наедине с книгой вкрался третий, не менее сильно, чем мое.

Чувствовала ли я вину перед нею? И она — передо мной? В последний раз мы виделись в ее тридцать пять, мои тридцать три года. Еще около десяти лет переписывались. Далее жизнь навеки нас разлучила. И я никогда не спросила ее о том дне. Был ясный зимний день над полем, над чьими-то костями летали птицы. Я не успела перевернуть страницу. Нам было девять и семь лет.

Мама не узнала об этом. У нас и от нее были тайны. Она бы вошла с праведным гневом в наши мучения, а тут и гнев ничему не помог бы. Мама была прямее дочерей. Стариннее. И ее: «Как? Мои дети...» — не спасло бы тут ничего.

Были времена студенческих беспорядков, сходок, собраний. Помню слова: «педель», «казаки», «нагайки», имя Льва Толстого и споры о смертной казни. Цвел и занимал умы и сердца Художественный театр. Заманчиво звучали непонятные слова: «Потонувший колокол», «Чайка». Повторялось странное чуждое слово «Раутенделейн». Мама, Лёра, приезжавшая молодежь Добротворских, сыновья дяди Пети — медик Сережа, брат его Володя и сестра их Саша — Цветаевы, все говорили о Художественном театре, благоговели перед ним.

В эту зиму нас, детей, вновь, как и в прежние годы, повезли в Большой театр. Теперь Маруся не бросала из ложи, как в детстве, вниз апельсиновых корок. Завороженно она смотрела отроческими уже глазами на медленно подымавшийся пурпуровый занавес, на взмах дирижерской палочки (дирижер во фраке был похож на Чернилку из сказки Гофмана). Медленно погасал цветок люстры.

В гимназии ли простудилась Маруся? Она слегла с воспалением легких. Мама ухаживала за ней умело — она была сестрой милосердия в Иверской общине. Строго исполняла советы доброго доктора Ярхо. Но однажды выздоравливающая Маруся попросила меня тайком принести ей из буфета кусок холодного мяса. Сердце у меня билось, я летела с ним, как лиса с петухом. Марусино наслаждение было велико, но результаты проделки были невеселы. Мусе стало хуже. Меня бранили. Но натура Муси победила. Она встала.

Елка 1901 года была для Маруси особенной — первые ее каникулы. И хотя, учась отлично и готовя уроки быстро, она успевала и читать, и рисовать, и играть на рояле, и драться со мной, как и до гимназии, все же думаю, елка загорелась ей в этом году еще ярче, и подаренное Андрюше волшебство «китайских теней» — набегающая гонка черных силуэтиков на фоне полукруглого экрана круглого картонного сооружения — и бенгальский огонь Лёриных «живых картин» — все просияло ей ослепительней перед видением тяжелых дверей четвертой московской гимназии на Садовой. В музыкальной школе успехи ее росли, мама мечтала о ее будущности музыканта. «Маруся будет музыкантом,— говорила мама,— Ася — художницей»... Может быть, играя в пустой нашей зале, горя за роялем еще больше, чем за палитрой и книгой, даже чем за дневником (начатом с девических лет — черные томики росли, уже был начат девятый), мама мечтала о зале, полной слушателей. способных оценить ее игру? Папа был к музыке глух; е е отец, с нею игравший в четыре руки, умер...

Мы любили Андерсена. И мне кажется, в любви Маруси к «маленькой разбойнице» андерсеновской было некое панибратство, узнавание себя в другом, молчаливый кивок. Была в Марине с детства какая-то брешь в ее соотношениях с дурным и хорошим: со страстью к чему-то и непомерной гордостью она легко и пылко делала зло. Нелегко на добро сдавалась! Насмехалась, отрицала суд над собой. Но зато — когда уж сама приходила к раскаянию... Помню и во всю жизнь потом ее лицо таких дней и часов: светлые, светлее обычного от заплаканности и мук застенчивости глаза. Выражение отрешенности, словно прислушивалась к чему-то, ей одной слышимому, что одно было ей непререкаемо.

А мама в эту зиму особенно увлекалась медициной. Ездилась работать в Иверскую общину сестер милосердия.

Уют дома, где родился и где идет детство! Он кажется вечным. Кто мог знать, что это идет последний год детства нашего в этом доме, что неожиданные события уведут нас так надолго из него. Как снежный ком, катясь, растет — так росло, росло рождество, пока не подошло так близко, что опрокидывалось над залой куском звездного неба, и тогда нас гнали наверх, в детскую, а внизу меж спален, коридорчиком, черным ходом, девичьей и двухстворчатými дверями залы ходили, что-то несли, что-то шуршало тонким звуком картонных коробок, что-то протаскивали — запахи подымали дом, как волны корабль. Шелестело проносимое и угадываемое, — и Андрюша, успев увидеть, мчался к нам по лестнице, удирая от гувернантки, захлебнувшись, дарил нам сине-зеленый цвет длинной, нижней, закрывающей ежегодно ствол, елочной завесы с наклеенными на нее золотобумажными ангелами, сыплющими на коленокоровое небо звезды.

Часы в этот день тикали так медленно. Часовой и получасовой бой друг от друга были растянуты, как на резинке. Как ужасно долго не смеркалось! Рот отказывался есть. Все чувства, как вскипевшее молоко, ушли через края — в слух. Но и это проходило. И когда уже ничего не хотелось как будто от страшной усталости непомерного дня; когда я, младшая, уже, думалось, от усталости ожидания засыпала, — снизу, где мы были только помехой, откуда мы весь день были изгнаны, раздавался волшебный звук — звонок!

Как год назад, и как два, и еще более далеко, еще дальше, когда ничего еще не было, — звонок, которым звали нас, весь день изгоняемых снизу, зовут только ко нас, только мы нужны там, внизу, нас ждут!

Быстрые шаги вверх по лестнице уж который раз входящей к нам фрейлен, — наскоро поправляемые кружевные воротники, осмотр рук,

расчесывание волос, уже спутавшихся, где на макушке бабочки лент — и под топот летящих и вдруг запинаящихся шагов нам навстречу распахиваются двустворчатые высокие двери... И во всю их сияющую широту, во всю высь вдруг взлетающей вверх залы, до самого ее потолка несуществующего — она! Та, которую тащили, рубили, качая, устанавливали на кресте, которую окутывали зелеными небесами со звездами и которую прятали от нас с такой же страстью, с какой мы мечтали ее увидеть.

Как я благодарна старшим за то, что, зная детское сердце, они не сливали (по крайней мере были такие годы, что не сливали) двух торжеств в одно, а дарили их порознь: сперва блеск убранной елки, уже ослеплявшей. И затем уже — ее таинственное превращение в ту самую, настоящую, сгоравшую от собственного сверкания, для которой уже не было ни голоса, ни дыхания и о которой нет слов.

Она догорала. Пир окончен. Воздух вокруг нее был так густ, так насыщен, что казался не то марципановым пряником, не то шоколадом, но были в нем и фисташки, и вкус грецких орехов...

Золотые обрезы книг в упоительных переплетах, с картинками, от которых щемило сердце, заводные колеса, над коими трудился Андрюша, янтари и искусственная бирюза бус. Куклы! Это бич наш с Марусей — куклы, которые дарились педагогически каждый год. В них ценились нами одни глаза — за замороженность их взгляда, но, когда мы эти глаза в укромном углу, отодрав парик, из головы вынимали, замороженность угасала сразу, и мы немножечко презирали их и немножечко боялись.

Близко держа к близоруким глазам новую книгу, Муся уже читала ее, в забвении всего окружающего поглощая орехи, когда с елки, вспыхнув огненной гибелью нитки, упал синий шар!

Его легкая скорлупка, сияющая голубым беском изнутри — серебряная, распалась на куски таким серебристым каскадом, точно никогда не была синей и никогда не была шаром.

И в наш горестный крик, и в крик старших, кинувшихся нас оттащить от осколков, капали догоравшие свечи теплым воском, и тлевшие иглы елочных веток переносили ель назад, в лес.

Я глядела вверх. Там на тончайшей резьбе витой золотой ниточки качалась от ветерка свечки маленькая танцовщица, и папье-маше ее пышной юбочки было нежным, как лебяжий пух. Гигантская тень елки, упав на стену и сломавшись о потолок, где уже тускло горела виффлеемская звезда, осеняла темневшую залу над мерцанием цепей, бус и шаров, спрятавшихся под мех веток. В догоравшем костре рождественской ночи рдела искра малинового шара, под тьмой веток отражая огонь последней свечи.

Но волна шла еще выше — та, следующая: блаженство проснуться на первый день рождества, сбежав по лестнице, войти вновь к елке (уже обретенной, твоей насовсем, но так еще много дней до расставания) и смотреть на нее утренними всевидящими глазами, обходить ее всю, пролезая сзади, и обнимать, нюхая ее ветки, увидеть все, что вчера, в игре свечного огня и ее гушины, было скрыто. Не черная, как вчера, в провалах, залитая через густоту морозных наростов желтящимися солнечными лучами, она ждет нас, вспыхнув утренними искрами всех цветов, только сейчас по-настоящему горя всеми волшебными своими плодами — зеленью толстых стеклянных груш (даже не бьются, падая!), аложелтых пылающих яблок, рыжих живых мандаринов (им немножко стыдно, что они не стеклянные, что их можно съесть) и роскошью шаров самых хрупких, самых таинственных.

И вот все это зная, помня, предчувствуя — еще не идти вниз, а про-

снувшись, лежать, обложив себя новизной сокровищ: зверями, еще совсем целыми, в зеленой траве, как мох устлавшей дно их жилища; тетиными куколками в швейцарских костюмах (таких маленьких, мы любили их за то, что они волшебные и им не надо ни шить, ни класть их спать). В девочкиной игре в куклы поражала утилитарность. Эти куклки требовали одного — любованья того, как мы так умели. Книги лежали распахнутые, и я сразу все смотрела, окликая Мусю, которая, рухнув в выбранную, читала взасос, мыча мне в ответ что-то невнятное. Челюсти уставали жевать орехи.

Вечер. Зала уже темна. Только отблеск далекой лампы — в двух трюмо. Как пахнет елкой! Мандаринами, воском! Мы кружимся, взявшись за руки; тела, резко откиннутые, образуют с полом залы острый угол. О, как чудно так кружиться — голова летит, уж ничего не видно, так страшно и так ужасно приятно...

— А я тебя сейчас отпущу! — испытующе-лукаво шепчет Муся.

Я судорожно вцепляюсь в ее пальцы, ошпаренная ужасом — хоть и знаю, что она дразнит, не делает. Зала кружится — окна летят...

«Дети, вы опять! — кричит мама. — Перестаньте сейчас же!» Все так на свете кончается! Приходится перестать...

Как в раннем детстве, мы ходили иногда в Александровский сад, в его волшебную глубину. И на ту улочку, которую Преториус звала die stille Strasse. Ходили в пассажи. Их стеклянные потолки, пустые фонтаны, чучела стоящих медведей пленяют нас, как в самом раннем детстве. Мы — те же.

Промелькнула, прозвонев бубенцами, прошелестев полозьями, масленица. Кончается великий пост. Уже тает снег, идут дожди, вечера длинные, светлые. Мы — в драповых пальто с пелеринками, в матросских беретах. В этот год нас взяли «на вербу» — вербный базар на Красной площади. Я так боялась, что меня, младшую, не возьмут. Но Лёра настояла, меня взяли.

Огромная площадь полна народу. Местами приходится проталкиваться. Вербные игрушки — «тешины языки» — вылетают на нас, надувающиеся колбасы и свинки, испускающие с писком дух, морские чертики, «американские жители» в колбах с подкрашенной водой и в стеклянных трубках с резинкой на круглом отверстии — все это верещит, пищит, сверкает и оглушает. Жареный миндаль в бумажных тюбиках, орехи, сладкие стручки, маковники, десятки различных лакомств, квасы, моченые яблоки, сушеные фрукты, кренделя, баранки, пирожки... Гармоника, цимбалы, балалайки. Синяя небесная эмаль весеннего дня, вновь после зимы облака над Кремлем...

Что заставило маму отпустить — к весне — гувернантку, учившую нас языку, и взять нам русскую немку? Ее звали Мария Генриховна. Мы почти все время говорили с ней по-русски. Довольно высокая, ширококостая, худая. В ней было что-то жалобное. Мы скоро узнали, что она много страдала, что она — за народ, «против царя». Она тоже привязалась к нам. Мы были счастливы, что она будет с нами в Тарусе.

И никто из нас не знал, не предчувствовал, что это — последняя весна нашего детства дома, что скоро дом наш останется — от нас — пуст. И снова мелькают верстовые столбы мимо вагонных окон, снова поезд везет нас, радостных, из Москвы в Тарусу, в наше летнее, любимое, цветущее и горящее солнце, овеванное ветром, Окой и запахами тополей, сирени, жасмина, насиженное родное гнездо.

Снова блещит Ока и зеленеет на высоком берегу Таруса, снова добрый дом Доброворских встречает нас — по пути к даче — гостеприимной веселостью. Все подросли немного, чуть изменились. Только

сад — липы и яблони — стоят те же, более медленные в росте, чем мы. И солнце — как бог весть сколько тысяч лет назад и как будет через сто лет, через тысячу — делает воздух раскаленным зеркалом... Все тот же рыжий Барон гремит цепью...

Лето ползет медленно, как золотая бархатная гусеница. Осыпались в кувшинах черемуха, сирень, жасмин; пестреют вместо них в кувшинах и кринках душистыми охипками полевые цветы. Стоя на цыпочках, мы в прозрачном тонкоствольном вишеннике рвем с веток над головами сочные темно-малиновые вишни. Изобилие плодовых и ягодных сладостей и радостей купает нас в волшебном пруду. Решетами несут бабы и ребятишки землянику, полевую ароматную клубнику, зеленую, с розовыми бочками, смородину — черную (пахнет лесными клопами); белую и красную смородину, из которой такое чудное желе. Кипят тазы с вареньем, мы лижем пенки.

В Марусины именины (17 июля) пекут сладкие пироги; «воздушный» ягодный — как пух! Его высоко несут над столом и торжественно ставят. На другом пироге Маруся рассматривает слепленную ею из теста, по разрешению Лёры, мышь — она стала золотая и чуть-чуть подгорела.

Иногда мы с мамой ходим мимо поляны с «пеньками» на луг молодым березово-осиновым леском, примыкающим к старому саду. Лежим, как бывало, на траве, смотрим, как плывут облака. Возвращаемся берегом, мимо плывущих плотов, редких лодок. И все плывет и плывет куда-то. вся наша счастливая жизнь.

В этот год у нас пропала собака. Ее звали Громило. Она была большая, черная, с желтым у лап и морды, шумная, озорная, улыбающаяся. Мы, и мама тоже, очень грустили о ней. Но через несколько дней она показалась из лесу, медленно идя к дому. Мы бросились к ней вне себя от радости, но, подбежав, стали как вкопанные. Рост, порода, расцветка — все было то же, но морда была уже и выражение ее другое. Это был не Громило, и мама назвала ее Челкаш (по рассказу Горького). Все очень дивились этой странной замене. Откуда пришел Челкаш? Почему именно тогда, когда пропал Громило? Он остался у нас, а Громило никогда не вернулся, и мы, дети, решили, что это Громило прислал вместо себя Челкаша.

Ярмарка, сияющий синий день. Вся Соборная площадь переполнена народом. Звуки балалаек, гармоник, пищалок, дудок, песни. Ряды товаров, которым не пересчитать имен. Я запоминаю блещущий ряд разложенных на столах и рогожах на земле — ножей,пил, инструментов. Запах красного кумача — он пахнет касторкой. Муся не хочет стоять возле него. Игрушки, посуда, одежда, материи, обувь, запах лыка и карамелей. Балаган. Зазывала. От жары, от шума и от всех удовольствий чуть кружится голова...

На обратном пути тихий голос Марии Генриховны говорит нам о Некрасове, о жизни народа, о трудностях этой жизни. Она часто вспоминает стихи Пушкина. Муся читает его запоем, пряча от мамы то, что «для взрослых». Но одни стихи мы повторяем все время — обе. Муся просто больна ими. Вслед за «Памятником», который она знает давно, она твердит, и я за нею — бредем ли вдоль дорог, бежим ли с хлыстом (шелестящими кисточками листьев на конце прута) по уже скошенной траве, просыпаемся ли в своей верхней светелке — в волны веток уже несутся раскаты:

Прощай же, море! Не забуду
Твоей горжественной красы

И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы...

Мы знаем его все наизусть и мечтаем о море. Мария Генриховна видала его, и ее товарищи тоже («товарищи» — это ее любимое слово), мы должны его увидеть!

Лето кончается. Уже режем и сушим ломтики диких яблок старого сада, кислые, как лимон, и ниже на нитки.

Молотьба. Горы соломы, ее упоительный запах... Мы летим вниз по горе, по песчаному откосу, мимо баньки, скрытой гушиной кустов и деревьев...

...Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красоты
И долго, долго слышать буду...—

говорим мы, глазами, полными слез, глядя на исчезающую Тарусу... Предчувствовали ли мы, что столько лет ее не увидим?

И снова поезд — осенние пейзажи — полет верстовых столбов, кружение деревьев, то обрызнутых, то облитых золотом, скольжение полей скошенных... И все летит, и крутится, и скользит куда-то, и мы летим.

В Москве нас ждут. Кипит самовар. Пахнет нафталином... И жизнь началась и готова была длиться, как столько раз было, когда грянула весть: мама, слегшая, казалось, в инфлюэнце, больна чахоткой! Доктора, суета в доме, запах лекарств. Странное слово «консилиум». Остроумов, ассистент знаменитого Захарьина, говорит, что это началось еще давно, в год моего рождения. Или нет: это не он говорит, а он — что мама заразилась на операции туберкулезной ноги в Иверской общине: ее пилили, мама держала, помогая профессору. По дому — шепот, толки...

Ариша, мамина горничная, почти не выходит от нее. Нас не пускают. Доктора шлют маму на Кавказ. Мама отказалась ехать без нас. Мы, жалея маму, ликуем о себе: мы увидим Кавказ, море! Мама лежит не в спальне — в гостиной, там высоко — воздух. Вечером разносится слух, что мама хочет звать нас — простаться. Маме хуже. Мы замираем, слушаем... Нас не зовут. Мама уснула, ночь. На другой день другая весть колышет дом, наш верх, нас: маму везут в Италию, только Италия может спасти маму. И мы едем с ней!

Каким особенным стал дом с той минуты, как мы узнали, что покидаем его! Каждый бег вверх-вниз по лестнице, все комнаты, каждый уголок, каждый пролетающий миг — все стало дороже во сто крат и таким горьким на вкус — страшного настоящего расставанья, что позже, потом, в этом огромном потом, после наставшем и продолжавшемся, — ни одно расставание с человеком, с тем, кого всего неизлечимее любишь, от кого отрывали нас поезда, войны, революции или другой человек — не было ново, несмотря на оглушающую силу свою: помнилось то, первое «прощай», звучавшее в доме дни и недели сборов... Может быть, оттого и были мы после так щедры к страннейшему из отнимателей — к жизни! — что знали тайно: переживем — уже пережили...

Там, внизу, растут портпледы, тюки, скрипят корзины, шелкают чемоданы, снуют люди, двери хлопают приглушенно, потому что в доме больной. Наверху мы шепчемся, прощаемся, разрываем себя между счастьем узнать Италию, увидеть море и столькох незнакомых людей — и горем — покинуть дом, потерять Марию Генриховну, которых никакая

Италия не может заставить забыть, потому что они есть, но без нас есть, а мы, мы... Ждем, когда доктора позволят маме ехать.

Этот день настал. Осенний вечер. Ждут карету — маме нельзя на извозчиках. Мы вновь и вновь оббегаем дом, взлетая на наши обожаемые антресоли, по нами отдаваемой лестнице — когда-то мы увидим ее? Черный Васька — взъерошенный от объятий, тоже, как и мы, в дорожной лихорадке. Весь багаж обнюхан им поштучно. Пес, мокрый от вылетаний из будки на дождь — еще раз с нами обняться (в суете за нами мало следят), — ободряет нас черным мокрым носом, ушами, лапами и хвостом. Тополя сыплют нам листья. Голуби, прощаясь, воркуют.

Карету подали. Тащат вещи, укладывают на извозчиков. Мы несемся наверх. Сиротливо сидит на толстом своем соломенном задку тряпичный кот с давно затертой мордой — давний, любимый кот. Ему не позволили ехать!

«Дети, Маруся, Ася! Где вы?» Это последний миг. Еще раз оглядываемся, впивая в себя вид детской, и, толкая друг друга, плача уже о другом, о том, как же мы расстанемся сейчас с Марией Генриховной, летим к ней, ждущей нас у лестницы с заплаканными, как и наши, глазами. Большая, неуклюжая, за это еще больше любимая, волосы прямо назад ото лба зачесанные, глаза светлые — еще светлее от слез...

Мы одеты. Мы хотим еще раз обежать нижние комнаты — нас зовут, кто-то кричит: «Опоздаем на поезд»... Последний взгляд на залу — портрет Бетховена над роялем, высокие белые двери, раскрытые в гостиную, за ней кабинет... Сердце бьется. Дверь сеней выводит свою жалобную ноту, там еще тащат что-то. Мы присаживаемся на мгновение кто где и выходим в распахнутые парадные двери вслед за папой и мамой, Андрюшей, Лёрой. Из-под серебряных вензелей гимназической фуражки глаза Андрюши глядят на нас как-то совсем иначе... Но он стесняется, отводит взгляд. Как он похож сейчас на свою мать! Когда мы увидим его? Он один из нас остается в Москве. Его берет к себе его дед Д. И. Иловыйский; он будет ходить в гимназию...

Папа — у дверцы кареты, в которую усаживают маму. Мы садимся напротив нее. Высовываемся, стараемся еще увидеть Марию Генриховну. Ничего не видно от слез!

Лошади перебирают ногами, цокая копытами по лужам мостовой.

«Я уже больше не вернусь в этот дом, дети...» — говорит мама. Ее лицо в сумраке кареты бело, темнеют глаза. Голос дрожит.

«Ну, что ты, мама!!!» — говорим Маруся и я в один голос, одной интонацией, всю себя кладя в эти слова.

«Что ты, что ты, дружок, что ты, Маня... — взволнованно старается папа ободрить маму, — в Италии — расцветешь...»

Карета трогается. Лошади заворачивают в переулочек. За окном мелькают мокрые черные улицы, огни. Сеет мелкий беспросветный дождь. Ветер. Столбики света — отраженье огней — дрожат в черных лужах.

Мы покидали Москву осенним вечером 1902 года.

Пансион Бринк

Еле доведенная до Италии, такая слабая, что нам пришлось сделать остановку в Вене, наша мать ожила в Нерви (под Генуей). Она быстро поправилась после курса лечения доктора Маральяно, успешно боровшегося против туберкулеза своей сывороткой. Но доктора велели ей провести еще одну зиму на берегу моря. Не желая оставлять нас далее без учения, мать решила отправить Марину и меня во французский интернат в Лозанну.

Дальнейшая наша жизнь с 1902 по 1906 год стала рядом переездов и смены городов и стран. В 1904 году мы были перевезены отцом в Шварцвальд... На зиму решено было устроиться нам с матерью во Фрайбурге (Южная Германия), где мы пробыли больше года. Лето 1904 года провели с отцом и матерью в Шварцвальдских горах, в Лангаккерне.

Узкая улочка, в которой не помню садов (откуда взялась она, такая неприветливая, в чудном, старинном городке?). Большой тяжелый каменный дом. Глухо отсутствуют в памяти двери в пансион Бринк, словно их поглотила тоска нашего вхождения в них.

У стен каменной лестницы на второй этаж и выше цвета не было.

Что было на первом этаже? Классы. Туда входили проходящие ученицы — счастливицы, имевшие родных и дом, и мы видели их только на уроках. Нам, пансионеркам, было запрещено дружить с ними. Но оттого, что мы чувствовали неправоту такого запрета, его нарушение не сознавалось грехом.

На втором этаже — комнаты сестер Бринк: фрейлен Паулине и фрейлен Энни. Где-то в тех этажах жила и экономка. Должно быть, в третьем были наши дортуары — две большие, под углом друг к другу высокие комнаты; обедать мы спускались вниз в длинную столовую с темными портьерами и тяжелым длинным столом. Выше всего помещались классные комнаты старших и самая мучительная из всех, № 18 (нумеро ахтцейн). В нее мы входили после обеда и прогулки и должны были там находиться с четырех до семи — в совершенном молчании делать уроки. Попробовав эту муку — окончив уроки в полчаса — час, сидеть два-три часа неподвижно (читать не разрешалось), — мы взмолились к маме, и она стала на эти часы брать нас к себе. Исключение это для нас было сделано из-за маминой болезни. Зато как мы старались хорошо готовить уроки, чтобы не расставаться с мамой и не попасть в «нумеро ахтцейн».

Фрейлен Паулине Бринк, встретившая нас с папой и мамой в своем приемном кабинете, звавшемся «Зеленая комната», была, думается, тоже в зеленом платье — так величественно она поднялась из глубин своей темной комнаты — худая, высокая, с длинным дряблым лицом и мутно-зеленоватыми глазами навывкате. Полуседые волосы, связанные на макушке пучком, делали ее еще выше. Младшая сестра ее, фрейлен Энни, целым этажом ниже ее, теряла также и в величавости (кисло-сладкая улыбка и холодные голубые глаза). «Фальшивая!» — решили мы обе сразу — и пылко ее возненавидели. К старшей же начальнице ненависти не получалось — она была до того вся насквозь такая, какой казалась — строгая, чинная, что ни для фальши в ней, ни для ненависти к ней не было места. Даже была на дне этой чинности доля старинной немецкой ласковости, которую она сразу же и залила мой молодой возраст, отметив, что я буду в ее пансионе самой младшей, но — надеется — послушной девочкой. В сладкой же улыбке фрейлен Энни Маруся и я с первого взгляда почуяли опасность. Перед сестрой своей фрейлен Энни благоговела, и самостоятельной власти в пансионе у нее не было — это было передаточное звено: она все видела, все слышала и все доносила сестре. И была еще в пансионе экономка — фрейлен Келлер, средних лет, русая, сероглазая, с полным лицом, миловидная и приветливая. В профиль она походила на горбоносую птицу. Но это была добрая птица. Она присутствовала за столом, вместе с фрейлен Энни раздавала нам пищу. (Это была именно «пища» — скудным количеством и однообразием. И одной из пылких сторон жизни пансионерок была постоянная мечта о еде.)

Мы вставали очень рано, кажется раньше семи. Тренированный на послушание даже во сне слух пансионерок еще из далей и глубин кори-

дора узнавал тоненький, жидкий, зловещий — еще без серебра — рокоток зажатого в руке (спешащей будить нас) колокольчика. Как русалки с речного дна, подымались из белизны простыней полуспящие девичьи тени и, протирая очи, отводя спутавшиеся косы, спотыкаясь сонными ногами о складки коврика и обувь, встречали с то я фигуру в распахнутой двери, в поднятой руке которой теперь серебряно, рьяно, яростно гремел колокольчик. Сунув ноги в ночные туфли, пансионерки теснились вокруг вошедшей, принимая из ее руки каждая по крошечному билету, на котором было напечатано слово: «Auf!» (встать!). О, недаром просыпались и вставали так пансионерки! Недаром стоя встречали они колокольчик: в конце триместра те, что могли представить все, день за днем, билеты «Auf!», получали в торжественном присутствии всех начальниц, воспитательниц и учениц похвалу за борьбу с ленью и цветную картинку на память — овечку с пастушком, или девочек под зонтиком, или кошечку, или собачку.

Мы же — Маруся и я... бунтующий ли дух пробуждался в нас от этих колокольчиков, билетов и картинок, или «русский дух», враждовавший с немецким, — только почти всегда не хватало в сонме русалок у двери — нас двух!

Холодноватыми зелеными озорными глазами посматривала Маруся на пансионерок, потягиваясь, распрямляя плечи богатыренка, откидывая назад густые, полутрошенные — могла уже их плести в косы — волосы. Я же, еще ластясь к подушке и одеялу, дразнила злополучную Гретхен Трётчлер, сою и медленницу, путавшуюся испуганно ногами в длинной ночной рубашке, — «опоздала! опоздала! а я и не тороплюсь!..» — и кувыркалась в постели, пока гневный окрик худой, смуглой, с шиньоном угольной черноты м-ль Мейс не заставлял меня встать.

Мы тут никого не любили. Нам весь день было тошно. Мы ждали только того блаженного часа, когда мама брала нас к себе. Переглядываясь, без слов сообщая друг другу, что вспомнилось, мы умывались каждая в своем тазу на нашем двойном умывальнике, вытирали вокруг каждую каплю и по второму звонку (на одеванье и умыванье полагалось какое-то немислимо ничтожное количество минут) в шеренге двигались вниз, в столовую. Восемь минут, кажется, нам давалось на глотание кружки почти кипящего молока и сухой белой булочки. В восемь начинались классы. За ними обед, прогулка, чаще всего — на Шлоссберг (тот же путь раз двадцать пять в месяц).

Почему нас столько раз в месяц водили на все ту же гору, превращая прогулку в какое-то подобие пытки? Вероятно, по недостатку воображения.

...Осенние цветы так же пахли — влекуше и нежно, пласты солнца светло горели на уютных маленьких площадях. Старинные дома напоминали сказки Андерсена. Но строгий голос м-ль Мейс и быстрый шаг вперед не давали ими полюбоваться. Подъем на Шлоссберг был крут и в дождь тяжел. Мы шли, осужденные на прогулку (только проливной дождь мог от нее спасти). Лишь на миг розовея и сверкая в закатных красках, город внизу пылал шпилями и окнами собора, и уже надо было обходить верх Шлоссберга и готовиться идти вниз. Но мы, довольные, переглядывались: скоро к маме, и девочки, видя наши радостные лица, сочувствовали и завидовали нам.

На одной из прогулок с пансионом на обледенелый теперь Шлоссберг (нас водили в калошах) я поскользнулась, полетела по крутому ледяному спуску вниз лицом и так сильно расшибла нос, что меня, всюю в крови, доставили в пансион, и мне пришлось несколько дней пролежать на квартире у матери.

А мама приступила к выполнению своего плана — постепенно привыкать к более холодному климату. Она сняла себе рядом с улицей, где помещался пансион Бринк, маленькую комнатку на Мариенштрассе — мансарду с чердачным окошком высоко над рекой, протекающей через Фрайбург.

Уют маминой мансарды с окошком на зеленоватые струи реки, наши беседы о прошлом и будущем, воспоминания о Лозанне, Альпах, Лангаккерне, вечернее чаепитие, мамина игра на пианино, гитара, сумерничанье на диванчике — втроем, как подруги (каждая натягивала на себя конец клетчатой маминой шали, окутывавшей всех нас грех), — тяжело было возвращаться в пансион, откуда мы вырвались на три часа и куда должны были вернуться! Неотвратимо, как бой часов на городской башне. Один вид дверей пансионата Бринк, тяжелых и темных, — точно люк в каменном корабле. Стиснутые в тоске зубы, озноб. Уже позвонили, сейчас откроется дверь!..

Не опоздали! Стрекочет в руке фрейлен Келлер колокольчик — к ужину! Еле поспеваем вымыть руки — и парами в шеренгу, вниз по лестницам. Белый мертвенным светом горят в высоте газовые колпачки. Мы их ненавидим. В сердце — память о добрых керосиновых (как в Москве) лампах. Рассаживаемся за длинный стол. Фрейлен Энни и фрейлен Келлер — меж нас, в середине стола. Фрейлен Паулине возглавляет стол.

На тарелки с узором цветов каждой из нас положен тончайший кусочек мяса. Если это копченая ветчина — она темно-розовая и прозрачная — через нее виден рисунок тарелки. Тоший гарнир. И — самое страшное — тугие, жилистые кусочки мяса. Они должны быть проглочены — их надо разгрызть зубами и, как хочешь, протолкнуть через горло! На тарелке имеет право остаться только кость. Иногда вместо мяса нам дают картофельный салат или бобы. (За обедом — на третье, как всегда, полукисель-полупюре из кислого ревеня без сахара — отвратительнейшее кушанье.) Доедаем. Всем — мало. Куском серого хлеба старшие и Маруся стараются заполнить пустоту в желудке. Но уже собирают тарелки, сметают щеткой на поднос крошки со стола, и фрейлен Паулине начинает читать вслух «Путешествие» Свена Хедина. А я начинаю дремать... Как вчера и как завтра, Predigt (проповедь) фрейлен Паулине. Вокруг стола — пансионерки, глядящие ей в лицо. Голос начальницы: «Помните, дети, этот день никогда не вернется, — на слогах приседает голос, — но завтрашний день придет снова, чтоб мы исполнили свой долг, ценя каждую минуту наставшего дня. Помните, что вы никогда уже...» Я сплю.

Я не сказала о главной муке нашего дня, то есть только чуть коснулась ее: о «шлехте нотен». Дурных отметок было несколько, они различались по начальным буквам слов. «В» получали за погрешность в Verhalten (поведении). «О» — за нарушение порядка — Ordnung. Может быть, были еще и другие, но ядовитость этих двух затемняет их в памяти. И были они еще разные по величине: было маленькое «о» и большое «О». Кусало злой мухой «b» маленькое, осой — большое «В», оно было злое и страшно, о нем шептались испуганно самые старшие. За него вызывали в Зеленую комнату к начальнице, а за три больших «В» исключали из пансиона.

Оделяли нас «шлехте нотами» попеременно м-ль Мейс и мисс Кёсбет, и, сказав провинившейся, что она получила дурную отметку и какую именно, они записывали их в тетрадку. О них в определенные сроки письменно сообщалось родным. Хорошо, что мама принимала их всерьез лишь наполовину; это облегчало наш стыд. Мы рассказывали маме

все. Маленькое «о» получали за каплю воды возле умывального таза, за волос в головной щетке, за нетуго натянутую вокруг тюфяка простыню (ее надо было натянуть ровной, без единой сборки). Маленькое «b» появлялось мгновенно, как только играющая на пианино вздумывала откинуть голову с намерением заглянуть в окно. В этой сети дурных отметок мы жили, как под тучей комаров, но от них нельзя было отмахнуться!

Маруся и я терпели их укусы героически. И зоркий глаз фрейлен Паулине, подслушивания фрейлен Энни почтили недобрым вниманием в ученье так отличавшуюся Марусю. Маруся училась одновременно в двух классах: по некоторым предметам в четвертом, по другим — в седьмом, и подруги седьмого приняли ее как равную (а были на четыре года старше ее).

И однако, и в наших суровых днях бывали хорошие обычаи: когда чей-нибудь день рождения, к столу подавался огромный сладкий пирог с числом зажженных свечей, соответствовавшим числу лет, исполнявшихся в тот день пансионерке. И нам, Марусе и мне, в сентябре и октябре уже прополыхало десять и двенадцать свечей на двух сдобных пирогах с вареньем. Подавали в высоких стаканах яблочное вино, и все хором пели на особо веселый мотив: «Hoch soll sie leben, Hoch soll sie leben, Hoch—Hoch—Hoch!..» (Дословно: да живет она высоко, высоко — высоко — высоко — высоко...)

...Суббота! Счастливейший, упоительный день! Уже с утра живешь как в чаду: все неважно, все летит, улетает — все погаснет о час, когда ты, ты, ты, Маруся или Ася, — каждый в свою очередь — уйдешь с мамой не до ночи, а на вечер, на ночь и на весь завтрашний, сияющий день воскресенья! Ну, конечно, немного жаль — ее, ту, которая останется на ночь и утро в пансионе, но ведь она была с мамой в ту субботу, она тогда ликовала, и она могла жалеть тебя (а может быть, и не жалела?). В сущности, и жалеть ее, может быть, вовсе не надо? Она ведь и в будущую субботу пойдет к маме и останется тут на диванчике. И в прошлую и в будущую, два раза! А твой — только сегодняшний день.

Марусин торжествующий взгляд холодновато останавливался на мне — и в тот же миг куда-то рушилось все торжество счастья, — несчастно, как черный тарусский пес Челкаш, глядело лицо уходившей... Но уже обнимала мама несчастную, и рассказ о будущей жизни вместе, все всегда вместе, лился на наши три головы. Жарче пылает синий огонь спиртовки, темным золотом горят стаканы с московским чаем, папой присланным, и, чтобы напомнить Лозанну, сдобные хлебцы с изюмом, и по большому марципановому прянику. Еще есть время, не плачь же, впереди еще целый час, больше часа, почти два часа еще! Еще будем читать вслух. Ну что же будем читать? Рассказы Телешова и Чирикова в издании «Донской речи»? Или Марусин «Родник», написанный ей папой (Асе — «Детское чтение», чтоб не забывала русский язык...). А может, легенды Шварцвальда? А может, перечтем Лихтенштейна? И уже блестят глаза, слезы высохли — впереди еще полтора часа!..

По лесенке — шаги. Это хозяйка несет маме письмо. Знакомые — как славянская вязь — буквы, все — отдельно... От папы!

В письме — о ликованье! — фотография нашего Васьки. Черная его шерсть взъерошена, блестит неровно, глаза испуганны, горят диким блеском. Он лежит, как сфинкс, только голову — вбок, к нам. Папа пишет о том, как он vez его на извозчике, в картонке, снимать к Фишеру, и как на Кузнецком мосту Вася вырвался, и папа (милый, старый близо-

рукий папа!) соскочил за ним с извозчика и успел схватить кота, метнувшегося между колясок... И Фишер, как ни глядел его, как ни старался, не смог придрать ему уютный кошачий вид.

И пока мама, с улыбкой махнув мне рукой, читает письмо (а Маруся уже провалилась в книгу), я на диванчике, крепко прижавшись к маме, отгоняя призрак пансиона и предвкушая теплоту свежих московских вестей, погружаю зубы в витую сдобную булку.

Еще на час продвинулась стрелка, уже нет времени: по оба бока от мамы, в маленькой немецкой мансарде — как в высоком московском папином кабинете — мы идем незримо за волшебным маминым голосом, читающим о далеких временах Швейцарии, о кантоне Ури, о тиране Гесслере, о народном герое Вильгельме Телле, борющемся за свою страну. Нас нет — есть только мамин голос, есть только они — там, у Швейцарских гор! И когда настает час мне идти — я на мамин зов одеваюсь почти машинально. Я еще не поняла: пансион! Я — в Ури...

И вот прошел ужин в пансионе, и беседа с нами фрейлен Паулине, и чтение о Свэне Хедине, под которое я, как всегда, в каких-то льдинах Северо-Ледовитого океана засыпаю и — просыпаюсь, с кем-то под руку шагая по лестнице в дортуар... Прошла ночь — рядом с пустой кроватью Маруси, прошли вставанье под колокольчик и горячее молоко (спешно его глотать, страх ошпариться) — и уже заповедный звонок: за мной мама с Марусей!

Утро. Улицы. Воля! Широкие пласты солнца по старым каменным плитам, крутокрышие домики, площадь — колодцем меж домов. Порталы собора. Втроем входим на горбатый мост над маленькой зеленоватой рекой. По бокам — фигуры каменных рыцарей.

«В Венеции, дети, есть мост — крутой, полукруглый — Понте Веккио. Когда-нибудь будете там — может быть, уж без меня... Вчера у меня опять что-то поднялась температура...»

«Ну, что ты, мама, — в один голос мы, — про й д е т!»

Беда приходит — как счастье — вдруг. Ехав в карете со спектакля в театре всемирно известного актера Эрнста Поссарта, где пела в его хоре, мама простудилась и слегла. Врач определил плеврит. Жар не спадал. Папе была послана телеграмма. Он ответил, что выезжает, и вот в маминой комнатке, где было столько радости, куда мы теперь входили только ненадолго, с папой, — смена врачей, консилиум, папино озабоченное лицо. Он кажется постаревшим, блестит седина. Звучат зловещие слова: «рецидив», «активный процесс». Папа шлет телеграммы в Москву, в музеи и университет, что задерживается. Идут разговоры о помещении мамы в санаторию. Как будем мы без нее, после счастья близости с ней, в хмуром пансионе, где после рождества снова суровые будни, где мы теперь со всеми готовим уроки в ненавистном «номеро ахтцейн»... Папа уедет, мама уедет, а мы... дальше уже шли слезы — о нас, о маминой болезни, о папе, который приехал на такое горе и снова уедет один в далекую Москву, о том, что маму будут ждать в хоре Эрнста Поссарта, а она не придет, — обо всем, от чего ком в горле и чему невозможно помочь...

В одну из ночей маминой болезни, когда папа не отходил от нее, мечась от градусника к лекарству, в дверь постучали, и стук был настойчив и громок. Внизу поднялся переполох. Все проснулись, захлопали двери, послышались голоса, сквозь окна на улицу упали столбики света от зажженной керосиновой лампы, и как раз когда папа, следя за маминым беспокойным сном, больше всего хотел, чтобы шум внизу стих ско-

рее, заскрипели ступеньки лестницы. Шаги стали все ближе, ближе, затем постучали в дверь — в руки папы передали телеграмму.

Сообщение из Москвы было кратко: «Музей горит».

Когда я хочу представить себе эту минуту в папиной жизни, я, как над бездонным колодезем, закрываю глаза. Не хочу ее даже в представлении повторять, даже в себе. Ни описывать. Достаточно, что она была — ночью, зимой начала 1905 года, что такая телеграмма была передана в руки папы, основавшего и собиравшего музей столько лет! У меня, может быть, и нет права замирать над той минутой. Он один — создатель музея — имел силу перенести ту ночь. И мы не знаем о ней ничего.

Кто в безумье смятения, увидав пламя над музеем, послал такую телеграмму через пространства, ехать которыми надо было не менее трех дней? Проснулась ли мама, и вместе ли они обсуждали рухнувшее на них горе? Или папа один с неслышанной вестью стоял над постелью мамы, метавшейся в жару? Сколько часов прошло до рассвета, когда подали — в ответ ли на папину или вслед первой телеграмме — вторую, где растерявшийся смотритель музея сообщал, что пожар удалось потушить?

Мы узнали обо всем, когда ужас случившегося был уже позади. И много прошло времени, пока выяснилось, что разочтанный за пьянство рабочий поджег ящики пришедшей из-за границы коллекции гипсовых слепков, уложенных в стружки, — и они запылали, зажигая подвальное помещение. Так погиб дар Маринино и моего деда, маминого отца Александра Даниловича Мейна, почитателя музея. Во сколько оценили ущерб, нанесенный пожаром, я сейчас не помню, как не знаю и сколько часов горел музей.

Лечить маму в ее мансарде было невозможно. Болезнь затягивалась, не сдавалась. Врачи советовали перевезти ее в санаторию — недалеко от Фрайбурга. Мама ехала туда, почти не веря в выздоровление. «Моя песня спета», — горько говорила она. «Полно, Маня, полно, голубка, в тебе столько еще сил, ты поправишься там, вот увидишь, — убеждал папа. — До лета недолго, а летом мы с детьми приедем к тебе и будем вместе гулять».

Мама, которую пожирал жар, печально кивала. Она понимала тяжесть случившегося. Ей не хотелось нас огорчать.

Я не помню ни прощанья с мамой, ни папиного отъезда в Россию. Почему так? Какой-то туман на тех днях. Из него шли к нам в пансион частые мамины открытки с видами Чернолесья, с описанием санаторного дня, со скупыми сообщениями, что жар все держится, с нежными распросами о нашей изменившейся жизни...

У нас строгость пансиона вызывала все растущее ожесточение. Марина замыкалась, в ее глазах затаивались протест и насмешка. В иные дни она от меня отдалялась. Я же, мягче ее и слабее характером, рушилась в тоску неутешную. Но куда с ней уйти?

Воскресенья были томительны особым томлением: после церкви, должно быть, ввиду трудности лезть на Шлоссберг (а Лореттоберг, откуда был далекий вид на долины, был еще дальше), нас стали выпускать в сад. Пансионский сад был большой, окружен железной решеткой, в нем были старые деревья, дорожки, а в конце его, за проволочной изгородью, протекал ручей, широкий. Он тек обратно течению Оки, слева направо, и в этом была добавочная тоска: вода и та текла не так, как было с детства мило сердцу. Девочки говорили, что весной и летом тут видны форели — мелькают в струях. К воде не было доступа — проволочная изгородь.

В то время, как мы разбирали папину посылку (в ней был огромный филипповский черный хлеб, коробки мармелада, карамелей, пастилы, клюквы в сахаре) и угощали подруг, фрейлен Энни обнаружила у Маруси принесенную с урока рукоделия связанную ею крючком, тайно, фигурку с хвостиком и рожками, в вязаном же плагище. Это вызвало не только гнев и отвращение старших, но и смущение среди пансионеров. Младшие, не вникая, просто испугались озорной, небывалой шалости. Старшие почуяли в этом поступке нечто глубже, опасней.

История была доложена фрейлен Паулине. Марусю вызвали в Зеленую комнату. Какой был там разговор, я не знаю. Маруся прошла мимо нас с высоко поднятой головой, с пылающим лицом. В Зеленую комнату вызвали кое-кого из старших воспитанниц. Дерзость Маруси, ее непокаянное поведение связали с ее авторитетом среди старших, усмотрели ее вредное влияние на подруг.

К этому времени относится и другая история. Маруся и я выдумали каждая свой шрифт для писания дневника, который бы не могли прочесть взрослые (каждая буква изображалась рисунком какой-либо вещи). Я поделилась моим секретом с одной из подруг в классе, моя иероглифическая записка к ней была перехвачена, и надо мною грянула гроза: допрашивали, стыдили, пугали, вызывали в Зеленую комнату.

«Эти русские принесли к нам революционный дух!» — пронеслось по пансиону. Делу дали ход...

А девочки с жадностью пожирали ломти черного русского хлеба, сравнивая его с немецким пряничным. В Москву же к папе шло письмо от начальницы пансиона о том, чтобы нас изъяли раньше летнего срока. Это звучало исключением. Время до ответа шло томительно. Мудрый ответ папы, просившего ввиду болезни матери оставить нас в пансионе до лета, ввиду его невозможности приехать, решил дело миром. Маму пожалели, папе оказали уважение, нас оставили.

Как мы ждали дня отпуска 25 июля! Думали — не доживем... Мир за решетками пансиона Бринк казался невероятно прекрасным! Даже мысль о маминой болезни не омрачала его по-настоящему: к маминой болезни мы привыкли за эти годы. Почему Крым (мы уже мечтали о нем — снова море) не вернет маме силы?

Отъезд стоит за решетками сада пансиона Бринк, где плывут в ручье голубые форели, все уплывает, все уже снова делается сном. Неужели права фрейлен Паулине, прижимающая мою голову к своей груди: «Этот день никогда не вернется...»?

Крым 1905 года

Помню смутно видение светлых широких улиц Мюнхена, темно-серых торжественных зданий, музеев. Помню стагию Баварии — гигантскую фигуру женщины — камень? металл? — в кудрях которой, когда поднимаешься по нескончаемой лестнице, окошки, откуда вид на окрестности. В Мюнхене, кажется, мы стоим перед орудиями пыток, среди которых «Железная дева» — металлическая, на два бока раскрывающаяся фигура, внутренность коей утыкана гигантскими гвоздями, вонзающимися в тело запираемого в нее человека, два гвоздя напротив его глаз.

Мы едем как-то иначе, чем ехали из Москвы. Граница Австрии и России — Волочиск. От близости первого шага в Россию у мамы и у нас замерло сердце. Три года вдали от родины!

Замерло и не отпускает. Будто и не было этих трех лет. Сжатые необходимостью жить там, где велела мамина болезнь, будто мы только того и ждали, чтобы возвращаться назад! Это ожидание вернуться томи-

ло нас только воспоминаниями. Теперь оно рвется из нас, как пламя костра, в который бросили сухих веток. Любовь к своему — то, что иссушает вдали человека, что зовется тоска по родине...

Волочиск. Это два городка, слитых именем, разделенных границей. Австрия: чистота нарядных улочек, домиков, блеск витрин, сытые кони, коляски. Россия: пыльные колеи, булыжники, домишки, тощие лошаденки, старые, как мир, извозчичьи пролетки. Первая плакучая березка, первый звук русской речи... И вот мы у входа в русскую гостиницу. Бегут, снимают вещи, и мы спрыгиваем на русскую землю!

Папа помогает маме. Под руку с ним, окруженная нами, она входит в свежеекрашенные двери. Хозяин рассыпается в любезностях, прислуживающие уже тащат багаж в «самые лучшие комнаты», и папа спрашивает озабоченно: «А не разболится ли у тебя голова от этой масляной краски? Сейчас велим открыть окна...»

А мы нюхаем! Воздух! Эту самую краску, от которой пахнет весной московской, андреевским флигелем, детством!

Вечер в гостинице с распахнутыми окнами, с самоваром, не виденным три года, начищенным под жар-птицу, с дорожными и гостиничными яствами, с отдыхом, разговорами — что за вечер! Плакучая береза за окном и та радовалась, пыль за окном и то была родная пыль... Это было состояние блаженства. Мы слушаем русские голоса, гром колес по камням, где-то гармоника... И никак не хотим спать!

И вот Крым. Севастополь! Графская пристань: белый мрамор колонн, на солнце сверкающая у берега пена волн, голубых, медленных и ленивых — на море штиль...

Уезжать из Севастополя, не увидав «Севастопольскую панораму»? Мама перемоглась, но поехала с нами. Уже мы знали о героях обороны, о генералах Нахимове, Корнилове, о Малаховом кургане. Маруся **помяла** наизусть знаменитые строки (кажется, Растопчиной?), и я **повторяла их вслед за нею**:

Двенадцать раз луна всходила
И заходила в небесах,
А все осада продолжалась,
И поле смерти расширялось
В залитых кровию стенах...

И вот мы далеко, высоко над городом, и, затмевая туман дали и моря, отделяет нас от них круглая, как маленький горизонт, картина Севастопольской обороны. Медленно поворачиваемся мы, охватывая глазами нескончаемое полотно, лица всех борющихся, падающих и павших, которые, презрев смерть, все еще живут здесь.

Ялта. Дарсановская гора. Вверх, вниз, меж стен садов, идет, изгибаясь, дорога, мимо аптеки, женской гимназии, мимо дворца эмира Бухарского, пока не упирается в дачу Елпатьевского: белая, двухэтажная, с верхним балконом в полдома длиной, свободная от тени и зелени, открытая ветру и взгляду на море, которое внизу далеко за домами города — сизо-синей чертой. Иногда, посланные мамой купить что-нибудь, мы, пробежав длинный путь с Дарсановской горки в город, на набережную, вылетали к морю, в его стихию, пену и блеск волн — оглушительных, грозных. И стояли, зажав покупки, чтоб не унес их соленый, сверкающий грохот, вдруг, на миг, в бреши наших занятых дней дыша и как надышаться? — морем! Детством!

За дачей — округлость горы, пустой и свободной, обитаемой только собаками, которых там стая, диких, голодных; с ними начата жаркая дружба.

Нашу новую учительницу зовут Варвара Алексеевна Бахтурова. Она горбата, у нее милый голос, глубокая улыбка, светлые глаза, русые волосы. Ввиду маминой болезни она предложила заниматься не у нас, а у себя на дому. Мама согласилась — Варвара Алексеевна ей пришлось по душе: в ней сочеталась искренность с тонкостью, непосредственность с умом. В такие руки не страшно было отдать нас. Мы же с первого урока привязались к новой учительнице. Она сразу стала нам родным человеком, и учение с ней — праздником. Шли мы на урок бегом, врвались в тихий сад дачи Карбоньер, как домой, приветливо встречаемые ее чинной хозяйкой, старушкой в наколке, знавшей нас до тех пор по нашей непомерной любви к лупоглазому толстяку Тобке, уже сопевшему нам навстречу и поднимавшему короткие серые лапы, чтоб поздороваться. А из светлой низкого первого этажа комнаты Варвары Алексеевны она уже весело нас приветствовала — горбатая, ласковая, прелестная!

День был набит до отказа: уроки с Варварой Алексеевной, урок музыки, бег в аптеку для мамы, обед, снова уроки, чай, снова уроки — до ужина, и еще чтение, и еще кому-то письмо. И среди этой занятости — встреча с Дарсановской горкой, с ветром, и небом звездным, и синей морской чертой — все это было тоже делом — как задачи, как грамматика, как богослужение, как уют короткого вечера с мамой.

За окнами столовой, за покинутой нами террасой бушует норд-ост. Большая керосиновая лампа уютно освещает комнату. Ужин позади, нам надо идти кончать уроки, но мама еще не встает, и мы тоже медлим, слушая обычный ныне спор. Уже второй год спорят о японской войне. О роли России, о политических партиях (1905 год!), подвигающих своих приверженцев на неустанное выяснение мнений, убеждений, революционных платформ. Чем бы ни начался разговор, он непременно переходит в спор об убеждениях. Один из соседей наших более «левый», другой — чуть «правее». Спор нескончаем.

Иногда и мама вступает в беседу. Ее отточенная речь, не женский ум дают ей первое место среди спорящих. Но то, что в ней одному соседу нашему Зиновию Грациановичу, может быть, кажется слишком «левым», встречает в Прокофии Васильевне, другом соседе, мягкое осуждение как слишком «правые» убеждения.

Над нами жили какие-то люди. Фамилия их была Никоновы. Мы не знали их, но все там было заманчиво. Там был юноша — революционер Андрей и мать его (ходил слух) — тоже революционерка. Говорили, что у них бывают собрания... Марина рвалась к ним, а я это знала и не выдавала ее. Но путей туда не было. Во дворе я играла с Марусей Никоновой, сестрой Андрея, сероглазой, стриженной, упрямой, очень нравящейся мне девочкой моих лет. Взбегая — в игре — по наружной лестнице, ведущей к ним, я видела маленькую старушку, бабушку Маруси, к ним же идти не рещалась.

В играх Марина не участвовала. Говорит с кем-то, смотрит на лестницу Никоновых, по ней кто-то идет. Везде разговор о стачке печатников. «Как будем жить без газет? Отрезаны от событий...» Но в начале октября грянула еще более страшная весть — забастовка рабочих Казанской железной дороги. Трудно передать общий испуг: необычайно! И тут уже совсем страшные известия: в се железные дороги бастуют! Одна, царская, Николаевская, еще действует... Наконец гром в небе: в се о б щ а я железнодорожная забастовка!

Хозяйка бегаёт растерянная. «Как же теперь моя Манюся со своим Федюсем приедут? Вот что наделали ваши лохмачи», — кричит она, обращаясь к Прокофию Васильевичу. А тот радуется, сияет: «Мы накануне великих событий! О них мечтали Пушкин, Некрасов». Но в его радость: «Слыхали?» — входит Зиновий Грацианович. Его застенчивое лицо возбуждено, глаза блестят, голос перехвачен испугом: «Читали? Генерал-губернатор Трепов сказал: «Холостых залпов не давать, патронов не жалеть». Что будет?» — «Ну, будет теперь везде — этого не миновать!» — отвечает Прокофий Васильевич, шагая медведем по комнате, одной рукой ероша волосы, другой дирижируя в воздухе. «Ничего этим не остановишь! Вот увидите, испугается царь-батюшка!» — «И даст конституцию?» — «Так вы же сами говорили, что не она нужна, а...» — «Манюся, моя Манюся...» — причитает хозяйка.

Мы выбежали во двор. Издалека, еле слышно, — в Заречье? — пели «Вы жертвою пали в борьбе роковой...». Ветер нес слова, они крепки. «Манифестация? — сказал кто-то, пробегая. — Утром кричали: «Долой самодержавие!»

И вот 17 октября экстренный выпуск известил всех, что царь выпустил манифест — дал конституцию. Многие радовались. По улицам шли толпы. Несли портреты царя. «Это только оттяжка», — говорил кто-то. «Обманул! — твердил Прокофий Васильевич. — С л о в о м думает утешить, испугался, я же говорил! Цари — народ хитрый...»

А ветер рвет последние листки с молодых деревьев, лучи солнца все холодней. «В этом прославленном Крыму зима не находка!» — ворчит Прокофий Васильевич. У него снова повысилась температура. Зиновий Грацианович приуныл. Только хозяйка Елизавета Федоровна вносит своим появлением веселый уют, говоря о болезнях и их излечении таким уверенным тоном, что каждый готов верить, что еще один такой индюк, так зажаренный, — и не будет от чахотки следа! Или начнет мимо чахоток рассказывать. «Моя дочка Манюся т а к а я хорошенькая!... — говорит она в упоении, то закатывая, то щуря карие свои глаза, и неожиданно для всех: — Усе кривляется!..» Мама смеется, как мы, но она почти не выходит из комнат.

Над нашим уютом, над размеренным ходом дней прокатился раскат грома: всю ночь над потолком, по полу Никоновых, стук шагов, возня, глухие упорные звуки: обыск! Недаром Маруся вчера прибежала особенная с их лестницы. Там было собрание, «нелегальное». Мама, не добившись от нее толку о том, где она пропадала, всю ночь не могла уснуть. «Кого-то увели...» — идет утром по дому шепот. «Скрывался!» — «Нашли...»

На губах у всех имя Думбадзе. Он над Ялтой — как маленький царь. Пробегая в аптеку, Маруся и я (мама снова разбила термометр) не раз слышали его имя в отрывках разговора на улице, приглушенное, называемое с оглядкой.

А из Москвы — тревожные вести: на улицах беспорядки. Манифестации, слухи о готовящемся вооруженном восстании, требования отмены смертной казни, студенческие сходки и опять, как в детстве, слова «нагайка», «казаки»... Газеты, письма — все прочитывается мгновенно, со страхом и трепетом, но «газеты замалчивают». «Вчера задержали письмо». Волна арестов катится по Ялте, на соседней даче был обыск. Мама запретила Марусе ходить к верхним. Нина Васильевна Никонова — высокая, дородная, молодая еще женщина, хоть у нее восемнадцатилетний сын, вчера говорила с Марусей и со мной так ласково... Странно подумать, что ее вдруг «схватят, посадят в тюрьму». Орел опасности делает еще милее ее широкое лицо, ясные глаза, большой лоб. От про-

стого серого платья с высоким воротом она еще мужественнее. Собирается дождь. Я с ее дочкой, сероглазой, похожей на мальчика Марусей, забегала в их комнаты. Узкие кровати, чисто; мало вещей. «Как странно иметь бабушку!» — думаю я, впивая чужой уют. Красавец Андрей прошел мимо нас — худой, темные кудри. Над ним — тот же ореол, что над матерью.

В Москве вооруженное восстание! Газеты приходят неаккуратно, в страхе за близких жильцы нескольких комнат Елизаветы Федоровны, соединенные встречами за столом, мечутся в такой тревоге, точно у всех нас — сорок градусов температура. В Москве — папа, Лёра, Андриюша. У хозяйки — Манюся и Федюся. И у всех — друзья, родственники...

Давно ли по улицам Ялты шли демонстрации, приветствовавшие манифест 17 октября, в котором царь давал народу конституцию? Неужели она оказалась неправдой? Спор за нашим столом не смолкает. Мама, поверившая было манифесту, с волнением читает последний выпуск экстренной телеграммы.

От папы пришло только одно письмо и снова нет!

В эти дни тревог все с полуулыбкой открывают у меня «дар предсказания». «Сегодня газеты не будет», — говорю я, и газеты нет. «Сегодня не будет, а завтра», — и завтра газета приходит. «Вот не будет, не будет», — твержу следующие дни. И газеты нет. Мама и другие слушают уже со вниманием: я не ошибаюсь. «Двадцать шестого (помнится, так), — говорю я, что-то сжав в себе, что-то слушая, — будет экстренная телеграмма». В назначенный день все, улыбаясь мне, ждут. Настает вечер. «Э...» — дразнит меня Прокофий Васильевич. «Не надо, — говорит кто-то, — она и сама уж...» Но я держусь. «Будет!» — говорю я упрямо. Уже темнеет. Мама, усталая от тревоги, собирается лечь. Вдруг сквозь ветер, сквозь все звуки дома слух улавливает далекое, будто комар, растущее... Крик! Мы выбегаем кто в чем наружу. «Вечерний выпуск! Экстренная телеграмма...»

Зиновий Грацианович, Маруся и я, еще кто-то сзади несемся с горы.

В этом ли выпуске, или в следующей газете, до или после — не помню — мама, нагнувшись над планом баррикад, напечатанным в московской газете, отмечает по памяти необозначенные переулки и улицы Бронных. «Наш дом с двух сторон в опасности, дети! Я только тем успокоилась, что надеюсь, что папа с Андриюшей и Лёрой переберутся к кому-нибудь, может быть, ближе к музею...» Сколько убигих! А раненых...

Какие тревожные дни! Одним ясно, что всякое восстание будет подавлено войсками, что кровь революционеров льется напрасно. Другие твердят, что это начало конца монархии.

А кумиры Маруси множились: Мария Спиридонова, пострадавшая от насилий казачьего офицера и присных, лейтенант Шмидт! О, как звучали их имена в тот год, как пылали сердца о черноморском крейсере «Потемкин», как гулко неслась весть о гибели людей, шедших на смерть. В хаосе споров о том, не за призрак ли бьются люди, не зря ли кладут свои головы, возможен ли и к чему приведет переворот в такой отсталой стране, как Россия, над тьмой смертного приговора светлели в душу Маруси глаза героя — обреченного лейтенанта Шмидта.

Наша дружба с Варварой Алексеевной крепла и крепла. Может быть, мама и ревновала немного, но не показывала вида. Для нас же уроки с нашей любимицей были счастьем. С книгами и тетрадями мы летели к ней через дорогу, радуясь каждой встрече. Маленькая, легкая, с кокетливой накидкой или платком на плечах, скрывавшим немного ее горб, она шла нам навстречу, протягивая обним свои длинные и прохлад-

ные руки с тонкими пальцами, улыбаясь своей особенной улыбкой, в которой светилась игра и лукавство, — так ли уж велика, как мы показываем, наша любовь к ней? И этот поддразнивающий холодок делает нашу к ней любовь еще жарче. Мы не можем ее доказать! Что она думает, что ее, горбатую, нельзя так любить? Так мы же добавочно, кроме любви к ней, именно этот ее горб любим, горе всей ее жизни — быть иною, чем все, с первых лет детства. Мы ненавидим тех грубых, идиотских детей, которые, может быть, ее дразнили (ведь есть же такие выродки!)... Как бы мы колотили их!.. Кулаки сжимались, и мы кидались целовать ее.

Шумные трапезы в столовых, соединявших здоровых и больных, сдруживших десяток разных, чужих людей, были контрастом с тревогой дня, с письмами из Москвы, с известиями газет, с приходами доктора Ножникова, все более приглядывавшегося к маме. Картина болезни была неясна, необычна. Седенький старичок, столько лет лечивший «пол-Ялты», недоумевал. Ножникову удавалось успешно лечить случаи много тяжелей, а тут... ведь ни малейшей каверны, а температура не падает, самочувствие не улучшается. Мама часто теперь лежала. Всю середину и конец дня мы с уроками проводили за большим столом в ее комнате — он стоял посредине, но к себе близко мама нас не подпускала, не целовала — берегла. После ужина она по-прежнему иногда читала нам «вслух рассказы из сборников «Знание» — Андреева, Горького, Чирикова, Тедешова.

Я не помню отъезда Никоновых. Без Маруси Никоновой мне двор опустел — без нее, похожей на мальчишку, сероглазой, озорной и ласковой, счастливой своим уютным жильем в деловой и дружной семье... Теперь мы только вдвоем выходили перед сном в темный холодный двор с пропавшей над ним горой, под зимнее звездное небо, к нашим собакам.

Наверху, на месте Никоновых, поселились другие, и эти другие были Пешковы, жена и дети писателя Максима Горького. Мы еще их не знали, но видели, и Маруся уже, кажется, заболела очарованием этой молодой женщины, невысокой, стройной, с нежным смуглым лицом. Тонкие черты, мягкие, светлые под тьмой ресниц, прямо глядящие глаза. Она революционерка, как и Нина Васильевна Никонова. Снова наверх по наружной крутой лестнице идут вечером неизвестные люди, снова Маруся рвется туда — там собрание. Только что начала она себе завоевывать место среди приходивших к Никоновым, с ней говорили, как с равной, интересовались ее стихами (теперь она их прятала от мамы), и вот внезапный их отъезд прервал ее тайные хождения наверх. Не зная Екатерину Павловну, не пойдешь...

А в Ялте продолжались аресты, обыски. Думбадзе и его помощники после московского восстания работали с еще большим рвением. Называли имена новых, присланных из Москвы для водворения порядка, и за нашим столом продолжались споры. Неуловимая чуждость начинала реять между мамой и Марусей. Слушая мамины утверждения, что наилучшей платформой является платформа конституционалистов-демократов, Маруся только крепче сжимала недобрые сейчас губы, и в углах их затаивалась тень насмешки. Там, наверху, не о том говорили! По России шла волна покушений, экспроприаций — эти слова шелестели не только в газетах. А я, не входя во все это — мои одиннадцать лет были еще детством, — играла во дворе с сыном Екатерины Павловны, восьми-летним Максом, озорным и прелестным. Какие-то сияющие глаза, как у матери, смелостью преодолевающие природную застенчивость взгляда, подвижность, шаловливость — все мне в нем нравилось. Будь он старше — это была бы настоящая дружба. О сестре Макса, чудной девочке лет пяти, Катюше, говорили, что она похожа и на мать и на отца. По

Ялте ходил рассказ — может быть, выдумка, — что когда приезжал туда Максим Горький, остановился у жены, с которой уже разошелся из-за актрисы Андреевой (мы с Марусей ненавидели эту актрису), будто бы Горький и Екатерина Павловна сидели на балконе, и бинокли всей Ялты были направлены на балкон той дачи. Заметив это, Горький будто бы встал, раскланялся и задернул занавеску.

Катя была другая, чем Макс: сосредоточенней, серьезней, она уговаривала брата, когда тот кидался камнями (очень метко кидал) или хвастался. Она неизменно, как старшая — а была на три года моложе, — усовещивала его. Она была очень правдива, не капризничала, как дети ее лет, и мы, старшие дети, ее не только любили — уважали. Макс тоже не обижал ее. К нам во двор приходили сестры Боровко — Нина, моих лет, рыжекудрая, худенькая, бледная; помню и кудрявую русую головку ее сестры Наташи. Они жили на своей даче, под горкой, близко, были скромно одеты, что нам нравилось. В те времена дети культурных семей насмешливо встречали детей купчески-мещанского типа — разодетых, нарядных. Мы считали, что это стыдно, смешно, не любили праздничных платьев — их еще надо было беречь, о них помнить...

Это было в марте. В конце? Не помню. Ночью мы проснулись от голоса мамы, звавшего нас. Мы бросились в ее комнату (дверь к ней всегда была открыта). В свете свечи, видимо мамой зажженной, мы увидели ее изменившееся, ужаснувшееся лицо.

«Кровохарканье», — глухим, слабым, не маминым голосом выговорила мама. В руке ее была чашка, наполовину полная темным. И в то время как глаза ее, на нас глядевшие, говорили: «Конец...» — голос сказал: «Дети, разбудите хозяйку... к Ножникову! И — лед...»

Кто-то из нас бросился к Елизавете Федоровне, кто-то остался с мамой.

Я больше ничего не помню об этой ночи. В наши комнаты вошла, в них поселилась болезнь — не та, что в них жила до того. До сих пор маму доктора, даже Ножников, ее состоянием недовольный, отличали от других больных. С этой ночи мама вышла на дорогу, по которой шли все. Началась весна, опасная для чахоточных. В первый раз за все четыре года лечения мама встретила ее как тяжелобольная. Сколько пролежала она с холодом на голове, глотая кусочки льда? Мне кажется — долго. Она гнала нас, мы старались возле нее задержаться.

Порой мама подолгу молча, с тяжелой печалью глядела на нас, заминавшихся за столом. Не раз повторяла: «Вырастете, и я вас не увижу... Какие-то вы будете?» В другой раз с улыбкой, горькой: «И подумать, что ж а ж д ы й прохожий сможет вас увидеть, а я не увижу». Мы, конечно, кидались к ней, споря, переубеждая, напоминая отъезд из Москвы и выздоровление в Нерви, но она останавливала нас жестом: «Тогда было другое...» И она более не говорила нам, что устроит нам в бывшей детской две комнатки, не называла слово «Москва». Карие, жалостливые, добрые, не гневные уже глаза ее казались особенно велики и ярки; на щеках — характерный для чахотки румянец. Пряди волнистых темных волос над высоким лбом. Горькие складки у рта.

После уроков с Варварой Алексеевной на столе цвели учебники географии, карты стран, островов, морей, там мы могли увидеть точкой на «сапожке» Италии нашу Геную с Гарибальди и Кампосанто, там голубело озеро Леман с нашим Уши, там зеленел и золотел долинами и лесами наш покинутый Шварцвальд! Там, сжатыми в четырех и шести строчках условиями задач, открывались их недомыслимые глубины, от которых с ироническим высокомерием отворачивалась, преодолев их,

Маруся, и в которых с наслаждением, как в загадочных картинках, купалась я — как в тех бассейнах, из которых и в которые выливались — вливались «одновременно» трубы, — откуда я тащила, как хвост ребуса, и тех самых купцов с их аршинами бархата и сукна, и все тайны именованных чисел и головокружительных измышлений и сочетаний, которыми, как огнем вулкан, дышал учебник арифметики Евтушевского с задачами по двенадцать — пятнадцать — двадцать действий и больше! Там Маруся раскусывала орехи дробей — и кидалась в тьму русской истории: в имена князей и царей, хронологию войн и воцарений, во мрак Чингисханов, Батыев... (И не там ли она забыла учебниковы тайны стихосложения, на этом ученическом столе своих тринадцати лет, чтобы в тридцать, уж давно став первоклассным из первоклассных поэтов, иметь право недоуменно сказать: «Хорей? Дактиль? Анапест? И еще какие-то? Ей-богу, не знаю... Писала, как слышу...»)

Дожила ли до Марусиного литературного имени Варвара Алексеевна Бахтурова, так нежно любившая свою ученицу, так любимая ею?

А весна наступила. Менялись краски моря и неба, зацветали веточки в садах, у подножья Дарсановской горки пахло землей, ветер нес запахи, и мы после занятий из комнаты, пахнувшей лекарствами, выбегали с желтым Бобкой и серым Томкой, с белой красавицей Лайкой и нюхали воздух, узнавая весну и мгновенно одуревая от мчавшихся облаков, ветра, смеси холода и тепла, детских голосов, мячей, прыгалок, арсенала весенних дворов... И наверх — на Дарсановскую горку! Округлую, пустынную, где еще больше ветра и тишины и откуда видна вся Ялта с далеким краем Заречья. Берег моря в Заречье звался Чукурляр. В этом странном слове — глухие звуки прибоя, осеннего, свинцового, холодный ветер, крупные серые круглые камни и мы.

По морю шли пароходы, напоминая о «Потемкине», о лейтенанте Шмидте... Кротко мерцали первые звезды. Со вздохом мы возвращались назад.

В эти дни к маме дошли — дала ли Маруся их по своему желанию, или по настоянию мамы, о них услышавшей, — стихи Маруси.

Вот что я из них помню:

Не смейтесь вы над юным поколеньем!
 Вы не поймете никогда,
 Как можно жить одним стремленьем,
 Лишь жаждой воли и добра...
 Вы не поймете, как пылает
 Отвагой брацной грудь бойца,
 Как свято отрок умирает,
 Девизу верный до конца!

• • • • •

Так не зовите их домой
 И не мешайте их стремленьям, —
 Ведь каждый из бойцов — герой!
 Гордитесь юным поколеньем!..

Новые друзья появились у Маруси: в нижнем этаже поселились муж и жена Фосс с маленькой дочкой. Он был высок, худ. Она — миниатюрна, пышноволося, русая. Лучащиеся голубые глаза, сама женственность. Маруся стала ходить к ним, читать им свои стихи. Фоссы были революционеры. Маруся ходила меж нас, детей, как ходит раненый зверь —

озираясь, таясь. События зимы — Гапон и расстрел рабочих, мирно шедших к царю с петицией, судьба Марии Спиридоновой, казнь Шмидта — вошли в нее ранами. Закусив губы, со свойственной ей в случаях увлечения или страдания, мало сказать, замкнутостью, она сторонилась нас. Брезгливо и гневно подозревала всех (особенно близких — маму, меня и доброго Прокофия Васильевича, самого революционного в нашей квартире) — в желании подсмотреть и подслушать ее мучения о героях, кумирах, заглянуть в ее страсть к революции, к будущему.

Лёра была теперь нужна ей — вот кто! Лёра, ее главная вечная защитница с детства, Лёра, котэрая ее так любила и отличала, так ценила ее стихи и встала бы за нее горой! Она не побоялась бы и маме сказать, что Маруся — уже не ребенок, что ей нельзя запрещать думать о том, что кругом. Но Лёры, именно Лёры не было с нею! И Марусе надо было зализывать и эту рану. Никогда она еще не была так неровна и резка, как в ту зиму.

А вокруг только и слышно, что «забастовка», «расстрелы», «каторга», «долой царя», «долой самодержавие», «провокаатор», «шпик», «охранка», «казнь» и «долой казнь», и, перекрывая маминых Шопена, Шумана, Бетховена, с детства знакомый хор из «Жизни за царя», несутся звуки «Варшавянки», «Марсельезы» с впевшимися в нес русскими:

Отречемся от старого ми-и-ра,
Отряхнем его прах с наших ног,
Нам не надо златого кум-и-и-ра,
Ненавистен нам царский чертог...

И жалобными, страшными, какими-то призрачными крыльями траура веет в воздухе над солнечной Ялтой, детьми, собаками, кавернами и лекарствами:

Вы жертво-о-о-ю пал-и-и в борьбе ро-ко-вой
Любви без-заве-е-т-ной к наро-о-с-оду...

Горло в ком: похоронный марш!

А дома все тот же стол недалеко от маминой кровати, все те же задачи Евтушевского, география и богослужение, части речи и члены предложения, все те же мамы сборники «Знания» с ее любимым Горьким и Леонидом Андреевым, все та же ее повышенная температура...

Максик бежит, он чуть не попал камнем в доктора Ножникова. И вот я несусь по саду, таща его на плечах: я — конь, он — всадник. А Катя стыдит Макса: «Асе же тяжело...»

А как чудно, найдя свою мечту в журнале «Труд и забава», воплощать ее шаг за шагом! Калейдоскоп. Бросить все: скакалку, серсо, мяч, игру в камешки, Бобку — резать стекло, обмерив диаметр, клеить призму из трех стеклянных полосок (мама позволила, заплатила, стекольщик нарезал, на черной бумаге, под ними подложенной, они — как бледные зеркала). И главный труд: бить в тряпке молотком горстку разноцветных стеклышек, долго, заботливо собираемых. Синие, желтые, зеленые, одно — красное... И, когда все кончено, прильнув глазом к еще не доклеенной трубке, глотать жадное волшебство многоконечной звезды, брызжущей в стороны струйками, коронами и венками, пестрым ворохом друг в друга падающих цветных снежинок, гномьих сокровищ! И передавать бережно трубку маме, с любовью ее берушей.

«Мам, мам, не поворачивай, смотри так! Та к держи: ожерелье зеленое и лиловое! А то красное стеклышко отразилось везде и везде, как твой рубин, на звездах, зеленых...» — «Прекрасно, Ася... Очень красиво!

Непрерывно отдадим тебя в Строгановское». (Мама сказала «отдадим» — значит, она не умрет!)

Вставала ли мама играть после кровохарканья? Музыка, мамина жизнь — они уходили вместе. Но нам казалось, ухудшения не было — это уже утешало. И была самая жаркая наша пора — повторение всех предметов к экзаменам.

Стояла изумительная весна. На нежную жару дня падали поздние теплые сумерки, окунаясь в прозрачно-синюю ночь. Мы видели только первые звезды; когда над Ялтой опрокидывалось звездное небо, мы уже спали: надо было рано вставать, повторять, повторять...

Наконец последний экзамен сдан! Даже не верится, что кончены часы с задачами по пятнадцать—двадцать действий, сладкое головокружение в царстве бассейнов, купцов, аршин, золотников, поездов, пароходов, смолкли меры веса, объема, Марусины ненавистные ей «дробь» (для меня пока лишь слово), этимология и синтаксис, Борнео, Ява, Целебес, мысы, проливы!

Столько жданный день круглых пятерок, похвал, маминой радости, поздравлений вдруг оказывается совсем другим, чем мы думали. В нем другие пружины, нежданные, незнакомые, поднимают в нас какой-то взрыв грусти... Кончилось! Победили, и — пустота... Жаркий крымский день вдруг кажется нам чужим, лишенным ежечасного труда, мечты о получасе отдыха. Или мы чужие стали тут? И потому уезжаем? Холодок удивления и отчужденности летит на миг надо всем, что еще вчера было **наше**. Уж по-иному бежим мы по саду...

Живя с мамой все время, мы не замечаем в ней перемены, которую, приехав, увидел папа. Ободряя ее, не показывая тревоги, уверяя ее, что она поправляется и что лето в Тарусе, на старой даче, принесет ей добро, он, однако, решил, что для переезда надо вызвать тетю. И вскоре пришел **ответ**, что тетя собирается к нам.

Везти маму пароходом было нельзя. Решено было ехать лошадьми до Севастополя — кажется, семьдесят верст. Мама вспоминала, как они всей семьей ездили в Крым в ее юности и какой неопишимо прекрасный вид из Байдарских ворот, только тогда они ехали в обратном направлении — из Севастополя в Ялту, и из этих ворот после скучного пути вдруг открывалась волшебная панорама... И тетя, Тьо — приехала!

Она все та же, чуть серей волосы. Те же черепаховые дедушкины очки, те же пышные, трогательно смешные платья на полном маленьком теле, те же толстые руки, которыми она нас обнимает.

Сердце Маруси ноет от близкой разлуки с миром тех людей, которых она коснулась так близко у Никоновых (может быть, она бывала и у Екатерины Павловны Пешковой).

Она не говорит мне об этом. Но светлы и пусты тоскующей пустотой ее глаза, когда под говор Тьо вдруг слабо издали раздается: «По пыльной дороге телега несе-о-тсья. В ней два жандар-ма си-дят... Сбейте око-вы, дайте мне во-ли...» Противиться этому нельзя.

Мы избегаем по никоновской, теперь пешковской лестнице — пройтись к Екатерине Павловне. Прелестная, молодая — и такая всегда серьезная! И в этой серьезности — застенчивость в полуулыбке не поженски твердого, горького в выражении рта. Мы протягиваем ей два альбома: Марусин — кожаный, мой — плюшевый, темно-красные. Смущаясь, в один голос: «Напишите нам на память что-нибудь!»

И жена маминого любимого современного писателя пишет нам слова, живущие в моей памяти и больше полувека спустя: «В борьбе

обретешь ты право свое! Марусе Цветаевой — Е. Пешкова». «Лишь тот достоин жизни, кто ежедневно ее завоевывает! Асе Цветаевой — Е. Пешкова».

Мы летим вниз по лестнице. Максим и Катя... Такие родные нам, такие разные: уклоняющиеся в недетский час прощанья мальчишеские глаза Макса. Прямо глядящие, не по-детски серьезные глаза Кати¹.

Наши подруги — Нина и Наташа Боровко, Ася Таргонская, даже гордячка Ася Розанова — все во дворе. Говорить неловко. (Маринино шестнадцать лет спустя: «Отъезд — как ни кинь — смерть...»)

Как мчатся над нашей горкой облака...

Всё! Лошади поданы. Мы стоим на дороге перед дачей Елпатьевского. Все вышли провожать. В последний раз мы видим лица хозяйки, Зиновия Грациановича, Прокофия Васильевича, их веселой соседки, нашей страстно любимой учительницы Варвары Алексеевны. Она улыбается нам своей глубокой — чуть горечи в ней, как у всех горбатых, — улыбкой.

«Шестнадцать ног у лошадей!» — раздается вдруг голос сосредоточенно считавшего Максима. Успевает ли кто-нибудь засмеяться? Папа ведет маму под руку. Как всегда, его лицо — ободряюще добро. Мама старается идти, старается улыбаться знакомым. Прямо держится — изо всех сил. Она, как и мы, видит в последний раз синюю черту моря.

Путь? Я не помню его. Сказочная красота пейзажа под сплясшим солнцем июльского дня. Волшебство разлива гор, далее, долины, цветения. Это то, что мама увидела в молодости, выехав из Байдарских ворот. Мы же едем по волшебной панораме, она закроеется скоро о ворота, Байдарские. Тогда она маме из Байдарских ворот открылась. Теперь она с нами, на тридцать восьмом году жизни, совершает о б р а т н ы й путь...

Снова Таруса

Я не помню городов, мимо которых мы ехали, и ничего о двух- или трехдневном пути. Но зато это я помню — точно не пятьдесят лет прошло, — как мы подъезжаем на лошадях к Тарусе. Взволнованная близостью родных сердцу мест, мама сидит в тарантасе, как будто не ее мы везем больную, — радостная. Волнение придает ей силы. Она улыбается нам восхищенной улыбкой. На ее бледном, усталом от трудного пути лице глаза блестя; кончен долгий путь ожиданий, надежд... Признаки этих лет, мест, встреч кончаются об этот жаркий июньский час, об эту бегущую, шелестящую зелень, роши орешника, о песчаные овраги, ветви дубов и берез. Те же деревни. Точно не было этих лет! Так же пылит большак, перерезанный тенями веток, так же бегут с лаем собаки, так же, застась рукой, смотрят вслед бабы, загорелые, как земля, и желтоголовые ребятишки, спугнутые лошадьми, бегут прочь. Мы глотаем все это всей жадностью глаз и сердца, узнающего, тянущегося к вновь увиденному своему, и глядим на маму, в которой отражается наш восторг. Мы не верим, что это мы! Мы так ехали столько лет назад, в то лето, когда еще здорова была мама, когда еще ничего не было, что пришло потом...

Привал. Нам несут молока — те же рыжие кринки. Черный теплый хлеб разламывается, как лепешка... Пахнет дымом, жильем. Присмиревшие собаки, отогнанные, ушли, ворча, и широким шатром легла на дорогу тень от чьего-то «крестового» дома, слившаяся с тенью березы.

¹ Мы никогда более ее не видели. Она умерла в конце лета.

А вот уж и это — сон, и снова дребезжат бубенцы, возвешая полям, что мы едем, и уже близятся очертания другой деревни.

Прудок, утки, купы деревьев, крутой спуск дороги, осыпающаяся колея, скрежет наклонившихся колес — минутный страх — вынесло! Снова ровной рысцой бегут лошади...

Едем, едем! Заливчато дребезжали бубенцы, все ближе к заветным местам, и дух захватывало от краюшка далекого поворота, за которым откроется — вот сейчас, вот сейчас — знакомый ландшафт. Тетя, глядя на нас, плакала. И, как годы назад, начался было спор о том, как ехать: «низом» (холмами над Окой, влево) или «верхом» (вправо, через Соборную площадь, вверх по горе и полями), но тотчас же потух, потому что ясно, что с аездом — хоть на минуту — к Добротворским! И лошади, проехав по мосту и через площадь, взяли вверх, в гору.

На верху главной Калужской улицы ямщики останавливают лошадей: дом Добротворских. Серый, с резными балконами, с мезонином, с купами лип... Сердце сжимается. Круглолицая, краснощекая, голубоглазая, только чуть седей, Елена Александровна встречает нас широчайшей, добрейшей улыбкой (она, и дочь ее Люда, и служанка Катя вышли к нам — мама из коляски не выйдет, ее надо скорей везти домой). Объятыя, поцелуи, удивленья над тем, как мы выросли... Уютное Катино лицо (чуть резче тени морщин) расцветает радужной шуткой, она не постарела ничуть. Зато Люда, на полголовы выше, глядит уж совсем взрослой, рыжая коса заложена на затылке, и немного девичьей насмешливости в уголках глаз. Уже прощаемся, папа торопит доехать до вечерней свежести.

«Андрюша с Лёрочкой ждут», — говорит, маша толстой рукой, Елена Александровна. «Трогай!» — кричит папа, и лошади взмахом копыт, залившимся бубенцовым громом выносят нас на тенистый березовый большак, мимо разбросанных по холмам рощ. Реже домики — и уже опять листва позади, снова поле, последнее на сегодня, и совсем, навсегда — наше поле!

Почти четыре года скитаний въезжают с нами знакомым до боли глаз поворотом к оврагу, к въезду на нашу, детскую большую дорогу, по которой им, ждущим, уж слышны наши топот и бубенцы.

Не отрываем глаз от маминых. Они сияют! Она приподнялась и глядит на ветви и колеи, на прошедшие тут годы. Сердца наши бьются так, что скажи кто-то слово — не услышим. Но им в беспорядочный такт только звенят колокольцы — и все шире, волшебней — еще шире, еще волшебней! — раскрывается знакомая панорама выросших без нас берез большой дороги. И топот коней, из рыси перешедших в галоп, несет нас вперед — чуть снижается путь — к разлету стволов и ветвей, направо — к старому саду с темной дремучей елью, налево — к широко распахнутым нам навстречу все тем же серым, старым, решетчатым воротам перед зеленым двором дачи. Мимо кустов бузины (пахнет ею, и самоварным дымком, и сиренью... сумасшедшая гущина запахов) мы въезжаем во двор бегом коней, тряской дребезжащих тарантасов, пляской ошалевших в быстроте бубенцов, непомерным счастьем приезда!

А навстречу нам уж кто-то бежит, крики и голоса, жар распахнутых в солнце окон, окунутых в лиловую гущу сирени, в зеленый холодок еще не цветущих жасминов, по которым лежит тень.

Мы в тарантасах — озирающиеся, тяжело дышащие, стесняющиеся, и рвущиеся, и к маме прижавшиеся, слившиеся с нею в одно. А на крыльце в светлой кофточке Лёра. Больше трех лет не виделись!.. Папа помогает маме выйти из тарантаса. Из сеней выходит худощавый юноша в паруснизовой рубашке, узколиций, смуглый, с волнистыми темными волосами. «Андрюша!.. — говорит мама, и в ее голосе слезы. — Господи!

Тебя не узнать...» Он смущенно подходит к нам. Это Андрюша! Смотрим и не верим глазам. А уж Лёра тормозит нас, смеется, что-то говорит маме, и — как потом мы с Марусей сознаемся друг другу, — у нее голос совсем неожиданный, и ее и не ее.

Мама вошла в дом сама, устранившись от помощи, высокая в своей дорожной длинной тальме, и в походке, в ее входе в нашу старую дачу в этот час не было, казалось, ни тени болезни. Она прошла в свою новую — направо из сеней, окнами в жасмин — комнату, сделанную для нее из двух маленьких комнаток пристройки, переделалась, умылась и вышла к вечернему столу, как в былые годы, — казалось, без усилия, одна.

...Как будто не было этих лет, мы все сидим за столом среди веток сирени, окунутых в кувшины, косые лучи солнца, как встарь, зажигают синие каемки тарелок и чашек, желтую медь самовара. Рыжие кринки молока, янтарный огонек в вазочке яблочного варенья. Шум и говор, вопросы и ответы попеременно, рассказы обо всем сразу, и блаженство быть дома в воплотившемся сне превосходит всю страсть ожидания! Папа, Лёра, тетя, Андрюша, мама — мы! Все, все...

Но недолго сидит за столом мама. Она встает и подходит к роялю. «Расстроен немного», — говорит она, в то время как большие белые пальцы ее пробегает арпеджио по клавишам. «Пригласим настройщика, Маня», — говорит папа, радостно глядя, как она садится за рояль, слыша, как из-под рук ее несутся звуки давно не слыханной силы. Она так давно не играла! С начала ухудшенья, с зимы...

Тетя беспокоится, она хочет шепнуть, что «Мане играть вредно», но не смеет спугнуть этот вихрь бодрости, сегодня поднявший маму. И вместо просьбы поберечь себя она, сама для себя неожиданно, просит маму сыграть ту самую вещь, которую она играла в юности, — «помнишь?» О, мама помнит!

Она играет, улыбаясь тете, и ту, и еще другую, и еще, и еще...

Завороженные, как в детстве, сидим мы на старом диване (красный с синим узором ромбиками — от него пахнет детством) и слушаем мамины любимые вещи, для нас безымянные, знакомые с младенчества. А мама открывает тетрадь нот, прижимая пальцами страницы, и, улыбаясь Лёре, начинает петь, и Лёра подходит к роялю, и они поют в два голоса, как пели до Италии, до всего... О, как сладко слушать эту знакомую песню, видеть блеск маминых глаз — болезни нет, ее этот вечер с жег, — и в иве, и в тополях за окнами, пропавших в синеве ночи, шелкают птицы, запах сирени входит уже прохладой. И нет ни позднего часа, ни взрослых и ни детей, ни будущего, ни прошлого, ни нас... Ничего в мире нет, кроме этой песни.

Этот вечер был единственный. Здоровья мамы хватило на одно торжество приезда. Нет, не то и не так. Никакого здоровья не было, но торжество свидания с родным домом, родными деревьями и полями дало ей силы на этот вечер. Она гордо вошла в дом такой, как его почти четыре года назад покинула: сама, без помощи, не снизойдя принять болезнь во внимание. Она отстранила ее и вошла. Смотрела в сад на орешники, елки, тополя, старую иву, на просвет Оки за распутившимися березами, на заокскую даль, где прошла ее молодость, наше детство. Быть может, услышала она песню косцов с луга? Быть может, вспомнил Эрнст Поссарта и его хор, в котором полгода назад еще пела, когда подошла к роялю, когда взглядом попросила, позвала дуэтом спеть Лёру. Она не пела с того вечера, с того фатального представления во Фрейбурге, на обратном пути с которого она в ненастный день простудилась и начался ее рецидив. В час ее торжества, торжества ее голоса, замеченного

Поссартом, занавес пал не только на подмостки театра — занавес пал и на ее жизнь...

Я не знаю, сразу ли слегла мама после приезда в Тарусу, выходила ли еще к столу, вышла ли во двор, в сад и в старый сад, прошла ли хоть раз, опершись о руку папы, по большой дороге или по дороге к «пенькам»? Думаю, нет. Думаю, я бы помнила. Ведь помню же я — шестьдесят лет прошло — первый вечер! И сколько я ни стараюсь вспомнить маму, я вижу ее только в комнате с двумя окнами в жасминные кусты. И на постели. Постель стояла справа от двери, вдоль стены. В комнату солнце проникало через верхние жасминные ветки. И была зеленая полумгла.

Тетя, не любившая нашу дачу за отдаленность от Тарусы (полторы версты), настаивала на том, чтобы маму поселить у нее в доме, под ее крыло. Но мама, любя ли наше лесное гнездо, уклоняясь ли от чрезмерной заботливости тети, а может, не желая обременять ее, старую, своей болезнью, не согласилась. И тетя, бывая у нас, страдала от недостаточного для больной комфорта и от отдаленности аптеки и доктора.

Наутро после приезда я зашла в кухню. Там был Андрюша. «Ты умеешь вырезать свистульки?» — спросила я его. Он поглядел на меня, в его взгляде боролись угрюмость, застенчивость. Ему стало меня жаль. «Ну, умею, — сказал он. — Тебе вырезать?» — «Нет!» Я хотела сказать, что я умею, делюсь с ним этой радостью, но что у меня есть мечта о другом — сделать нечто вроде ряда длинных трубок, как я видела в органе и на картинах в музеях, но было ясно, что Андрюша торопится. И так было странно глядеть в лицо этого малознакомого юноши, выросшего товарища нашего детства, понимать, что ему неловко со мной и что он меня совсем не знает. Я слышала его: «Ладно, сделаю...» — и он уже уходил, бросив на меня неуловимо изучающий, жалеющий взгляд.

Зато как ласково, просто, по-родному и восхищенно глядела на Андрюшу мама, как любовалась им! Он присаживался на край ее кровати, смущенно улыбаясь, а она говорила ему: «Ты похож на неаполитанского юношу. И эта широкополая шляпа очень идет тебе. Я очень рада, что ты учишься играть на гитаре. А на мандолине ты очень недурно играешь — я вчера слушала...»

Прошло несколько дней, быстрых для нас, долгих дней болезни для мамы. И я услышала, как она сказала своему давнему питомцу, которого пятнадцать лет назад приняла после умершей матери годовалым — нас еще не было, — любила его: «Я тебе оставляю мою гитару...» Она не сказала «подарю» — «оставлю». О, мы понимали, о чем она! Маруся была тут же. И в быстром переглядывании нашем по обоим прошел озноб.

Иван Зиновьевич часто навещал маму. Он говорил бодрые слова, но глядел озабоченным. Папа почти не уходил от мамы. Лёра часто заходила к ней.

Шла вторая половина июня. Цвел жасмин. Тяжелые лиловые гроздья сирени в кринках и кувшинах сменяла легкая зелень жасминных веток.

Утрами Маруся и я играли на рояле. Звукам Марусиной игры мама радовалась. Когда же я изнывала над гаммами, Ганоном и маленькими этюдами — из маминой комнаты через две открытые двери часто доносилось среди кашля: «Правая врет! Левая врет!» В жару было так трудно преодолевать лень...

К нам стала раза два-три в неделю, по маминому желанию, приходить рекомендованная портниха учить нас шить, и мы, сидя на верхнем нашем детском балконе, старались усвоить типы швов: «вперед иголку», «вперед и назад», «машинный шов» (для крепости), который нашим близоруким, очкастым глазам представлял верхом мученья. Шили мы

какие-то мешочки и рубашки, и от медленности нашего шитья, от горячих пальцев их цвет становился сомнительным. Помню вздох, с которым Маруся — в первый ли раз? — в задумчивости взяв в руку иглу, взглянула беспомощно и с отчаянием на портниху-учительницу: вдела, вставила кончик иголки. «А теперь — куда? — (с сомнением) — влево?» Зеленые близорукие глаза ее смотрели с подозрением на два сложенных белых края материи, по которым должен был пойти шов. Ей было одинаково неудобно шить и вправо и влево. Велено было влево, и ее игла медленно поползла вперед.

Гудели по Оке пароходы, на грядках перед стеной малинных зарослей подымалась овощная зелень, лето шло своим чередом, а Иван Зиновьевич все чаще приходил к маме. Приезжал из Москвы другой доктор, и они советовались друг с другом. Затем грянули слова: «Воспаление легкого». К маминой болезни — чахотке — еще и это! Решено было выписать из Москвы сестру милосердия. Мама задыхалась от кашля, задыхалась от жары, просила настезь держать и окна и дверь. В комнате пахло жасмином и лекарствами. Мы заходили к маме часто, но ненадолго. Она отсылала нас на воздух. К нашей кухарке, имени и лица которой я не помню, приехала взрослая дочь, высокая девушка. Думается, ее звали Женя. Им, а может быть, еще и другим, мама раздавала свои немногочисленные платья. Маруся, присев возле мамы, спросила: «Мама, ты раздаешь все платья, в каком же ты поедешь в Москву?» — «Оденут какое-нибудь... белое!» — отвечала мама.

Так несколько раз говорила она о том, что скоро умрет. Но мы жили с ней почти четыре года ее болезни, и тяжелое состояние ее мы видели не в первый раз. Никто не знает будущего. И пока человек болеет, заботы дня — о его жизни. Так было и в нашем доме.

В уголке двора, между сараем и плетнем, я развела себе игрушечный садик, натаскав земли, сооружала крошечные горки, втыкала в них ветки — это были сады и рощи. Увлеченно, как вырезаньем свистулек из свежих, сочных веток в первую неделю на даче, занималась теперь этим. Так я была ближе к маме, чаще забегала к ней.

«Когда Ася входит, мне кажется, солнышко входит с ней!» — сказала мама с улыбкой. Маруся радовала ее не меньше, но вид Маруси был уже взрослый (ей осенью исполнялось четырнадцать лет), а же — еще ребенок — по-детски оживляла ее.

Однажды после ухода докторов я вбежала в мамину комнату: «Мам, ну что они сказали? Мам, что?» — повторяла я с нетерпением. Как-то однозвучно, серьезно ответила мама: «Воспаление второго легкого». — «И больше ничего?» — сказала я (желая сказать: а больше ничего не сказали?). «Ну, с меня и этого довольно...» — с горечью ответила мама. Мне стало стыдно за свою глупость, но как было поправить ее? Слова были сказаны. Я все же попыталась пояснить, что я хотела сказать...

Помню мамины слова в Тарусе: «Мне жаль музыки и солнца!.. — И, как не раз уже: — Все увидят, какие вы будете, а я не увижу...» И наше: «Ну, что ты, мама...» — падало теперь, хоть с таким же жаром сказанное, в какую-то напряженную тишину. Тетя бывала теперь ежедневно. Ночами дежурила сестра милосердия. Приближался июль. «Дедушка скончался в июле, — сказала мама, — и я тоже в июле умру...» Мы слушали, возражали, не верили — как можно поверить в никогда не виденную смерть? В смерть человека — самого близкого, с которым связан, как с воздухом, без которого не было жизни ни одного дня?

Но, оглядываясь на маму, я теперь дивлюсь ее неженскому мужеству. Как мало она сказала о своем горе расставания с жизнью! Ей не было тридцати восьми лет. Я не видела в ее глазах слез. Только печаль и горечь. И физическое страдание: она задыхалась. Уже не один день она

сидела поперек кровати, опершись о стену, и все просила, чтобы был сквозняк — дышать. Ей говорили, что нельзя, что ей станет хуже. Она качала головой: «Откройте! Я хочу дышать. Так легче!» Она почти не спала. Все понимали, что она знает свое положение. Болезнь не уступала. Как мама одолела ее в тот первый вечер приезда, так теперь болезнь беспощадно одолевала маму, и она только отмечала фазы своей болезни, мужественно, со стойкой горечью называла их.

Настал июль, шли его первые дни. Мама перестала спать. Ей не хватало воздуха. Она дышала с трудом. Она не спала уже трое или четверо суток — все сидела поперек кровати, когда бы мы ни входили. Все было распахнуто, шел сквозняк. Ей уже и в сквозняке было душно. Она была очень бледна, или, может быть, я не помню, на щеках были пятна румянца? Темные волосы высоко надо лбом привычно волнистыми прядями. Одеяла не было — простыни. Очень блестели глаза. Такой я помню ее в тот день 4 июля, о котором Андрюша, по-мальчишески еще, сказал (может быть, сам не веря слову «смерть?»): «И вдруг мама умрет на мои именины?» Но мама жила. Она позвала нас обоих простаться. Мы пришли. Мамин взгляд встретил нас у самой двери. Кто-то сказал: «Подойдите...» Мы подошли. Сначала Марусе, потом мне мама положила руку на голову. Папа, стоя в ногах кровати, плакал навзрыд. Его лицо было смято. Обернувшись к нему, мама попыталась его успокоить. Затем нам: «Живите по правде, дети! — сказала она. — По правде живите... — Выражение ее голоса звучит во мне до сих пор. — Ну, а теперь идите гуляйте, — сказала нам мама, погладив нам головы, — ведь нехорошо здесь...»

Подавленные, молча, еле понимая, мы вышли. Почему не бросились мы к ней обняться, еще услышать, еще увидеть ее? Где был Андрюша, ее первый питомец?

Был жаркий день. Приходил и ушел Иван Зиновьевич Добротворский. Маме давали бульон. Для поднятия сил — шампанское, его, кажется, привезла тетя. Мама понимала: попытки продлить жизнь. Она сказала что-то, имевшее смысл: уже? Я не помню вечера этого дня, как не помню и сестру милосердия — ни имени, ни лица. Знаю, что мы купались в Оке с Лёрой на обычном месте под дачей, где купались с мамой все детство. Берег был песчаный, песок очень тонкий и светлый, почти серебряный, пахучие речные лопухи с белой подкладкой, как у серебристых тополей. Самый край берега у воды был темней от тихой мелкой набегавшей волны, и в этом потемневшем песке торчали длинные блестящие перламутровых раковин, двустворчатых — их спинки зеленоватые, как тина. По ту сторону Оки были кусты, отражавшиеся в зеркальной полоске. На верху холма, видная меж берез только в одном просвете, была наша давняя, детская, так долго желанная, жданная дача, в которой теперь лежала, задыхаясь, мама. Оттого ли мы не шли к ней, что знали — не пустят? Или мы боялись ей мешать? Пережидали и этот, как были уже, приступ болезни? Мама ведь всегда их побеждала! Мама ведь хотела звать нас простаться еще в Москве, в начале болезни...

Когда мама в этот день — 4 июля 1906 года — позвала нас проститься, было около четырех часов дня.

Следующий день — 5 июля — был так же синь и жарок. Была пора молодых лесных орехов, их было много. Кажется, после обеда Лёра позвала Марусю и меня за орехами. Мы пошли по большой дороге к оврагу. Там, остановясь на опушке нашего леса, мы собирали орехи, вынимая их коричневатые, светлые еще шарики из тугих, толстых (кислых, если пробовать зубом) светло-зеленых гнезд. Мы отгибали ветки с шершавыми, круглыми, формой похожими на липовые, листьями и медленно углублялись в лес по краю оврага. О чем говорили — не

помню. Вдруг мы увидели мелькавшую за ветками, шедшую по дороге дочь кухарки — Женю. Она явно искала нас. Увидев, она окликнула Лёру. Лёра пошла ей навстречу. Та что-то говорила ей, мы не слышали. Лёра сделала Жене знак идти домой и вернулась к нам. Мы смотрели, как Лёра подходит. Она положила нам руки на плечи — левую Марусе, мне правую. «Умерла мама! — сказала она тихо. — Пойдемте домой».

Ни Маруся, ни я ничего не ответили. Молча повернули мы с Лёрой и шли. Оглушила ли нас весть, подобной которой мы никогда не знали? Только помню — и помню-то глухо — какую-то тишину, с нами шедшую. Незнакомо шли шаги по заросшим колеям (по ним три недели назад скакали лошади, звеня бубенцами, везя нас, счастливых и радостных, подъезжавших. Как сияло у мамы лицо!). Но ни тени воспоминания об этом не было в тот час. Мы медленно шли. Молча. Честно. Ведь никаких слов не было. Может быть, понимали: Лёра нарочно, зная, увела нас из дому?

В той комнате, где сутки назад мама, сидя поперек белой постели, встретила нас взглядом, и ее глаза мучались и горели, она утешала папу, сказала нам прощальные слова о правде и подержала свою руку на Марусиной и моей голове, — лежало, чуть на боку, покрытое тело, и желтое, неподвижное лицо с чертами, напоминавшими мамины, было подвязано чем-то белым под подбородок. Глаза были закрыты, незнакомо худое лицо было страшно, не хотелось глядеть на него, хотелось отвести глаза. Мамы в комнате не было. Это была не мама, к этому не было никаких путей. Мы молча, одна за другой, поцеловали желтый лоб, как нам сказали, и, послушные кому-то, кто нам говорил, вышли из комнаты.

В доме было много людей. Все говорили шепотом. Мама скончалась тихо: уснула и не проснулась. С ней не было никого — ушли, чтобы дать ей поспать. Мама легла на бок и уснула. Было около четырех часов дня.

В то утро или днем она сказала: «Это начинается агония». Папа — или тетя? — предложил ей причаститься. Она отклонила, не хотела того, чего не знала, что считала обрядом. Плакали папа, тетя. Жалея папу и нас, плакала Елена Александровна. Я больше ничего не помню об этом дне.

Не знаю, боялась ли Маруся маму мертвую. Думаю, да, потому что мы всегда чувствовали похоже. Я боялась маму, даже комнаты, где она лежала сначала на столе, потом в гробу. Идя, я косилась на дверь, как на что-то враждебное. Елена Александровна посоветовала папе не шить нам черные платья. Нам сшили темно-серые. Из Москвы приехал «морожельщик» — ввиду стоявшей жары он замораживал тело мамы, то есть обложил ее пузырями со льдом и эфиром. Маму должны были везти хоронить в Москву, на Ваганьковское, рядом с бабушкой и бабушкой. Гроб привезли тоже из Москвы, серебряного цвета, металлический, с белыми украшениями. От него еще мертвее и чуждее, страшнее было лицо мамы, неузнаваемое, холодное, восковое, с церковной полоской на лбу, окруженное белым вместо знакомых — исчезнувших — волнистых темных волос.

В доме пахло эфиром и гвоздичным маслом — от морожельщика. Молодой и противный, он шутил с сестрой милосердия, рассказывая анекдоты о мертвецах (слова «мертвец» и «покойник» были страшны, отвратительны). Дом был полон людей, знакомых и незнакомых, среди них глаз ловил папу, Лёру, тетю, Елену Александровну — своих. В эти дни я совсем не помню Андриюшу. И вообще не было дня.

Небывалое просто, как все, что мы постоянно видим. Оно приходит и становится в ряд вшей, где ему нет и не может быть места.

На Воскресенскую гору, за часовней над Окой, везут маму в гробу

по дороге, где она все наше детство ходила с нами от тети и Добротворских на дачу, где она жила столько июней, июлей и августов и где она вчера — 5 июля — умерла. 1906 год. Мы встречали его в Ялте, звенели бокалы в двенадцать часов ночи, поднятые за здоровье всех, — и вот уже мамы нет, мамы нет! Мама, тоже со всеми чокавшейся!..

Колокола звонят, встречая гроб. Жаркий день си́нь. Ворота серых платьев липнут к Марусиной и моей шее. Как тетя плачет! Мы не плачем. Не можем. Нас раздражают взгляды и шепот: «Сиротки...» — «Где?» — «Какие?» — «Да вон те, вон...» Какие противные голоса!

Гроб вносят в церковь. В полумгле вдруг отступившего солнечного дня, впусившего в окна по одному короткому лучу света, медленно движется толпа входящих людей. Начинается богослужение. Отупев от того, что вчера совершилось, а вчера стало так невероятно давно, и устав от бессмысленной нам толчеи людей, разговоров, расспросов, мы стоим, не чувствуя горя по маме оттого, что люди требуют от нас горя и шепчут о нас. На повторяемое слово «сиротки» я обертываюсь и показываю кому-то язык. Мы не молимся. Мама тут нет. Мы очень устали за сутки привыкать к тому, к чему привыкнуть нельзя. Ноги болят стоять.

Вот что, девочки, большая и маленькая! Не упрекайте себя в бесчувственности, не ужасайтесь своему равнодушию. Горе придет потом. Потом! Завтра, через неделю и через год, и через годы и годы, когда это все кончится, когда отдохнет сердце, когда все всё забудут, тогда подступит сиротство. И будет нечем дышать в том веселом дневном часе — без гроба, без пенья и без людей. Тогда мама проснется в нас своей совершившейся далью, невозможностью быть, немислимостью не быть. Отворенная дверца шкафа, пахнущего нафталином и упорству крышного тенью запаха духов, мамин пустой мольберт, звук отворяемой кружки рояля, стук ставни в зале, вспыхнувшая — из самого детства — зелень стеклянного абажура (кто-то понес по гостинной мамину лампу) — вот тогда придет горе.

А пока переезд в Москву выпадает из памяти нацело. Как, с кем едем с вокзала? Разумеется, с Лёрой? Еле-еле помнятся улицы, по которым едет на кладбище гроб. Наш переулок, Трехпрудный, наш дом. Тупо видим, как перед ним останавливается катафалк и сползает. Мама не знает, что ее тело прощается с домом, где она прожила столько лет. Только потом мы вспоминаем вечер осени 1902 года, час отъезда из Москвы в Италию, слова мамы: «Больше я не вернусь в этот дом...» Сколько раз мы эти слова, торжествуя о маминих выздоровлениях, радостно осмеивали в Италии и в Лозанне, в Лангаккерне. Но, значит, такие слова не говорятся даром.

...Мы едем в карете. Почему-то вдвоем — Маруся и я. К окну кареты подходит господин, темноволосый, темноглазый, с бородкой. Кто-то ему сказал, кто мы. «Дочери Мани?» — говорит он глубоким, теплым голосом и смотрит на нас особенным взглядом больших карих глаз, точно хочет запомнить нас на всю жизнь. Он говорит, кто он — Миша Поляков, брат Зины и Раи, подруг мамичой юности. В этом «Миша» (человек с бородой, держащий в руке шляпу) — ужас прошедших, канувших лет маминной жизни... Манины дочери! Беспомощные, полыхнувшие ужасом слова о сходстве дочерей с матерью.

Переехав Садовую, карета вслед за катафалком и другими каретами поворачивает к Пресне. Как недавно мама читала об этой Пресне, о московском восстании в ялтинских газетах! Миша идет рядом с нами, рука на окне кареты, он не может расстаться с дочерьми Мани, не может оставить нас.

Возле могил дедушки и бабушки, где мы бывали с мамой, слева от их мраморных белых крестов и плит — холм рыжего песка, и возле него

длинная прямоугольная яма. Тесно, между могил — люди. Папа? Тетя? Лёра, Андрюша? Миша? Я не помню, как несут, опускают гроб. Как бросают комья земли, засыпают могилу, как служит панихиду священник. Что-то вытравило все это из памяти. Слабо вижу пустой, полутемный, мне кажется, летом еще неизвестный дом в Трехпрудном. Усталость и дремота души.

После маминых похорон в памяти — провал. Я ничего не помню о Тарусе после мамы, а мы прожили там, вернувшись, все лето, то есть около трех недель июля и август. О семи неделях — ни одной зацепки в памяти, ни одного случая, ни одного дня. Точно и не жили мы там до осени. Я не помню ни Добротворских в то лето, ни тети, ни наших домашних на даче, ни отъезда Маруси в Москву (вероятно, с Лёрой и Андрюшей, к началу учения). По своей воле, попросив папу, Маруся — ее все чаще называли Мариной — поступила в интернат гимназии фон Дервиз. Я осталась одна с папой на даче, с кем-то из прислуги. Моя первая разлука с Мариной! Я не помню прощанья. Видимо, шел сентябрь.

Одинокой жизни моей с папой на даче я тоже не помню. Из моих дней ушла мама, ушла в интернат Маруся. Одна ли я ходила с дачи к Добротворским или с папой? Что я теперь часто у них бывала — я помню.

Иногда я садилась за старенькое темно-желтое фортепьяно (рояль без хвоста), стоявшее в проходной комнате, и играла свои пьески или подбирала аккорды к песням. Музыка пробуждала тоску одиночества, я закрывала крышку, выходила на балкон. С него был вид на Оку. В комнате рядом, где потолок шел косо, под крышей, где пахло пылью и лежали горы слив, желтых, почти с яйцом, я заводила старую музыкальную шкатулку, сестру маминой, и слушала золотой звон вальсов и старых песен.

Однажды мы — папа и я — были у Добротворских. Обедали. Вдруг папа стал как-то странно клониться вбок над тарелкой — сидя падать. Мгновенно бросились к нему Иван Зиновьевич и Елена Александровна, поддержали и, подхватив его под руки, то ли повели, то ли понесли в кабинет дяди Вани — маленькую комнатку за залой, где был письменный стол, диван и книги. На этот диван они уложили папу. С ним случился удар.

Добротворские взяли меня к себе. Сколько я прожила у них — не знаю. Папа болел, дядя Ваня (как теперь я звала Ивана Зиновьевича) лечил его, выжидая возможность перевезти в Москву. Так полтора или два месяца спустя папиных рыданий у постели мамы его здоровье рухнуло. Ни переезда нашего в Москву, ни первых дней в московском доме не помню. Папу положили в клинику. В доме жили Лёра, Андрюша и Люда. Я жила с ней в бывшей детской, где мама мечтала устроить две комнатки — Марусе и мне. Маруся жила в интернате.

Шла осень 1906 года. Нам было четырнадцать и двенадцать лет.

(Окончание следует)



ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Вот слабая звезда.
Ее
 как бы и нет.
До нас едва дотек
Ее чуть видный свет.

Далекая!
 Найдя,
Ее теряешь вновь.
О, этот слабый свет —
Последний,
 словно кровь
Из ранки
 перед тем,
Как телу — умереть!

Но я не устаю
На этот свет смотреть.

Мне чем-то он родней,
Без видимых причин,
Чем яркий, пробивной
Свет Первых Величин.

Он может лишь одну
Земле
 доставить весть —
На светлом языке
Пролепетать:
 — Я — есть!

Далекая звезда,
Чуть видный огонек,
Ну что с него за прок,
Ну чем он мне помог?

Но посреди забот
И многих нужных дел
Я счастлив тем, что я
Услышал, разглядел!

* * *

В тот вечер, после митинга, на Кубе
Мы пели знаменитую «Каховку».
Нестройно.

Словно каждый — о своем.
Милицяно в синей гимнастёрке
Подтягивал.

Мы пели и не знали,
Что в **этот** день осиротела песня:
В России **умер** Михаил Светлов.
Для нас еще он будет жив неделю.
Когда вернемся — нам друзья расскажут.
Потом, позднее, — в десяти журналах
Прочтем воспоминания о нем.
...А мне все вспоминается Гавана.
Я вновь иду по улицам Гаваны.
Гавана так похожа на Гренаду,
Здесь по-испански тоже говорят.

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

А все же — был он, был, ей-богу:
Бил зверя, воду пил из рек,
Не глиняная кукла бога,
А просто — первый человек.

Равно для всех рассветы рдели,
Мерцали звезды, шли дожди...
Но был же кто-то, в самом деле,
Хоть на полшага — впереди?

Под небом неизвестной эры,
Среди гранитных граней скал
Уже, возможно, у пещеры
Огонь прирученный плясал.

Уже кремневые держались
На топорищах топоры...
Каким он был?

Какую залежь,
Что под запретом до поры,
Открыл в себе?

Быть может — жалость?
Быть может, на охоте вдруг
Впервые странно сердце сжалось,
И палка выпала из рук,
И он, косматый, сам не понял
Себя в то время до конца:
Зачем, нагнувшись, взял в ладони
Осиротевшего птенца?

* * *

Родина, позови меня!
Родина, позови меня!
Эти слова давно я
Вслух не произносил.
Если не помнишь имени —
Можно и не по имени,
Бровью хотя бы дрогни!
Выйду вперед

и сил

Не пожалею!

Буду,
Правдой твоей богатый,
Жить на снегу, в палатке,
Холод считать теплом.
Буду кряхтеть под грузом,
Землю долбить лопатой,
Матери для сохранности
Свой отослав диплом.
Выдай мне полевые
Новенькие погоны —
Стану твоим солдатом,
Трудность приму, как честь.
Выучу — я способный! —
Три языка в полгода,
Негров учить поеду,
Хлеб непривычный есть.
Мне надоели крепко,
Дьявольски надоели
Долгие разговоры
И холодок в крови,
Поиски — без открытий,
Споры — без ясной цели...
Родина, позови меня!
Родина, позови!..
Только, подумать если,
Если решать конкретно —
Вот что всего труднее,
Вот что сложнее всего:
Много встречал я разных,
Громко, авторитетно
Разное говоривших
От имени твоего.
Я их встречал в районной
И в областной столице,
Вовремя поспевавших
Взгляды свои менять...

Родина, помоги мне
Сердцем не ошибиться,
Точно тебя услышать,
Верно тебя понять!

Новосибирск.



А. ПЕРЕДРЕЕВ

★

РОБОТ

И создали робота...
И в день
Этого изобретенья века
От него легла на землю тень,
Словно тень живого человека.

И, являя миру все, что мог,
Отвлеченно, холодно мигая,
Робот заработал,
Напрягая
Совершенный, электронный мозг.

И, не зная, что такое робость,
Лень,
Тоска
И воспаленность век,
Робот начал,
Действуя, как робот,
Делать все, что делал человек.

И смотрели взрослые и дети,
Как светилось умное чело,
Как он думал обо всем на свете.
О себе
Не зная ничего!

Ветер

Бегут над полем чистым облака,
По чисту полю тень бежит за тенью..
Неудержимо движется река,
И берега подвержены движенью.

Бегут поля — колышется трава,
И на просторе, сдвинувшемся с места,

ТАКЭСИ КАЙКО

★

ГИГАНТЫ И ИГРУШКИ

Повесть

Такэси Кайко (род. в 1930 г.) — популярный японский писатель. Автор повестей «Голый король» (удостоена премии Акутагавы, 1957), «Паника», «Шикарная сплетня», романа «Потомки Робинзона». «Гиганты и игрушки» — первое произведение Кайко, публикуемое на русском языке.

I

Кондитерская фирма «Самсон» занимает высоченное здание в самом центре столицы. Прямо напротив его фасада — станция эстакадной железной дороги. Передний двор фирмы, он же станционная площадь, служит своего рода буферной зоной. В часы пик, по утрам и вечерам, здесь полно народу. В этом районе очень высокие цены на землю, но «Самсон» предоставил свой двор для общественного пользования. И не без выгоды для себя: тротуар проходит как раз вдоль стеклянного фасада. А за стеклом — огромный выставочный зал, где круглый год экспонируется несметное количество образцов продукции фирмы, начиная от жевательной резинки и кончая фруктовыми напитками. Прохожие волея-неволей заглядывают в витрину. Ради такой великолепной рекламы не жалко поступиться двором! Тротуар широкий, над ним навес, так что в дождливый день можно пройти, не рискуя вымокнуть. На площади разбиты клумбы, стоят скамейки. Она похожа на сквер. Теперь у этой конечной станции не бывает столпотворения. «Самсон» завоевал огромную популярность среди жителей делового района.

Из окна моей комнаты на втором этаже видна вся площадь. И днем и ночью за стеклянной стеной плещется поток людей. Словно море. Дважды в сутки бывает мощный прилив. Площадь захлестывает волна служащих. До чего же тоскливое зрелище! У этих людей всегда опущены головы: утром из-за яркого солнца, вечером от голода и усталости. И всегда спешат, торопятся. Стальные коробки выплывают их, и они заливают площадь, текут мимо стеклянной стены и, всосанные широкими дверями, исчезают за разноцветными железобетонными стенами. Шум бесчисленных шагов, словно грохот прибоя, наполняет комнату и отдается в моем теле.

Площадь никогда не бывает пуста. Стеклопанель дрожит целый день. Служащих сменяют самые различные люди. Манекенщицы и фоторепортеры. Группы туристов из провинции. Приверженцы новоявленной религии. Домохозяйки. Студенты. Торговцы. Безработные. В субботние вечера — толпы бедных влюбленных, не имеющих пристанища. Первого мая — рабочие и полицейские. Люди самых различных профессий и воз-

растов. И все толкуча здесь, покрываются пылью, мокнут под дождем. За своей спиной я всегда чувствую толпу. Из этой толпы однажды вынырнула Кёко. И больше в нее не вернулась. Щуря глаза от апрельского солнца и улыбаясь, она выбралась из давки и остановилась перед окном.

Это было в понедельник, в послеполуденное время. Я спустился на первый этаж, в кафетерий. Меня вызвал по телефону заведующий отделом Айда. Кафетерий примыкал к выставочному залу. У самого входа — кондитерский киоск, а внутри можно перекусить. Как раз подошло время обеденного перерыва, и зал гудел, словно улей. Айда сидел за столиком в дальнем углу, у окна, и разговаривал с девушкой. Я подсел к ним.

Девушку освещало солнце. Когда она смеялась, были видны шершавые зубы. Круглоглазая, густобровая девчонка с задорно вздернутым носом. На столе валялась небрежно брошенная потертая клетчатая сумка, похожая на мешок для плотницких инструментов. Что там лежало? Киножурналы или журналы мод с сильно потрепанными обложками. Поломанная пластмассовая коробочка для косметики. Что еще могло храниться в сумке такой девчонки, как эта? Лак у нее местами отстал от ногтей, туфли запылились. Самая обыкновенная девушка, каких сотни на курсах кройки и шитья или кулинарии.

Позже я узнал, что Айда, меняя экспонаты в выставочном зале, обнаружил ее за стеклянной стеной, среди любопытных. В этот день как раз установили новый английский упаковочный автомат и демонстрировали для всеобщего обозрения процесс расфасовки жевательной резины. Когда загудел мотор и с быстротой молнии замелькали металлические руки, превращая длинные розовые лоскутки в изящную продукцию, зрители начали шумно выражать свое одобрение. Девушка, приплюснув нос к стеклу, громко смеялась и восторгалась, как ребенок. «Надо было видеть выражение ее лица!» — говорил потом Айда.

Когда я сел к столику, они оживленно болтали о фильме Диснея. Как видно, между ними уже установились непринужденные приятельские отношения. Ни дать ни взять — дядюшка с племянницей. Не знаю, как ему удалось затащить в кафе совершенно незнакомую девушку. Видно, положительную роль сыграли его седина, глубокие морщины у глаз и новый, с иголочки, светло-серый костюм.

Айда рассказывал ей анекдоты про джазовых певцов и кинозвезд. Она от души хохотала, поражалась, возмущалась. Потом он спросил, где она работает, и записал телефон. Девушка работала в конторе экспортно-импортной фирмы неподалеку от нас. Она сказала, что иногда ей приходится исполнять обязанности боя. По просьбе Айды я купил в киоске шоколадный набор и преподнес ей.

— Ой, как хорошо! Спасибо большое! На амида¹ не придется трагиться!

Она поблагодарила без всякого смущения, небрежно бросила коробку в сумку, потом повесила сумку на плечо и улыбнулась. На ее верхнюю губу упал луч солнца, нежный пушок засеребрился, как рыбка, мелькнувшая на дне озера. Если в ней и было что-нибудь привлекательное, то только это. Когда девушка ушла, Айда тут же потребовал моего мнения. Но ничего положительного я сказать не мог.

— Мне кажется, она должна хорошо получаться на фотографии, — пробормотал он, безуспешно пытаясь закурить сигарету от зажигалки, которую кто-то метко окрестил «тушилкой».

У этого аккуратного и ревностного служащего было два увлечения — модели и женщины. И то и другое он находил на улице.

¹ Обычай у японских служащих вскладчину покупать что-нибудь к полднику. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Что касается моделей, тут он был настоящим виртуозом. Все мог смастерить — автомобиль, реактивный самолет, корабль. И точность просто поразительная! На его столе среди груды бумаги, обрывков картона, банок со столярным клеем, кусков дерева и пластмассы всегда стояла модель самолета или автомобиля. Он работал над ними, когда выпадало несколько свободных минут. Случалось, засиживался до последней электрички, конструируя модель какого-нибудь нового образца машины, только что увиденной им на улице. Нечасто встретишь такое странное увлечение у человека с седой головой, которому уже за пятьдесят. Но мы к этому привыкли и не удивлялись.

А женщины... Это, пожалуй, относилось к области работы. Айда интересовался ими от чрезмерного служебного рвения.

Он заведует у нас рекламой. Кроме того, руководит группой художников и текстовиков. В их работу Айда не вмешивается, но кого использовать в качестве рекламной модели и в какой типографии отпечатать плакат, решает сам. По собственному почину он взял на себя роль следопыта. Его глаза постоянно ищут — в театре, в электричке, в толпе. Облюбовав какую-нибудь женщину, он идет за ней следом, изучает выражение ее лица в различных ракурсах и при разном освещении. Потом заговаривает с ней и тащит в нашу фирму. Женщину фотграфируют и делают фотокомпозицию. Чаще всего материал не подходит. Ящик его стола битком набит забракованными фотографиями. Айда — опытный и вдумчивый мастер своего дела, но порой и ему приходится терпеть фиаско. Однажды он часа три шел за женщиной, пересяживался с автобуса на электричку, с электрички на автобус, и, когда наконец заговорил с ней, она приняла его за торговца живым товаром и пустилась наутек. К несчастью, он успел всунуть ей свою визитную карточку. На следующий день мамаша оскорбленной девицы нагрянула с жалобой. Один из членов правления фирмы вызвал Айду к себе и, не смотря на его солидный возраст, задал ему хорошую взбучку.

Но Айда и не подумал отказаться от своего увлечения. Стоит ему увидеть женщину, как его глаза и ноги действуют автоматически. Тут уж ничего не поделаешь!

То же самое было и с Кёко. Дня через два после встречи в кафе Айда украдкой подозвал меня и велел поймать такси. Я нашел машину и ждал на площади, как мне было приказано. Через несколько минут в дверях кафетерия показались Айда и Кёко. Не знаю, как ему удалось заполучить ее так быстро. Он позвонил по телефону, девушка захлопнула конторскую книгу и улизнула с работы. Услышав от Айды о фотопробе, она побагровела. А когда было произнесено имя Харукавы, совсем уж вышла из себя и дала волю своему отчаянию. Как же так — без предупреждения! Не переоделась! Не нарядилась! Кёко устроила настоящую истерику. Она рвалась из машины, топала ногами, трясла Айду за плечо, словно ошалевший котенок. Айда все это принимал со спокойной улыбкой и в десятый раз учтиво повторял заученный монолог:

— Вам не нужно ни переодеваться, ни краситься. В студии Харукавы-куна есть вечерние платья и полный набор косметики. На фотоаппарат не следует обращать никакого внимания. Вам нужно только изобразить, будто вы в первый раз в жизни попробовали карамельку — и, о боже! — как вкусно. Даже облизнулись от удовольствия. В общем, естественность и все такое прочее. Остальное сделает Харукава-кун.

Харукава, старый приятель Айды, был знаменитым фотографом. Когда-то в молодости, увлекаясь мягко рисующим объективом и светофильтром, он создавал сентиментальные произведения. Теперь он специализировался на женских портретах. Это не были обычные, блестяще сделанные фотографии. Он заслужил славу своей злой и острой наблю-

дательностью, своеобразной манерой исполнения. Нацеливая объектив на знаменитых кинозвезд, Харукава испытывал особое удовольствие, когда ему удавалось схватить морщинки тщеславия или одиночества, скрытые под прекрасной маской. О нем постоянно рассказывали забавные анекдоты. Например, кинокомпания предъявляет ему протест за то, что на опубликованном им снимке новой популярной инженю видна гусиная кожа... Или Харукава пробирается в артистическую уборную и фотографирует манекенщиц, грызущих батат...

Ему уже давно перевалило за пятьдесят, но он оставался холостяком. Безобразно толстый, насмешливый, вечно выскивающий недостатки женщин, чтобы выставить их на всеобщее обозрение, Харукава, несмотря на это, пользовался у них большим успехом.

Айда по телефону предупредил фотографа о нашем визите, и тот нас ждал. У Харукавы было утомленное, потрепанное лицо, испещренное глубокими, словно рубцы от ран, морщинами. Под глазами темнели похожие на синяки круги. Когда он подошел, от него пахло застарелым коньячным духом. Откинув со лба буйные волосы, в которых уже начали появляться белые нити, он впился в Кёко пронизывающим взглядом. Девушка испуганно съежилась. Она выглядела совсем ребенком, и Харукава, поднимаясь по лестнице в студию, недовольно шепнул Айде:

— На кой черт ты притащил эту писюху?

Айда до конца пробы оставался в студии, но я потерял интерес еще до первого снимка и вернулся на службу. По опыту я знал, что, выбирая девушку, Айда полагается не только на свой вкус или чувство симпатии. Он ищет модель для рекламы. Но эта была слишком уж жалкой. Кёко так испугалась фотографа и ослепительного света юпитеров, что не могла выговорить ни слова. Когда Харукава велел ей принять нужную позу, она напряженно уставилась в объектив, как девчонка из деревни. Перед этим мне показалось, что я начинаю понимать, в чем характерная особенность ее лица, которую, очевидно, имел в виду Айда, но тут, как назло. Кёко совершенно одеревенела.

«Погорим мы с этой Кёко», — подумал я. Но мои глаза были обыкновенными человеческими глазами, они не обладали зоркостью фотообъектива.

Примерно через неделю в нашу фирму явился Харукава. Мы с Айдой ждали его в кафе. Как всегда, он дышал винным перегаром. Лицо испитое и жадное — типичный прожигатель жизни. Лишь глаза блестели остро и насмешливо. Едва успев усесться, он бросил на стол толстый большой пакет.

— Беру девчонку! — сказал он, ухмыляясь и протирая глаза тыльной стороной пальцев.

В пакете было около сотни снимков. Айда просмотрел их быстро, но внимательно и сразу же разделил на две стопки. Откладывая последнюю фотографию, он просиял и сказал Харукаве, показывая на меньшую стопку:

— Проходит!

— Проходит! — Лицо Харукавы расплылось в улыбке. — Понимаешь, жутко фотогеничная рожа, красotka для объектива. А так — и смотреть не на что, ни за что бы не взял!

Айда развеселился:

— А рот-то, один рот чего стоит! Когда смеется — кажется, целую булку можно запихать. И пару пирожков в придачу!

— Да, забавная девчонка. Тут как-то она высунула язык да как лизнет кончик носа! Я прямо обалдел! Говорит, это ее коронный номер.

Договорившись с Айдой о гонораре за пробные снимки, Харукава ушел. Айда передал мне снимки и попросил их спрятать. Я поднялся в

отдел, просмотрел все фотографии и запер их в стол. За эту пробу была выплачена довольно большая сумма из специальных фондов, но Айда, казалось, забыл о Кёко.

Шли дни, ни Харукава, ни девушка не появлялись. Но когда в следующем месяце вышел очередной номер фотожурнала «Камера-ай», я все понял. Харукава опубликовал целую подборку с Кёко. Редактор назвал ее «О, юность!», а в подзаголовке стояло: «Обыкновенный день обыкновенной девушки». Целых шесть страниц. Потрясающие фотографии! В воскресных журналах появились восторженные отклики. «Камера-ай» еще не имела такого успеха со дня своего основания. Тщательно просмотрев подборку, я наконец понял, что Айда и Харукава откопали новый оригинальный типаж. Фотообъектив создал новую Кёко.

«О, юность!» была репортажем о жизни бедной девушки. Харукава, словно сыщик, идя по пятам Кёко, нарисовал ее день, начиная с раннего утра, когда она просыпается, и кончая поздним вечером. Документальность умело сочеталась с режиссурой. Жизнь девушки была показана в различных аспектах. Изображались любые проявления бедности — маленькое тщеславие, дешевое удовольствие, случайная радость. Все продумав и тщательно взвесив, Харукава отобрал только такие снимки, где за яркой индивидуальностью Кёко угадывался тип простой японской девушки в возрасте до двадцати лет. Из пояснения к подборке следовало, что художник ради двенадцати опубликованных снимков израсходовал шестьсот кадров.

Да, Кёко, как говорилось в подзаголовке, была обыкновенной девчонкой, каких полным-полно. Так живут все — переполненная электричка, прогулки, солнечные ванны на плоских крышах высоких зданий. Скучный полдень. Витрины магазинов готового платья и галантерей. Длинная очередь перед залом, где записывают на пластинку популярных исполнителей песен. Поздним вечером лапша в общественной столовой. Запах болота в дешевых банях перед закрытием. Дома — возня с братишкой, тот, завернувшись в одеяло, изображал супермена. Вот ее будни и ее маленькие радости.

— У нее на работе, где-то в самом укромном уголке, есть аквариум. Она разводит головастиков. И не маленьких, а мордастых, как рыба-пузырь. Тех самых, из которых вырастают съедобные лягушки. Она говорит, что кормить их надо стружкой бонита. Вот, пожалуй, и все, чем она отличается от прочих девчонок, — скупое отвечал впоследствии Харукава, когда репортеры пытались узнать у него сенсационные эпизоды из жизни Кёко.

Изучив подборку, я впервые понял характерные особенности лица Кёко. Слишком большие глаза, слишком большой рот, густые брови, вздернутый нос. Ее никак нельзя было назвать красивой. Но на фотографии оживали и делались привлекательными даже ее недостатки. Такое уж было у нее лицо. Именно это подразумевал Харукава, когда говорил Айде, что Кёко — красotka для объектива. Она поражала и притягивала людей удивительной непосредственностью выражения чувств, свежестью и полнотой молодости. Перепугавшись до смерти при первой пробе в ателье, Кёко перед лейкой совершенно освободилась от скованности. Она широко улыбалась, показывая некрасивые зубы, непринужденно ходила, с предельной выразительностью сетовала на свою жизнь. Интересно, как удалось Харукаве наставить ее на правильный путь? Очевидно, в этом жирном, похожем на оплывший кусок масла теле, где одни только глаза остро поблескивали, таилась необычайная сила убеждения. На это и рассчитывал Айда, когда в первый раз показал ему Кёко. Я понял примитивность собственного зрения и чистосердечно восторгался зоркостью своего начальника.

Прошло около месяца после пробных снимков. Мы уже пережили шумный успех «Камеры-ай», хвалебные отзывы воскресных газет и журналов. А Айда продолжал держаться так, словно все это нисколько его не касалось. Он позаботился, чтобы его имя как первооткрывателя Кёко нигде не фигурировало. Харукава и девушка обещали хранить тайну. Но время работало на него. Даже я, наиболее посвященный во все дела и идеи Айды, не мог разгадать его маневра. Он раскрыл свои карты в последнюю минуту и вышел победителем.

В нашей фирме каждый месяц, после десятого числа, бывает общее совещание всех отделов. Во второй половине июня мы предполагали устроить широкую распродажу, поэтому на очередном совещании присутствовали управляющие провинциальными филиалами, заведующие отделениями фирмы и члены правления, в ведении которых было это мероприятие. План распродажи обсудили и наметили еще три месяца назад, по нему уже велась подготовка, и этому совещанию предстояло лишь окончательно его утвердить. Уже были решены основные вопросы о премиях и премиальных билетиках, прилагаемых к коробкам с карамельками, о проценте с дополнительной прибыли, отчисляемом в пользу оптовых и розничных торговцев во время проведения этого мероприятия, а также о курортах, куда должны были пригласить участников распродажи в порядке поощрения. Фабрики и заводы уже подготовились к нужному темпу работы.

Все шло гладко, лишь один вопрос оставался неразрешенным. В течение последних трех месяцев этот вопрос неоднократно выносили на обсуждение, но каждый раз так и не могли договориться ни до чего определенного. До сих пор он оставался камнем преткновения. Речь шла о том, кого взять в качестве модели для торговой марки фирмы, помещаемой на рекламных плакатах и в газетах. Этот вопрос был в ведении Айды. Но каждый раз, когда члены правления, начальники секторов и заведующие отделами предлагали какую-нибудь юную певицу или актрису, он отклонял кандидатуру, ссылаясь на то, что все эти знаменитости «слишком уж затасканы рекламой». Из-за его упорства дело зашло в тупик, отдел рекламы не подготовил ни одного плаката, хотя до распродажи оставался всего один месяц.

Он отверг целую галерею исполнителей детских песенок, юных актрис и актеров, джазовых певиц и борцов, пользовавшихся популярностью у детей. Когда предлагали чемпиона по вольной борьбе, он вытаскивал газету и показывал, что его уже используют телевизионная компания и фирма электрических бритв. Когда упоминали известную манекенщицу, он качал головой и возражал: «Не пойдет! На нее уже наложили лапу фруктовые соки и губная помада».

Ведя спор с членами правления, Айда говорил исключительно на осакском диалекте. Это был своеобразный тактический прием. Как только начинались деловые переговоры или речь заходила о его собственном странном поведении, он укрывался за щитом осакского диалекта и не давал собеседнику прощупать свое слабое место. Беседуя с молодыми художниками о работах Шэна или Леви, Айда никогда не употреблял осакского диалекта, но лишь стоило ему заговорить с представителями отделений фирмы, как он тут же прибегал к своей излюбленной тактике. На обсуждении очередной коммерческой радиопрограммы Айда сначала ругал ее композицию, потом вдруг намекал, что, в общем-то, ее можно и принять, а когда разговор заходил о цене, размахивал маленькими счетами, ухмылялся и говорил на осакском диалекте:

— А вот теперь подеремся!

Я уже знал, что в таких случаях мой шеф особенно опасен.

На этом совещании осакский диалект расцвел пышным цветом:

Айда развил бурную деятельность. Разговор в который уже раз возвращался к модели для рекламы, и похороненные были герои вновь и вновь появлялись на сцене. Айда опять всех отвергал, предварительно доказав их полную непригодность. При этом он не ссылался на неразборчивость и некоторую нечистоплотность знаменитостей, готовых за деньги послужить рекламой любого товара,—нет, он просто убеждал, что они не возымеют должного эффекта и не принесут никакой пользы распродаже.

По теории Айды выходило, что, если символ «губной помады» станет также символом «карамельки», массы перестанут отличать рекламу парфюмерии от рекламы кондитерской промышленности и сила воздействия снизится по меньшей мере наполовину. Рекламы попросту убьют друг друга.

— Может быть, это так и есть. Но, с другой стороны, у всех звезд имеются поклонники, которые их почитают и с радостью будут лицедреть их в новом качестве. Да и число поклонников так велико, что этот фактор нельзя игнорировать.

После этого выстрела из стана противника Айда многозначительно и согласно кивнул, но тут же учтиво выдвинул свои контрдоводы. Высоко оценив коэффициент силы увлечения поклонников, он бросил кость членам правления. А затем разоблачил истоки этой силы и свел ее коэффициент к нулю. Он сказал, что поклонники останавливают свой взгляд на плакате только потому, что хотят лишний раз полюбоваться лицом той или иной звезды. При этом они совершенно не обращают внимания на товар, который та рекламирует.

— Если бы «Самсон» был киношной компанией, тогда этот вариант прошел бы,—так закончил Айда свою тираду.

Нахмурившись, члены правления молчали.

С двенадцати до трех Айда боролся со звездами и, прибегая к различным ухищрениям и трюкам, убил всех до одной. Таким образом он тщательно подготовил почву для появления Кёко. И тут он выступил в роли адвоката. Все произошло очень быстро. Стрелки часов уже передвинулись за цифру три, прокуроры устали и находились в полном замешательстве. Им казалось, что дело окончательно зашло в тупик. Начальники секторов и заведующие отделами начали дремать, пригревшись на майском солнышке. В комнате висело густое облако табачного дыма.

— Иными словами, ты хочешь сказать, что нужен совершенно новый человек, неизвестный ни публике, ни фирмам? — спросил один из членов правления, явно отказываясь от дальнейшей борьбы.

Айда, убедившись в полном разгроме противника, сейчас же отступил на шаг:

— Ну да, что-нибудь в этом роде... Пожалуй, это выход.

Член правления усмехнулся, поняв маневр Айды:

— Ну ладно, хватит дурака валять. Выкладывай, что там у тебя есть. Время-то дорого.

Увидев, что Айда из груды бумаг осторожно достает «Камеру-ай» и воскресные журналы, я пошел к себе в отдел и принес пакет с пробными снимками Кёко. Мой шеф, стоя спиной к окну, распрямившись и гордо выпятив грудь, победоносно оглядывал всех присутствующих.

Один из членов правления, родом из Осаки, впервые увидев лицо Кёко на фотографии, сказал то, что все мы, и Айда, и Харукава, и я, чувствовали, но не могли выразить:

— Фу ты, черт! Ведь девчонка-то точь-в-точь Каппа !!

Журналы переходили из рук в руки — от членов правления к на-

¹ Персонаж из японских сказок, пользующийся большой любовью в народе. Это веселое, озорное, большегероее существо, обитающее в водоемах.

чальникам секторов, от начальников секторов к заведующим отделами, а от них к управляющим филиалами и руководителям провинциальных отделений. Их интересовала не столько сама подборка «О, юность!», сколько критический разбор фотокомпозиции и отклики воскресных журналов, касающиеся Кёко. Правда, некоторые открыли было рты, пытаясь что-то сказать, но, предчувствуя осакский диалект, готовый слететь с губ Айды, тут же отводили глаза.

После короткого молчания член правления спросил:

— На девчонку никто еще не наложил лапу?

Айда, казалось, только и ждал этого вопроса. Из принесенного мной пакета он высыпал на стол снимки.

— Ну что вы! Я первым взял ее на мушку!

И он рассказал все по порядку, начиная с того момента, когда увидел Кёко у нашей витрины, и кончая пробными съемками в студии Харукавы. При этом он добавил, что взял с девушки слово отказываться от всех предложений, пока «Самсон» официально не пригласит ее к себе.

Исход боя был решен. Скрывая огорчение, член правления буркнул:

— Ну что теперь поделаешь! Время не терпит.

Было уже не до обсуждения всяких там «за» и «против». Айда уничтожил все обломки кораблекрушения и целиком взял на себя ответственность за жизнь утопающих. Улучив удобный момент, он бросил им единственный спасательный круг, за который можно было уцепиться. За такой короткий срок и думать нечего обегать театральные уборные, киносъемочные павильоны, найти подходящих актеров, договориться о гонорарах, сделать снимки да еще успеть отпечатать плакаты. Победа Айды была одержана без боя.

Сразу после совещания Айда позвонил Харукаве и договорился о фотоснимках для рекламы и о сроках. Потом позвонил Кёко на работу и пригласил ее в бар. Было как раз пять часов, рабочий день кончился, и Кёко сразу согласилась. Мы заехали за ней на машине. Услышав от Айды о договоре с фирмой и о сумме гонорара, девушка пришла в страшное возбуждение.

— Я хочу лепешку! — воскликнула Кёко.

Она хотела лепешку, зажаренную в толстом листе морской капусты и политую соевым соусом!

II

Вот уже несколько лет, как мы дрейфуем. Тщетно пытаемся подавить тревогу. Мы затратили много сил и уйму денег, но все впустую. Несколько лет назад тревога была лишь цифрами и смутным предчувствием, сейчас она прочно засела у нас в печенках, и мы со своими планами и разговорами походим на чахлах больных. Айда прячет голову в свои модели. Он не может переносить смрада заживо гниющей плоти.

Дело в том, что карамель неизвестно почему перестала продаваться. Вот в чем причина нашей тревоги. Может быть, члены правления, сидящие в тихих кабинетах с кондиционированным воздухом, не хотят признавать фактов. А ветераны фирмы — самолюбивые старички — пытаются успокоить нас и тащат к окну. Оттуда видно, как со складов отправляются в путь тяжело груженные машины. Видно, как масса людей беспрестанно толчется у кондитерского павильона. И мы чувствуем, как высохшая теплая рука легонько хлопывает нас по плечу и силпый старческий голос шепчет: «Да все в порядке! Продается ведь! И будет продаваться, шел бы только товар. А ты постарайся, чтобы еще больше продавалось. Постарайся, только и всего. Нет ли у тебя какой-нибудь хорошей идеи, а?»

И все-таки это жалкий голос. Благодушие звучит фальшивыми нотками. Старички упорно поворачиваются спиной к графику продажи, висящему на стене.

Конечно, грузовики ежедневно увозят в город тонны продукции. В кондитерском павильоне с утра до вечера не прекращается топот ног. В парках валяются пустые коробки из-под карамели. По воскресеньям пыль в зоопарке имеет сладкий привкус. Рука девушки, читающей книжку, то и дело машинально срывает пропитанную парафином обертку. Да, все это действительно так. Карамель продается.

Но передо мной на столе лежит одна бумажка. Баланс прихода и расхода. На этой бумажке останавливаются тяжело груженные грузовики, затихает топот ног в павильоне, исчезают сладковатый привкус пыли и рука девушки. Эта бумажка бьет тревогу, и стоит мне вернуться от окна к столу — как набат так и колотит мне в уши. Я беру месячную сводку и черчу короткую кривую в графике на стене. И кривая показывает едва заметный крен вниз. В этой кривой смысл последних лет. Длинная, богатая изломами линия, достигнув однажды наивысшей точки, начала неудержимо стекать вниз. Мы не поднимаемся даже и на поголий холм, более того — мы не шагаем по равнине. Правда, иногда бывают небольшие подъемы, и все же дорога, несомненно, идет под уклон...

Если подсчитать расходы на оборудование фабрик, на рекламу и зарплату, выделить процент прибыли и сравнить с этой кривой, тяжесть болезни «Самсона» станет еще ясней. Уже не захочется второй раз подходить к окну. С цифрами нужно считаться больше, чем с толпой на площади. И с «Аполлоном», и с «Геркулесом», и с прочими фирмами помельче — то же самое. Как ни крути, карамель не продается. Может быть, нынешние дети потеряли вкус к сладкому?

Мы выдвигали самые различные гипотезы. Первыми открыли огонь торговые агенты фирмы. Эти острые на язык, обходительные мужчины, эти рыцари капитализма уверены, что именно они играют первую скрипку в сбыте продукции. Они утешали стариков с присущей им страстностью:

— Месяц-то выдался нынче особенный. Как праздничные дни — так дождь. Вот вам и провал золотой недели. Вот вам и товар залеживается. Э-э, установится хорошая погода, и все образуется. Да так все думают — и оптовики, и крупные клиенты. Я тут как-то в командировке встретился с агентом «Аполлона». Тоже немножко приуныл, но говорит: «От дождя только пирожки раскисают, а не наш товар». Право, нет никаких причин для беспокойства.

И все-таки для беспокойства есть причины. Мы работаем в здании, построенном по последнему слову архитектуры. Стены выкрашены в тот цвет, который согласно законам психологии в наибольшей степени стимулирует производительность труда. На фабриках — сплошная автоматика. В обеденный перерыв там звучит вальс: как известно, он снижает нервное напряжение. И все же, находясь в этой ультрасовременной среде, мы должны беспокоиться о завтрашней погоде. Для «Самсона» метеосводка — лакмусовая бумажка. Если в выходной день по всей стране идет дождь, тонны карамели остаются на складах. Ведь матери победнее раскошеляются только в выходной. Так что рапорты торговых агентов недалеко от истины. И старики с большой неохотой признают, что показатели снизились.

Однако не только дождливый месяц оказался невезучим. Торговым агентам и в дальнейшем приходилось выискивать предлоги для объяснения снижения показателей. Если нет дождей, то бастуют служащие государственных железных дорог. Если нет забастовки, то происходит

крушение прогулочного парохода. А в те месяцы, когда поезда идут нормально и суда не тонут, бывают тайфуны или большие пожары. Стоит только поискать — и обязательно наткнешься на что-нибудь, что в этой тесной островной стране мешает людям есть карамельки. А когда все бедствия исчерпаны — о-о! --- в такие месяцы выдвигается новая оригинальная гипотеза: видите ли, год был слишком урожайным, фруктов тьма-тьмушая, так на черта деревенским ребятам карамельки?! А когда не оставалось вовсе уж никаких доводов, тогда агенты твердили, что продажа товаров по ценам преёскуранта и сорокадневный срок погашения векселей воспринимаются мелкими торговцами как гнет крупного капитала и вызывают их ненависть. Все эти соображения были недалеко от истины, но все-таки ни одна из выдвинутых гипотез не могла объяснить причину снижения показателей.

В отделе производства, где продукцию оценивают с точки зрения вкусовых норм, придерживались другого мнения. Там старикам без обиняков говорили о различии эпох. В 1910—1920 годах, эпоху правления императора Тайсё, карамель была экзотическим продуктом. Массы, еще не успевшие вкусить европейской цивилизации, с восторгом раскупали эту смесь сливочного масла, молока, нагоки и диковинных ароматических веществ. Кроме того, лозунг: «Вкусно, питательно, укрепляет здоровье» — вливался освежающей струей в души и желудки простодушных японцев, знакомых только с местными сладостями. Оригинальная идея подкреплять продажу кондитерских изделий доводами диететики принадлежала фирме «Аполлон». Увидев ее успех на этом поприще, другие фирмы тоже присвоили себе символические названия: «Самсон» и «Геркулес». В те времена хилое телосложение уязвляло бедных японцев, и они стремились в любой пище прежде всего усмотреть питательность. И начался карамельный бум, и еще бум, и еще бум, и три фирмы, несмотря на то, что им приходилось делить между собой тесный рынок, наслаждались необычайным успехом своей сладкой продукции.

Потребность в сладостях, привитая массам этими гигантами, неперестанно увеличивалась, так сказать, наливалась кровью и обрастала мясом. К карамели присоединились шоколад, печенье, раковые шейки, бонбон и монпансье. Таким образом, утеха европейского среднего сословия под аплодисменты получила права гражданства во владениях соевой пасты и соленой редьки. Экзотика быстро переварилась, сделалась будничной и пустила глубокие корни среди населения. Именно тогда, когда она стала привычной, и зародилась опасность. Ничего не поделаешь — вкусовые ощущения масс постепенно, но неукоснительно меняются. Правда, после долгой войны был еще один бум, но мы уже не могли подладиться к покупателю. Люди бросались на карамель либо для того, чтобы потешить свои истосковавшиеся по сладкому языки, либо, чтобы погрузиться в сентиментальные воспоминания о мирном времени. А когда жизнь вошла в обычную колею и кожа у людей сделалась гладкой, карамель потеряла свою притягательную силу. Наша продукция перестала привлекать покупателей, она приелась. Именно в это время кривая на графике, достигнув наивысшей точки, остановилась, а потом сползла вниз. В людях живет примитивный и унылый инстинкт подражания. Благодаря ему нам удалось завоевать кратковременный успех, выпустив точно такую же жевательную резинку, какую жевали победители. Но это не могло поддержать выгодного оборота капитала. Нужны были новые идеи, новые вкусовые оттенки.

Исходя из этих соображений, работники лаборатории занялись поисками новых ароматических средств, создали несколько опытных образцов, и некоторые из них поступили в продажу. Так, для любителей экзотики появились «деревенские» конфеты, жевательная резинка с пеп-

сином, способствующая пищеварению, гигиенические конфеты для укрепления зубов и двухслойные солоно-сладкие конфеты. Короче говоря, все фирмы, используя самые различные средства и приемы, атаковали вкусовые органы покупателей, но ни одно из этих изобретений не имело широкого успеха. И старички тяжело вздыхали среди леса бутылок с ароматическими веществами.

Во время войны все три фирмы выпускали галеты, пакеты НЗ и калорийные продукты, служа тем самым мечу и беженцам. В конце войны фабрики «Самсона», «Аполлона» и «Геркулеса» были разрушены, дела пришли в упадок, но это только способствовало скорейшему переходу к массовому производству. В течение нескольких лет были созданы новые фабрики для новых машин. Завертелись автоматические смесители, забурлили котлы, задышали жаром духовки. Автоматы начали выбрасывать шестьсот пятьдесят карамелей в минуту, тонну печенья в час и шесть тонн монпансье в сутки. Этот поток закружил нас, и мы понеслись очертя голову. Когда бум кончился и наступил спокойный период, мы уже не могли остановиться. Ведь поток несся все дальше, хотя признаки спада были уже налицо.

К раздраженности отдела продажи и утомлению отдела производства прибавилась истерика, разразившаяся в отделе рекламы. Мы очутились у запертой двери, ключ от которой был потерян. Наша фирма начала устраивать распродажу карамели с премией. В последние несколько лет кондитерские магазины привлекали детвору не запахом сладостей, а пневматическим ружьем, восьмимиллиметровым кинопроектором, фотокамерой. Или велосипедом, или тропическими рыбками, или замшевым костюмом, или набором для игры в бейсбол. Таким образом, гиганты превратились в розничных торговцев.

Нельзя сказать, что все эти мероприятия провалились. Иные имели успех, иные — нет. Кривая на графике нервно дергалась и прыгала. И так всякий раз, когда делались новые капиталовложения. Торговые агенты то аплодировали, то злились и жаловались. Случалось, «Самсон» вырывался вперед и оставлял далеко позади своих конкурентов. Но, что ни говори, распродажи повышают спрос только на короткий период. Это своего рода дурман. Как только перестает действовать один раздражитель, нужно вводить новый, еще более сильный, чем предыдущий. И гиганты боролись не на жизнь, а на смерть, вкладывая в коробки с карамельками все новые и новые билетки на премию. Сколько было затрачено средств и энергии! Сколько подножек подставлено противнику! Сколько радужных снов и мечтаний развеялось в прах! После каждого сражения в городах и деревнях появлялись миллионы ребятишек, которым только и оставалось, что сосать лапу, ибо они не получили премию и полностью утратили веру. А из светлого, тихого кабинета вновь и вновь звучала команда: «Продавай больше, как можно больше!»

Это была уже не реклама, а полное смятение чувств, стоившее огромных денег.

Один эпизод заставил нас призадуматься над собственным поведением. Это произошло во время войны. В штате Теннесси у обочины шоссе стояли три огромных щита. На первом из них два осла нетерпеливо рвались к стогу сена. Ослы были связаны одной веревкой и не могли приблизиться к стогу, ибо тянули в разные стороны. На втором щите они обнаруживали, что выгоднее соединить усилия, и шли рядом. Ослы почти подошли к сену. На третьем щите осла, разделавшись с первым стогом, в полном согласии лакомятся вторым.

И все. Ни объяснений, ни советов. Однако смысл плаката не вызывал сомнений. Здесь пропагандировалась необходимость совместного труда во время войны. Сартр — не специалист по рекламе, но, увидев

этот плакат, он сразу разгадал его сущность. Он сказал следующее и был совершенно прав:

— Прохожий, увидевший этот плакат, должен делать выводы сам. Когда до него доходит смысл рисунков, ему кажется, что именно он открыл эту истину — и вот человек уже наполовину убежден.

Американцы — большие мастера улавливать психологию масс. Они пришли к выводу, что капиталовложения в рекламу — это прежде всего капиталовложения в подсознание людей. Конечно, и мы позволяли себе подобную тактику в периоды подъема. Айда, руководя художниками и текстоставками, рекламировал только наслаждение, доставляемое карамельками. Он не настаивал, не просил и не подстрекал покупателя. Он рекламировал не продукцию, а ощущение. Ведь покупатель испытывает глубокое недоверие к рекламе. Он ненавидит, когда его подхлестывают. Поэтому сразу после войны мы воспевали только удовольствие, которое могли получить блуждающие среди развалин люди. Мать, придя в кондитерский магазин, должна наслаждаться тем, что она самостоятельно, по собственному вкусу, выбирает покупку. Если при этом в сумеречных глубинах ее подсознания мелькнет четкий контур «Самсона», а не «Аполлона» и не «Геркулеса», наша цель достигнута. Все мы во главе с Айдой думали так. Именно в этот период художники «Самсона» создали свои лучшие произведения. Тогда нашим старичкам маячила только одна кривая — прекрасная и длинная траектория полета мяча для гольфа, — больше им не о чем было заботиться.

Однако подобный оптимизм годится лишь для спокойных времен. Во всяком случае с точки зрения работы нашей фирмы. Как только появились признаки спада, мы скатились до уровня провокаторов. Об этом свидетельствует скопившаяся на моем столе гора журналов для юношества. Грязная, топкая, как болото, конкуренция во время распродажи подрывала силу предприятий, прививала детям азарт и любовь к спекуляции, подвергалась нападкам родительских комитетов и женских организаций. И вот в конце прошлого года представители трех фирм на совместном совещании пришли к выводу о необходимости воздержаться от таких мер, как распродажа. Но уже в январе текущего года поползли тревожные слухи, и соглашение утратило силу. И мне опять приказали заняться несбыточными грезами.

С наступлением февраля я принялся изучать предмет. Просмотрел уйму журналов для молодежи и детских книг, начиная от комиксов и кончая биографиями замечательных людей, проанализировал их, усвоил характерные особенности детской литературы и составил график. Потом я посетил детские парки, кинотеатры, в которых демонстрируются мультфильмы, выставки детской книги, пустыри, служащие местом игр для ребят. С утра до вечера я следил за детьми, за их движениями и возгласами и пытался установить, что их больше всего увлекает. Пусть фирма бьется в истерике, мне не хотелось попусту растрчивать свои силы. Я не склонен к спекулятивной игре, не склонен к азарту и не полагаюсь на свое чутье. Чтобы прокорректировать свои непосредственные впечатления, мне пришлось запросить несколько крупных городов и несколько провинциальных. Таким образом я изучил вдоль и поперек вкусы и увлечения детей. В результате были выплачены огромные суммы информационным агентствам и местным филиалам, а у меня появились всевозможные цифры и графики, характеризующие жизнь детей. Такая беспрецедентная тщательность говорила о глубине пропасти, перед которой мы стояли. Пока я штудировал детские книжки вроде «Гамма-лучевой человек», «Гидроармия» и «Кэнчан в джунглях», Айда бегал по магазину игрушек и сувениров, закупаая всякое барахло. Отдел рекламы быстро превратился в склад игрушек. На стене висели кобуры, пар-

ные револьверы, непробиваемые шлемы, а по полу полз радиоуправляемый трактор и шагал робот. На столе красовались модели кораблей и аквариум с тропическими рыбками. Купив какую-нибудь вещичку, Айда разбирал и собирал ее, изучая самым тщательным образом. Управляя автомобилем по радио, он так увлекался, что начинал ползать за игрушкой на карачках, чуть ли не касаясь лбом пола.

Игрушечный револьвер американского производства послужил для него своего рода образцом. Этот тяжелый револьвер с костяной ручкой, на которой были выгравированы шпоры, как две капли воды походил на настоящий. Когда нажимали на спуск, курок шелкал и вращался барабан. Вот только пуля не выскакивала. Влюбленно глядя на него, Айда говорил:

— А дуло-то, дуло какое длинное! Вот это да! На совесть сделали. Нам бы так! Сразу видно, что взрослые от всей души постарались для детей, все силы вложили. Эх, была бы у нас такая штучка! Ведь премия выпадает одному из миллиона или из пятисот тысяч. Так уж хотелось бы дать ребенку что-нибудь стоящее.

Но это еще не означало, что Айда остановил свой выбор на «вестернах». Мне он доверял только изучение цифровых данных, а сам покупал в магазинах иностранной книги все научно-популярные и научно-фантастические повести, все комиксы. Разумеется, он их не читал, а только вырезал иллюстрации и фотографии. Рисунки на космические темы он брал также и из японских журналов для юношества. Айда не пропускал ни одного фантастического фильма, посвященного проблемам освоения космоса, и смотрел его обязательно в день премьеры. А уж если случилось ему что-либо пропустить, он отыскивал какой-нибудь захудалый кинотеатр на окраине города, где еще демонстрировался фильм.

Я догадался, что он затеял: его выбор пал на космический скафандр. В японских магазинах игрушек их еще не было, так же как и космических ружей. Толстый блокнот Айды, которым он страшно дорожил, был испещрен эскизами диковинных скафандров для межпланетных путешествий.

Если в истории с никому не известной и не очень-то красивой Кёкё Айда победил с помощью ловкого трюка, то теперь он повел совершенно открытую и планомерную атаку на членов правления. Он выступил во всеоружии цифровых данных и документов. Правда, время еще было. Ведь это совещание происходило за месяц до того, как он открыл Кёко. На этом совещании я тоже не имел права голоса. Мне было поручено доложить о положении вещей и представить торговую карту. На основе этих данных Айда повел дрейфующий корабль в свою гавань. Хоть мы и работали с ним в одном отделе, но он ни о чем со мной не сговаривался: как видно, очень уж был уверен в успехе своего замысла.

Я зачитал результаты проверки: какие программы детских радио- и телепередач собирают наибольшее число слушателей и зрителей; какого рода рассказы и повести занимают основное место в детских и юношеских журналах; какие фильмы имеют наибольший успех; какие именно детали больше всего интересуют детей. Кроме того, из пещер, ущелий, с небес и космодромов я сигнал на землю всех любимых детских героев, всех суперменов и идолов и познакомил наших старичков с этой пестрой толпой. Как только кончился мой доклад, были выдвинуты сотни предложений, что именно назначить в качестве премии. Казалось, совещание правления кондитерской фирмы превратилось в комиссию по оценке детских игрушек. Один из членов правления, болельщик бейсбола, предложил спортивную бейсбольную униформу. Другой, поклонник точных наук, высказался за микроскоп. Страстный рыболлов в качестве приманки бросил сеть. А еще один, до смерти боявшийся женских организаций,

додумался войти в контакт с издательством и давать в качестве премии детскую энциклопедию. Однако ни одна из предложенных вещей не удовлетворяла неукоснительному требованию: «оригинально, удивительно, возбуждающе, но благонадежно и не вредит здоровью». Слушая споры членов правления, Айда спокойно наблюдал, как накапливается усталость. Во время моего доклада он понял, что его предположение полностью подтвердилось, и был абсолютно спокоен.

Наконец, когда потребовали его мнение, он поднялся и раздал членам правления несколько блокнотов. Подробно описав все детали космического скафандра, Айда попросил меня еще раз продемонстрировать, каким успехом пользуется космическая фантастика. Я снова прошелся по бумагам и зачитал, какой процент занимают межпланетные путешествия в детских газетах, журналах, в программах радио и телевидения.

Для американской детворы космический шлем и космическое ружье были обычными игрушками. Но японская детвора знала их только по комиксам. Залогом успеха была их повизна. Кроме того, газетные тресты предполагали устроить Космическую выставку и провести кампанию по распространению знаний об искусственных спутниках и ракетах. В кино-театрах ожидалась премьера космического фильма Диснея. Если «Самсон» станет с ними сотрудничать, по-видимому, значительно сократятся расходы на рекламу и результат будет более эффективным. А чтобы бросить кость общественному мнению, утверждавшему, что подобные премии возбуждают у детей дух авантюризма и вредно воздействуют на детскую психику, можно резко увеличить число обычных премий — таких, как билеты на Космическую выставку или в планетарий. Кроме того, в течение трехмесячного срока распродажи можно вместо рекламы печатать в газетах и журналах научно-фантастические рассказы. Вполне вероятно, что родители отнесутся к этому доброжелательно. И если попросить ученых сотрудничать с писателями, могут получиться достаточно научные и вполне занимательные произведения... Примерно так рассуждал Айда.

— Да... Вот так... На первый взгляд мое предложение может показаться несколько эксцентричным... Но кто его знает? Вдруг против ожиданий удастся? А?.. Пожалуй, оправдает себя... Хотя, конечно... Впрочем, успех — штука неожиданная...

Напустив туману, Айда уселся. «Ну, ясно, — подумал я, — всегдашняя манера аргументации...» Будучи на сто процентов уверенным в успехе своего предложения, в последнюю минуту Айда всегда предпочитал ступеваться. Здорово придумано! Он произносит речь, но решения не принимает. Ответственность ложится на тех, кто в конечном итоге скажет «да». А для него всегда остается лазейка на тот случай, если фирму постигнет неудача и ворчливые старички начнут придирааться. Я почувствовал, что за его нарочито туманными словами кроется прочная линия обороны.

Члены правления, поначалу ошеломленные эксцентричностью идей и недоверчиво листавшие блокноты, выслушав разъяснения Айды и приведенные мной цифровые данные, по-видимому, заинтересовались. Один из них спросил:

— А из чего делают этот самый шлем?

— Из пластмассы. Мне кажется, дутьевая формовка выгоднее, чем вакуумная. Я попросил составить смету.

И Айда передал членам правления смету, составленную фирмой пластмассовых изделий. Поразительная расторопность! Кроме того, у него уже были сметы, подготовленные фабрикантами игрушек и готового **платья**.

— Айда-кун, а о значке ты подумал? О значке, который будет на этом самом шлеме?

— Да. С одной стороны прилепим гамма-лучевого человека из журнала «Сёнен гурафу»¹, а с другой стороны — мистера Комет из журнала «Спейс фуан»²...

— А не заменить ли их эмблемой фирмы «Самсон»?

Айда, почесав голову, сейчас же признал свое упущение.

Член правления, задавший этот вопрос, добавил:

— Понимаешь, я сомневаюсь. По-моему, тут есть маленькая неувязка. Ведь то, что радует американскую дствору, не обязательно должно радовать японских ребятшек. Как ты считаешь?

Голос сомневающегося был сейчас же заглушен голосами большинства. Они безоговорочно согласились с Айдой, их убедили цифры, подтверждающие модность всех предметов, связанных с межпланетными путешествиями. Однако этот голос почему-то меня встревожил.

Вторая половина совещания была посвящена обсуждению проекта Айды. Решения, правда, пока не приняли, но положение прояснилось. Совещание закрыли, договорившись в течение недели подробно рассмотреть возможности установления контактов с организаторами Космической выставки, с кинотеатрами, собирающимися демонстрировать новый фильм Диснея, и с газетами, которые будут печатать научно-фантастические рассказы. По прошествии недели правление вынесет окончательное решение.

Так было похоронено джентльменское соглашение трех фирм. В этот же вечер я узнал, что и «Аполлон» и «Геркулес» тоже поддались соблазну. Они собирались начать распродажу примерно с середины июня. Их закрытые бюллетени принес в наш отдел секретарь одного из членов правления. Передав мне бумажку, Айда плюхнулся на вертящееся кресло.

В бюллетенях вкратце излагались планы распродажи «Аполлона» и «Геркулеса», о которых до сегодняшнего дня ничего не было известно. Трудно понять, как просачиваются сведения. Но они просачиваются, это факт. А следовательно, и о сегодняшнем нашем совещании уже стало известно. Как бы то ни было, время дипломатической вежливости и лицемерия кончилось. Я прочитал бюллетень. У всех на уме одно и то же — премия. Кондитерская фирма «Геркулес» думала-думала и додумалась: премировать детей животными. С бюллетеня на меня глядели обезьяны, кошки, собаки, черепахи, морские свинки, белки. Я не удивился. Живой зверек — это очень привлекательно, и если сравнить его с космическим скафандром, то разница только в том, что одно — нечто совершенно конкретное, а другое призвано воздействовать на воображение. А вообще-то все это не от хорошей жизни.

Но сюрприз был впереди. Заглянув в проект «Аполлона», я так и ахнул. Я не верил своим глазам. Там жирным шрифтом была напечатана всего одна строчка, но какая!

«Высшая премия: стипендия на образование от начальной школы до университета».

Я поднял голову. Айда молча возился с авиамоделью. Я смотрел ему прямо в затылок, но он не обернулся. «Сел в лужу», — подумал я. Его молчание выражало боль и муку. Замысел «Аполлона» был из ряда вон выходящим. Он положил конец заигрыванию с детьми и непосредственно взывал к родителям. «Аполлон» выстрелил прямо в лоб, а мы-то, слепые идиоты, гнались только за детской мечтой! «Самсон» зашатался.

¹ «Юношеский иллюстрированный журнал».

² «Любитель космоса».

— Убили! — сказал я Айде, возвращая бумагу.

Он закурил сигарету, глубоко затянулся, кивнул. Я вздохнул и посмотрел на темнеющие окна. Стекла дрожали от вечерней сутолоки на станционной площади. «Борьба будет мучительной», — подумал я. Слишком уж часто мы злоупотребляли премиями — никто их не получал. Покупатели стали невосприимчивыми. Это факт. И дети и родители устали от мечтаний. Разумеется, прочитав трогательное заявление «Аполлона», они скептически усмехнутся. Но все же, сравнив обещания трех фирм, родители, подавляя вздох, пойдут в кондитерский магазин «Аполлона», когда ребенок будет просить конфетку. И даже, если ребенок удовлетворится маленькой порцией сладкого и перестанет кланяться, матери еще раз вернуться в магазин. Их проект обладает такой убедительностью.

Храня хмурое молчание, Айда намазал столярным клеем опознавательные знаки для реактивного самолета, приклеил их на крылья, разгладил.

— Президент «Аполлона», если мне не изменяет память, христианин и противник алкоголя, — сказал я. — Гозорили, что он когда-то запретил своей фирме производить ромовые бабы и ликерные конфеты. Не кажется вам, что и этот проект — дело его рук?

Щурясь от табачного дыма, Айда досадливо отмахнулся:

— Чушь! Просто ликерные конфеты не пользуются таким спросом, как карамель. Поэтому их и сняли с производства. Вот и все.

Наконец он оставил свою авиамодель. Поднял голову. Он сутулился, глаза у него были усталые. Не осталось и следа той тонкой расчетливости, той энергии, которые помогли ему выйти победителем на недавнем совещании. Уже другим тоном Айда пробормотал:

— Видно, есть у них башковитые ребята.

Некоторое время мы молча курили. В комнате эхом отдавался шум шагов. Шаги приближались, удалялись, пересекались. Людской поток за окнами все еще не иссяк. Шуршали машины, повизгивали электрички.

— На целую голову обскакали, это точно, — сказал я, стряхнув пепел с сигареты. — Но, в сущности, разница небольшая — все равно премия выпадет на одного из миллиона.

Айда вскинул голову, метнул на меня острый взгляд, словно усомнившись в моей искренности.

— Ну и что?! Мы же не просветительная организация! — сказал он резко.

Поднялся, швырнул на пол сигарету, примял ее ботинком. Когда я посмотрел на него, он уже пришел в себя. Спина распрямилась, плечи развернулись.

— Конкуренция!

Слово было холодное, как клинок. Айда уже кипел энергией. На губах блуждала уверенная улыбка.

III

Эффект плаката мы называем «оптическим скандалом». От кричащих красок и огромных букв рекламы кожа людей загрубела и стала толстой, как у слона. Недоверие и усталость сделали их кожу непробиваемой. Вот и попробуй тут чего-нибудь добиться! В то же время люди поразительно чувствительны. Все неприятное рефлекторно отвергается организмом, а привычное не усваивается. Нам приходится бороться с глазами. Глазам, одновременно беспощадным и отупевшим от всяческих раздражителей, необходимо показать нечто из ряда вон выходящее, скандальное.

Ни одна выдумка, возникшая из титанической многолетней работы, не получила таких откликов, как наш новый плакат. Айда каждый день бывал на фабрике пластмассовых изделий и добился такого космического шлема, что лучшего при современном уровне техники и желать было нельзя. Он приказал Кёко надеть его и улыбаться, показывая шербатые зубы. Харукава сделал снимок. Айда создал плакат, противоречащий всем общепринятым нормам рекламы. Во-первых, шербатые зубы. Во-вторых, никому не известная Кёко, которая не была ни звездой, ни красавицей. В-третьих, мальчишескую игрушку демонстрировала девушка. А кроме всего прочего, он без всяких изменений использовал снимок художника-портретиста как рекламный. Это уж совсем шло вразрез с элементарным здравым смыслом. Правда, Айда не поленился подготовить точно такую же фотографию, где вместо Кёко был снят известный молодой актер. Разумеется, все держалось в тайне. Айда постарался застраховаться от нападок членов правления в том случае, если Кёко провалится. Однако второй снимок так и не понадобился, плакат с Кёко мгновенно завоевал ошеломляющую популярность.

Человек испытывает интерес к лицам других людей. Каждое лицо обладает своим драматизмом. Обладает непременно, разница только в степени. Именно поэтому Айда и придерживался мнения, что нужно выбрать такое лицо, характерные особенности которого могут усилить фотография и композиция. В своих поисках он был последовательным. С того самого мгновения, когда Айда увидел через стекло нашей витрины залитую солнцем, улыбающуюся Кёко, он не переставал оценивать ее в трех соотношениях: объектива, композиционного мастерства Харукавы и печати.

— Это лицо будет жить даже при самых досадных промахах типографских ретушеров,— говорил Айда.— Однако если бы не Харукава, ничего бы не получилось. Как бы девчонка ни походила на Каппа, на одной ухмылке далеко не уедешь.

Мы слышали самые различные отзывы о плакате с Кёко, но общим было одно: юность, свежесть, неожиданная естественность выражения и ни с чем не сравнимое обаяние. Это совпадало с тем впечатлением, которое произвела фотоподборка «О, юность!». Люди, увидев Кёко и ее шербатые зубы, прежде чем подумать о вреде карамели, останавливались, пораженные жизненной силой этого лица. Девчонка выбралась из толпы, этой толпе принадлежала ее улыбка, бедность. И еще одна заслуга Айды — он сумел с помощью Кёко убедить людей, что карамель не просто один из видов сладостей, а нечто удивительное, жизненно необходимое, неиссякаемый источник восторга. Новизной зрительного восприятия он воскресил обветшалость вкусового ощущения. Со всех стен кондитерских магазинов, станций, домов, театров, зоопарков на людей смотрело это лицо, полное такого искреннего восторга и удивления, что все невольно начинали улыбаться.

Плакат украсил улицы примерно через месяц после появления подборки «О, юность!». Увидев его, редакторы популярных журналов мод сейчас же вспомнили девушку, разводившую головастиков, и Айде пришлось отвечать на множество телефонных звонков. Вместе с Кёко он обошел редакции. Послушавшись его советов, она разослала около тридцати своих снимков с приложением рекомендаций Харукавы в различные журналы и фотоателье, рекламирующие модели женского платья. Через три недели ей уже не было необходимости служить в фирме. Журналы мод и владельцы демонстрационных залов устроили на нее настоящую облаву. Кёко прекрасно усвоила то выражение лица, которое подскказали ей Айда и Харукава. Оно служило ей как бы эталоном. Позы могли меняться, но сущность оставалась. Успех был непоколебимым. Это

лишний раз подтвердило эффективность нашего плаката. Очевидно, весь секрет в том, насколько глубоко удается проникнуть в подсознание масс. Впрочем, пожалуй, никакого определенного критерия здесь нет. Можно только проанализировать реакцию отдельных людей и идти от частного к общему, потом изучить статистические данные и сделать окончательный вывод о результатах, довериться им.

Айда, не жалея сил, помогал Кёко: еще бы — ее популярность была мощным орудием привлечения людей к нашему плакату. Однако, заключая с ней договор, он поставил довольно жесткие условия: она дала клятву, что не будет служить рекламой не только для конкурирующих, но и вообще ни для каких фирм. Зато она сколько угодно, могла выступать на показе моделей и публиковать свои снимки в журналах. Эти жесткие условия Айда компенсировал достаточно высокой суммой. Когда успех был тысячу раз проверен и перепроверен, лицо и голос Кёко стали работать на нас через любого посредника: по радио, по телевидению, через рекламные листки.

Кёко расспрашалась со своими головастиками и поношенной клетчатой сумкой. Скинув дешевые брюки и стоптанные сандалеты, она любила косточки корсета. Жуя резинку, не вспоминала оберточный автомат. Забыла станционную площадь и жесткие мужские локти в переполненной электричке. Купаясь в лучах юпитеров, она проникала в самое сердце фотообъектива. Ее несла волна вальса, атмосфера была сдобрена тонким ароматом лиризма, из полутьмы зала наплывали расширившиеся женские зрачки, едва слышный шепот, аплодисменты. Кёко появлялась на сцене в маслянисто-поблескивающей реке света, смеялась, вдыхала горячую пыль, несколько раз проходила взад и вперед перед публикой, кивала и исчезала. Ее имя было на устах всех девушек, не достигших двадцати лет. Его повторяли повсюду: в конторах, в кафетериях, в магазинах, в общественных столовых.

В тот вечер, когда она в первый раз выступила на демонстрации моделей женского платья, Айда был занят, и я повел ее ужинать. За кофе Кёко начала болтать. Она делилась своими планами на будущее. Окажется, ей хотелось стать джазовой певицей. Очевидно, джаз был ее давнишней мечтой. Она снова и снова возвращалась к этой теме. Я объяснил ей, что для этого хорошо бы знать английский язык. Кёко решила купить словарь. Выйдя из ресторана, мы отправились в книжный магазин. На полках теснились всевозможные словари, начиная с карманных, которыми пользуются в школах на экзаменах, и кончая огромными оксфордскими, в роскошных кожаных переплетах с золотым тиснением. Я брал по одному, листал их и объяснял Кёко их особенности, называл цену. Она молча смотрела на гору книг, потом подняла совершенно растерянное лицо.

— А какая разница между англо-японским и японо-английским? — спросила она шепотом и взглянула на меня большими, широко раскрытыми глазами.

Ошеломленный, я отложил книгу. Кажется, она действительно не понимала, чем отличаются эти словари.

— Чем же ты занималась в средней школе?! — сказал я, немного придя в себя.

На ее веселом лице вдруг появилось сумрачное выражение.

— А ну их! — Кёко быстро повернулась и вышла из магазина. Я выскочил вслед. Но она уже исчезла. — Наверное, схватила такси.

С глубокой горечью я подумал о темноте того слоя общества, из которого она вышла. Невольно я сыграл дурную роль: дернул ее за ногу, когда она попыталась всплыть на поверхность. Бедная Кёко! Небось вся съезжилась от боли. Я вернулся в книжную лавку и купил карман-

ный словарь для начинающих. К каждому английскому слову, кроме перевода, давалась транскрипция катаканой¹. Потом я пошел в магазин музыкальных инструментов, отобрал комплект пластинок с записью уроков английского языка и попросил продавца завернуть его вместе со словарем и отправить по адресу Кёко.

Как мы и предполагали, в первых числах июня, когда началась распродажа, развернулась настоящая баталия. Газеты захлебывались. Фирмы старались спрятать свои мучительные переживания за ширмой бурного оптимизма. Но на всем этом лежал едва уловимый налет щемящей тоски, какую обычно испытываешь у входа в театр, где идет неудачная пьеса. Перед детьми вдруг открылся мир неба и леса. Отцы и матери, задрав головы, недоверчиво усмехаясь и шурясь, словно им слепило глаза, смотрели на гигантов, состроивших мину добрых благодетелей.

Люди разворачивали газету и натыкались на необузданную фантазию «Самсона». Большая премия — космический скафандр. Первая премия — космический шлем и ружье. Вторая премия — ракета, начиненная карамельками. Третья премия — билет в планетарий или на фильм Диснея, по желанию. В течение распродажи каждый, кто купит коробку карамели, может бесплатно посетить Космическую выставку. Таковы были приманки «Самсона». «Геркулес» не без успеха пошел в контратаку. Карманная обезьянка, ангорский кролик, морская свинка — в таком порядке шли их премии. За коробку карамели — бесплатный билет в детский театр, открытый на время распродажи в зоопарке. В программе — «Доктор Дулитл едет в Африку», «Пчелка Майя», «Книга джунглей» и пр. Шансы обеих фирм были примерно равными: они шагали в ногу, время от времени опережая друг друга и прощупывая слабые места противника.

В сравнении с ними голос «Аполлона» звучал гораздо убедительнее и серьезнее. Эта фирма не заманивала детвору диковинными штучками, а лишь обещала выплачивать стипендию десяти ребятам, которым достанутся премии. Они все организовали очень солидно — был учрежден специальный «Фонд поощрения образования» фирмы «Аполлон» с правами юридического лица. «Фонд» обязывался ежемесячно выплачивать стипендию десяти избранныкам. Мало того, они еще заявили, что это не временная кампания, не какая-нибудь авантюра, а постоянное ежегодное мероприятие, не зависящее от состояния дел фирмы. Узнав эту новость, Айда только скрипнул зубами:

— Лицемеры!..

Они не разукрасили газеты улыбающимися лицами, броскими надписями, восклицательными знаками, а поместили лишь пространное заявление, озаглавленное «Мамам». В этом заявлении они с болезненным отчаянием доказывали, что их мероприятие ни в коей мере не призвано способствовать делу распродажи, что «Аполлон» полон сил и здоровья и стремится лишь распахнуть перед детьми ворота в счастье.

Реакция была знаменательной. Всевозможные женские и религиозные организации, органы просвещения, благотворительные комитеты засыпали редакции газет и журналов восторженными письмами. «Аполлону» пели дифирамбы. А «Самсона» и «Геркулеса» так избили, что живого места не осталось. Домохозяйки усмотрели легкомыслие, грубость, неприлично громкий оптимизм в таких лозунгах, как «Вот это да! До чего же здорово!» или «Все немедленно, скорей, скорей в кондитерский магазин!». Тела двух гигантов покрылись ранами и кровотечениями. «Аполлон» хитро все рассчитал — получил поддержку именно от тех, от кого и надеялся получить. Подлизался не к детям, а к взрослым.

¹ Одна из двух японских азбук.

Ведь дети не пишут писем в газеты. Мы оказались в крайне невыгодном положении.

Однако «Самсон» и «Геркулес», получив тяжкие увечья в самом начале сражения, упорно продолжали борьбу, не обращая внимания на истерические выкрики недоброжелателей. Июньские улицы гудели от голосов, пестрели эмблемами фирм. Я уже не занимался изучением вопроса, я мотался по городу, выполняя поручения отдела рекламы. Космический скафандр со страниц газет взлетел в небо. Над парками и зоологическими садами реяли огромные воздушные шары, с наступлением темноты они начинали светиться изнутри. В центре станционной площади, прямо перед зданием «Самсона», возвышалась статуя. Айда нанял сандвичмена, одел его в космический скафандр и приказал принять позу монумента. Пьедестал был настоящий, каменный. У входов на выставку людей приветствовали путешественники в будущее. Мерцающие дорожки электрореклам прыгали на стенах зданий, по радио звучал ликующий голос Кёко. Машины с образцами премий дежурили у кондитерских магазинов. По воскресеньям вертолеты сбрасывали листовки. Сверкая в лучах солнца, падая на землю, под подошвы прохожих, покрываясь грязью и пылью, Кёко смеялась. Моментально появился ее конкурент: «Геркулес» заманил к себе чемпиона профессионального реслинга. Их скудоумие не знало границ — они додумались представить его в виде своей торговой марки. И атлет — «Питательно, вкусно и укрепляет здоровье» — шествовал по эстраде зеленого театра в кожаных сандалиях и в трусах из леопардовой шкуры. На его ладони вертелась крошечная обезьянка. Чтобы сорвать побольше аплодисментов, он спускался со сцены и прохаживался между рядами, оделяя маленьких зрителей коробками карамелек. Натертый с головы до ног оливковым маслом, он был могуч и сверкал, как бронзовая статуя. При каждом движении у него под кожей играли мускулы. Мне он показался воплощением бессмысленной силы и грубости. Несмотря на учтивые жесты и широкую улыбку, он был неизменно дик. Его гипертрофированное зловоние было так же неприятно, как уродство. В ярких лучах полуденного солнца он выглядел печально и жалко, как раб.

Поглазев на борца и просмотрев спектакль «Доктор Дулитл едет в Африку», я прошелся по территории увеселительного парка. Это были владения «Геркулеса». На скамейках, на досках для объявлений, на киосках, на мусорных урнах — всюду красовалось название «Геркулес» и его торговая марка. Нигде ни одной улыбки Кёко. У всех входов и выходов были выставлены клетки с мелкими зверушками и птицами. Ни дать ни взять — филиал зоопарка! На земле валялись груды пустых коробок из-под карамели. Я поискал, но мне не удалось обнаружить среди них ни одной выброшенной премиальной карточки. Разомлевшие от солнца, перепачканные, запыленные ребяташки озорничали. От их волос пахло нагретой соломой.

Чего только здесь не было! И карусели с деревянными лошаdkами, и аттракцион «Обезьяний остров» (по одноименной сказке), и гигантские шаги, и чертово колесо. Колесо возносило детей вверх к летним облакам. С небес на землю дождем сыпались веселый смех и испуганные взгляды. У горки с лодками я остановился. Дети и взрослые выстроились в длинную очередь. С их лиц струился пот. Две плоскодонки, одна за другой, поднимались на крутую горку и стремглав низвергались в пруд. Каждой управлял специальный человек. Первый был молодым парнем, второй — средних лет. Меня заинтересовал молодой. Уж очень здорово он работал.

Когда лодка плюхалась в воду, парень, ловко орудуя шестом, сейчас же подводил ее к берегу, втягивал на специальную тележку и тащил

на вершину горки. Детвора занимала места, парень наполнял водой два ведра, ставил их на дно, распрямлялся, давал оглушительный свисток — и лодка летела вниз. В это время он наклонялся вперед и лил из ведер воду на рельсы. Сумасшедшая скорость! Ветер свистел, его брюки раздувались и хлопали, как флаг. В то мгновение, когда лодка слетала на воду, парень подпрыгивал, поднимая ведра высоко над головой.

По-видимому, прыжок был необходим, чтобы избежать толчка. Второй проводник тоже прыгал, но как-то вяло, через силу. Едва лодка касалась воды, он устало отталкивался шестом и тут же вел ее к берегу. А у молодого ноги пружинили, как у донского казака. Он прыгал и с ведрами и с шестом. Иногда громко хлопал в ладоши. Даже стучал ногой об ногу. Зрители не поощряли его аплодисментами, но его это нисколько не заботило. Неустанно проделывал он свои трюки.

Рвение молодого парня тронуло меня. Он не был атлетом, на его руках не вздувались бицепсы. Но все его движения отличались точностью и чистотой. Возможно, он знал детей лучше, чем чемпион реслинга, и служил им не по принуждению, а из внутренней потребности. Когда аттракцион кончит свою работу, его напарник, наверно, посмеется над его усердием, над пустой тратой сил. Парень не станет возражать, а на следующий день опять повторит все то же самое. «Метод примитивный, но правильный», — подумал я. Он не получает аплодисментов, но в тайном мире детской памяти, где летят лодки и рассыпаются брызги воды, отведено место и ему. У меня и у Айды, возможно, есть его усердие. Однако я не уверен, что мы расходует свои силы так умело, как он. На нас давит многолетняя усталость — отсюда мое восхищение простотой и ловкостью его действий. Уходя из парка, я понял, что эта мысль прочно засела мне в голову.

Айда все больше и больше изматывался. По утрам, когда он приходил на работу, у него бывало усталое лицо. Под глазами лежали такие же тени, как у Харукавы. Сначала это были тени, незаметно они превратились в синяки, потом — в болезненно воспаленные мешки. Его силы, достигшие своего апогея во время борьбы за Кёко, теперь растрчивались впустую. Он совсем забегался. Некогда было даже придумать кэлесико к очередной модели. Часть дня он проводил на Космической выставке, командуя машиной рекламы, потом отправлялся изучать действия «Аполлона» и «Геркулеса», на ходу придумывая ответные удары. Ему приходилось просматривать все снимки и тексты, обсуждать макеты плакатов, принесенные художниками, а по вечерам смотреть телевизор и слушать радио, чтобы еще лучше учесть и использовать все возможности Кёко. А в приемной с утра до ночи толпились сотрудники отделов рекламы различных газет и журналов, иступленно стараясь запродать нам место на страницах своего печатного органа. С каждым из них Айда на своем осакском диалекте торговался и выторговывал, пускал в ход уговоры и угрозы, прикидывался идиотом. Бессильно откинувшись на спинку кресла, он слушал, как они полульстиво-полуискренне восторгались плакатом с Кёко, расхваливали его, Айды, тонкий вкус и зоркий глаз, но стоило им прервать свой словесный поток, как Айда обдавал их струей холодной воды.

— Я ведь не киношник! — отчеканивал он.

Разумеется, Айда заявлял это уже после окончания ожесточенных споров и заключения сделки. А до этого стоило взглянуть на него, как к горлу подкатывала тошнота — до того он был сладок. Страстно желая выторговать сходную цену, он любезничал всюю, сиял, как солнышко, собирая вокруг глаз лучики морщинок.

— Вот золотые слова! До чего радостно это слышать! — (Похвалы в адрес Кёко.) — Уж как вы меня утешили, и выразить не могу!

Он поднимал свое отяжелевшее от усталости тело и чуть ли не лез обниматься к собеседнику, похлопывал его по плечу, поглаживал по руке. Я сомневалась, что подобный макиавеллизм — самый эффективный метод при заключении деловых соглашений. Однако в данном случае результаты сами за себя говорили: Айда неизменно добивался своего — поразительно дешево покупал место в газете или время на радио. Но я не могу определить, насколько это зависело от его личного мастерства — ведь газеты, журналы и радиокomпании тоже мучились от спада и летнего застоя. Кроме того, крупные телевизионные компании наступали на них и были готовы их проглотить. Поэтому те кровавые слезы, которые они проливали перед Айдой, были в значительной мере искренними. Если бы не эти глубинные течения, Айде, пожалуй, было бы не выкрутиться.

Уставал не только Айда. С началом распродажи авральная работа захватила всю фирму со всеми ее отделениями и фабриками. Сверхурочные часы наползали один на другой. Старички, откровенно признаваясь в безвыходности положения, заключали временное соглашение и выманивали у профсоюзов сверхурочные и ночные часы в пределах, дозволенных трудовым законодательством. На фабриках работницы падали в обморок, бухгалтеры фирмы, как подкошенные, валились на электронно-счетные машины, торговые агенты крутили руль мотороллера не туда, куда надо, и ломали себе ребра. В амбулаториях увеличивалось число мужчин, требующих чего-либо успокоительного, анализы крови вызывали тревогу. Детям виделись сладкие сны, а взрослые из-за этого вовсе лишились сна.

Как-то однажды меня потрясло совершенно незначительное событие. Я возвращался из редакции юношеского журнала, где договаривался о печатании научно-фантастической повести с продолжениями. Перейдя трамвайные пути, я остановился на перекрестке, так как вспыхнул красный свет. Меня одолевала усталость, ноги отяжелели, во рту пересохло, на лбу лежал толстый слой пыли.

Вечерело. Над улицами, смешавшись с испарениями бензина, растилались бледно-синие сумерки. Поток машин казался рекой из стекла и металла. С резким визгом обгоняя друг друга, пронеслись автомобили самых различных образцов и марок. И вдруг на асфальте неизвестно откуда появилась шляпа. Порыв ветра подхватил ее, и она покатила между машинами. Потом остановилась недалеко от меня. Я не мог оторвать от нее глаз. Она казалась мне живым существом, только что родившимся, легким и мягким, излучающим свежесть. Светло-серое пятно на темнеющем асфальте было настолько ярким, что, казалось, вобрало в себя все краски. Но в следующую минуту в нескольких шагах от меня промчалась машина. Колеса безжалостно расплющили шляпу. Внутри у меня что-то оборвалось. Машина исчезла, на месте шляпы остался грязный блин, прилипший к асфальту.

Я огляделся по сторонам. В сумерках все так же торопливо шагали люди. Будто ничего и не случилось. В этой шумной толпе я почувствовал себя словно на необитаемом острове. Я был потрясен. Почему шляпа не закричала и не истекла кровью, когда ее раздавили? Почему на дороге не раздавалось хруста ломающихся костей? Почему машина не затормозила? Почему не примчались полицейские? Ведь случилось нечто ужасное. Меня пронзила боль, мое тело умирало под колесами машины. Я изнемогал. Потом эта боль начала испаряться через поры моей кожи и постепенно растворилась в сумерках. Вечерняя улица была пыльной, жесткой и шумной. Сквозь меня мчались люди, машины, здания, памятники. И тут я понял, насколько глубока моя усталость.

IV

Через некоторое время произошел один инцидент, несколько изменивший ход событий. Правда, он не освободил нас от того груза, который давил нам на плечи. Один из гигантов оставил поле боя. Самый хитрый наш конкурент, «Аполлон», допустил неожиданную оплошность и сейчас же потерпел крах. Он посеял среди масс панику.

Случилось это так. Один школьник, возвратившись домой после загородной прогулки, прилег отдохнуть и заснул. Вечером мать начала его будить и обнаружила, что ребенок потерял сознание. В лице ни кровинки, пересохшие губы закушены. Врач констатировал отравление химическими веществами. После укола мальчик пришел в себя, но не смог подняться с постели: он жаловался на страшную головную боль и слабость. Родители попытались установить, что он ел. В кармане его брюк нашли коробку леденцов фирмы «Аполлон».

С этого все и началось. Врач сам написал письмо в одну из газет. Когда его письмо дошло до редакции, оказалось, что в этот день получено уже несколько таких же жалоб. Симптомы отравления были сходными. Моментально началось расследование. Репортеры, захватив леденцы, помчались в производственный отдел «Аполлона». Сотрудники фирмы, уточнив номер и дату выпуска, схватили машину и сломя голову бросились на фабрику. Сырьем для производства леденцов служат патока, ароматические вещества и безвредный краситель. Главный инженер фабрики проделал тщательный химический анализ всех составных частей. Краситель дал положительную реакцию: в нем содержались ядовитые вещества.

В этот же день вечерние газеты опубликовали заявление «Аполлона», где он приносил свои извинения и прямо признавался в халатности, допущенной при проверке сырья. Ниже приводилась таблица анализа красителя, составленная на основании данных фабричной лаборатории. Я думаю, что за этим последовало ночное совещание членов правления фирмы. На следующее утро они поместили во всех газетах воззвания, предостерегающие население от покупки леденцов «Аполлона» до тех пор, пока вся партия не будет снята с продажи и взамен ее не поступит новая. Грузовики фирмы помчались во все концы, агенты изымали у оптовиков и в розничных магазинах остатки злополучных леденцов, но — увы! — было уже поздно. Начались кошмарные дни. В течение двух недель вторые и четвертые полосы газет вопили, кричали, стонали, корчились в муках, изрыгали проклятия. С фотографий смотрели изможденные лица несчастных жертв. Люди и организации, в свое время певшие дифирамбы фонду образования, неистовствовали больше всех. В детских газетах и женских еженедельниках звучали гневные голоса, бичующие халатность. Матери перешептывались. Владельцы кондитерских магазинов стали раздражительными.

Поняв размеры бедствия, «Аполлон» снова опубликовал заявление, озаглавленное «Мамам». Излагая ход событий с похвальной откровенностью и каясь в своем упущении, фирма торжественно клялась возместить пострадавшим все убытки и призывала вплоть до особой публикации покупателей леденцы других фирм. Во избежание кривотолков из коробки с карамелью изымались премиальные билетки, хотя, как известно, карамель не имеет с леденцами ничего общего. Это было своего рода покаянием. Кроме того, «Аполлон» выразил готовность разделить между пострадавшими всю сумму «Фонда поощрения образования» этого года как дополнительное пособие к возмещению убытков.

В тот вечер, когда в газетах появилось это сообщение, «Аполлон» официально вышел из игры. Неоновые огни погасли, воздушные шары

опустились, по радио и телевидению не передавались объявления, из газет исчезли рекламы. Видя, что обещания «Аполлона» неукоснительно выполняются, Айда скрежетал зубами.

Наши торговые агенты возликовали. Они решили, что основные трудности преодолены, рынок расширился и они снова в полную силу развернут свои боевые действия. Они вдруг оживились, стали приветливыми, в нашем помрачневшем за последнее время помещении зазвучал смех. На еженедельных совещаниях отдела торговые агенты подробно рассказывали о бедственном положении «Аполлона». Передразнивали его агентов, изображая, как они униженно кланяются и просят оптовиков принять у них товар. Эти сообщения шли по инстанциям — от служащего отдела продажи к столоначальнику, от столоначальника к заведующему отделом, потом к руководителю сектора, далее к членам правления и наконец в кабинет директора. Поднимаясь по ступеням лестницы, сообщения становились приглаженней, теряли первоначальную сочность и грубость, но в то же время обрастали подробностями и распухали до неузнаваемости.

Я наблюдал за этим с горечью. Мне претило, что люди упиваются законом пожирания слабого сильным. Ведь всем ясно, что покупатель испытывает полнейшее равнодушие к нашей продукции. Только космический скафандр, карманная обезьянка и деньги на образование еще кое-как поддерживали угасающий интерес детей и матерей. А сейчас, когда надежды на стипендии рухнули, просто невозможно представить, что матери увлекутся космосом или джунглями. Конечно, дети будут кланяться, и матери, уступая им, протянут руки к прилавкам «Самсона» или «Геркулеса». Но воля и желание родителей тут ни при чем. В какой-то мере это будет способствовать распродаже, но настоящего успеха не принесет. Короче говоря, если ребенок не пристанет, то мать ничего и не купит. Фирмы совершенно забыли о той подрывной деятельности, которую они вели в течение нескольких лет, затрачивая огромные средства и все свои силы. До сих пор мы занимались тем, что катастрофически увеличивали число неверующих. Не только «Аполлон» растравил свои раны. «Самсон» и «Геркулес» тоже набросили себе петлю на шею собственными руками. Смешно теперь рассчитывать на успех, исходя только из того, что «Аполлон» потерпел крах. Невозможно пробить стену равнодушия, которую мы сами воздвигли между собой и массами... Вот почему иступленный восторг торговых агентов и вызывал во мне непреодолимое раздражение.

Оставшись один на один на поле боя, «Самсон» и «Геркулес» боролись почти равными средствами. Космический скафандр не обладал живостью зверушек, но прельщал своей новизной. Детский театр хоть и не был так разрекламирован газетами, как Космическая выставка, но пользовался большой популярностью у детей, проводивших летние каникулы в городе. В противовес нашему сотрудничеству с прессой «Геркулес» вступил в тесный контакт с педагогами и родительскими комитетами. Кёко очаровывала взрослых, чемпион реслинга был любимцем детворы. Если в журналах появлялась научно-фантастическая повесть, «Геркулес» отвечал повестью о путешествии по джунглям. После премьеры фильма Диснея сейчас же появился документальный фильм о джунглях Африки.

В области продажи тоже развернулась жестокая и беспощадная борьба. Товар поступает от предпринимателя к оптовикам, от оптовиков к мелким торговцам. Следовательно, посредникам надо держать в руках оптовиков, а оптовикам — мелких торговцев. Для мелких торговцев учредили ту же премиальную систему, что и для детей. «Самсон» и «Геркулес», соревнуясь между собой, выплачивали им во время распродажи

процентные надбавки к прибыли и шли на всевозможные уступки. В каждую коробку, содержащую десять дюжин пакетиков с карамелью, вкладывали специальный талончик. Он засчитывался за магазином как денежный доход и, кроме того, давал право на участие в лотерее с выигрышем от одной до ста тысяч иен. Торговые агенты не знали покоя ни днем, ни ночью, мыкались по городу, молили и вымаливали. Не удовлетворившись повышением процента прибыли, всевозможными уступками и премиями, они пригласили всех оптовиков и мелких торговцев на горячие источники. «Самсон» ринулся на Хоккайдо, а «Геркулес» безумствовал в Атами. Лилось вино, плясали женщины.

Однако, несмотря на это внешнее оживление, в первых числах августа поползли тревожные слухи. Началось банкротство мелких и средних предпринимателей кондитерских изделий. Им было не под силу выплачивать премиальные, увеличивать долю прибыли, приглашать на курорты оптовиков. А товар одинаковый — та же самая карамель, что у мелких предпринимателей, что у крупных. Оптовики прекратили с ними все торговые сделки, сославшись на затоваривание. Те, загнанные в тупик, предлагали им свою продукцию по цене ниже стоимости, мечтая хотя бы один ящик карамели превратить в наличные деньги. В период летнего застоя денежные трудности были велики. И несчастные, только-только успевшие пошире раскрыть рот, чтобы набрать воздуха, пошли ко дну. Как только один из них сбил цену, слух об этом распространился с быстротой молнии, и оптовики растоптали всех средних и мелких предпринимателей. Катастрофическое падение цен, словно степной пожар, охватило всю страну, за ним последовали разорение и банкротство. Просматривая газеты, мы встречали в разделе «Самоубийства» имена владельцев мелких кондитерских фабрик. Это была трагедия, разыгравшаяся на рынке с ограниченными возможностями сбыта и мелким дном. Игра в позиционную войну на замкнутом полигоне. Иными словами, космический шлем сдавил им горло, карманная обезьянка вонзила свои острые зубы в их артерии.

Торговые агенты больше не аплодировали. Правда, оптовиков все еще приглашали на курорты, обещая диковинные развлечения, но все это уже походило на сумасшедший танец кошки, ненароком попавшей на раскаленную плиту. Вино стало горьким, неистовый разгул напоминал пир во время чумы. Стенные шкафы магазинов ломались от банок, коробок, пакетов; полы оптовых складов исчезли под горами товаров. Появились первые признаки падения цен на продукцию крупных предприятий. Кое-где мелкие лавочники, страстно жаждая наличных денег, начали продавать карамель «Самсона» и «Геркулеса» за полцены, прилагая в качестве премии другие изделия. Этим они не ограничились. Они вскрыли ящики, мертвым грузом лежавшие на складах, вытащили все премиальные карточки и бросили их в качестве приманки несовершеннолетним покупателям. Это был снежный обвал. Лавина, сорвавшись с вершины горы, уже не могла остановиться. На все мольбы и угрозы торговых агентов владельцы магазинов молчали или поднимали ужасный крик. Страшно было то, что их поступки обуславливались не желанием восстановить растаявший капитал, а необходимостью кое-как добывать средства существования.

Предпринимателям и оптовикам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству — ведь если оставить гнойную опухоль, она разрастется и отравит весь организм. Пожалуй, это был единственный вопрос, в решении которого «Самсон» и «Геркулес» полностью поддерживали друг друга. Представители фирм пригласили в отель крупных оптовиков и владельцев больших магазинов и заявили, что в дальнейшем будут прекращены все деловые операции с торговцами, производящими

продажу по сниженным ценам. А чтобы избежать нежелательной реакции, объявили о продлении срока уплаты по векселям — от сорока до восьмидесяти дней. Кроме того, была предложена временная дотация тем магазинам, дела которых полностью пришли в упадок.

За официальной частью последовал обед. Зал наполнился ароматом холодного ликера. Но зеркала и бокалы быстро помутнели от дыхания множества людей, в воздухе шелестел тревожный шепоток. И лишь по временам звучал нарочито громкий смех торговых агентов.

Реклама все так же весело зазывала публику. Но в противоположность ей сообщения, поступавшие из филиалов фирмы, разбросанных во всех уголках страны, с каждым днем делались все более пессимистическими. Сравнивая данные, поступающие с фабрик и из отдела сбыта, Айда даже и не пытался скрыть боли и муки. Круги под его глазами стали еще темнее, тени легли и на щеки. Он нервно ходил по отделу, серебряные, некогда тщательно подстриженные волосы отросли и уныло свисали на лоб. Айда безжалостно ломал крылья реактивных самолетов. Он молчал, но всем было ясно, что старик делает невероятные усилия, пытаясь противостоять гнету собственного отчаяния. И все-таки он до конца боролся за иллюзию. Захлебывался ядом цифр и все-таки боролся. Айда каждый день отправлялся на выставку, суетился, давал мелкие указания. Ни августовское солнце, ни пыль, ни плавящийся асфальт на него не действовали. Он продолжал сеять иллюзию на знойных, залитых слепящим светом улицах. А я, следуя его примеру, погружался в усовершенствование деталей этой иллюзии. Мыкался по редакциям, торчал на радио и телевидении, обивал пороги писателей и физиков.

Но в один прекрасный день «Самсон» получил удар в самое сердце. Фирма «Мурата сётен» выдала векселя, которые не принимались к учету. Эта фирма со дня своего основания была в тесной дружбе с «Самсоном». Когда нам случалось попадать в затруднительное положение, каждый раз «Мурата сётен» протягивала руку помощи. Эта фирма была неколебима и почти монополюсно владела правом продажи продукции «Самсона». Наши дружеские отношения, взаимное представление капитала, обмен служащими снискали добрую славу в деловом мире.

Слухи о застое в делах «Мурата сётен» носились уже давно, но мы к этому привыкли и не обращали внимания. Вообще отдел рекламы таких вопросов не касается, ими занимается отдел управления предприятием. Но когда «Мурата сётен» объявила о задолженности в двести миллионов иен и о выдаче неучитываемых векселей на общую сумму двадцать миллионов иен, по всему великолепному зданию «Самсона», сверху донизу, прошла судорога. Эта весть помчалась от стола к столу, растекаясь по лестницам, хлынула в окна, в двери, в замочные скважины и затопила все комнаты. Люди горбились, словно получили удар в желудок. Собирались группами, перешептывались. Говорили, что «Мурата сётен» потерпела крушение из-за спекулятивных капиталовложений в производство консервов и фруктовых соков, а затоваривание продукцией «Самсона» тут ни при чем. Эта, в общем, очень правдоподобная информация вышла из кабинета одного из членов правления и, выждав немного, пошла блуждать по всем этажам вслед за первой вестью. Однако служащие, полные сомнений, встретили ее с кислыми минами. Вкусив горькое удовлетворение от оправданного предчувствия, вволю поспорив, они наконец поплелись тяжелой поступью к своим столам, таща за собой груз молчания.

В этот день мы с Айдой знакомимся с детским театром «Геркулеса». Вернулись на работу поздно вечером. У входа нам встретился торговый агент, который сейчас же подробно рассказал о положении дел. Айда пошел прямо в кабинет членов правления. Там горел яркий свет,

за дверью громко спорили. Я ждал в нашем отделе. Айда вернулся быстро. Его усталое тело, словно мешок, плюхнулось на стул. Он коротко рассказал, что решено установить непосредственный контакт с оптовиками, находившимися под крылышком «Мурата сётен», а задолженность этой фирмы взять на себя, откомандировав одного из членов правления для контроля за ведением дел.

— В конце концов из-за чего же все произошло? Из-за консервов или из-за карамели?

Сделав вид, что не расслышал моего вопроса, Айда начал приводить в порядок свой стол. Он брал бумаги одну за другой. Крутил их в руках, рвал, комкал. Дышал он неровно, его тощие плечи вздрагивали. Потом вдруг глянул в окно, распрямился, глаза его блеснули. Оставив надорванную бумагу, он поднялся со стула, высунулся в окно и посмотрел на ночное небо.

— Безобразие! Огни-то не горят!

Я подошел поближе. Над крышей плавал надувной резиновый космонавт — наша ночная реклама. Он колыхался в темном небе, словно ограмная медуза. Айда быстро повернулся и своей обычной торопливой походкой пошел к столу с телефоном, бормоча на ходу номер осветительной фирмы. Я глядел ему в спину: довольно жалкое впечатление — один-единешенек на поле боя.

Через несколько дней Айда позвонил в Дом моделей и вызвал Кёко. Она приехала на машине редакции журнала. Под мышкой у нее была кипа нот. Из-за крайней занятости я давно с ней не виделся. Теперь она появлялась у нас всего два раза в неделю, когда выступала по телевидению в коммерческом обозрении «Самсона». В период подготовки плаката ее много раз фотографировали для журнальных реклам, а для радиопередач записали голос на пленку, так что теперь она была относительно свободна. Айда сам позаботился об этом. Ему не хотелось ее связывать — пусть завоевывает популярность, это нам на руку. Таким образом, Кёко получила широкую возможность выступать в качестве манекенщицы. Соблюдая наш договор, она не соглашалась сниматься для реклам других фирм, но зато как манекенщица уже завоевала одно из первых мест. Ее имя можно было встретить в любом объявлении о демонстрации моделей женского платья. Журналы мод, различные еженедельники, фото- и иллюстрированные журналы щедро предоставляли свои страницы и обложки для ее улыбки. Щербатые зубы Кёко продолжали вызывать восторг. Она считалась молодым талантом, обладающим редкими внешними данными. Среди модельеров некоторые даже говорили: «Такое лицо — одно на двадцать миллионов».

Как обычно, свидание состоялось в кафетерии, на первом этаже нашего здания. За два-три месяца Кёко совершенно изменилась. Прежней осталась только привычка тянуть фруктовый сок через соломинку, вставленную между щербатыми зубами. В остальном она стала неузнаваемой — маникюр, подведенные глаза, тонкий, матово поблескивающий слой какого-то косметического крема, скрывающего пушок на щеках. От образа девчонки, которая, ошáлев от радости, захотела съесть лепешку под соевым соусом, не осталось и следа. Ее плечи пополнили, в движениях появилась своеобразная грация, но кожа огрубела и загорела от постоянного воздействия юпитеров.

Айда потягивал кофе и расспрашивал Кёко о ее последних успехах. Потом перешел к делу. Объяснил, что близится розыгрыш премии, поэтому фирме необходимо увеличить сбыт своей продукции. Было бы хорошо, если бы она согласилась раздавать карамель на Космической выставке. Это увеличило бы наши шансы в борьбе с «Геркулесом».

— При этом есть еще одно особое условие.— Айда отодвинул чаш-

ку и подался вперед.— Тебе придется надеть космический скафандр. То есть ты должна появиться на выставке точно в таком же виде, как на плакатах и на экранах телевизоров.

Айда откинулся на спинку стула, на его усталом лице появилась ласковая улыбка. Опустив глаза, Кёко молчала. Потом глубоко вздохнула, повела плечами. Взглянула на Айду:

— А какой срок?

Ничего не замечая, он поднял обе руки, растопырил пальцы:

— Десять дней.

И тут же, рассмеявшись, опустил одну руку.

— Да нет — пять! Пяти дней достаточно. Я понимаю, что забирать тебя на десять дней нельзя. Журналу будет трудно, да и тебе тоже. Так что всего пять дней. Поддержи фирму. С десяти утра до четырех дня. Разумеется, в перерывах — хороший отдых.

— Даже и не знаю, как быть... — тихо, но решительно сказала Кёко.— Для журналов можно, конечно, сниматься и ночью. Но вот записать на пластинки... Ведь если устанешь, голос садится.

— Голос?! — Айда подскочил, как ужаленный.

Кёко кивнула, пошарила под столом, взяла с полочки ноты. Оказывает, она каждый день упражняется в студии звукозаписи. Фирма музыкальных инструментов предложила ей попробовать свои силы в качестве исполнительницы джазовых песен. Айда ежедневно видел Кёко на экране телевизора, но ему и во сне не снилось, что она сделала такие ошеломляющие успехи. Он даже застонал, поняв свою оплошность, но было уже поздно. Когда он затем пошел в контрнаступление, ссылаясь на исключительное право фирмы, Кёко посмотрела ему прямо в глаза и начала перечислять все пункты договора: да, она обещала выступать по радио и телевидению, сниматься для газет и журналов, но работать сэндвичменом — такого условия она не помнит. Мы и не предвидели такого удара, но она была права. Абсолютно права с точки зрения бизнеса. На Айду жалко было смотреть — до того он разнервничался. Он возобновил атаку, взывал к ее человеческим чувствам, напоминал о труде людей, открывших ей дорогу в жизнь. Кёко внимательно слушала, отвечала на каждое слово ласковым взглядом и молчала. Молчала — и все. Эта девушка обладала твердостью закрывшейся раковины.

— Ну, ладно! — Айда, сдерживая раздражение, легонько стукнул ладонью по столу.— Я не буду больше говорить об исключительном праве. Мы и договор расторгнем, как только кончится Космическая выставка. Но прошу тебя, ты уж постарайся, сделай это для нас. Только пять дней. Джаз от тебя никуда не уйдет.— Он замолчал, а потом пробормотал едва слышно: — Мне сейчас очень трудно. Сколько ты хочешь? Гонорар будет особый.

Айда скрестил руки, уперся локтями в стол. Уныло опустив глаза, он ждал ответа. Кёко, сбита с толку, смотрела на него, как на какую-то диковинку. Но вот она вытащила из сумки маленький блокнот, решительно написала цифру и тихонько пододвинула блокнот к Айде. Айда взглянул и гневно сверкнул глазами:

— Подучили!

Словно разделяя его боль, Кёко отвела глаза и ничего не сказала. Айда медленно разорвал блокнот, скомкал и бросил на пол. Яркие лучи солнца падали на его закушенные дрожащие губы.

Я встал. Вышел на площадь, подышал воздухом. Вернулся, направился в туалет. Когда я мыл руки, за перегородкой послышался тяжелый вздох. Выходя, я увидел Кёко. Она стояла, прислонившись к умывальнику, почти касаясь лбом зеркала. Бледная, с закрытыми глазами, близкая к обмороку. Ее шея с загрубевшей кожей обрела четкие ли-

нии — передо мной была взрослая женщина. Я прошел мимо, а Кёко стояла все так же неподвижно.

...В этот день я не выходил на улицу. Бродить по городу было незачем. Все кончилось. Расположившись у окна на втором этаже, я с усердием выполнял мою последнюю работу. Стол утопал под грудой обломков крушения. справочные материалы, детские журналы. Космический скафандр. Съездившаяся карманная обезьянка. Флаги всех стран мира, реющие над Космической выставкой. Я рвал и бросал газеты, фотографии, все, что попадалось под руку. Солнце страшно пекло, но ветер был прохладным. Иногда из окна долетал запах пыли. Но работать можно было спокойно, лицо не покрывалось потом.

Когда стрелка часов переползла за цифру пять, моим рукам больше нечего было делать. На площади плескался унылый прилив. От непрестанного топота сотен ног дрожали стены и звенели стекла. Машина крутится, подумал я. Она не переставала крутиться на грудах развалин, в ярком свете дня, бросавшем зеленые отблески на стены комнаты. И я за своим рабочим столом лепил фигурки детей, Айда создавал из них иллюзию. Благодаря этому девушка улыбалась, ротор стучал, физики думали. Матери утрачивали надежды, мелкие предприниматели кончали с собой, оптовики терпели банкротство. Кёко пошла, а карамель — нет. Где-то в полумраке, в городах и деревнях сладкий запах начал отдавать гнилью. Куда исчезли вложенные в это мероприятие тридцать миллионов иен и труд тысяч людей, работавших день и ночь? Неужели единственное, что нам удалось — оставить в смутном сознании детей блеклый, расплывчатый образ?..

Меня охватило ощущение чудовишной ненужности всего происходящего. Я сел на подоконник, закурил сигарету. Послышались шаги, я обернулся. На пороге стоял Айда. Взглянув на меня, он слегка усмехнулся, но ничего не сказал. Вошел в комнату. Нет, он был не пьяный и даже не очень усталый. Айда бросил на стол полотняный пиджак, снял брюки и остался в трусах и рубашке. Он открыл стеклянный шкаф. В ярком электрическом свете я увидел предмет, блеснувший в руках Айды. Меня передернуло. А он уже натянул серебряные штаны и застегивал куртку с ярко-красной эмблемой «Самсона» на груди. Он сказал:

— Здорово, а? Как раз по мне!

Надел на голову пластмассовый шлем.

— Вот так я и буду ходить! — весело загудел он из-под шлема. Айда несколько раз щелкнул по антенне и прошелся по комнате.

Я поднялся и вышел в коридор. До меня долетел его громкий голос. Айда звонил на метеостанцию, справлялся о завтрашней погоде. Когда я спускался по лестнице, из нашей комнаты послышался печальный смех. Шагая в темноте, я подумал, что за последнее время моя энергия по-настоящему сконцентрировалась один только раз. Ну и пусть один раз. Хоть маленькая, но вершина. Это было, когда я увидел посреди мостовой расплюснутую шляпу. Тогда мне захотелось броситься под колеса. Чтобы услышать свой собственный крик и хруст раздробленных костей черепа.

Пройдя вдоль умерших каменных стен, я смешался с толпой, плескавшейся в сумраке прокисшей августовской ночи.

Перевел с японского З. Рахим.



О Ч И Е Р К И И Н А Ш И И Х Д Н Е Й

ВЛАДИМИР СОРОКИН

★

ЗА ВОЛНАМИ—КРАЙ СВЕТА

«Мыс Край Света находится в 4 милях к SO от мыса Шикотан и выступает в море в северо-восточном направлении...»

(«Лоция Охотского моря»)

1

Детские годы я мечтал, как и все мальчишки, о путешествиях в дальние страны. И особенно загадочной и манящей была для меня тонкая цепочка островов, протянувшихся на карте от Камчатки до Японии. Мои детские мечты так и остались бы воспоминанием тех лет, если б не случай. В 1956 году я стал работать на Дальнем Востоке, а год спустя по заданию редакции отправился на Курильские острова. Почти два месяца бродил я там. Впрочем, слово «бродить» будет не вполне точным: чтобы попасть с китокombината «Скалистый», расположенного на острове Симушир, в районный центр — город Курильск на острове Итуруп, — мне пришлось полтора дня плыть по морю. И все же глагол «бродить» позволяет наиболее полно выразить состояние постоянного перемещения, многочисленных встреч, интересных знакомств с теми, кто населяет этот край Советской страны.

Уже в конце моей поездки по островам, на Кунашире, я впервые услышал о сайре. Случилось это так. Почти неделю я жил в поселке Головинно на берегу залива Измены. Все дела были закончены, и я буквально «сидел у моря и ждал погоды». Чтобы перебраться с острова на материк, надо сначала было попасть в Южно-Курильск — там встают на рейде пассажирские суда и там находится аэродром, с которого стартуют самолеты на Сахалин. Попасть же в Южно-Курильск можно только морем — на небольшом катере-«жучке», принадлежавшем рыболовецкому кооперативу. Этот катерок делал регулярные рейсы, перевозя из Головинно (точнее, от расположенного близ него совхоза «Дальний») в Южно-Курильск овощи и молоко, а на обратном пути — промышленные товары для жителей южных поселков и строительные материалы. Хотя погода, на мой взгляд, стояла отличная — солнце, легкий ветерок и тишина такая, что через узкий пролив с берега японского острова Хоккайдо доносились гудки паровозов, — работники порта не давали команде «добро» на выход в рейс.

— Это здесь, в заливе, тихо, — говорили они. — А попробуйте-ка выйти в океан! После недавнего шторма там гуляет такая зыбь, что вашему «жучку» как раз угодить к Нептуну на именины. Не случайно говорят о нашем океане: «Что он Великий — то он великий, а что он Тихий — то люди брешут!» Нет уж, лучше положим еще денек.

Муки ожидания вместе со мною делил работник сахалинской областной конторы

кинопроката. Он долго не хотел говорить мне о цели своей командировки на остров Кунашир. Потом признался:

— В обком партии поступила жалоба на плохое кинообслуживание жителей поселков Головинно и Петрово. Сами видите, как трудно доставлять туда новинки. У головнинского киномеханика осталось два фильма: «Алитет уходит в горы» и еще какой-то. Прокрутил он их раз, другой, третий, а новых из-за штормовой погоды не подвозят. Финансовый план выполнять надо. Вот он и повесил афишу: «Алитет возвращается с гор. Вторая серия», и давай крутить ленту с конца. Возмущенный зал потребовал механика к ответу. Тот почувствовал, что дело добром не кончится, бросил будку и спрятался. Зрители пошумели, пошумели, да и стали звать механика: любопытно все же, что получится... Говорят, посмеялись досыта. Но в область, однако, пожаловались...

Мы сидели на берегу небольшой речонки Каменки, протекавшей между поселками Петрово и Головинно. Мой собеседник обратил внимание на ребят, бродивших у самого устья речки. Один из них, вихрастый мальчуган в полинялой клетчатой рубашке, вдруг резко наклонился, словно собирался нырнуть, а когда распрямился, в его руках трепыхалась большая серебристая рыба.

— Браконьерствуют, чертенята,— проворчал кинопрокатчик.— Сейчас кета идет на нерест. Вот они ее и ловят. Ну и задам же я им!..

Когда мы подошли к ребятишкам, они уже распоролы рыбине брюхо и с наслаждением ели ярко-оранжевую, крупную, как горох, икру. Кинопрокатчик стал что-то выговаривать ребятам, а я спросил вихрастого мальчишку:

— Вы что, так без соли и едите икру?

— А зачем соль? — хмыкнул паренек.— Рыба-то ведь только из моря, еще соленая...

Он ополоснул в речке липкие от икры руки и, не обращая внимания на ораторствовавшего кинопрокатчика, позвал приятелей:

— Айда, ребята, в шлюпку. Вон «Нежин» подходит. Может, разживемся у них сайры, испечем на костре...

Глядя, как дружно работают гребцы, направляя шлюпку к встававшему на якорь траулера, я подумал, что для этих ребят море — дом родной.

— Сейчас на Сахалине много говорят о сайре,— заметил кинопрокатчик, несколько оправившийся от неудачи на воспитательном фронте,— а я ни разу не видел, что это за рыба.

Я тоже откровенно признался, что впервые услышал о сайре, хотя на Дальнем Востоке живу уже больше года.

Теперь это может показаться странным: советские консервы из сайры получили большую популярность на внутреннем и международном рынке, о ходе промысла сайры регулярно пишут дальневосточные газеты, вышло в свет несколько брошюр, рассказывающих о биологии сайры, о методах лова, транспортировке и обработке ее. Но тогда, шесть лет назад, о ней знали, пожалуй, лишь ученые да некоторые дальневосточные рыбодобытчики.

— А не махнуть ли и нам вслед за ребятами на «Нежин»? — предложил я.

Предложение было принято. Работники береговой рыбообработывающей базы охотно дали нам вельбот, и через полчаса мы уже поднимались на борт траулера. Здесь снова произошла встреча с юными островитянами. Вихрастый нес большой проволочный кукан, на который была нанизана серебристая сайра.

Гостеприимный штурман «Нежина» Олег Шиманский пригласил нас в кают-компанию к ужину, и на стол была подана жареная сайра, оказавшаяся необыкновенно нежной и жирной, напоминающей по вкусу нечто среднее между свежей сельдкой и скумбрией. Он попросил кока принести для нас соленой и копченой сайры. Соленая сайра не произвела особого впечатления (жирная сахалинская сельдь все-таки вкуснее), но и самый взыскательный гурман оценил бы достоинства сайры холодного копчения.

После ужина мы перешли в каюту штурмана, и я спросил:

— Как же это получилось, что о такой чудесной рыбе до сих пор по существу никто ничего не знает? Что — она совсем недавно появилась в наших водах?

— Нет, это далеко не так,— возразил Шиманский.— Наши соседи японцы промышленности сайру с незапамятных времен. Дело тут значительно сложнее...

И вот что он рассказал в тот вечер.

У Южных Курильских островов сталкиваются два основных течения западной части Тихого океана — теплое Куроисио и холодное Оясио. Резкие контрасты температур воды способствуют активному развитию биологической среды — планктона и фитопланктона, основной пищи многих рыб. Возле этих естественных «кормушек» и скапливаются косяки сайры в летне-осенний период. Держась возле стыка холодных и теплых вод, рыба мигрирует в июне — августе на север. Это так называемые кормовые миграции. В конце августа — октябре сайра уже движется на юг, к местам нерестилищ и зимовок.

Как известно, до пятидесятых годов на Дальнем Востоке главное место занимал так называемый «пассивный» метод рыбного промысла. Что это значит? Во время подхода рыбы на нерест — сельди, лососевых, мойвы, иваси — рыбаки устанавливали вдоль берега ставные невода. Подойдет рыба — отлично! Не подойдет — значит, не рыбацкая судьба ее выловить. Навагу и красноперку добывали венгерями. В прибрежных водах тралили камбалу, треску, морского окуня. Вот что такое пассивный лов. Пассивными орудиями лова подвижную сайру, которая держится порой далеко от берегов, не поймаешь.

В послевоенные годы рыбная промышленность Дальнего Востока стала быстро пополняться современными крупными промысловыми судами — океанскими сейнерами, средними рыболовными траулерами, а позднее траулерами с рефрижераторными установками и большими морозильными траулерами, представляющими из себя замечательное сочетание промыслового судна с плавучим рыбоперерабатывающим заводом. Страна дала рыбакам рефрижераторы-морозильщики, транспортные рефрижераторные суда, плавучие рыбообработывающие и рыбоконсервные заводы.

С такой техникой уже можно было выходить на просторы Тихого океана. Не сидеть на берегу и ждать подхода рыбы, а идти туда, где она может быть, ловить ее и обрабатывать прямо в море. Организация активного морского рыболовства по существу произвела революцию в рыбной промышленности страны. За короткий срок рыбаки освоили несколько новых рыбопромысловых районов. Экспедиции судов отправляются теперь на лов жиряющей сельди к охотскому и камчатскому побережьям, ловят на богатейших банках камбалу в Беринговом море, восточнее островов Прибылова. Кроме камбалы, здесь обнаружены и скопления сельди, крабов, креветок, морского окуня, угольной рыбы. Настало время освоения южных морей и прибрежных районов Курильской гряды. Настало время освоения и промысла сайры.

— Как видите,— продолжал Олег Шиманский,— дело не в том, что кто-то не знал или не хотел ловить сайру. Всякое большое начинание требует тщательной подготовки. А в организации массового промысла сайры еще много неясного. Мы знаем, что летом и осенью косяки сайры мигрируют в районе Южных Курил. А насколько удалены эти миграционные пути от берегов островов Шикотан, Кунашир, Итуруп? Целесообразно ли создавать на этих островах рыбообработывающие базы или же необходимы только плавучие рыбоконсервные заводы? Вот видите, сколько вопросов возникает сразу. Чтобы быстрее разрешить их, Приморское и Сахалинское управления рыбной промышленности и направили в этом году в район Южных Курильских островов группу судов перспективной разведки, опытных рыбодобытчиков, технологов, специалистов по промысловому снаряжению. В составе этой группы и наш траулер «Нежин». Знаете, словами тут ничего не расскажешь. Это надо видеть. Пойдемте с нами на лов. Вот денька через два закончим небольшой ремонт двигателя — и в море. Ну как, идет?!

Предложение было весьма заманчиво, но я вспомнил, что срок командировки у меня давно уже закончился, что послезавтра утром на рейде Южно-Курильской бухты будет стоять пассажирский теплоход «Норильск», которым можно воспользоваться в случае нелетней погоды, и — хочешь не хочешь — вынужден был отказаться.

Когда мы уже спустились в вельбот, я помахал Шиманскому рукой и крикнул:
— А на лове сайры я еще побываю. Даю слово!

2

Сдержал свое слово я только через шесть лет. Получилось как-то так, что каждое лето и осень неожиданно всплывали иные неотложные дела и ехать на Курилы было еще или слишком рано, или уже слишком поздно. Правда, года полтора назад мне удалось увидеть и залив Измены, где я впервые встретился с разведчиками сайры, и остров Шикотан, где, как я знал, теперь находится главная база ежегодных сайровых экспедиций. Увидеть, но не «пощупать», потому что над этими местами я пролетал на самолете полярной авиации, обследовавшей ледовый режим западной части Тихого океана. Но задачи этого полета были далеки от проблем лова сайры...

И вот наконец твердо решил: еду!

Перед отъездом я побывал у ныне покойного начальника Главного управления рыбной промышленности Дальнего Востока Ш. Г. Надибаидзе — одного из старейших работников дальневосточной рыбной промышленности и одного из главных инициаторов организации промысла сайры в районе Южных Курильских островов. Он познакомил меня с материалами относительно лова сайры за последние пять лет.

Вот что я почерпнул из этих материалов.

После того как были изучены и проанализированы результаты работы судов перспективной разведки, участие в которой принимал и траулер «Нежин», в 1958 году у Южных Курил была организована первая сайровая экспедиция. Ее итоги были более чем скромные: суда добыли 3300 центнеров сайры — меньше, чем сейчас в среднем вылавливает за путину один океанский сейнер. Из этой рыбы было выработано 227 тысяч банок консервов. На широкий рынок они, конечно, не попали: консервы проверялись на длительность хранения, на изменение вкусовых качеств при разных технологических режимах изготовления.

Год спустя — а это был первый год семилетки — на лов сайры вышло уже тридцать промысловых судов — четырнадцать средних траулеров и шестнадцать океанских сейнеров. Промысел они вели главным образом в сентябре и октябре и добыли двадцать восемь с половиной тысяч центнеров рыбы. Страна получила около шести миллионов банок консервов. Это был уже заметный шаг вперед.

И все же промысел 1958 и 1959 годов по-прежнему следует считать своего рода «разведывательным». Чтобы резко увеличить добычу рыбы и изготовление из нее консервов, надо было создавать в районе промысла мощные приемные и перерабатывающие базы, холодильные хозяйства, строить жилье для сезонной рабочей силы, строить склады, пирсы, базы хранения нефтепродуктов, обеспечить снабжение судов водой, топливом, промысловым снаряжением.

Выгодно ли все это? Где лучше создавать главную базу сайрового промысла?

Расчеты показали, что выгодно, что затраты на создание береговых баз в короткое время окупятся. Опыт «разведывательного» промысла говорил о том, что береговые базы следует создавать на острове Шикотан, который находится ближе всего к путям миграции сайры и имеет удобные, закрытые бухты.

В конце 1959 года было принято решение о строительстве баз. Приморцы избрали для своей базы бухту Малокурильскую, сахалинцы — находящуюся недалеко от нее бухту Крабовую.

В июле 1960 года на промысел сайры вышло уже семьдесят судов. Из их улова изготовили двадцать два с половиной миллиона банок консервов. Год спустя в промысле участвовало сто сорок, а в 1962 году сто шестьдесят три судна. Соответственно увеличивался и вылов сайры, приближавшийся в 1962 году уже к полумиллиону центнеров.

Эти цифры весьма любопытны. Ведь по сравнению с 1961 годом количество промысловых судов увеличилось лишь на двадцать три единицы, или на 16,5 процента, а общий рост вылова стал за тот же год больше на 85,5 процента! Главная причина — возросшее мастерство дальневосточных рыбаков.

Но нередко от рыбаков можно слышать:

— Поймать сайру — дело не столь уж хитрое. Вот сдать ее на базу значительно труднее.

Берег и море — проблема не новая, пожалуй, даже чересчур не новая, чтобы не замечать ее.

Рыба, к сожалению, не ходит по расписанию, как ходят поезда. В иные дни уловы настолько велики, что береговые базы не в состоянии принять всю рыбу и переработать ее. Тогда происходит то, чему трудно найти оправдание: часть улова выбрасывается за борт, «сдается Нептуну», как горько шутят моряки. Но бывает и другое: из-за штормовой погоды промысловые суда по несколько суток не выходят на лов, отстаиваются в бухтах или штормуют в океане. Да и в хорошую погоду иногда случаются «проловы» — суда подолгу не могут найти косяки рыбы. Вот тогда уже начинается «шуметь» берег: простаивают линии обработки рыбы, срывается план выпуска готовой продукции, на предприятиях объявляются «санитарные дни», резко падают заработки рабочих, заводы терпят убытки.

Нужно искать и выход из этих противоречий.

Есть два пути. Прежде всего нужно создавать в районах промысла мощные холодильные хозяйства. В дни удачного лова, когда перерабатывающие предприятия не в состоянии принять с судов всю рыбу, холодильники могут взять ее на хранение. Так будет создаваться резерв на то время, когда суда не находят косяков рыбы или штормовая погода не позволяет им выходить на промысел.

Казалось бы, все это чрезвычайно просто. Но строительство холодильников на Дальнем Востоке идет очень медленно. В летнее время в рыбных портах Владивостока и Находки нередко десятки транспортных рефрижераторных судов неделями стоят на рейде, ожидая очереди для разгрузки. Холодильники не могут принять всю рыбу, так как их емкости уже забиты рыбой и мясом, которое, кстати, надо погрузить порою на эти же самые рефрижераторные суда, чтобы отправить в район промысла рыбакам.

Руководители рыбных портов на чем свет стоит клянут железную дорогу, которая нерегулярно подает рефрижераторные составы для отгрузки рыбы в глубинные районы страны. А вагоны-рефрижераторы в это время стоят на запасных путях и тоже ждут очереди для разгрузки мяса в эти же самые холодильники. Так образуется заколдованный круг.

Строительство мощных холодильников в рыбных портах, в районах промысла — задача первостепенная. Затраты на это строительство немедленно окупятся — резко увеличится добыча рыбы, устранившись сами собой многие «непроизводительные» затраты на рыбоперерабатывающих предприятиях, улучшится снабжение населения страны продуктами питания.

Есть и другой путь, вовсе не исключаящий первый: строя береговые предприятия, значительно увеличивать и число плавучих заводов. Шаги в этом направлении сделаны. Главк «Дальрыба» уже несколько лет направляет на сайровую путину плавучие крабоконсервные заводы — ведь крабов на Дальнем Востоке промышленляют весной и в начале лета. По окончании крабовой путины плавучие заводы от берегов Камчатки спускаются на юг, в район Курильских островов, и занимаются переработкой сайры. Опыт этот превзошел все ожидания. Значительно увеличился промысловый срок этих кораблей-гигантов, а следовательно, снизились и производственные затраты, страна стала больше получать консервов, у рыбаков появились дополнительные приемные базы.

Будущее активного морского промысла, конечно, БМРТ — большие морозильные рыболовные траулеры. Эти универсальные суда, суда-комбайны, сами ловят рыбу, сами морозят ее, сами полностью утилизируют отходы производства. Такие БМРТ, как «Ульяновск», «Николай Островский» и «Хинган», за год вылавливают и обрабатывают более ста тысяч центнеров рыбы. Вдумайтесь только в эту цифру — сто тысяч центнеров!

О картофеле иногда говорят, что это второй хлеб. Возьмем на себя смелость назвать рыбу вторым мясом. Так вот, если «перевести рыбу на мясо», то получится, что один только «Хинган» дал населению за год стотысячное «стадо» центнеров свиней — дал без затрат кормов, животноводческих помещений и т. п. Какая животноводческая ферма может похвастаться такими результатами?

В те дни на Дальнем Востоке работало около двадцати БМРТ. За годы семилетки флот БМРТ, разумеется, должен был пополниться. Поэтому-то и встает проблема разумного использования в сего рыбопромыслового и рыбоперерабатывающего флота, всех береговых предприятий — и тех, что в ближайшие годы, как говорится, «выйдут в тираж» из-за своего технического, да и просто морального устарения, и тех, которым предстоит осваивать новые промысловые районы Тихого и Индийского океанов...

Все это я узнал перед новой дорогой к Тихому океану. Самолет уходил в Южно-Сахалинск рано утром. Оттуда, с Сахалина, я должен был начать путешествие на Край Света.

3

В Охотском море уже несколько дней гулял шторм. Его отголоски слышны и здесь, на берегу: холодный ветер свистит в телефонных проводах и радиоантеннах, раскачивает ветви рябин, срывая кисти еще зеленых ягод. У стенки причала в корсаковском морском порту третьи сутки стоит на швартовых транспортно-холодильное судно «Метеор». В его трюмах мешки со свежей картошкой, ящики с капустой и около сотни посылок — это родители и жены рыбаков посылают в район промысла своим близким свежие помидоры и огурцы. Вероятно, в посылках есть и нечто «существенное».

На третьи сутки портовые власти дали «Метеору» «добро» на выход в море.

В каюте нас двое. Мой сосед — Виталий Кондратьевич Рошковский, работник Сахалинрыбпрома, старый капитан. Мы знакомы с ним уже больше года: прошлой весной вместе были на промысле морского гребешка здесь же, в заливе Анива. Отличный знаток моря и всего, что связано с морским промыслом, Виталий Кондратьевич тогда и показал и рассказал мне, как добывается гребешок, как он обрабатывается; наконец, надев фартук кока, на судовом камбузе сам приготовил шашлык из гребешка — великолепное блюдо, настоящий морской деликатес.

Здесь, на «Метеоре», Рошковский сказал мне, что получил назначение на должность заместителя начальника сайровой экспедиции по флоту. Должность эту учредили совсем недавно, и я весьма смутно представлял себе, чем же будет заниматься на промысле Виталий Кондратьевич. За работу флота на путине отвечали начальники колонн, капитаны-наставники, была наконец должность главного капитана экспедиции. В бухтах Крабовая и Малжурильская, где базируется промысловый флот, конечно, должны быть службы портового надзора. Нужна ли еще одна руководящая административная единица для флота экспедиции?

Потом, поближе познакомившись с делами, я убедился, что наводить порядок на флоте надо, и наводить очень жесткий порядок. Но тут дело не только в «единице».

Вышли мы из Корсакова поздно вечером. Небо было закрыто темными, мрачными облаками. Судно тяжело перекачивалось с борта на борт по крутой, беспокойной зыбн. Мы спустились в каюту и, отказавшись от вечернего чая, завалились спать.

Когда я проснулся, сквозь иллюминаторы пробивался серый утренний свет. Качки почти не было. Но не услышал я и знакомого стука двигателей.

В каюту вошел капитан «Метеора» Михаил Илларионович Тараскин:

— Крепко же вы спите! Ночью такой шторма был, что чуть на скалы не вылетели.

Оказалось, что на выходе из залива Анива в Охотское море ударил резкий встречный ветер с крутой восьмибалльной волной. Судно с трудом выдерживало напор моря. В конце концов Тараскин принял решение вернуться в залив и переждать шторм, укрывшись за высоким берегом мыса Анива.

Мы простояли здесь на якоре больше суток. В кают-компании свободные от вахты моряки крутили кинокартины. В их распоряжении было три или четыре старых, узкоплечных ленты, и крутили их одну за другой, с перерывами на обед и ужин. Поэтому во время сеансов большинство свободных от вахты матросов было не в столовой, а на палубе. Почти у каждого моряка нашлась удочка, и наш стоявший на якоре «Метеор» вскоре превратился в настоящую базу общества «Рыболов-спортсмен». Любители рыбной ловли развернули снасти, и вскоре на палубу одна за другой стали шлепаться пло-

ские белобрюхие камбалы, крупная навага, серебристая корюшка, удивительно пахнувшая свежим огурцом. Иногда на крючок попадали большеголовые бычки, которых настоящие рыболовы без сожаления выбрасывали обратно в море.

Результатом рыбалки был роскошный ужин. Судовой кок накормил нас до отвала пахучей ухой и жареной камбалой, которую за вкусное, нежное мясо на Дальнем Востоке не без оснований называют «морской курицей».

Ночью сквозь сон я услышал, как загремела якорная цепь, застучали двигатели судна, началась качка. А утром берега уже не было видно и кругом от горизонта до горизонта перекатывались холмы свинцово-серой, густой и тяжелой, словно ртуть, воды. «Метеор» с каким-то безразличным однообразием плюхался носом в очередную встречную волну, и та, лениво журча, разбивалась об острый форштевень.

На следующий день выглянуло солнце, ветер совсем стих, впереди по курсу появилась на горизонте темная полоса. И вот уже невооруженным глазом стал виден резко выступающий конус горы. Этой величественной громадой оказался вулкан Тятя — один из самых больших вулканов Курильских островов.

Судно вошло в пролив Екатерины. Очертания вулкана становились все расплывчатее, а на горизонте уже появилась новая земля — остров Шикотан.

Шикотан в переводе на русский язык означает «лучшее место». Такое название острову дали добродушные бородастые айны, когда-то населявшие Курильские острова. Память о них живет в названиях многих островов, рек, холмов, вулканов, бухт Курильской гряды.

4

«Метеор» неторопливо подходил к горловине бухты Крабовая.

Невдалеке под прикрытием высокого берега стояли два рефрижератора-морозильщика. Навстречу «Метеору» из бухты выходили в океан суда — рыболовные боты, сейнеры, траулеры.

— На промысел спешат,— заметил Рошковский.— Они ж, как совы, ночные работяги. Днем сайру обнаружить трудно, но все же можно «постучать» эхолотом по дну: если попадет косяк рыбы, он на приборе свою отметину оставит.

«Метеор» малым ходом шел в глубину бухты. Здесь ее берега становились более отлогими. Судно медленно подошло к правому, «хозяйственному» пирсу, мягко ткнулось бортом о кранцы, и матрос, ловко прыгнувший на пирс, закрепил на деревянной тумбе швартовы. На середине бухты стоял под разгрузкой пассажирский пароход «Глинка». На берегу раскинулись корпуса консервных заводов, выше, на сопках, виднелись деревянные дома поселков. От пирсов один за другим отходили суда и направлялись к горловине.

Шикотан лежит на широте Алма-Аты и Севастополя, и здесь по-южному быстро наступает ночь. Пройдя от пирса по тускло освещенным улицам поселка, мы по крутой деревянной лестнице поднялись на сопку, к зданию штаба сахалинской сайровой экспедиции.

В первой комнатке находился оперативный центр. Вся правая стена была заставлена серыми металлическими ящиками приемо-передающей радиоаппаратуры. Стена слева увешана морскими картами южной части Охотского моря, Курильских островов, Тихого океана. Мы пришли, когда шел очередной «капитанский час». У рации сидел сутулившись высокий седоватый человек в домашних туфлях, полосатых пижамных брюках и старом коричневом пиджаке, надетом поверх майки. Здесь же, у стола, с раскрытыми журналами сидело несколько человек в капитанской форме. Одного из них я знал — это был Анатолий Антонович Фалалеев, работник Сахалинского управления морского рыболовного и зверобойного флота. Здесь, на промысле, он был начальником колонны судов своего управления. Мы молча поздоровались, Фалалеев подвинулся, уступая мне половину стула.

— Какого черта вы перлишь на скалы? — кричал в микрофон седоватый человек. — Какого черта, я спрашиваю?! Прием.

Он повернул рукоятку аппарата.

— Шли в тумане, шли в тумане,— отвечал голос из радиоаппарата.— Отказал

локатор, отказал локатор. Не могли определиться. В тумане налетели на камни. Обнаружили две пробойны, обнаружили две пробойны. Людей сняли, людей сняли. Нужно спасательное судно. Как поняли? Прием...

— У нас чепе,— шепнул мне Фалалеев.— Зверобойная шхуна «Житомир» — тоже ловит сайру — напоролась на камни. Смотри!

Фалалеев придвинул мне карту острова Итуруп. С океанской стороны Итурупа, возле мыса Дракон, стоял жирный крестик и цифры 7—30.

Я удивился: ведь утро сегодня было ясным, солнечным. О каком же тумане может идти речь?

— Ты, видно, плохо знаешь Курилы,— вполголоса объяснял Фалалеев.— Можно плыть несколько часов в самом плотном тумане и вдруг, словно из стены, сразу выйти на яркое солнце.

Он поставил ладонь ребром на карте, показывая, как четко может обозначаться граница тумана.

— «Спасатель» вышел. Направляем еще морской буксир,— говорил в микрофон по-домашнему одетый человек.— Приехал Рошковский, будем думать, чем еще можно вам помочь. Как погода у вас? Прием.

— Крупная зыбь, крупная зыбь. Сильный накат. Шхуну бьет о камни. Прием.

— Понял, понял. Ждите «спасателя». Все. До утра...— Потом повернулся к Рошковскому.— Слышал? Вот и берись за свои непосредственные обязанности: ты ведь заместитель начальника экспедиции по флоту. Тебе и карты в руки. Ясно? Я пошел...— И начальство удалилось.

Надо отдать должное В. К. Рошковскому: он сразу же, несмотря на поздний вечерний час, созвал всех, кто так или иначе причастен к делам флота экспедиции, чтобы обсудить план спасения «Житомира».

Умудренные опытом капитаны отделялись общими фразами, напирая на то, что прежде всего надо установить причины аварии, составить акт, найти виновных... Рошковский молча слушал, потом спокойно, даже чересчур спокойно, словно размышляя вслух, проговорил:

— Значит, прежде всего актики, бумажки. А спасение судна — потом? Да когда такое среди моряков бывало?!

— Не преувеличивайте, Виталий Кондратьевич,— заметил Фалалеев.— Все значительно проще. Чтобы дать согласие возглавить спасательные операции, надо быть уверенным, что сумеешь спасти судно. А у кого сейчас есть такая уверенность?

— А я о чем говорю? — ответил Рошковский.— Надо, чтобы на месте аварии побывали самые опытные капитаны. Большой опыт у Яструбинского, хороший организатор спасательных работ Осипов. Я думаю, они-то и должны пойти к мысу Дракон. Не акт составлять — это делает и сам капитан «Житомира», а на месте осмотреть аварийное судно, на месте принять решение...

Позднее я узнал, что главный капитан флота объединенной экспедиции Михаил Александрович Яструбинский и главный капитан сахалинской экспедиции Валентин Александрович Осипов в сложных условиях несколько раз высаживались на «Житомир», детально осмотрели аварийное судно, каждую минуту рискуя быть смытыми за борт крутым накатом, разработали несколько остроумных вариантов спасения шхуны.

Так я в первый же день столкнулся с очень важной проблемой, о которой как-то не принято говорить вслух,— с проблемой безопасности мореплавания во время промысла. Обеспечение этой безопасности — повседневная и далеко не романтическая работа. И если аварийность нашего флота в общем-то ничтожна, то это свидетельствует лишь о том, что наши моряки в большинстве своем знают дело и честно относятся к своей будничной работе. Если порой еще приходится говорить об авариях судов, то можно быть уверенным, что в основе каждого лежит или «морское лихачество», или застарелый консерватизм, когда капитан, не доверяя приборам (а вернее, плохо зная их), полагается только на свой глаз да на компас.

Число судов, занятых в сайровой экспедиции, составляет несколько сотен. Сотни судов — это сотни капитанов, людей с разными характерами, опытом и понятиями о морской дисциплине. Мне приходилось встречать капитанов, которые свободно чувст-

вуют себя в открытом штормовом океане, мастерски ловят рыбу и робеют при швартовке, мучительно долго «прицеливаются» к пирсу. Я встречал немало и моряков, в совершенстве знающих штурманское дело, но... не умеющих ловить рыбу. Образец капитана-промысловика — это современный образованный штурман, обогащенный рыбо-ловецкой практикой.

Опытный капитан не полезет искать рыбу у прибрежных скал, хотя именно здесь ее порою найти легче, чем в открытом море. Он знает, что рискует судном, а главное, жизнью людей. Он не поведет судно в тумане в опасной близости от берега, даже если радиолокатор в полной исправности. Он не выйдет в море, как бы ни был велик рыбацкий азарт, с ненадежным двигателем, с неисправной навигационной аппаратурой.

В условиях, когда часть капитанов плохо знает радионавигационную аппаратуру и есть случаи выхода в море с неисправными приборами, особую роль играет служба портового надзора. Но выяснилось, что в этой важной службе собраны, как правило, проштрафившиеся капитаны. Иные из них всю свою «кипячую» деятельность свели к канцелярской отметке отхода и прихода судов, выполняя свои функции подчас «без отрыва от бутылки».

Главк «Дальрыба» поступил мудро, направив в экспедицию капитанов-наставников (они имели возможность проверять знания и судоводительские навыки капитанов промысловых судов непосредственно в море) и создав группу руководства многообразным флотом во главе с заместителем начальника объединенной сайровой экспедиции по флоту. Можно спорить сейчас, своевременно ли это сделано и правильно ли организована работа капитанов-наставников,— суть не в этом. Главное, что такая служба безопасности плавания судов есть, а число аварийных происшествий на промысле резко снизилось.

После совещания начальников колонн и капитанов-наставников о спасении шхуны «Житомир» Рошковский остался в штабе, чтобы более подробно поговорить с Яструбинским и Осиповым о предстоящей работе, а я (за неимением гостиницы) решил заночевать на гостеприимном «Метеоре». Фалалеев предложил проводить меня, и мы не спеша пошли к пирсу.

Была темная южная ночь. По дощатым тротуарам поселка шумными, веселыми ватагами шли девчата — почти все в лыжных брюках и резиновых сапогах, облепленных чешуей Оранжевым пятном выступала открытая дверь столовой, которая здесь работает почти круглосуточно. Где-то в стороне, близ клуба «Утро Родины», девичьи голоса громко пели:

Там, за океаном,
Островок зеленый.
Привезли на остров
Нас, девчат, из дома.
Грязная дорога,
Прожектора свет..
Все мне интересно
В восемнадцать лет.

Несмотря на поздний час, на хозяйственном пирсе было довольно оживленно. Разгружались плашкоуты, доставлявшие с «Глинки» пустые консервные банки. Разгружался «Метеор». Автомшины рыболовческого кооператива отвозили мешки с капустой и картофелем на склад.

На штабеле леса сидела стайка нарядно одетых девчат. Это только в восемнадцать лет можно после тяжелой смены в консервном цехе вот так на часик-другой прийти к ночному, умиротворенному морю, чтобы перекинуться шуткой, позубоскалить с грузчиками, пококотничать с моряками. По неписаному шикетанскому закону в вечернее время запрещается посторонним подниматься на борт судна, так же как и ребятам задерживаться в общежитии девчат. Поэтому-то ярко освещенный хозяйственный пирс и превратился в своеобразный клуб.

В этот теплый вечер как-то не хотелось расставаться с подобревшим морем, идти в тесную каюту «Метеора», и мы с Фалалеевым примостились в сторонке на тех же бревнах и, продолжая разговор, прислушивались к озорным, порой солоноватым островам, которыми перебрасывались девчата и моряки.

— В море на промысел пойдешь? — спросил Фалалеев.

— Обязательно

— Я бы советовал тебе побывать на сейнере «Ост». Там капитаном Саша Сипатрин. Молодой парень, замечательный судоводитель и рыбак. Обидели его недавно...

— Кто?

— Начальство.. Впрочем, не оно одно, тут ведь работала целая комиссия. Приезжали представители из главка, из Сахалинрыбпрома. Грому было много, да ведь дело-то не в рыбаках, они и сами заинтересованы больше выловить сайры. А начальство?.. Начальство, понятно, в ответе за всю экспедицию. От него зависит во многом и работа людей, и, если хочешь, их настроение. Давно прошли времена, когда главным методом руководства людьми был окрик, а вот, поди ты, иные никак не хотят перестроиться. Или не могут? Не знаю...

Вот здесь-то я снова услышал о проблеме берега и моря. Путиная начиналась в исключительно трудных условиях. По сведениям перспективной разведки и прогнозам специалистов из Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), сайра сжидалась у южных берегов Курильской гряды во второй половине июля. К этому времени планировалось и окончание реконструкции береговых баз, и прибытие плавучих консервных заводов.

И хотя прогнозы составлялись учеными-специалистами, рыба не стала придерживаться их. Косяки сайры подошли к Южным Курилам почти на две недели раньше, чем ожидалось. Суда стали возвращаться с промысла, наполненные отличной рыбой, а береговые базы не могли ее всю принять. Тогда авторитетное представительство из главка установило нормы вылова рыбы на каждый тип промыслового судна. «Нормы на энтузиазм»,— иронизировали рыбаки. Было подсчитано, что если бы не было ограничения лова, то в первые же три недели путины каждое промысловое судно могло выловить в среднем на пятьсот центнеров рыбы больше, чем добыло. А ведь, повторяю, число судов на путине исчисляется сотнями. Сотнями! Вот во что обошлись стране неточные рекомендации ученых, вот какой резерв был упущен в самом начале путины.

Когда ценой больших усилий был наведен порядок на приемных базах, когда береговые и плавучие заводы нарастили свои мощности и смогли обрабатывать за сутки уже по пятнадцать — восемнадцать тысяч центнеров сайры, в районе Южных Курил прошла полоса штормов. Несколько дней суда не выходили на промысел, отставаясь в защищенных бухтах. А когда погода улучшилась и флстилии траулеров и сейнеров вышли в море... косяки сайры исчезли.

— Сайра за время штормоза переместилась в какие-то новые районы,— рассказывал Фалалеев.— Но куда? Вот уже третью ночь суда ищут рыбу. Судов-разведчиков мало, они не могут обследовать все участки района промысла. Около берегов обнаружена мелкая сайра, «окурки», как ее презрительно называют рыбаки. Но и это лучше, чем ничего. Вот и лезут иные капитаны поближе к берегу, вот потому и аварии...

На «капитанском часе» начальники колонн получили сведения, что эхолоты отмечают разреженные косяки рыбы. Что-то даст нынешняя ночь?

Утро показало, что ночь была для промысловиков неудачной. Бухта снова заполнена судами. Одни у пирсов сдают скудный ночной улов, загружаются льдом и водой; другие стоят на якорях в стороне.

Рабочие пирса, в резиновых сапогах и ядовито-зеленых прорезиненных фартуках, залепленных чешуей, споро перебрасывали ящики с рыбой на транспортер, направляя ее в аккумуляторное отделение. Я сначала удивился, почему охлажденный склад, куда поступает свежая рыба, называют аккумуляторным — это слово в моем сознании всегда связывалось с электричеством,— но потом догадался: ведь здесь собирается, накапливается, аккумулируется запас рыбы, потребной для работы завода в течение суток.

В аккумуляторное забежали две девушки, посмотрели рыбу.

— «Окурки» проклятые,— вздохнула одна.— Опять норму то ли выполнишь, то ли нет.

Я спросил, почему «окурки» мешают укладчицам выполнять норму. Девушка посмотрела удивленно:

— А что же тут непонятно? Чтобы уложить банку мелкой сайрой, «окурками», надо двадцать — тридцать долек рыбы, а крупной семь — десять. Вот и прикиньте, где производительность выше.

Девчата убежали в цех, а я пошел в штаб экспедиции. На просьбу рассказать о положении дел на промысле начальник достал из стола исписанный листок.

— Вот тут все сказано. Это я писал по просьбе радиокорреспондента. На пленку мой голос записывали. Фамилии передовиков производства возьмете на консервных заводах.

На листочке после цифр плана, количества судов, занятых на промысле, и цифр, показывающих, сколько было выловлено рыбы с начала путины и выработано консервов, давался «анализ» обстановки:

«Сложившаяся промысловая обстановка, безусловно, позволяла промысловому флоту иметь значительно лучшие показатели по добыче сайры, однако прием рыбы сдерживался береговыми и плавучими рыбообрабатывающими базами. Понятно, что рабочие и работницы, пришедшие впервые на производство, не имели навыков к работе на таких процессах, как разделка сайры и укладка ее в баночки. Это в свою очередь снижало производительность труда, и прямо влияло на количество принимаемой от рыбаков сайры, и не способствовало увеличению добычи рыбы. К тому же некоторый период промысловый флот добывал сайру мелких размеров, что не позволяло обработчикам увеличить выпуск консервов.

В данный период промысловая обстановка по размерному составу резко улучшилась, промысловый флот добывает сайру средних и крупных размеров, это в свою очередь позволяет судозкипажам увеличить добычу, а консервщикам — наращивать темпы по выпуску консервов. Хороших показателей по добыче добились следующие судозкипажи...»

На этом заметка обрывалась.

— Но здесь ведь не все верно. Сайру уже несколько дней по существу не ловят, — заметил я. — Да и те «окурки», которые я только что видел на пирсе, никак нельзя назвать сайрой «средних и крупных размеров».

— Это временные затруднения. Пока корреспондент довезет свою магнитофонную ленту до Южно-Сахалинска, сайру найдут. И потом: зачем же я буду в эфир говорить о наших неполадках? Мало ли кто услышит...

5

Еще засветло «Ост» вышел в океан. Я стоял на ходовом мостике рядом со старшим помощником капитана Володи Патрушевым — невысоким, подвижным, похожим на подростка моряком — и присматривался к обыденной жизни экипажа. Только что закончились предотходные хлопоты: судно брало в танки топливо, пресную воду, принимало пустые ящики, лед. Казалось бы, команде можно и отдохнуть, ведь впереди трудная промысловая ночь. Но нет, почти все свободные от вахты моряки заняты делом: старший механик Иннокентий Михайлович Карнаухов проверяет люстры; боцман Анатолий Шулев с двумя матросами закрепляет «по-походному» лежащие на палубе бочки, ящики, снасти; мастер добычи рыбы Николай Иванчей обнаружил в ловушке небольшую прореху и «штопает» ее; матрос Леонид Холчевский с ловкостью обезьяны взбирается на стрелы, на мачту. В руках у него масленка, он на ходу смазывает блоки стрел. Из вентиляционной трубы камбуза доносится запах жареных грибов — это Саня Васин готовит ужин из дневного сухопутного «улова» моряков на Шикотане.

Невольно бросалась в глаза будничная домашность судовой жизни, даже обращение молодых моряков к капитану, его помощникам, механикам было несколько семейное, неофициальное, по отчеству: Михайлович, Васильевич. Была в этом и далекая от панибратства уважительность, и вместе с тем доверие, дружеское расположение.

Сейнер легко бежал на юго-восток. На мысе Край Света вспыхнул огонь маяка, погас, снова вспыхнул. Эти проблески — сигналы родной земли — еще долго виднелись, словно приветливое пожелание спокойного плавания и промысловой удачи.

В тишине штурманской рубки отчетливо слышались щелчки эхолота. Временами

самописец чертил на бумажной ленте темные штрихи, отмечая косяки рыбы. Володя Патрушев заносил показания эхолота, время и координаты сейнера в журнал. Вот штрихи стали четче, гуще. По команде старпома сейнер застопорил ход. Боцман включил на баке прожектор. Сноп света пополз по поверхности океана вокруг судна. Там, где останавливался луч, сверкали серебристые стрелки выпрыгивавшей из воды сайры.

В ходовую рубку по трапу поднялся капитан. Невысокий, плотный, белокурый, с румянцем на лице, в черном свитере, облежавшем его спортивную фигуру, Сипатрин казался даже моложе своих двадцати шести лет и напоминал скорее студента-практиканта, чем капитана океанского судна.

Сипатрин гостроел записи в штурманском журнале, потом долго наблюдал за океаном. Сумерки быстро сгущались. Появилось много чаек. Время от времени они резко ныряли и тут же взмывали вверх, зажимая в клюве сайру.

Сипатрин включил люстры. У носовой части судна поверхность океана осветилась яркой, зеленоватой от цвета воды дугой. В световой полосе видно было, как стайки сайры то застывают на месте, то делают резкий рывок в сторону и снова возвращаются под люстры. Пугая сайру, пронеслись стремительные, как торпеды, кальмары.

Капитан снова повернул выключатели на распределительном щитке. Погасли люстры у правого борта. Сейчас рыба должна бы собраться в плотный косяк у левого борта. Но сайра собиралась плохо, была слишком беспокойна и мелка, чтобы ловить ее. В чем дело? Почему рыба плохо реагирует на свет? И ночь ведь, словно по заказу, безлунная, облачная. Может быть, рыбу пугали кальмары — эти пожиратели сайры, которых в нынешнюю осень у курильских берегов появилось особенно много? Может быть, рыба мечется в поисках планктона, который разметало штормами? Многое, очень многое в биологии сайры еще неизвестно промысловикам, да и самой науке.

— Сейчас начнется «капитанский час», — сказал Сипатрин.

Радист Борис Митяев уже настраивал аппаратуру.

Из приемника вырвался приглушенный голос начальника колонны.

— «Нежин», «Нежин», — говорил Фалалеев, — дайте обстановку. Прием.

Митяев придвинул тетрадь, на которой были записаны названия судов колонны, стал записывать координаты судна, температуру воздуха, воды, улов. «Сайра разреженная, мелкая, — сообщал капитан «Нежина», — на свет реагирует плохо...»

Когда Фалалеев вызвал «Ост», Сипатрин мог сообщить лишь то же самое.

Митяев продолжал делать записи сообщений, а мы с Сипатриным вышли на мостик. Сейнер опять застопорил ход, лег в дрейф: эхолот только что отметил скопление рыбы. Снова включили люстры, снова луч прожектора забегал по океану, и снова у борта собиралась лишь встревоженная, какая-то «разнокалиберная» сайра. В зеленоватой воде шла настоящая война: буроватые, со сложенными щупальцами, похожие на небольшие стремительные ракеты, хищные кальмары с реактивной скоростью бросались на рыбу и, схватив добычу, скрывались в глубине океана.

Я не заметил, когда Сипатрин ушел с мостика, и увидел его уже на палубе, у борта. В его руках была капроновая леска с медным патроном-грузилом и небольшой «кошкой» — крючком. Такими удочками моряки обычно ловят камбалу и навагу. Сипатрин решил ловить кальмаров. Он опускал «кошку» за борт и, когда над грузилом проплыл кальмар, резко дергал леску. Впрочем, капитана и здесь преследовала неудача. Ни один моллюск не захотел зацепиться за крючок.

Ловлей кальмаров увлекся и боцман. Еще днем я обратил внимание на то, что Анатолий Шулев мастерил гарпун — острый наконечник, укрепленный на длинной палке. Боцман готовил его для дельфина или акулы, но теперь решил попробовать на кальмарах. Видимо, Шулеву удалось задеть одного из них: рядом с гарпуном в воде выросло ядовито-бурое облако — это перепуганный кальмар оставил «дымовую завесу».

Поведение капитана несколько удивило меня: в трюмах — ни центнера рыбы, часы отсчитывают время короткой промысловой ночи, а Сипатрин не нашел ничего лучшего, как заняться рыбалкой. А охота на кальмаров тем временем увлекла и других. Молодой матрос Петя Зуев — неутомимый паренек в красном свитере и ярко-синих шароварах, которого я вижу, кажется, всюду, где нужны люди, — вооружился большим сачком с длинной рукояткой и стал попросту черпать кальмаров из воды. Когда он поднимал

добычу над водой, кальмар с сердитым шипением выбрасывал струю воды, которая превращалась в сноп мелких брызг, а с сачка стекали в воду бурые капли. Наконец «повезло» и боцману. Он наскочил на гарпун одного за другим двух кальмаров. Догадливый Саня Васин притащил на палубу деревянный ящик, чтобы охотникам было куда складывать добычу.

Удачи не было только у капитана. Это не могло не вызвать добродушных «подначек». Смех, шутки, плеск воды, шипение пойманных кальмаров — все это делало океанскую ночь мальчишески веселой.

Наверное, ради этого-то и начал капитан рыбалку. Ведь бодрое настроение команды — не последнее условие для успеха. Нет, рыбалка не была для капитана легкомысленным времяпрепровождением: я видел на его лице следы мучительных раздумий. Вернувшись на мостик, Сипатрин снова всматривался в бумажную ленту самописца эхолота, листал штурманский журнал, потом надолго склонился над картой Южных Курильских островов.

Его раздумья прервали Николай Иванчей и Борис Митяев.

— У Бориса есть дельное предложение, Васильевич,— сказал Иванчей.— С сейнера «Обдорск» во время «капитанского часа» сообщили, что температура воды в их районе около двенадцати градусов. А «Нежин» радировал о температуре воды в двенадцать градусов. Значит, где-то между ними находится стык холодного и теплого течений. А что, если?..

— Координаты судов есть?

Борис протянул записи. Все трое склонились над картой. Вот где-то здесь сталкиваются два основных течения — теплое Куроисио и холодное Оясио. Вдоль стыков холодных и теплых вод и перемещаются обычно скопления сайры.

До рассвета оставалось часа четыре. До точки, лежащей между «Обдорском» и «Нежиным», примерно полтора часа ходу. Сипатрин сделал по карте прокладку курса, командовал рулевому:

— Вправо — шестьдесят градусов!

Через несколько минут сейнер полным ходом мчался на юг.

— Пойдемте выпьем по чашечке кофе,— позвал меня Сипатрин.

По обстановке любого жилища можно составить приблизительное представление о его хозяине, даже если это жилище — стандартная капитанская каюта на обыкновенном промысловом океанском сейнере.

В каюте Сипатрина бросалось в глаза прежде всего разнообразие книг. С них и начался наш ночной разговор. Я узнал, что плавать Александр Васильевич начал в 1955 года, сначала юнгой, затем матросом. На Сахалине окончил мореходную школу, плавал некоторое время на траулере «Нежин» третьим, потом вторым помощником капитана. Через год его назначили старшим помощником капитана на океанский сейнер «Омар». Судно занималось в основном промыслом минтая у берегов Приморья и жилой сельди на Северных Курилах.

Четыре года назад его назначили капитаном «Оста». Тогда ему было всего двадцать два года, и в Сахалинрыбпроме не слишком были уверены, что из него получится хороший рыбак и командир. На рыболовных судах работают далеко не всегда энтузиасты. Попадает сюда немало моряков-неудачников, любителей «зашибить деньгу», откровенных вранчей и выпивох. Сумеет ли молодой капитан удержать в своих руках коллектив, укрепить дисциплину?

А Сипатрин и не собирался командовать. Он просто, по душам поговорил с командой — в большинстве своем такими же молодыми ребятами. Он сделал все, чтобы облегчить суровый быт рыбаков, и экипаж почувствовал и оценил это. Ведь даже такая простая вещь, как кружка горячего крепкого кофе, кусок булки с маслом, которые в любой час суток можно найти на камбузе, подкрепляют силы и дух моряка в тяжелой промысловую ночь.

Сипатрин не стеснялся советоваться с экипажем прежде, чем принять какое-либо решение: разве мало полезного могли подсказать капитану опытный моряк Иннокентий Михайлович Карнаухов, секретарь партийной организации сейнера, Володя Патрушев,

комсомольский вожак, механик Слава Хлебников или редакторы «боевого листка» — второй помощник капитана Володя Метерев и моторист Борис Щербakov?

Нет, не сами по себе, как им казалось, уходили с судна любители «длинного рубля» и забулдыги. Они списывались на берег потому, что в молодом коллективе им не оказалось места.

Два года назад сейнер «Ост» впервые вышел на промысел сайры и в первую же путину добыл больше, чем какое-либо другое сахалинское судно, — 3877 центнеров рыбы. А следующая путина была еще удачнее: при экспедиционном плане 2700 центнеров экипаж сдал на консервные заводы 7541 центнер сайры — рекордный улов.

Сейчас в Сахалинрыбпроме, конечно, уже не сомневаются, может ли капитан Сипатрин командовать сейнером.

— Но что же все-таки произошло у вас с начальником? — спросил я, вспомнив наш недавний разговор с Фалалеевым о стычке, происшедшей между молодым капитаном и начальником сахалинской экспедиции.

Нашу беседу прервал кок. Саня Васин принес в каюту тарелку жареных кальмаров. Я не без робости взял в рот порцию белых, нарезанных, как лапша, кусочков моллюска.

— Да вы смелее ешьте, — засмеялся Сипатрин. — Кальмар — пища полезная.

Оказалось в самом деле довольно вкусно: что-то среднее между грибами и крабом. Да, откровенно говоря, я и проголодался основательно. Во всяком случае я остался благодарен Сане Васину за то, что он познакомил меня с этим экзотическим блюдом. Позднее я узнал, что осьминоги, кальмары, каракатицы занимают почетное место в японской и китайской кухне. Ежегодно во всем мире люди съедают около миллиона тонн головоногих моллюсков. У нас же эти ценные продукты моря пользуются спросом лишь у небольшого числа знатоков и любителей — жителей Дальнего Востока.

После кальмара Сипатрин ответил на вопрос.

— Дело тут не только в непосредственном начальстве, — сказал он. — В конечном счете оно добросовестно руководствовалось инструкциями, полученными свыше. Вы, конечно, уже слышали о «квотах» — о нормах вылова сайры на судно, установленных в дни массового подхода рыбы. Разумное зерно в установлении этих «квот», конечно, было: зачем же губить напрасно рыбу, если ее не смогут переработать на заводах. Но ведь и к правильному решению можно подходить по-разному. У приморцев, например, как подошли к этому? Там задания на вылов даются колоннам судов в целом. Наш же начальник экспедиции твердит одно: «Сказано — не брать рыбы больше «квоты» — и точка!»

Сейнерам типа «Оста» была установлена суточная норма вылова в сто десять центнеров. Случилось, что «Ост» напал на огромный косяк сайры и рыбаки за три часа взяли на борт двести тридцать центнеров. Рано утром сейнер уже стоял в бухте Крабовая, готовясь сдать рыбу. Но на консервном заводе заявили:

— Сто десять центнеров примем, остальное сдавайте Нептуну.

— Да вы с ума сошли! — возмутился Сипатрин.

— Ничего не знаем, таков приказ.

Сипатрин бросился в штаб экспедиции, к начальнику:

— Ведь вы, кажется, тоже аплодировали, когда я говорил, что экипаж нашего сейнера может выловить за путину десять тысяч центнеров сайры. Что же получается?

— А ты хочешь, чтобы я делал для тебя какие-то исключения? Не выйдет!

— Да вы возьмите карандаш и бумагу и подсчитайте: сайровая путина длится около трех месяцев. Чтобы за это время выполнить обязательства, надо ежедневно вылавливать по сто двадцать — сто тридцать центнеров сайры. Даже это выше «квот». А если учитывать штормы, дни пролова? Зачем же тогда Сахалинрыбпром поддерживал наши обязательства? Зачем вы вставляете палки в колеса?

— Сдается мне, Сипатрин, что ты зазнаешься. Смотри, недолго лишит тебя права командовать сейнером, — пригрозил начальник экспедиции.

Через час Сипатрин снова появился у него в кабинете. Он едва сдерживал гнев:

— Вы кого обманываете, товарищи? У вас совесть есть?

Дело в том, что, когда Сипатрин пришел на пирс, у которого стояло судно, второй штурман Володя Метерев, сдававший рыбу, рассказал ему:

— Еле уговорил приемщицу взять всю рыбу. Но посмотрите квитанцию: пятьдесят пять центнеров приняли первым сортом, шестьдесят — вторым, а сто пятнадцать — третьим. Я нарочно проследил: вся рыба пошла в консервный цех. Значит, вся — первого сорта. Да она и не могла быть иной. Выходит, «квоты» — просто ширма для нечестных людей.

Все это и высказал Сипатрин руководителям экспедиции. А итог — «освободить А. В. Сипатрина от должности капитана сейнера за нетактичное поведение, нежелание подчиниться руководству экспедиции» и т. д. Мало ли можно при случае навесить ярлыков! Правда, решение было в тот же день отменено, но взыскание на молодого капитана все же наложили...

С капитанского мостика кубарем скатился Петя Зуев:

— Васильевич! Сайра! Большой косяк!

Одним рывком Сипатрин поднялся по трапу на мостик. Когда я поднялся вслед за ним, сейнер уже стопорил ход. В луче прожектора кипел, переливался серебром океан. И куда бы ни передвигался сноп света, везде — рыба.

— Поднимать команду! Аврал! — командовал капитан.

Вспыхнули яркие люстры. У левого освещенного борта все плотнее и плотнее скапливалась крупная океанская сайра. Рыбаки, одетые в непромокаемые робы, устанавливали капроновую ловушку у правого борта.

Одна за другой гаснут люстры левого борта и зажигаются люстры правого. Вслед за светом переходит косяк, и вот уже между бортом и ловушкой кипит, мечется быстрая сайра. Мгновенно гаснет белый свет и сразу вспыхивают красные лампы. Рыба словно цепенеет, потом бешено рвется к поверхности.

— Пошел! — раздалась команда с мостика.

Застучали лебедки, вытягивая на борт нижнюю подбору ловушки. Рыба мечется, пытается вырваться, но — поздно. А Сипатрин снова включает люстры, чтобы у борта собиралась сайра для следующего замета.

Стучит лебедка, поднимая огромный сачок — каплер, которым рыбаки вычерпывают сайру из сети и выливают в ящики. Старший механик И. М. Карнаухов и матрос Леонид Холчевский пересыпают рыбу льдом, укладывают ящики в охлажденном трюме.

— Борис! — крикнул капитан радисту. — Бегом в радиорубку, сообщи судам, что мы стоим на крупном косяке сайры. Пусть спешат сюда. До рассвета и они успеют сделать по несколько заметов.

И снова ловушка летит за борт, и снова стучит лебедка, подтягивая сеть с богатым уловом.

На горизонте замерцали огни. Они все ближе, ближе. Это спешат суда колонны. Вспыхивают один за другим огни одного сейнера, другого, третьего...

6

И вот я снова в бухте Малокурульской, там, где шесть лет назад китобоец «Циклон» брал топливо, где мы ходили в сопки собирать грибы и где я впервые увидел мыс Край Света. Тихая, ласковая бухта та же: те же отлогие сопки, поросшие курильским бамбуком, то же хмурое осеннее небо. Но как все изменилось! От старого, заброшенного китообрабатывающего комбината осталась только зацементированная площадка, на которую лебедками вытягивали по слипу морских исполинов для разделки.

Как и в Крабовозовске, здесь поражает размах нового строительства. За короткое время вырос большой консервный завод, рядом — второй, а дальше, за протокой, еще один. В распадах уступом на сопках стоят новые общежития. Над высокой черной трубой электростанции курится сизый дымок.

У длинных пирсов, как и в бухте Крабовой, утренняя суетня: суда сдают ночной улов, загружают лед, пустые ящики. Нетерпеливый капитан «Глобуса», опоздав с промысла, спешит поскорее пробиться к причалу. Важно не только поймать рыбу, но

и быстро слать ее. Корпусом судна он вклинивается между пирсом и каким-то сейнером; отталкивая его корму, разворачивает сейнер носом к причалу. «Партизанщины» здесь не терпят, и начальник объединенной сайровой экспедиции «Дальрыбы» Петр Иванович Ковалев, оказавшийся в это время на пирсе, яростно грозит разрушителю кулаком.

Капитан «Глобуса» понимает, что в этой обстановке разумнее всего дать «малыш» назад и отойти на середину бухты. Не повезло: принесла же нелегкая в этот час на консервный завод Ковалева!

А Ковалев рад этой «нележкой». Сегодня ночью не только «Ост» и группа судов, промышленная рядом с ним, вернулись на базу с хорошим уловом. Сейнер «Камбала» шел к базе пустым. Уже на рассвете натолкнулся в полутора часах хода от бухты Малукурльской на косяк крупной сайры. И хотя промыслового времени оставались считанные минуты (рассвет, к сожалению, не приостановишь), успел выловить около ста центнеров рыбы. А еще один траулер доставил сегодня почти пятьсот центнеров. По «квоте» ему полагалось брать на борт лишь двести тридцать центнеров, взял он около трехсот, и было обидно уходить с «урожайного» места. Ночью по радиации вызвал Ковалева, попросил разрешения взять еще сто центнеров. Ковалев, зная, что консервные заводы из-за нехватки сырья работают вполсилы, разрешил. Вместо ста центнеров капитан поднял двести. Потом оправдывался перед Ковалевым:

— Вы, Петр Иванович, разрешили сто центнеров на свой риск, да я еще сто центнеров взял на свой риск, вот и получилось пятьсот!

В конечном счете довольны были все: и капитан, сдавший триста центнеров первого сорта рыбы да еще двести центнеров, за которые хотя и копейки заплатят, но все же войдут и они в план добычи, и начальник объединенной экспедиции, понявший, что теперь-то, найдя сайру, рыбаки ее уж не упустят, и работники консервного завода, которым до чертиков надоели «санитарные дни».

Коренной дальневосточник, Ковалев еще четверть века назад начал работать в рыбной промышленности. Через два года призвали в армию, а тут — война. Защищал Москву, с дивизионом «каюш» штурмовал Берлин. После демобилизации работал на береговых рыбокомбинатах, возглавлял Управление активного морского рыболовства, потом был послан на укрепление Магаданского рыбтреста. Незаурядный опыт руководителя и организатора он приобрел, возглавляя несколько лет подряд сельдяную экспедицию в Охотском море. Не случайно при организации большой сайровой экспедиции у Южных Курил именно ему поручили это дело.

По раскисшей после дождей тропинке мы медленно поднимались на сопку к домику радиостанции. Глядя, как я своими ботинками выворачиваю пуды глины, Ковалев заметил:

— Ты эти штиблетики положи под койку до лучших времен. Не на прогулку приехал. Без резиновых сапог здесь какая работа.

На крылечке мы добросовестно очистили обувь от грязи, даже вымыли ее в бочке с водой: девчата-радистки так тщательно надраили полы, что ступать на них грязными подошвами было бы просто кошунством. А Ковалев тем временем посмеивался:

— Ну, послушаешь сейчас, как начальство мне «втык» будет делать. Вот посмотришь: разговор будет состоять из слова «надо» — надо найти рыбу, надо разумно расставить суда разведчики, надо не допускать простоя консервных заводов... А вот на наши «надо» внятный ответ не всегда получишь. Странное дело: руководящие товарищи считают, что они во Владивостоке промысловую обстановку знают лучше, чем мы здесь. На днях пришла радиграмма из Приморрыбколхозсоюза. Грозно спрашивают, почему я не направляю колхозные сейнеры в залив Спокойный острова Кунашир, где, по их сведениям, ловится сайра. Отвечаю: «Сейнеры в Спокойном. Точка. Колхозный флот в пролове. Точка. Жду дальнейших распоряжений. Точка». Распоряжений почему-то больше не последовало.

В просторной и светлой комнате сосредоточенная радистка настраивала приемники, ловила в многоголосом эфире ту единственную волну, которая связывала промысел с далеким Владивостоком. Но вот сквозь треск, писк морзянки и разноголосицу прорезался голос одного из руководителей главка.

Радистка переключила аппаратуру на передачу, и Ковалев неторопливо, с таким расчетом, чтобы на том конце условной ниточки эфира могли записать каждую цифру, рассказал о промысловой обстановке за сутки.

Снова зажурчал голос Владивостока, и я услышал те самые «надо», о которых несколько минут назад говорил Ковалев. Петр Иванович лукаво взглянул на меня и, придвинув к себе толстую, в клеенчатой обложке тетрадь, стал записывать очередные ЦУ, как зашифровывают не без иронии некоторые ценные указания начальства.

— Понял, понял! — ответил он в микрофон, когда радистка снова включила передачу.— Михаил Иванович, у меня вопрос: когда будут консервные банки? На многих плавбазах банок осталось лишь на три-четыре дня.

— Ясно, ясно,— отвечал голос Михаила Ивановича.— Пароход скоро будет, банки скоро будут. Надо разумно распределить те, что есть. Надо не допустить простоя консервных зародов.

Разговор закончился. Дал он что-то начальнику экспедиции, помог ему в работе? Вряд ли.

Наблюдая за Ковалевым, я невольно сопоставлял его с другим руководителем рыбопромысловой экспедиции, о котором речь шла выше. Оба одинаково хорошо знают свое дело. Но один сознательно разрешил нарушение установленных главком «квот» лова рыбы, другой в подобном же случае поставил вопрос об отстранении хорошего капитана от командования судном. Что стояло за этим решением? Равнодушие?

Не только. Равнодушие — лишь следствие ограниченного понимания обязанностей, которые возлагаются на руководителя. Можно руководить, до последней буквы выполняя различные указания, распоряжения, разъяснения, идущие «сверху». Все будет правильно, ни один самый строгий ревизор не придерется к тому, что в руководстве допущены какие-либо отклонения. И пусть не выполняется план, пусть высока себестоимость продукции — он, руководитель, не виноват: он твердо требовал выполнения всех указаний и своевременно информировал вышестоящее начальство о могущих возникнуть недостатках. Он в любом случае прав, этот руководитель!

Судно село на камни?

Вот серия радиограмм, предупреждающих капитанов о запрете ловить рыбу в опасной близости к берегу. Разве он, руководитель, виноват, что в экспедицию направили недисциплинированных судоводителей?!

Заводы простаивают из-за нехватки консервных банок?

Вот серия радиограмм, сообщающих начальству, что банки своевременно не заводятся. Видимо, на такого рода руководителей и рассчитаны директивные радиоразговоры с преобладанием слова «надо».

Такой стиль руководства основан на заведомом недоверии к людям, на неверии в их творческую мысль. Поэтому когда молодой капитан Сипатрин говорит, что надо выполнять соцобязательства, такой руководитель считает, что высокие слова о соревновании прикрывают стремление обвести руководителя и сдать побольше рыбы, чтобы побольше заработать. Так даже на самые чистые помыслы и поступки начинают смотреть, подозрительно щурясь: «Говори-говори: я-то знаю, что у тебя на самом деле за душой».

В сахалинской экспедиции мне говорили, что вот у приморцев никогда не бывает недоразумений из-за «квот». Что это? Может быть, капитаны здесь особо сознательные и сами понимают, что ловить рыбу сверх нормы не полагается? Или руководители приморской экспедиции сквозь пальцы смотрят на эти «квоты» и принимают рыбы столько, сколько суда сумеют сдать?

Когда я обо всем этом стал расспрашивать Петра Ивановича Ковалева (как-никак, а он отвечает за работу и сахалинской и приморской экспедиций), он сказал:

— Познакомься с начальником приморской экспедиции Юрием Анатольевичем Бессоновым. Он лучше меня ответит на эти вопросы.

Поселок Малокурильский невелик. Но разыскать Юрия Анатольевича оказалось не так-то просто. Я познакомился с начальником приморской экспедиции рано утром, во время «капитанского часа», когда Юрий Анатольевич отдавал по рации начальникам

колонн распоряжения, где и кому суда должны сдавать улов. После «капитанского часа» я на несколько минут задержался на рации, и эти минуты оказались роковыми — Бессонов словно сквозь землю провалился. Его не было ни в штабе экспедиции, ни в столовой, ни на пирсах. Инженер добычи экспедиции Лиза Маркова посоветовала:

— Садитесь за его стол и ждите. Уж сюда-то он рано или поздно, но придет.

Я так и поступил. Придвинул к себе поближе телефонный аппарат, нашел под стеклом список малокурильских абонентов и стал по порядку обзванивать контору базы, портовый пункт, консервные заводы, клуб, рыболовешкий кооператив, склады, пытаясь напасть на след Бессонова. Увы! Почти каждый раз мне отвечали:

— Был, но ушел!

Но Лиза Маркова была права. Наконец распахнулась дверь, и в кабинет стремительно вошел Бессонов — деятельный, озабоченный, какими обычно бывают молодые руководители.

Уроженец Ярославля, Юрий Анатольевич в войну вместе с родителями приехал на Дальний Восток. На Сахалине окончил среднюю школу, потом во Владивостоке — Дальрыбвтуз. После защиты диплома работал тралмейстером, участвовал в перспективной разведке, проводимой Тихоокеанским институтом рыбного хозяйства и океанографии в районе Курильских островов и в южной части Японского моря. Принимал участие в освоении новых промысловых районов камбалы в восточной части Берингова моря и жировой сельди в Олюторском заливе и у берегов Северных Курил. Был и начальником рейса промысловой разведки, и главным инженером. Словом, когда полтора года назад его назначили начальником экспедиции, у него за плечами был уже довольно большой опыт организации поисковых и промысловых работ, подкрепленный прочными вузовскими знаниями.

— Да, работа штаба приморской экспедиции организована иначе, чем у сахалинцев, — сразу же стал объяснять Юрий Анатольевич. — Начальники колонн не сидят на берегу, здесь им делать нечего. Их место в море, на судах. На берегу у нас, кроме начальника экспедиции, инженера добычи и техника-лаборанта, только три оперативных диспетчера, которые несут круглосуточную вахту в эфире, и два береговых диспетчера. Их обязанность — организовать прием рыбы, обеспечить суда льдом, водой, ящиками.

Весь флот экспедиции разбит на четыре колонны: суда сейнерного лова, Рыбакколхозсоюза, приморских береговых комбинатов и колонна судов крабофлота, которые работают вместе с плавучими консервными заводами...

«Квоты» — оправданная мера, но подходить к ним надо разумно. Что это значит? Возьмем такой случай: все суда нашли хорошие косяки сайры, лов идет успешно. Если не ограничивать вылов, это приведет к бесцельному истреблению рыбы: ведь консервные заводы не смогут всю ее переработать. Но одна промысловая ночь не похожа на другую. Может случиться и так, что одна колонна судов промысляет успешно, а другая — в пролове. Если следовать только норме, консервные заводы не получат нужного количества сырья. Вот поэтому-то мы и решили начальникам колонн ежедневно давать план-задание — норму вылова на каждое судно.

Бессонов взял листок бумаги и стал делать расчеты:

— Плавучие базы могут принять четыре тысячи восемьсот сорок центнеров сайры. Откуда взята эта цифра? Три тысячи шестьсот центнеров — это количество рыбы, которую за сутки перерабатывают их консервные заводы. Прибавим еще девятьсот центнеров — запас, который плавбазы могут взять в свои холодильники. Вчера пришел в район промысла плавучий завод «Алма-Ата». Его мощность триста — триста пятьдесят центнеров сайры за сутки, но в первый день, видимо, сделает меньше. Вот я и считаю, что в целом плавучие базы примут четыре тысячи восемьсот сорок центнеров.

Дальше. В районе промысла работает шесть рефрижераторов-морозильщиков. Их общая производительность — две тысячи семьсот центнеров в сутки. Береговые базы еще три дня назад смогли обработать за сутки тысячу шестьсот центнеров сайры. Но позавчера пароход «Якутия» доставил на Шикотан дополнительную рабочую силу. Новичков, конечно, надо еще обучать, но все же будем считать, что теперь консерва-

ные заводы уже смогут обработать рыбы центнеров на двести больше. Таким образом, в целом по экспедиции базы могут принять девять тысяч триста сорок центнеров сайры. И не больше!

Суда в экспедиции разные. Какое же задание установить каждому из них, чтобы все они оказались приблизительно в равных условиях работы и оплаты труда?..

Листок бумаги покрывался все новыми и новыми цифрами. В маленький кабинет то и дело входили люди — дежурные диспетчеры, капитаны судов, начальники колонн.

— Лиза, займитесь-ка вы капитанами,— попросил Бессонов инженера добычи,— а мы куда-нибудь скроемся на время.

Мы перешли в соседнюю комнату, где тесно, одна возле другой стояли солдатские койки, покрытые толстыми верблюжьими одеялами. Здесь, оказывается, жили Бессонов и оперативные диспетчеры. Койки лишь номинально закреплены за владельцами: всегда кто-нибудь находится на вахте или в море, и на пустующих койках размешают приезжающих на промысел работников главка, журналистов, представителей базы. Неожиданно вернувшийся с моря хозяин койки может увидеть на ней незнакомого спящего — и не удивится.

Бессонов разложил на одной из свободных коек бумаги и вновь занялся своими расчетами.

По расчетам выходило, что задание — ниже технологических норм, «квот». Это само по себе показывает «узкое» место всей сайровой экспедиции: острую нехватку приемных баз. Могучий флот заведомо обрекается на работу впустую...

— Но позвольте, Юрий Анатольевич,— возмутился я.— Значит, как бы ни старался хороший экипаж дать больше рыбы стране, он не может этого сделать?

— Не надо делать поспешных выводов,— возразил Бессонов.— Эти задания рассчитаны на идеальные условия промысла сайры, на тот случай, когда все суда стоят на косяках рыбы и черпают ее из океана. Но ведь флот работает в разных районах, и мы не можем быть уверены в том, что почти сотня судов, все как один, возьмут рыбу. Поэтому, кроме задания экипажам, штаб экспедиции дает задание и начальникам колонн. В ходе промысловой ночи начальник колонны всегда знает, какие суда берут рыбу, а какие еще ищут ее, находятся в пролове. И он может увеличить задание более удачливым судам, чтобы перекрыть недолов тех экипажей, которые не сумели найти и взять рыбу. Перераспределение заданий между колоннами могут делать в течение ночи и оперативные дежурные штаба.

Учитываем мы и еще одно обстоятельство: судам, которые напали на крупную сайру, мы разрешаем брать на борт рыбы больше установленного суточного задания. Почему? Крупная сайра лучше транспортируется, и рыбаки не снизят сортности, доставляя ее на приемную базу. Лов крупной сайры выгоден всем: и рыбакам и рыбообработчикам. И здесь — широкое поле для соревнования. Не случайно рыбаки называют крупную сайру «трудоной» рыбой...

Беседа затянулась. По голосам, доносившимся из-за перегородки, можно было понять, что Лизе Марковой не легко решать все вопросы, с которыми приходили в штаб капитаны. Судя по всему, некоторым требовалось слово начальника экспедиции. Я принес Бессонову извинения за то, что отнял у него так много времени.

— Но ведь я же не абстрактными расчетами занимался,— весело успокоил меня Бессонов — Попутно я сделал и все необходимые расчеты на предстоящую промысловую ночь.

7

С начальником шикотанской базы Зиновием Николаевичем Салием, которого я разыскал на фирсе, мы договорились вместе побывать на консервных заводах.

Кое-что о Салии я уже знал. Знал, например, что он — капитан малокурильской футбольной команды «Рыбник» и самый результативный центр нападения в шикотанской спортивной округе. Правда, зубоскалы твердили, будто здешние вратари нарочно пропускают мячи Салия, чтобы не портить отношений с начальством. Но знал я также

и то, что Зиновий Николаевич — организатор и бессменный руководитель этой самой дальней нашей прибрежной рыбопромысловой базы.

Салий оказался не очень словоохотливым человеком, и мне потребовалось немало времени и терпения, чтобы узнать, как создавалась малокурильская сайровая база.

Я уже упоминал, что решение о строительстве консервных заводов на острове Шикотан было принято в конце 1959 года, что приморцы для своей базы избрали бухту Малокурильскую. Строительство поручили рыбокомбинату «Попов», начальником назначили Салия.

В середине марта 1960 года у ветхого пирса, оставшегося еще от бывшего китокомбината «Островной», ошвартовалось небольшое судно «Академик Берг». На нем прибыли первые строители базы — двадцать шесть человек. Салий приехал вместе с женой, и уже одно это говорило всем, что обживать новое место люди намерены прочно. Так оно и получилось: большинство приехавших тогда — прораб М. С. Белослудский, механик А. А. Тунгусов, плотник Н. М. Фетисов, нынешний секретарь партийной организации базы Ф. С. Храновский и многие другие — прочно стали островитянами.

Через несколько дней пришел пароход «Тунец», груженный лесом и кроватями, гвоздями и пилами. Перед этим в районе Южных Курил прогулялся шторм и бухту основательно забило льдами. «Тунец» не смог пробиться к берегу. В течение нескольких дней люди разгружали пароход, проложив к нему через битый, ненадежный лед забьющую дорожку из досок.

На «Тунце» прибыло еще четырнадцать строителей.

Когда разгрузка парохода закончилась и «Тунец», подавая прощальные гудки, выходил из Малокурильской бухты, у штабелей грузов, с таким трудом доставленных на берег, состоялось первое собрание коллектива. На почерневшей стене бывшего китообрабатывающего комбината появился транспарант: «Здесь будет рыбоконсервный завод».

Весна шла неудержимо. И хоть порой она ошарашивала строителей пургой, прорывавшейся с северным ветром, все заботы были не о жилье, не о собственных удобствах, а о том, чтобы подготовиться к приему судов, которые должны доставить сюда и технику, и строительные материалы, и людей. Расчишалась площадка будущего завода, прокладывались дороги. Пирс еще строился, а к нему уже швартовались плашкоуты, с помощью которых разгружались встававшие на рейде пароходы. К середине мая пирс был готов, готова была и площадка для завода, началось его строительство.

Двадцать шестое мая 1960 года надолго запомнилось островитянам. В этот день на Шикотан налетело цунами...

Это цунами, быть может, и не отнесут к разряду сильных, но строителям сайровой рыбоприемной базы оно доставило немало тревожных минут.

Сейчас на Курильских островах организована специальная служба цунами — несколько станций, которые следят за сейсмическими толчками, идущими со дна океана, и своевременно предупреждают порты, прибрежное население, суда о грозящей опасности. Такое предупреждение получили и на острове Шикотан. Но у малокурильцев в тот час не оказалось под руками катера, который смог бы оттащить на середину бухты плашкоут, стоявший под разгрузкой у нового пирса. Крутая волна, прорвавшаяся через горловину бухты, подняла беззащитную баржу и с размаху бросила ее на пирс.

На противоположном берегу бухты, метрах в пятнадцати от воды, очутились еще две огромные искореженные баржи; они еще долго ржавели на берегу...

И все же, несмотря на жестокое единоборство с недружелюбной природой, первый консервный завод вступил в строй своевременно. 27 июля он дал первые двадцать тысяч банок консервов.

После путины, когда и суда, и сезонные рабочие, и все экспедиционное начальство отбыли «на материк», в поселке осталось около двухсот пятидесяти зимовщиков. Дел у них еще было по горло: ремонт и строительство жилья, столовых, магазинов. Предстояло строительство второго крупного консервного завода, завода по производству льда, копильного цеха. В 1961 году база дала стране уже больше семи миллио-

нов банок консервов из сайры, в 1962 году — почти двенадцать с половиной миллионов банок.

В дни, когда я был в Малокурильском, вступал в строй еще один, третий и самый мощный консервный завод производительностью в десять миллионов банок консервов за сезон.

— Сейчас одна наша база дает столько же консервов, сколько все прибрежные рыбокомбинаты Приморского края, вместе взятые.— В го́лосе невозмутимого Салия прорезалась гордость.— Я думаю, что со временем мы совсем откажемся от завоза сезонников. Для этого надо дать заводам круглогодичную загрузку. И возможность такая есть.

Мы с Салием побывали на самом новом, третьем рыбоконсервном заводе базы. Третьим он называется только здесь, в Малокурильском. Для статистики и официальной отчетности у него есть другой номер — девяносто шестой. Эту цифру можно встретить на крышках консервных банок, в первой строчке выпуклых знаков.

Статистике привычно оперировать цифрами и номерами. Но почему бы в быту, в печати не заменить мертвые номера необезличенными именами? Разве рыбозавод «Океан», или «Волна», или даже «Край Света» звучали бы хуже безликих номеров? А дать такие имена совсем нетрудно: на Южных Курилах пока создано лишь семь береговых рыбозаводов.

Девяносто шестой консервный завод — это просторное светлое здание, где удивительно мудро продуман весь путь попавшей в сети сайры — от судна, доставившего рыбу на берег, до отгрузки картонных ящиков с консервами, которые столь быстро завоевали признание потребителей.

Прежде чем впустить в цех, нас обязали надеть белоснежные халаты. В медицинских халатах здесь работали все — грузчики, разделщицы, укладчицы, контролеры, автоклавщики. Девчата повязывали головы марлевыми косынками, и это еще больше подчеркивало их сходство с хирургическими сестрами в больнице.

Впрочем, у некоторых девчат головы были повязаны красными косынками. Отступление от традиций?

— Нет,— засмеялся Салий.— Это и есть наша традиция. Победители в соревновании за неделю получают право носить алые косынки...

В этот день алые косынки были у резчиц сайры Лидии Кузнецовой, Валентины Кокан, Раисы Паксиватовой, Клавдии Филатовой, у укладчиц Любы Балаевой и Светланы Антоновой. Кто их наденет на следующей неделе — покажут итоги работы.

Превращение сайры в консервы — сложный, многоступенчатый процесс, соединенный в стройную поточную линию. Сделано очень многое, чтобы механизировать его. Но сколько еще ручного труда на разных ступенях этого процесса! Бездействуют многие разделочные автоматы, вручную идет укладка долек рыбы в банки. Есть маслозаливочные машины, но рядом с ними стоят работницы и цилиндриками на длинных ручках черпают и разливают по банкам масло. Вручную укладывают в консервы перец и лавровый лист. Давно созданы этикеточные машины-автоматы, но десятки работниц заняты наклейкой этикеток вручную.

Механизация труда — важный этап на пути отказа от завоза на промысел сезонной рабочей силы. А ее с каждым годом требуется все больше и больше. И вот рыщут весною по городам и селам Мордовии, Черниговщины, Закавказья, Подмосковья молодцы из оргнабора, государство тратит огромные средства на перевозку людей из центральных районов страны на далекий Шикотан, на Край Света. Большинство девчат и молодых женщин едут охотно, быстро овладевают специальностью и за сезон зарабатывают приличные суммы.

Но в системе оргнабора, видимо, еще преобладает забота не столько об обеспечении далекого промысла настоящими работниками, сколько о формальном выполнении плана. Предполагается, что по оргнабору направляются здоровые люди, способные оказать действительную помощь добытчикам и обработчикам сайры. Но мне пришлось быть свидетелем того, как одна молодая женщина, прибыв в Малокурильский на пароходе «Якутия», сразу же обратилась с просьбой к руководителям экспедиции направить

ее в больницу: у нее начинались нормальные роды. Но, судя по медицинской справке, заверенной месяц назад, ничего подобного не предполагалось.

Приезжает на путину много студентов приморских и сахалинских вузов и техникумов. Это дружный, жизнерадостный народ. У студентов есть свой комсомольский штаб — организатор труда и отдыха молодежи, требовательный воспитатель. Для многих студентов работа на путине — первый трудовой экзамен в их жизни. И надо сказать, что большинство проходит через это испытание с честью, с веселым, молодым задором.

На консервных заводах установлены десятичасовые смены. Путина есть путина, здесь дорог каждый час и каждый человек. Это устраивает и администрацию, которой не нужно завозить дополнительно рабочие руки, устраивает и самих рыбообработчиков: их заработки увеличиваются почти вдвое.

С учетом этого организована здесь и работа магазинов, клубов, столовых. Столовые открыты почти круглосуточно, все они переведены на самообслуживание; правда, качество приготовления пищи не везде одинаково хорошее, да и меню однообразно.

На промысле действовал в эту путину «сухой закон». С морем шутить нельзя. В путине участвуют подчас далеко не идеальные люди, знающие меру своим силам и возможностями. Кое-кого обидело распоряжение П. И. Ковалева не разгружать ящики коньяка, который расторопные торговые работники все же пытались послать на Шикотан теплоходом «Глинка». Но коммунисты и комсомольцы поддержали своего начальника. Более того, они установили посты дружинников на причалах: нашлись махинаторы, которые попытались спекулировать спиртом, «контрабандой» доставленным из Южно-Курильска. Дружинники добились своего: несколько спекулянтов оказались на скамье подсудимых. А у приезжающих на остров комсомольцы реквизировали бутылки со спиртом и выбрасывали их тут же, на глазах у всех, на дно бухты. С точки зрения буквы закона, быть может, тут и не все правильно, но комсомольцы, идя на такой шаг, слишком хорошо знали: где водка — там жди беды. В дни моего пребывания в Мало-Курильском на острове произошел трагический случай. Тридцатидвухлетнему слесарю Ивану Борисенко где-то удалось раздобыть спирта. Напившись до беспамятства, он ночью в хмельном угаре зарезал из ревности двадцатичетырехлетнюю Галину Коробкову. Я видел убийцу утром, когда в комсомольском штабе составлялся протокол допроса. Борисенко плохо помнил, что произошло с ним ночью. Его мутные глаза ничего не выражали даже и тогда, когда в его присутствии девчата-свидетели рассказывали о подробностях случившейся трагедии. Дружинники с особым пристрастием выясняли, где и как Борисенко доставал спирт...

Перевод шикотанских баз с сезонной работы на круглогодичную приведет к резкому сокращению завоза рабочей силы и созданию здесь постоянных кадров. И хоть это потребует времени и вложения немалых средств, но это необходимо и экономически выгодно. Руководители приморской и сахалинской баз много рассказывали о перспективах развития промысла на Южных Курилах. Эта часть Тихого океана богата не только сайрой. В прибрежных водах много морского гребешка, кальмаров, креветок, лов которых можно вести круглый год.

Много и разных других пород рыб. Сейчас, в частности, осваивается в этом районе кошельковый лов скумбрии. Я беседовал с пионером освоения этого промысла капитаном новенького большого морозильного траулера «Пегас» Героем Социалистического Труда В. А. Воронковым и приехавшим сюда в командировку старейшим на Дальнем Востоке специалистом кошелькового лова капитаном приморского сейнера «Гдов» Героем Социалистического Труда В. В. Фалеевым, и они говорили мне, что промысел скумбрии не менее перспективен, чем промысел сайры, который получил такой широкий размах за столь короткое время.

Несомненно, одной из важных проблем на пути освоения Курильских островов лежит проблема снабжения. Пока приходится завозить сюда, пожалуй, все, кроме рыбы. И, конечно, обидно узнавать, что в разгар уборки овощей и картофеля на материке транспортно-холодильные суда приходят на Шикотан с Сахалина и из Приморья с почти пустыми трюмами и рыбообработчики вынуждены довольствоваться консервами. В этом грустном факте отражается лишь непресодоланное равнодушие снабженцев. Как ни хлоп-

потлива и дорога доставка продуктов в далекие районы океана, мне думается, что в недалеком будущем эту проблему можно будет во многом решить на местах. На Курильских островах есть несколько овощеводческо-животноводческих совхозов. Там, где цветут магнолии и растет бамбук, можно успешно выращивать и картофель и овощи.

В Малокурильском у многих островитян-«зимовщиков» уже есть свои огородики. Я видел, как цветет в них картофель, как наливаются соком тугие кочаны капусты, видел в палисадниках густые заросли гладиолусов, георгинов и маков.

8

Капитан водолея «Акшз» Дмитрий Ефремович Архипов сказал, что судно будет брать воду еще не меньше часа. «Акша» должна была доставить меня в район работы плавучих рыбообработывающих баз.

Когда я впервые услышал от П. И. Ковалева, что пойду в море на «водолея», мне в этом слове почудилась какая-то ирония. Что-то вроде «водовоза». Но оказалось, что термин «водолей» вполне законен и означает танкер, предназначенный для перевозки воды.

Пока я на пирсе размышлял, как лучше воспользоваться часом, который предоставил мне капитан водолея, незаметно подошел Саша Арсенькин, литературный сотрудник приморской краевой газеты «Красные знамя». В своей редакции он бывал очень мало. Зато на страницах газеты чуть ли не ежедневно печатались его очерки, корреспонденции, репортажи, зарисовки. Рядом с фамилией неизменно стоял «адрес»: Берингово море, Охотское море, Тихий океан, названия островов Курильской гряды, прибрежных рыбокомбинатов, а в скобках — «по радио».

— Пошли на «Юрий Гагарин»,— сказал Арсенькин.— А то смотри, так и не успеешь там побывать.

Об опытах, которые проводит коллектив среднего рефрижераторного траулера «Юрий Гагарин» — судна Дальневосточной центральной экспериментальной базы промышленного рыболовства главного управления «Дальрыба» — Арсенькин рассказывал мне с восхищением.

— Ты понимаешь, то, что там делают,— убеждал он меня,— это будущее промысла сайры. Самое близкое будущее!

Мы отправились. На спокойной глади бухты наш вельбот прошел мимо нескольких судов. Отставался после экстренного выхода в море «спасатель», рация которого постоянно включена и настроена на волну пятисот килогерц — на международную волну бедствия. У танкера — заправщика дизельным топливом теснились траулеры и сейнеры. Разгружался океанский пароход, доставивший на остров очередную партию пиломатериалов и долгожданные консервные банки. Рисуюсь красивыми обводами корпуса, сверкая на солнце свежей белизной надстройки, таким франтом среди судов-трудяг выделялся новенький большой морозильный траулер «Пегас». Он готовился к выходу на промысел скумбрии в Желтом и Восточно-Китайском морях. А чуть мористее стоял на якоре «Юрий Гагарин».

Обычно корпуса траулеров покрыты черной или серой краской. Корпус «Юрия Гагарина» отличался краской тускло-синего цвета, какой можно видеть на оконных наличниках старых, давно не ремонтировавшихся домов. И название судна в носовой части корпуса было выведено не белой, как обычно, а желтой краской. Видимо, у хозяиновладельцев на складе не оказалось иных красок. А может быть, в этом проявилась и своеобразная кокетливость экипажа.

Но не только необычный цвет корпуса привлекал внимание. В люстрах, похожих на небольшие корыта, вмонтированы были не простые зеркальные лампы, а люминесцентные трубки. В дальневосточных газетах уже не раз писали, что люминесцентные лампы дешевле, экономичнее, долговечнее обычных. И сейчас капитан «Юрия Гагарина» Дмитрий Павлович Кавкайкин говорил:

— Люминесцентные лампы дают мягкий, ровный свет, на который лучше собирается сайра. Кроме того, эти лампы не боятся морских брызг.

Разговор шел в просторной капитанской каюте. Кроме нас, тут были старший механик траулера Виктор Яценко, старший инженер экспериментальной базы Владлен Мильман, инженеры Петр Анищенко, Алексей и Михаил Ковалевы.

— Вот собрался весь цвет научно-исследовательской мысли траулера,— шутливо представил Кавкайкин собравшихся.— Главный зачинщик наших экспериментов — Владлен Анатольевич. Он и расскажет, чем мы тут, на промысле, занимаемся.

На борту «Юрия Гагарина» нет капроновой ловушки. Роль сети выполняет электроток. Когда рыба, привлеченная светом, соберется у борта, в воде создается импульсное поле, которое как бы парализует сайру, удерживая ее на поверхности воды. Моряки спускают с борта рыбонасос, и сайра непрерывным потоком течет прямо из океана в бункеры траулера.

— И каковы уловы? — поинтересовался я.

— Первые опыты мы проводили на разреженной сайре, сразу после штормовых дней,— ответил Мильман.— Сначала за ночь подняли шестнадцать центнеров сайры. Второй раз — уже шестьдесят центнеров. А в прошлую ночь натолкнулись на хороший косяк океанической сайры. За один замет электрической ловушки взяли на борт двести центнеров рыбы. На весь лов ушло двадцать минут!

— Кое-что отрегулируем в генераторах и дня через три-четыре снова отправимся в море, на лов. Милости просим с нами,— пригласил старший механик.

Но мне непременно надо было побывать и на плавучих базах, и на крабоборькоконсервных заводах. А они находились довольно далеко на север от Шикотана — на траверзе китобазы «Касатка» острова Итуруп.

С сожалением я покинул борт «Юрия Гагарина». В душе моей теплилась надежда, что «Акша», не дождавшись меня, уже ушла в море и тогда я со спокойной совестью вернусь на траулер, а на плавучих базах побываю потом, при другом удобном случае. Но вельбот обогнул корпус «Пегаса», открылся пирс и стоявшая возле него «Акша». Было видно, что шланги, по которым подавалась вода на танкер, уже убраны. Значит, к отходу все готово.

Команда «Акши» возвращалась с берега, нагруженная свертками,— в Малокурльском проводилась осенняя ярмарка. На центральной площади поселка были установлены киоски и лотки с товарами. Было много разнообразных красивых шерстяных вещей: свитеры, кофточки, яркие шарфики, а также одежда из синтетических тканей, изящная модельная обувь, хорошего покроя костюмы — вещи, за которыми иные модницы в центральных районах страны «охотятся» месяцами, здесь продавались в изобилии и в самом широком ассортименте. Председатель рыбкоопа Василий Васильевич Прицидевский объяснил:

— Дальний Восток получает так называемых дефицитных товаров значительно больше, чем многие другие районы страны. Это уже давно доказано, что в новые, не обжитые еще места людей надо привлекать не столько повышенными окладами, сколько созданием нормальных, а возможно, и лучших культурно-бытовых условий жизни. Со временем и на Шикотане будут построены дома для всех, кто постоянно намерен жить здесь. А хорошие товары мы завозим и сейчас. Вы заметили, что на Сахалине, например, молодежь одевается наряднее и красивее, чем, допустим, в Хабаровске или Иркутске? А чем шикотанская молодежь хуже? Но тут преследуется еще одна цель. Сезонные рабочие едут сюда пока только ради высоких заработков, которые здесь существуют. Так пусть молодежь здесь, на месте, приобретает на эти заработки и нужные ей вещи. Согласитесь, что когда юноша или девушка возвращаются с промысла нарядно и модно одетыми — это неплохая пропаганда нашего дальневосточного края.

Одно из центральных мест на осенней ярмарке занимал школьный базар. С той же деловитостью, как и в любом другом уголке страны, здесь, на краю света, школьники покупали к новому учебному году портфели, книги, тетради, готовальни, счетные палочки, а родители примеряли своим малышам ученическую форму, новые ботинки и туфельки. Примеряли будущим капитанам промыслового флота, мастерам рыбообработки — тем, кто, возможно, посвятит жизнь, чтобы превратить родной остров в жемчужину, огромный рыбный цех страны. Человека всегда тянет туда, где прошли его детство и юность...

Похвастался мне своей покупкой и капитан «Акши» Д. Е. Архипов. На ярмарке он купил жене, владивостокской учительнице, яркий шерстяной шарф. Стоя перед зеркалом умывальника, он набрасывал шарф на свои плечи, поворачивался то одним, то другим боком и удовлетворенно повторял:

— Понравится!

Отпущенные на берег задерживались, возвращались поодиночке. Вахтенному пришлось трижды давать гудки, чтобы известить находившихся на берегу, что танкер готов к отходу.

— Нет настоящей морской дисциплины,— жаловался Архипов.— Большинство экипажа — люди, проштрафившиеся на других судах. Ну, хорошо, сплitsu одного-другого нарушителя дисциплины, а кем заменю? Хотя наш водолей работает в тех же условиях, что и другие суда, и команда тоже по несколько месяцев не видит своих семей, оплата труда моряков танкера значительно ниже, чем на промысловых судах. Сколько и куда бы ни писали моряки водолеев, требуя разобраться в этой несправедливости, они неизменно получали ответы, сущность которых сводилась к тому, что водолеи относятся к транспортным судам, а для таких судов установлен коэффициент ниже, чем для промысловых, хоть работают они рядом, в одинаковых условиях. И все. И можете больше не писать, не беспокоить начальство. А в том, что моряки бегут с водолеев, виноваты сами капитаны. Надо, мол, воспитывать моряков, надо, чтобы моряки гордились родным судном. Вот так. А материальная заинтересованность — дело второстепенное...

«Акша» отошла от пирса, когда на остров надвинулись плотные южные сумерки. Открытый океан встретил небольшой зыбью и теплым ветром, наполненным удивительными запахами моря. Танкер то и дело зарывался носом в волны. Темная морская вода бежала вдоль бортов, и в ней мелькали яркие фосфоресцирующие точки. Трепетная игра ночной волны, теплый влажный ветерок, игра света, монотонный стук двигателя, журчание стекающей по шпигатам воды, медленное покачивание судна — все это сливалось во что-то радостное, как музыка. В такие вот часы, наверное, и рождается любовь к морю — любовь, которую не погасит уже ничто: ни тяжелый физический труд, ни изнурительные штормы, ни опасности морской жизни, ни месяцы разлуки с семьей..

9

За ночь зыбь улеглась окончательно. Откуда-то приполз туман. Включили локатор. В левой части его индикаторного поля белесой рваной линией вычерчивался восточный берег Итурупа. Водолей время от времени подавал низкие, хриплые гудки, предупреждая суда, которые могли оказаться в этом районе, о своем движении. Откуда-то сквозь серую тьму доносились гудки других судов, и тогда вахтенный штурман надолго прикивал к локатору. Туман не помеха для лова сайры, а увлеченным работой рыбакам легко забыть об обязательных в тумане сигналах.

С восходом солнца туман стал постепенно редеть и вдруг разом исчез, остался позади светло-серой пуховой полосой.

Непередаваемо краски раннего солнечного утра в океане. Океан и небо — оба бесконечные — слились неразделимо. Воздух такой прозрачный и чистый, что за много миль видны и зелень сопки Итурупа, и коричневые срезы обрывистых берегов. И все это кажется чуть нарядным, чуть искусственным, словно рассматриваешь яркую цветную фотографию, где все покрыто ненатуральным глянцем.

Впереди, на горизонте, показались суда. Но это еще не сами корабли, а только столбы дыма.

— С флагмана передали: воду сдавать плавбазе «Всеволод Сибирцев»,— доложил Архипову радист.

Дмитрий Ефремович берет бинокль и внимательно осматривает суда. Не те, что красуются розовой в лучах солнца надстройкой — это новые, самые новые плавучие базы,— а те, что прокопчены, обветрены, оббиты волнами за долгие годы трудной морской жизни. Их осталось немного, ветеранов дальневосточного крабового флота: «Алма-Ата», «Второй краболов», «Чернышевский», «Коряк», «Всеволод Сибирцев»,

«Пятый краболов», «Жура» — но это ветераны крепкие, испытанные, не уступающие в работе красавцам краборыбоконсервным заводам «Андрей Захаров», «Александр Обухов», «Павел Чеботнягин», «Евгений Никишин», которые лишь недавно начали свою жизнь в море.

Мне даже в бинокль не удастся определить, какая из этих «коробок» плавбаза «Всеволод Сибирцев» — бортовые надписи не различить и вооруженным глазом, — но Архипов знает каждое судно «в лицо» и уверенно ведет «Акшу» к кораблю, стоящему несколько ближе к берегу залива Касатка.

На борт «Всеволода Сибирцева» поданы швартовы, шланги.

Застучали насосы, и пресная вода пошла по вздрагивающим шлангам в танки корабля.

— Эй, на базе! — крикнул Архипов. — Подайте мотобот, к вам пассажир.

Пассажир — это я. На море всех, кто не вписан в судовую роль, называют пассажирами.

Через несколько минут небольшой деревянный бот доставил меня к борту «Всеволода Сибирцева». Ого, какой высокой кажется снизу железная стена плавучей базы! Теперь надо поймать момент и уцепиться за раскачивающуюся связку штурмтрапа. Уда- лось! Матросы не без ехидного любопытства наблюдают, как я со скоростью и грацией черепахи карабкаюсь на палубу плавбазы. Штурмтрап раскачивается, деревянные пере- кладины кажутся скользкими, о них бьется, за них цепляется висящий на шее фото- аппарат.

— Да не хватайся ты за балясины трапа, сорвешься, — советуют сверху. — Держись за тросы...

Но вот последние ступеньки трапа, меня подхватывают сильные руки, и под нога- ми уже надежная, твердая палуба.

Плавбаза «Всеволод Сибирцев» относится к числу тех немногих судов, которые плавают на Дальнем Востоке еще с довоенных лет. Консервный завод «Всеволода Сибирцева» ежедневно выпускает сотни ящиков консервов (а в каждом ящике — почти сто банок); на судне плавают несколько сот моряков и рабочих базы. Как и на берегу, обработкой рыбы, укладкой ее в банки здесь заняты тоже девчата. «Бабы корабли» — называют краборыбоконсервные заводы на Дальнем Востоке.

Потребовался целый день, чтобы получить хотя бы самое общее представление о разностороннем и сложном хозяйстве корабля-завода.

В конце дня я зашел к первому помощнику капитан-директора плавбазы Василию Григорьевичу Трегубу. В зависимости от характера и стиля работы первых помощников на кораблях моряки за глаза называют по-разному: «помполит», «комиссар», «поно- марь»... Василий Григорьевич относился явно к числу «комиссаров». Плавает он первую путину, до этого был на партийной работе в Манзовском отделении Дальневосточной железной дороги. Естественно, что и на корабль он пришел с «сухопутными» навыками политической работы — любовью позаседать, поруководить. Впрочем, экипаж «Всево- лода Сибирцева» скоро ощутил, что у этого человека довольно твердая, жесткая рука и неумолимая партийная принципиальность. Особенно это почувствовалось, когда кол- лектив узнал о столкновении Трегуба с капитан-директором.

Случилось вот что. Во время крабовой путины капитан-директор «Всеволода Сибирцева» нарушил установленные правила промысла. Инспекция рыбоохраны зафик- сировала это в соответствующем акте, оштрафовав нарушителя на пятьдесят рублей. Капитан-директору показалось несправедливым, что оштрафован он один. Нашлись подхалимы, которые организовали сбор денег на «капитанский штраф». Об этом узнал Трегуб. О сборах «на штраф» рассказала степная газета плавбазы «Маяк коммунизма». Сигнал стенгазеты обсуждало партбюро корабля.

Ежедневная стенная газета «Маяк коммунизма» — детище Трегуба, и она поль- зуется здесь большой популярностью. Сколько мы знаем таких стенгазет, которые выхо- дят от праздника к празднику и состоят из пустых, малограмотных заметок! А вот во многих коллективах Дальневосточной железной дороги уже несколько лет выпускаются ежедневные газеты. Этот опыт Трегуб перенес и на плавучую базу.

В редакцию избрали около шестидесяти человек. Они разбились на семь редакций — по дням недели. У каждой редакции на подготовку выпуска — целая неделя, у каждой редакции — свой постоянный актив.

Первый номер стенгазеты просуществовал несколько часов. Ночью его кто-то сорвал. Трегуб, посоветовавшись с редколлегией, предложил полностью восстановить его и укрепить рядом со вторым выпуском. Вечером, перед началом киносеанса в корабельном клубе, Трегуб объявил:

— Стенгазету мог сорвать только тот, кого в ней критикуют. Редакция восстановила номер. Предупреждаем: если и он будет сорван, напишем его заново масляными красками на листе железа и сохраним до возвращения во Владивосток. Критические сигналы каждого номера не станем снимать до тех пор, пока не будут устранены недостатки. Возражений нет! Принято единогласно!

Стенгазету больше не срывали.

Вечером, когда вывешивается очередной выпуск, по коридору трудно пройти: моряки и обработчики толпятся у щита, а те, кто не сумел протиснуться поближе, кричат:

— Ну, кого там сегодня «маячок» продрал!

Когда я пришел к Трегубу, в его каюте «заседала» редакция «вторника». Очередной выпуск было решено посвятить борьбе с потерями на обработке сайры. Представители «вторника» — начальник цеха добычи Эдуард Черновалюк, разделочница Римма Шанина, укладчица Оля Савченко — договаривались, кого из активистов и на какой участок производства следует послать для сбора необходимых материалов. И по тому, с каким задором это обсуждалось, можно было догадываться, что редакция настроена весьма агрессивно и очередной «вторник» доставит кое-кому немало неприятных минут.

На океан спустилась новая ночь, когда я наконец добрался до четырехместной каюты, которую капитан-директор превратил в небольшую гостиницу на корабле. Здесь оказались Борис Костин из Приморского радио и Веня Анциферов, очеркист газеты «Советский Сахалин». Они торопливо писали, а рядом сидел редактор многотиражки «Советский краболов» Филипп Камко и листал какую-то брошюру.

— Когда материалы передавать будете? — ревниво спросил я у братьев журналистов.

— Какое там передавать, — обиженно протянул Борис. — Камко заставил нас писать для своей многотиражки. Видишь ли, он считает, что в его «Советском краболове» мало очерковых материалов. Вот и эксплуатирует газетчиков, которые попадают на «Всеволода Сибирцева». Он и тебя заставит сесть за очерк!

— И заставлю, — зловеще пообещал Камко.

Я деликатно умолчал, что на «Всеволода Сибирцева» больше не вернусь, так как договорился по радио с начальником колонны судов крабофлота, что я на траулере «Бельск», который придет славать утром рыбу «Всеволоду Сибирцеву», уйду на промысел.

Анциферов пробежал глазами исписанные листки бумаги и протянул Камко:

— Держи, изверг!

— Чудненько, — ухмыльнулся Камко. — Подвал. И заголовок броский: «Подвиг в океане». Никто еще такого не выдумывал. В «Советском Сахалине» у тебя, кажется, был другой — «Огни в океане». Прогресс!

Знакомая и милая атмосфера «подначек»! Анциферов изобразил на лице оскорбленное самолюбие и протянул руку, делая вид, что хочет взять листки обратно.

— Но-но-но, — отвел его руку Филипп. — «Советский краболов» непременно напечатает твою халтуру. И даже фамилию автора напечатает рядом с заголовком. И даже рубрику «Очерк» поставит. Это в целях воспитательных. Чтобы все знали, что знаменитый сахалинский очеркист Анциферов не хочет писать хорошо, если не пахнет гонораром.

Веня не обижался. Он знал, что Камко до смерти рад материалу, что вся эта воркотня — обычный «треп», без которого не могут жить ни моряки, ни журналисты.

Закончил писать и Борис Костин. Камко бегло прочитал рукопись:

— Нечто лирико-эпическое? Пойдет. О теще ничего не написал? Зря. У тебя это здорово получается... О боксе тоже ничего нет? Читатели будут огорчены. Ну, ребята, вы честно заработали сегодня свой ужин.

10

За кормой осталась еще одна промысловая ночь.

Средний рыболовный траулер «Бельск» довольно быстро нашел крупный косяк сайры чуть севернее мыса Дракон. Вот куда передвинулась океаническая сайра — дальше острова Итуруп. Каким чутьем рыбака надо обладать, чтобы по неясным приметам отыскать косяки сайры! Конечно, в руках моряков сейчас немало приборов, помогающих найти рыбу, есть и специальные суда-разведчики, но я глубоко убежден, что настоящий рыбак обладает и таким «шестым чувством», которое, подобно электронно-вычислительной машине, позволяет на основе показаний приборов, наблюдений за поведением птиц и дельфинов, данных о температуре воды и направлении течений, полученных на «капитанском часе» сведений о работе других судов избрать ту точку в океане, где наверняка окажется сайра.

На «капитанском часе» стало ясно, что сайру хорошо берут все суда приморской экспедиции. Видимо, на рыбе «сидели» и сахалинцы.

На траулере «Бельск» я узнал еще одного интересного человека — капитана Ивана Петровича Хлынова.

Сибиряк, он юношей приехал на Дальний Восток. Два года работал в Сучане на шахте. А от Сучана рукой подать до Находки — молодого города-порта. Тогда, пятнадцать лет назад, Находка еще только строилась, порта не было, но в бухту приходили суда, груженные лесом, строительными материалами, техникой.

Двадцатилетним парнем Иван Хлынов поступил в находкинскую школу юнг, потом окончил курсы штурманов малого плавания, работал на судах крабофлота, получил диплом штурмана дальнего плавания.

Через десять лет штурман Иван Хлынов был назначен капитаном среднего рыболовного траулера «Бахчисарай». Видимо, было в молодом капитане зерно рыбацкого таланта, если на первой же своей сайровой путине, в 1959 году, «Бахчисарай» стал передовиком добычи рыбы среди судов крабофлота. Видимо, была в нем и струнка организатора и воспитателя, если через год экипаж «Бахчисарая» завоевал право называться экипажем коммунистического труда. Однако в новой крабовой путине Хлынову участвовать не пришлось. За несколько дней до выхода флотилии в море он лег на операцию — язва желудка. Когда Хлынов «закрыл» наконец больничный лист и пришел в отдел кадров за направлением на «Бахчисарай», ему сказали:

— Твое право, Иван Петрович, хоть завтра на попутной посудине отправиться в море и вступить в командование «Бахчисараем». Законное право — и юридическое и моральное. Наверное, даже обязательно надо идти на «Бахчисарай»: после болезни тебе на первых порах лучше полечче работу взять. На «Бахчисарае» — твои воспитанники, твои товарищи, они помогут тебе, освободят от лишней нагрузки. После болезни очень важно, чтобы рядом были хорошие товарищи...

— Не пойму я вас, — возмутился Хлынов. — Толчетесь вокруг да около, как вода в сулое. Что случилось?

— Понимаешь, Иван Петрович, плохо идут дела на «Бельске». План провалили. На судне — пьянки. Половина команды — штрафовившиеся моряки. Даже старпом Базанов строгача получил...

— Иван Васильевич? — удивился Хлынов. — Да ведь Базанов — один из лучших штурманов флотилии!

— Знаем. Но вот рапорт капитана. Право наказывать ему по уставу дано. Плохо на «Бельске». А впереди — сайровая путина. Ну, снимем мы капитана с работы, понизим в должности. А кого на его место? Твой преемник на «Бахчисарае» хорошо себя показал. Но он ведь работал с коллективом уже сложившимся, дружным. А переведем его на «Бельск»? Сумеет ли он повернуть коллектив, починить то, что наломал там нынешний капитан?

— Эх вы, хитрецы! Говорили бы прямо: надо тебе, Хлынов, идти на «Бельск» — и точка!

— Ага, а потом нас обвиняли бы в черствости, в бездушии. Вот, мол, человек перенес тяжелую болезнь, а его в пекло суют, да и материально ущемили. Ведь на первых порах будешь зарабатывать меньше, чем получал на «Бахчисарае».

— А то, что целый экипаж траулера получает меньше, чем рыбаки других судов, это вас не волнует? Да потому у них и дисциплина низкая, потому и водка на судне завелась, что люди потеряли веру в себя, в свой заработок. Море — оно для всех одинаково, и каждому обидно получать в общем-то за равные трудности неравный заработок, неравные радости.

— Так что ж, по рукам, Иван Петрович?

— По рукам. Только Базанова больше не трогайте. Если бы у него был диплом штурмана дальнего плавания, он давно бы стал капитаном, да еще каким капитаном!

Так вот и перешел Хлынов с передового траулера «Бахчисарай» на самый отстающий в краевой флотилии — «Бельск».

Придя на «Бельск», Хлынов, в сущности, не делал ничего необычного: он добросовестно выполнял свои обязанности капитана и неукоснительно требовал, чтобы и остальные хорошо трудились. А главное, он «чувствовал» рыбу. Раз рыба ловится — значит, будут и заработки. Кому ж захочется уходить с судна, где можно неплохо заработать за путину! Моряки — народ тертый, они отлично знают всех «добычливых» капитанов и понимают, что угроза уволить нарушителей дисциплины — не пустые слова. К такому, как Хлынов, на их место завтра же придут другие моряки. Но вот тем, кого Хлынов уволит, не скоро удастся попасть на судно к другому «добычливому» капитану.

А Хлынов, ступив на борт траулера, пообещал твердо:

— Увижу пьяного на судне — немедленно спишу на берег. Независимо от занимаемой должности спишу. Даже если только половина команды останется на судне, все равно буду списывать!

И моряки поняли: этот — спишет.

С начала сайровой путины «Бельск» вышел в число передовых траулеров крабофлота. Единственным опасным соперником в соревновании у него оставался экипаж «Бахчисарая». Борьба за первое место в колонне судов флотилии развернулась именно между этими двумя командами.

Утром, когда заканчивался промысел, радист принес сообщение:

— Начальник колонны распорядился сайру сдавать на плавбазу «Александр Обухов».

— По знакомству, Иван Петрович? — пошутил стоявший на мостике старпом Базанов. — Начальник колонны укрепляет, так сказать, супружеские узы подчиненных...

— Да брось ты, Иван Васильевич, шутить, — смутился Хлынов. — Это вот корреспондента на плавбазу надо доставить.

Смысл шутки они разъяснили мне сами.

Перед весенней путинной жена Хлыновца — Полина Егоровна — заявила мужу:

— Надоело мне сидеть дома и две трети года мучиться в ожидании, не случилось ли что с тобой в море. Ребята уже большие, они побудут лето с бабушкой: им в таежном Анучине будет даже лучше, чем во Владивостоке. Пойду с тобой в море.

— Нет, уж только не на моем судне. Иди на плавучую базу: там и условия получше, и никто не сможет меня упрекнуть, что я делаю поблажки жене, развел семейственность на судне...

Полину Егоровну зачислили работницей порционной машины на плавбазе «Александр Обухов».

Когда перед выходом на путину Ивана Петровича положили на операцию, Полина Егоровна решила остаться на берегу, чтобы ухаживать за больным. Хлынов вскипел:

— А море, работа — это что для тебя, игрушки? Сегодня — хочу плавать, завтра — хочу осгаваться на берегу. Здесь, во Владивостоке, у меня достаточно и дру-

зей и родственников, которые смогут навестить меня в больнице. Отправляйся-ка, матушка, на путицу и жди меня в море!..

Когда мы на рассвете подходили к плавучей базе, с ее высокого борта «Бельску» приветственно махала рукой женщина в халате и белой косыночке. Сейчас можно только поздороваться, взглянуть друг на друга — в цехе ждет работа. Увидятся муж и жена потом, когда у Полины Егоровны кончится смена, а «Бельск» сдаст плавбазе очередной улов.

Семья... Муж и жена... Отношения мужчины и женщины... Эти вопросы, требующие особой деликатности, на плавучих базах возникают довольно часто. И вникать в них приходится прежде всего политическим работникам плавбаз, первым помощникам капитан-директоров.

Жизнь моряка — особая, сложная. Плавучие базы находятся на промысле по девять-десять месяцев. Девять-десять месяцев моряк не видит жены, детей. Разлука легче и проще переживается, когда на судне только мужчины. А на плавучих базах более шестидесяти процентов — женщины. Лишь немногие моряки и рыбообработчики могут уходить в море семьями, хотя таким «парным специалистам» в отделе кадров крабофлота отдают явное и разумное предпочтение. Естественно, что в море могут между мужчинами и женщинами возникать связи, чаще — прочные, на всю жизнь, иногда — временные, случайные, от этого никуда не уйти: жизнь есть жизнь.

Политическим работникам плавучих баз, как организаторам всей политико-воспитательной работы в коллективе, приходится решать и вопросы самого интимного свойства. И все тут зависит от общей культуры, такта, я бы сказал — чистоты самого политработника. Запретить любовь на корабле инструкцией нельзя. В любви трудно провести границу между «дозволенным» и «недозволенным». И потом всегда ли вправе третий вмешиваться в самое сокровенное двух людей?

Работа первого помощника капитана, как и всякая партийная работа, чрезвычайно сложна, и границы ее необъятны. Это работа с людьми, а ведь сколько человек, столько и характеров, да и настроение этих разных людей не всегда одинаковое. Разобраться в переплетении судеб, характеров, настроений, направить усилия людей к единой цели, сплотить людей в коллектив — все это требует кропотливой работы, великого терпения и огромной веры в лучшие качества людей.

Обо всем этом мы проговорили долгую ночь с первым помощником капитан-директора плавбазы «Александр Обухов» Иваном Кирилловичем Бычковым.

— Я впервые на море, — рассказывал он. — До этой путины был на партийной работе в сельском хозяйстве. Пожалуй, только здесь, в море, я по-настоящему понял, что не может быть этакой всеобъемлющей профессии партийного работника, которого куда ни пошлут — в совхоз, на предприятие, на море, — он везде сумеет одинаково хорошо и правильно поставить партийно-политическую работу. Сколько ошибок и упущений у меня было на первых порах, пока я не вжился в морской уклад, в морские традиции, пока не узнал не только людей, а и рыбу, особенности рыбного промысла. Да и сейчас еще у меня порою не все идет гладко...

Плавбаза «Александр Обухов» лишь в марте пришла во Владивосток. Это было новое судно, костяк команды которой составили люди, откомандированные с других плавучих баз перед самой путиной — с «Алма-Аты», «Андрея Захарова», «Коряка», «Второго краболова», «Чернышевского», «Павла Чеботягина». Они пришли со своими традициями, со своим опытом, со своим подходом к делу. Нередко и теперь еще можно слышать, как моряки и рыбообработчики заявляют:

— А у нас, на «Алма-Ате», было не так..

— Моряки «Коряка» никогда бы не согласились на это...

Чтобы сколотить коллектив, сплотить его, Бычкову и партийной организации уже в ходе путины приходилось много заниматься воспитанием людей. Жизнь каждый день выдвигала новые сложные задачи.

На судне выделилась группа откровенных рвачей.

— Нормы установлены чересчур высокие, а расценки низкие, — заявляли они. — Мы пошли на промысел зарабатывать рубли, а не вкалываг за копейки!

Попытались рвачей убедить на собрании экипажей мотоботов, где они работали,— не помогло. Попытались проводить индивидуальные беседы, рассказывая, что многие женщины выполняют по две с половиной — три нормы, что ежемесечный заработок у таких рыбообработчиц, как Елизавета Долгуша, Валентина Пензенко, Ольга Прирезова, Любовь Корнеева, у многих других составляет триста шестьдесят—четыреста рублей,— никакого толку.

Среди рвачей была молодая женщина С. Т. Ее прогулы, ее разгульное поведение дважды обсуждал женсовет. Капитан-директор объявил ей выговор. Но это не подействовало. Собрали товарищеский суд.

— Вы применяете неправильные методы,— заявила на суде С. Т.— Вы обязаны меня воспитывать, а вы меня выгоняете...

— Но ты же не хочешь честно работать?!

— А зачем мне ишачить за пять рублей в сутки,— цинично заявила она,— если я эти деньги могу за полчаса заработать! Охочих мужиков на корабле навалом...

По решению суда С. Т. была списана с корабля.

Это, разумеется, крайний случай распущенности, нарушения элементарных правил быта и трудовой дисциплины... Такие случаи, несомненно, бывают и на берегу. Но здесь, на море, они заметнее, главное — опаснее для остальных. И борьба с ними должна вестись особенно жестко и в то же время особенно тонко, так как случай случаю рознь.

Людмила П. жила в одной каюте с двумя другими работницами. Женщины как-то поссорились между собою, и две бывшие подруги написали родителям Людмилы, живущим на Северном Кавказе, анонимное письмо, в котором рассказывалось об аморальном поведении Людмилы. Можно представить себе состояние родителей, получивших такое письмо. Можно представить себе, какая тревога за судьбу дочери содержалась в их послании, направленном руководителям плавучей базы.

Разобраться во всей этой неприятной истории было поручено пожилым, пользующимся непререкаемым в коллективе авторитетом женщинам-коммунисткам. И они проверяли эти письма, проявляя максимум деликатности и осторожности. И лишь после того, как был установлен клеветнический характер письма, ушедшего на Северный Кавказ, установлены авторы анонимки, Людмила П. узнала об этой переписке и проверке. Ее родителям послали успокоительное письмо, а материалы проверки стали предметом обсуждения на собрании женщин, поводом для большого разговора о женской чести и человеческом достоинстве.

Да, экипаж «Александра Обухова» к концу путины, несомненно, сложился в прочный коллектив. Есть много примет, по которым угадывается эта прочность. Она проявляется и в настроении членов экипажа, и в трудовом ритме корабля-завода, и в том, как выполняется государственный план.

Вот и закончилось мне путешествие на Край Света. Поздним сентябрьским вечером транспортно-холодильное судно «Армавир» отвалило от пирса в бухте Малокурльской и направилось к выходу в океан.

* * *

Со времени моей последней поездки на Курильские острова прошло два года. Много тайфунов пронеслось над Тихим океаном, много воды утекло. Кое-что изменилось и на промысле сайры. На Дальний Восток пришли новые плавучие базы, пополнился современными судами промысловый флот. Новые методы лова рыбы постепенно выходят из стадии эксперимента и все тверже получают право гражданства. Создана новая организация в системе рыбной промышленности — Дальморрепродукт, которая занялась промыслом тех даров океана, которые принято считать нерыбными — осьминогов, кальмаров, креветок, мидий, морского гребешка, водорослей. Экипажи некоторых БМРТ уже далеко перешагнули за сотысячный рубеж.

Нынешней весной я снова побывал во Владивостоке, в Находке, Корсакове, Холмске, Южно-Сахалинске, встретился со многими из тех, о ком рассказывал выше. Я узнал, например, что молодой капитан сейнера «Ост» Саша Сипатрин включен в состав советской делегации на IX Всемирный фестиваль молодежи. И не вина Саши, что ему не удалось пока побывать в Алжире — фестиваль отложен. По-прежнему большую часть времени проводит в море, среди рыбаков, Саша Арсенкин и выпускает в Тихом океане многотиражную газету «Советский краболов» Филипп Камко. На капитанском мостике, как и прежде, стоят Герои Социалистического Труда Василий Фалеев и Владимир Воронков. А вот кое с кем встретиться уж больше не придется...

Но жизнь идет вперед, и каждое лето к Южным Курилам отправляются сайровые экспедиции. Тысячи рыбообработчиков приезжают на маленький остров Шикотан, на Край Света. И снова возникают десятки больших и маленьких проблем, волнующих этих людей. Ведь речь идет об их жизни и быте.

В прошлом году, например, подходы сайры к Курильским островам были слабыми. А это отразилось на подготовке к путине нынешнего года. И коварная сайра отомстила: в разгар сезона на Шикотане снова образовалась «пробка», заводы не успевали перерабатывать всю рыбу, часть улова продолжает оставаться «подарком Нептуну». И опять разгорелся бесконечный спор между берегом и морем. А страдают в конечном счете от этого интересы страны, государства.

Именно это заставило меня взяться за перо и рассказать о том, что я видел на промысле.

1963—1965.



Л У Б Л И Ц И С Т И К А

В. ПОКШИШЕВСКИЙ,

профессор

★

НАСЕЛЕНИЕ МИРА И БУДУЩЕЕ

Сплющенное, превращенное в эллипс изображение земного шара. На фоне сетки меридианов и параллелей — три схематические человеческие фигурки разной величины. Это эмблема Всемирной конференции по вопросам народонаселения, созванной недавно Организацией Объединенных Наций.

Эмблема эта символизирует весьма важное явление в жизни нашей планеты: непрерывный, резко ускоряющийся рост числа ее обитателей.

Мне пришлось участвовать в работе этой конференции, быть свидетелем научных (и не только научных) баталий, происходивших на ней. Своими наблюдениями и размышлениями относительно самой проблемы и того, что происходило на конференции, мне хочется поделиться с читателем.

* * *

Динамика населения всех стран мира органично связана с явлениями социально-экономической жизни. Кризисы и подъемы экономики, аграрные реформы в деревне и успехи рабочего движения в городе, жилищное строительство и изменения в положении женщины на производстве и т. д. и т. п. — все это неминуемо отражается на рождаемости и смертности, на числе браков и на притоке населения в города или на миграцию его из одного района в другой. «Демографический барометр» очень чуток. Беда лишь в том, что связи между показателями движения населения и экономическими явлениями подчас очень сложны, запутаны, и «прочесть», о чем именно свидетельствуют эти показатели, удается далеко не всегда и не каждому.

«Движение населения» — какой емкий и выразительный термин нашла в русском языке демографическая наука! Он вмещает в себя и естественные процессы воспроизводства населения — его прирост или убыль со всеми их источниками и обуславливающими факторами (рождения и смерти, браки, разводы, детская смертность и т. д.), и «механическое движение» — перемещения населения между странами или районами, между селом и городом. Показатели движения населения очень важны при любом экономическом планировании. Они — та основа, отправляться от которой необходимо, чтобы анализировать многие явления, учитываемые социальной статистикой, такие, например, как занятость и безработица, образовательный уровень городского и сельского населения, сдвиги в его классовом и профессиональном составе и другие.

Демографические исследования в нашей стране долгое время недооценивались. Молчаливо подразумевалось, что поскольку социалистическая революция разрешила у нас основные экономические проблемы развития, то отпали и те демографические трудности, с которыми в силу структурных противоречий капитализма неизбежно сталкивались буржуазные страны. И в самом деле, социалистические преобразования

нашей экономики позволили сравнительно быстро покончить с безработицей, плановые формы руководства всем хозяйством, казалось, позволяли управлять перераспределением рабочей силы между отраслями, переброской их из района в район.

Несомненно, так оно и было, — но только в известной мере. Практически наша действительность ставила перед нами немало проблем, для правильного решения которых демографические данные были насущно необходимы; либо же сами эти проблемы носили демографический характер.

Движение населения, его приливы и отливы складывались в итоге бесчисленных индивидуальных поступков, которые не поддавались прямому планированию (а для косвенного планирования нужно было «статистически» понять механизм возникавших здесь зависимостей, но его не стремились исследовать). Бурный рост наших городов, несомненно, подчинялся каким-то закономерностям, но никто толком их не изучал. Потому-то прогнозы и расчеты, которыми «кустарно» занимались проектные градостроительные организации, часто опровергались жизнью. Мы недостаточно знали показатели прироста населения страны, его половую и возрастную структуру. Между тем время от времени принимались в «волевым» порядке очень ответственные решения, исполнение которых входило затем в существенные противоречия с действительным движением населения. Так, в 1936 году установленное еще при В. И. Ленине право женщины на аборт было отменено, и это запрещение действовало целых девятнадцать лет, вплоть до 1955 года. Статистические органы очень неохотно публиковали сведения о населении; данные переписи 1939 года были обнародованы лишь в очень общем виде. Позже даже о суммарной численности населения СССР можно было судить не столько на основании демографических публикаций, сколько по случайным упоминаниям в документах и речах руководителей.

В то же время представление о том, что плановое социалистическое хозяйство якобы автоматически восстанавливает все демографические пропорции, стало как бы основополагающей доктриной (признавались лишь диспропорции, порожденные войной, но акцент делался на том, как быстро они изживаются, что далеко не отвечало действительности). Указания на возможность даже частичных трудностей в отношении обеспечения в СССР полной занятости (например, хотя бы в шахтерских поселках для женского труда, в текстильных центрах — для мужского) отнюдь не поощрялись. Эта же доктрина объявляла злостным мальтузианством¹ признание любых несоответствий между ростом населения в какой-либо стране и ее возможностями эффективно использовать рабочую силу.

Постепенно многие социологи и этнографы, экономисты и географы «отвыкли» пользоваться точными демографическими данными, мыслить о демографических процессах «в мере и в числе». Некоторые ученые, правда, пытались сами собирать первичный демографический материал, организуя экспедиции или проводя обследования; но им, конечно, удавалось охватить каждый раз только маленький участок, и собранные сведения позволяли выдвигать научные концепции лишь очень частного характера и узкого значения.

Положение начало меняться только во второй половине пятидесятых годов. Своего рода переломным моментом послужила перепись 1959 года, полные материалы которой стали публиковаться с 1962 года. Центральное Статистическое Управление СССР — хотя и медленно (ох, как медленно!) — начало снова становиться научной организацией, какой оно было в двадцатых годах.

Но, к сожалению, инерция в науке часто бывает очень сильной, и демография — все еще отстающий у нас участок общественных дисциплин; она даже не представлена в Академии наук СССР специальным институтом. Правда, та узкодогматическая, в своей основе волюнтаристическая доктрина народонаселения, о которой только что

¹ Еще на рубеже XIX века английский экономист, священник Томас Р. Мальтус (1766—1834) выступил с доктриной неизбежного несоответствия роста населения и средств существования. Он пытался доказать, что причина перенаселения и нищеты «бедных» классов, трудящихся не в социально-экономических условиях, порождаемых капитализмом, а в природных, биологических.

говорилось, в наше время утратила уже свое господство. Большую роль сыграли конкретные работы экономистов (занивавшихся балансом трудовых ресурсов), географов (начавших гораздо углубленнее изучать население Советского Союза и зарубежных стран) и других наших ученых. Усилился обмен научным опытом с нашими коллегами из социалистических стран Европы. Сейчас мы уже не отбрасываем безо всякого внимания и труды по вопросам народонаселения, выходящие в капиталистических странах,— ведь и в них можно найти немало небесполезных и для нас сведений, мыслей, методических приемов. Все это быстро показало, что действительность много сложнее тех схематических представлений, которые, даже будучи правильными в своей основе, наделали в прошлом немало вреда именно своей схематичностью.

Особенно важно было преодолеть догматические схемы в тех случаях, когда дело касалось наших оценок демографических проблем таких стран, как Индия. Там проблемы эти достаточно остры, найти их решения подчас очень непросто; торопливо отмахнуться от возникающих трудностей на том, мол, основании, что признание их есть якобы уступка неомальтузианству, значило бы оказать плохую услугу делу международного взаимопонимания.

А взаимопонимание это — притом в масштабе всей планеты — становится сейчас все более нужным. Мир сейчас, как никогда, един, хотя его и разделяют различия политических систем, военные базы империалистической агрессии, демаркационные линии. Разве не общей для всех народов является борьба за мир? Разве не стучатся в дверь проблемы совместного координированного использования всех ресурсов Земли? Демографические процессы в любой стране становятся небезразличными для всего человечества. Именно всего! Ведь мы живем сейчас в системе «сообщающихся сосудов». Если в прошлом веке понятия «мир», «человечество» даже для среднего русского интеллигента практически почти полностью сводились к кругу одних европейских народов, то теперь мы каждодневно и вполне обыденно вникаем в экономические заботы арабов и кубинцев, сталкиваемся с духовным миром индийцев, восхищаемся спортивными успехами бразильцев и японцев. При этом контакты неизмеримо облегчаются современной техникой, они становятся все более быстрыми, даже «мгновенными»...

Обо всем этом я не раз задумывался, собираясь в Белград на Всемирную конференцию по вопросам народонаселения.

Уже задолго до отъезда я отлично понимал, как резко столкнутся на ней различные точки зрения, различные концепции. Острота эта определялась уже самим характером движения населения в послевоенные десятилетия.

Почти сразу же после окончания второй мировой войны демографическая мысль стала настойчиво обращать внимание на то, что рост населения мира принял резко ускоряющийся характер. В литературе замелькал термин «бэби-бум». Так первоначально обозначали повышение коэффициентов рождаемости при переходе на мирные условия жизни в странах, испытавших тяготы войны или фашистской оккупации (статистики иногда называют «компенсационным» подобное повышение рождаемости после испытанных нациями бедствий). Потом, однако, оказалось, что это увеличение рождаемости отнюдь не «бум», что оно довольно устойчиво. Даже во Франции — стране, где в течение многих десятилетий прирост населения почти отсутствовал (а в отдельные годы число смертей даже превосходило число рождений), наблюдался систематический и довольно значительный (по европейской мерке) рост населения. Очень заметно возрастала рождаемость в развивающихся странах, особенно в тех, которые освободились от колониалистского гнета и обрели свою государственную независимость, а также в Лагинской Америке.

Трудно объяснить одной общей причиной такой рост коэффициента рождаемости, поднявшегося почти во всех развивающихся странах не менее чем до трех процентов в год, а в некоторых превысившего даже шесть процентов. Видимо, здесь совместно действовали и некоторый подъем благосостояния, и улучшение — пусть даже очень скромное — здравоохранения, и общий дух надежды, то мажорное мироощущение, которое заставляло по-новому, более оптимистично смотреть на будущее появившихся

на свет новых граждан. Возможно, в ряде случаев эта чисто психологическая причина оказывалась даже главной.

Но если можно спорить о причинах роста рождаемости, то у другого фактора увеличения прироста населения — сокращения смертности — причина была совершенно ясная, однозначная: значительные успехи медицины. Это было справедливо и для развитых, и для развивающихся стран, но, конечно, особенно сильно сказалось в последних.

Там, где раньше нередко на каждую тысячу новорожденных умирала в возрасте до одного года четвертая или третья часть младенцев, а иногда даже половина, самая простейшая профилактика позволила сохранять детям жизнь. Не меньшее значение имели победы над малярией, желтой лихорадкой и другими массовыми заболеваниями, прежде миллионами косившими обитателей тропической и субтропической зоны. Серьезные барьеры были поставлены перед чумой и черной оспой.

Успехи медицины довели среднюю продолжительность жизни в развитых странах до шестидесяти—семидесяти лет, а в странах развивающихся до сорока—пятидесяти лет.

Сочетание роста рождаемости и сокращения смертности привело к тому, что стал бурно увеличиваться естественный прирост населения, особенно на тех ступеньках «лестницы народов», где стоят еще менее развитые нации и народности. В некоторых странах годовой прирост сейчас превышает тридцать и даже тридцать пять промилле¹: это значит, что население удваивается примерно за двадцать три года. В зарубежной демографической литературе упоминания о «бэби-буме» (не правда ли, в этом названии есть что-то уютное, милое, семейное?) все чаще сменяются зловещим термином «демографический взрыв». Средний для всей Земли прирост населения сейчас составляет более двадцати промилле (свыше двух процентов), но в странах развивающихся, где уровень жизни пока скромнее, он выше этой средней величины и ниже в странах «старого капитализма». Если оставаться в пределах элементарной арифметики и считать, что этот средний прирост сохранится и в будущем, то к 2000 году на Земле должно жить уже не три миллиарда людей, как в 1960 году, а целых семь или даже семь с половиной миллиардов. Если принять во внимание, что в 1900 году население земного шара составляло всего один миллиард шестьсот миллионов человек, то получится, что за первые шестьдесят лет нашего века не произошло даже полного удвоения численности человечества, начало же следующего столетия сулит увеличить его за оставшийся век почти в два с половиной раза...

Сможет ли Земля прокормить семимиллиардное человечество?

Поскольку прирост населения наиболее высок как раз в менее развитых странах (и обнаруживает именно здесь более сильную тенденцию к дальнейшему ускорению), то многим политикам и ученым Запада начинает мерещиться еще одна «угроза»: соотношение численности американцев, англичан, французов, канадцев, голландцев, шведов и т. д., с одной стороны, и индийцев, китайцев, арабов, негров, малайцев и т. д., с другой, будет все время изменяться не в пользу первых. Значит, говорят они, мир будет становиться все более «цветным»? И так как менее развитые страны беднее, потому что они отстают в техническом отношении, то мир будет населяться все большим количеством малопродуктивных бедняков, не способных привести в действие даже принадлежащие им природные ресурсы. И растет тревога: не ухудшится ли в этом случае общая экономическая структура человечества, не поведет ли такая эволюция к общему сползанию мира в бездну нищеты и отсталости?

И разумеется, тут же вставал и вопрос *pro domo sua*: сумеют ли в этих условиях сами высокоразвитые капиталистические страны сохранить свои господствующие позиции. Не придется ли им немного щедрее, чем сейчас, делиться с развивающимися странами своим богатством?

¹ Статистики предпочитают в демографических расчетах пользоваться не процентами, а числом рождений, смертей и показателями прироста на тысячу жителей, выражая эти показатели в «промилле» (‰).

Как я уже писал вначале, эмблемой Белградской конференции ее устроители сделали характерный рисунок с тремя человеческими фигурками. Слева — совсем маленький человек с подписью: «1900». Посредине — фигурка побольше и подпись: «1960». А справа — там, где значится «2000», массивно возвышается и как бы доминирует надо всем рисунком самый большой человек; голова его уже не вмещается в сетку географических координат и выходит за рамки эллиптического изображения Земли.

Символический смысл эмблемы весьма прозрачен. Это недвусмысленное напоминание делегатам — экспертам от различных стран — о якобы надвинувшейся на человечество угрозе «чрезмерного» роста, а также и прямое свидетельство того, что устроители конференции рассчитывали провести ее под знаком мальтузианских идей.

Хотя сама конференция происходила с 30 августа по 10 сентября 1965 года, но подготовка к ней началась за многие месяцы раньше. Три человечка на фоне земного шара задолго до конференции замелькали на обложках сотен докладов и обзоров — на английском, французском, русском, испанском языках, — подготовлявшихся для конференции. А докладов этих больше полутысячи. Обсуждаются они будут на двадцати трех симпозиумах.

Порядок конференции был известен заранее. Доклады вообще не будут зачитываться — для этого их и рассылают. На заседаниях, которые будут идти параллельно, двумя «потоками», выступят лишь назначенные заранее референты — «модераторы», которые должны будут дать обобщающий обзор поступивших на данный симпозиум докладов. Предполагалось, что они при этом будут достаточно объективны. А затем сразу же начнется общая дискуссия. Регламент будет жестким, вряд ли разрешат говорить больше десяти минут (в действительности дебаты оказались настолько оживленными, что на большинстве симпозиумов ораторам предоставлялось только по пяти, а иногда даже по три минуты, после чего на пюпитре кафедры «категорически» загоралась красная лампочка) — значит, надо очень лаконично и вместе с тем доказательно формулировать свои мысли. В конце конференции особые, также заранее назначаемые «рапортеры» кратко изложат те доклады, которые они составят в качестве итогового обзора всего симпозиума. Такой порядок уже прочно установился на больших научных конференциях, организуемых ООН, и, пожалуй, это единственно возможный путь.

Каких-либо резолюций конференция принимать не должна была: ведь научные проблемы не решаются голосованием, но ООН опубликует полностью обмен мнениями, что и отразит общий подход участников к той или иной проблеме. Вероятно, и это правильно. По крайней мере, когда одиннадцать лет назад в Риме ООН созывала аналогичную конференцию, то публикация ее материалов была важным вкладом в освещение проблем народонаселения и позволила составить довольно ясное представление о предложенных тогда экспертами разных стран путях их разрешения.

Выбор Белграда для Всемирной конференции оказался очень удачным, и Югославия, предложившая Объединенным Нациям для этой цели свою столицу, в большой мере способствовала успеху конференции. Белград лежит на старинных путях из Западной Европы на Ближний Восток и далее, в глубь Азии; через него пролегает кратчайшая дорога из СССР в страны Средиземноморья. Югославия — одна из самых живописных стран Европы, ее превосходная репутация среди любителей туризма, хорошо поставленная система обслуживания туристов вообще привлекают сюда множество немцев и скандинавов, американцев и французов. Но самое главное, конечно, заключалось в притягательной силе Югославии как социалистической страны для молодых государств, лишь недавно освободившихся от колониального ига.

И вот мы стоим в центре Белграда, на красивой площади, название которой Трг Маркса и Энгелса. Перед отведенным для конференции просторным и очень удобным Дворцом синдикатов (Дом профсоюзов) и в холле его, где идет регистрация, — пестрая толпа делегатов. На фоне пиджаков и темных галстуков выделяются живописные сари ученых дам из Индии. Многие африканские делегаты пришли в своих национальных одеждах: представитель Республики Мали в белоснежной «бубу» и элегантной

круглой шапочке, в эффектном бело-коричневом полосатом халате молодой чернобородый марокканец, похожий на иконописного Христа. У этнографа здесь разбежались бы глаза. Одни радостно здороваются со старыми знакомцами, другие завязывают новые знакомства: этому способствовало то, что уже при регистрации все получали «бейджи» — планочки с напечатанными на них именем и названиями стран, которые тут же прикалывались на лацкан пиджака. Толпа делегатов многоязыка, преобладает английский, вернее три английских языка — английский американцев, английский азиатских стран (со своими вариантами) и — реже всего — английский самих англичан.

Среди делегатов я встречаю многих своих зарубежных коллег и друзей — географов. Вот профессор Пьер Жорж из Сорбонны; ученый-коммунист, он пользуется огромным личным авторитетом, делающим его кафедру утесом марксизма среди всех политических бурь Франции. Мишель Рошфор привез с собой жену — очаровательную молодую «географиню» из Бразилии; я узнаю, что он уже перебрался из Страсбургского университета в Париж и сейчас тоже читает в Сорбонне. А вот мои польские знакомцы — Косиньский и Россет, совсем недавно я встречался с ними в Москве. Мой родной город мы вспоминаем и с Сен Гуптой, — золотые очки и английская речь словно подчеркивают экзотичность голубого сари, которое с достоинством носит эта дама. В Индии она ведет важную географическую работу — издание карт населения по всем индийским переписям; она приезжала в Москву, чтобы посоветоваться о программе этого большого предприятия. Яжимаю руку профессору Протеро из Ливерпуля; он — председатель Международной комиссии по географии населения и параллельно с конференцией проведет здесь, в Белграде, несколько ее заседаний (в этой комиссии я представляю Советский Союз).

Позже, когда делегатам были розданы списки зарегистрировавшихся участников конференции, мы смогли убедиться, как широк круг представленных на ней стран, — их восемьдесят восемь! Были делегаты даже от многих небольших африканских и латиноамериканских государств, от «карлика» Европы — республики Сан-Марино; от Ватикана тоже прибыли три делегата. Тут много и должностных лиц или экспертов из различных действующих в системе Объединенных Наций международных организаций — ФАО, ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения, МОТ и других. Зарегистрировалось около девяти сот делегатов, не считая многочисленных наблюдателей.

По численности делегатов первое место занимали США — свыше полтораста специалистов, не считая тех американцев, которые представляли различные международные организации.

На втором месте по числу делегатов стояла Индия (это было неожиданно, но характерно с точки зрения особого значения тематики конференции для развивающихся стран), на третьем — Франция; только во время самой конференции, когда был опубликован дополнительный список запоздавших к открытию делегатов, эти страны поменялись местами и Франция — родина демографин — вышла на второе место (шестьдесят делегатов), обогнав на одного представителя Индию. Затем шли Великобритания и Советский Союз (тридцать четыре и двадцать семь делегатов).

У меня нет возможности даже упомянуть о составе других делегаций, любопытно лишь то, что делегаты развивающихся стран составляли около трети всех участников конференции. Делегаты эти весьма активно выступали в ходе дебатов, к тому же на ряде симпозиумов развивающиеся страны были представлены также референтами или респондентами, а иногда ученые-эксперты из этих стран были в период подготовки конференции организаторами симпозиума (в их обязанности входил заказ докладов отдельным экспертам из разных стран, переписка по поводу плана всего симпозиума и т. п.).

Высокая активность индийцев, делегатов от арабских стран, латиноамериканцев, представителей молодых государств Африки вполне понятна: ведь наиболее «боевыми» были именно проблемы народонаселения развивающихся стран. О судьбах их народов как раз и шла тут речь.

Горячие споры разгорелись на конференции прежде всего вокруг проблемы уровня рождаемости, или, как говорят демографы, фертильности (то есть попросту плодо-

витости)¹. Именно фертильность в наибольшей степени определяет перспективы роста населения, тем более что о необходимости добиваться наибольшего снижения смертности двух мнений не возникало. К чести участников конференции, на ней не раздалось ни одного голоса, призывавшего затормозить рост населения за счет замедления снижения смертности или стабилизации ее уровня, не говоря уже о повышении числа смертей. Мальтузианство в его привычном, циничном виде, когда голодовки и эпидемии провозглашались естественными и благодетельными регуляторами развития человечества, выглядит сейчас настолько неприглядно и старомодно, что такой путь отрицали буквально все делегаты. Можно напомнить, что еще в конце сороковых годов некоторые западные публицисты и даже ученые считали возможным рекомендовать именно этот путь (в том числе и за счет войн).

Однако «резервы» сокращения смертности практически все же ограничены, по крайней мере на обозримую перспективу, например, до 2000 года; динамика же фертильности может быть очень велика.

Из прогнозов возможной фертильности вытекает общий прогноз численности населения Земли на 2000 год, то есть «судьба третьего человека» на эмблеме конференции. Семь миллиардов человек или меньше — вот о чем шел основной разговор на тематическом симпозиуме, посвященном фертильности.

Другой «узловсй» симпозиум был посвящен оценке соотношения численности населения и объема природных ресурсов, которые имеются в распоряжении человечества или могут быть им освоены. И наконец третий касался тех экономических мероприятий, которые должны сопровождать рост населения Земли.

Рассматривая проблему фертильности, все признавали, что по мере повышения доли городского населения и вовлечения женщин в производство есть основания ожидать ее снижения. Ряд делегатов поддерживал советскую точку зрения, которая считает этот процесс естественным, но настроенная неомальтузиански часть делегатов считала необходимым искусственно форсировать этот процесс, активно распространяя в развивающихся странах противозачаточные средства. Особенно запомнилось мне выступление одной из шведских делегатов — Уллы Линдстрем. По ее мнению, развитые страны должны тормозить рост населения в странах более отсталых не только путем массовой засылки туда противозачаточных средств, но и откомандирования в них особых медицинских инструкторов, призванных пропагандировать эти средства, учить их применению. Шведка говорила об этом с необычной для скандинавов горячностью.

Впрочем, на протяжении всей конференции с ее трибуны то и дело раздавались панегирики по адресу противозачаточных средств как некоей панацеи, решающей все социальные проблемы. Устраивались также, правда вне официальных рамок самой конференции, специальные медицинские лекции на эту тему с демонстрацией фильмов и т. п.

Советские делегаты неоднократно вносили ясность и приглушали эту шумиху, и они встречали достаточно широкую поддержку. Противозачаточные средства сами по себе не смогут снизить рождаемость, если для этого не сложатся соответствующие социально-экономические и культурные условия: ведь рождаемость в современном мире есть явление не столько биологическое, сколько социальное. Английский антрополог Э. Саутхэлл применил в этой связи даже выражение «социальная фертильность»; я думаю, что оно очень выразительно и точно передает суть дела.

В ходе споров о том, как влияет на фертильность рост городов, индустриализация, эмансипация женщин, обе спорящие стороны часто ссылались на советский опыт. Но при этом некоторые делегаты — профессора Фридман, Лоример (США) и другие —

¹ Уровень (коэффициент) рождаемости — это, как мы уже говорили, число рождений в год на тысячу жителей. Понятие фертильности имеет несколько более узкий смысл (хотя нередко это понятие сами демографы употребляют в значении коэффициента рождаемости; так было и на данной конференции). Фертильность связана с представлением о возрастных границах деторождения, особенно у женщин; специальным коэффициентом фертильности демографы называют число рождений в год на тысячу женщин в определенном возрасте, например, пятнадцать — сорок пять лет. Вводят еще более узкие коэффициенты например, фертильность у замужних женщин, уже имеющих одного, двух и более детей.

использовали ссылки на процессы снижения фертильности в СССР для сомнительного приема, к которому сейчас очень часто прибегают американские социологи и экономисты вроде Питирима Сорокина или Уолтера Ростоу — для провозглашения, что «в индустриальном обществе» социальные различия теряют свое значение и что тенденции развития таких стран, как США и СССР, должны привести к тождеству или во всяком случае очень большой сближенности и всей их экономической структуры. Думать так — значило, разумеется, выдавать желаемое за сущее.

Долгие годы в буржуазной демографической литературе назойливо пестрел термин «контроль над рождаемостью», вызывая естественное раздражение у тех, кто не желал подчиняться мальтузианской демагогии (в частности, против него решительно выступали и советские демографы). На Белградской конференции он почти не фигурировал; его заменило более мягкое выражение: «планирование семьи». Может быть, те, кто ввел этот термин, полагали, что он покажется заманчивым для ученых социалистических стран и для деятелей развивающихся стран, следующих сейчас по пути создания плановых, направленных на благо людей форм экономики? В слове «контроль» есть привкус принудительности, особенно если поясняется, что контроль должен осуществляться (в том или ином виде) государством; «планирование», безусловно, звучит привлекательнее.

Но этот словесный реверанс в сторону стран, где господствует или утверждается плановое социалистическое хозяйство, не был принят на конференции — по крайней мере советскими делегатами во главе с видным статистиком П. Г. Подъянич. Наши демографы решительно предпочли гермин «сознательное материнство», имеющий, как нетрудно заметить, иной нюанс, иную «тональность» самой идеи возможности ограничения безудержной фертильности. При этом предполагалась и такая система социально-экономических мероприятий (вот она-то должна планироваться!), которая принесет женщине полное фактическое равноправие, возможность получить квалификацию и создаст у нее внутреннюю потребность в активном участии в общественной и производственной жизни. Одновременно должна быть поднята общая и санитарно-гигиеническая культура населения — до такого уровня, чтобы оно, а особенно женская его часть, получило возможность наиболее сознательно и вдумчиво рассматривать и вопрос воспроизводства следующего поколения.

Прогнозы численности населения на 2000 год строились ранее демографами ООН в трех вариантах. Максимальный вариант давал на начало третьего тысячелетия нашей эры цифру в 6,9 миллиарда человек, минимальный — в 4,9 миллиарда; наиболее вероятным считался средний, согласно которому в 2000 году население предположительно составляло бы 6,3 миллиарда.

Советским демографам были известны эти прогнозы, и они находили их завышенными, недооценивающими предстоящие очень крупные изменения в экономике и в самом образе жизни развивающихся стран. Они считали, что рост городов, индустриализация, подъем культуры, а в особенности приобретение женщиной равноправия сами по себе снизят рождаемость. Соответствующий доклад был представлен и на Белградскую конференцию: автор его — профессор А. Я. Боярский оказался главным дуэлянтом в споре. По прогнозу профессора Боярского колебания в численности населения мира на 2000 год должны были уложиться в интервале от 4,2 до 5,0 миллиардов человек. «Пять миллиардов ртов? — заканчивая свой доклад, говорил А. Я. Боярский. — Да, но и три миллиарда работников! И если вооружить их достижениями современной науки и техники, избавив их и эту технику от бессмысленной расточительной работы на войну, то нет никакого сомнения в том, что можно не только хорошо накормить все эти рты, но и обеспечить при правильном распределении богатств всем людям на Земле благосостояние и счастливую жизнь».

Противником Боярского на конференции выступила известная американская специалистка Ирен Тойберт. Уже располагая расчетами и соображениями профессора Боярского, она построила свой референтский доклад очень осторожно и сделала в свою очередь количественную уступку против ранее выдвигавшихся демографами ООН цифр. Она признала решающими для роста населения социально-экономические факторы, Ключ к установлению конечной прогнозируемой численности населения Земли Тойберт

справедливо видела в темпах преобразования хозяйства и образа жизни развивающихся стран. Только если бы сохранились современные темпы роста (на 2—2,5 процента в год), общая численность населения Земли к 2000 году могла бы превысить семь миллиардов душ; но в то, что такой темп сохранится, Тойберт, как она заявила, сама не верит. А насколько именно этот темп прироста снизится — зависит главным образом от успехов в социально-экономическом развитии этих стран; здесь Тойберт начала говорить более туманно, но закончила тем, что, по ее мнению, число жителей Земли в 2000 году составит скорее всего что-то около 5,9 миллиарда душ и что, в сущности, эта величина достаточно близка к большей из цифр, названной Боярским.

Доклады референтов по темам о фертильности и прогнозах численности населения Земли вызвали очень много выступлений; и на последующих симпозиумах споры не раз возвращались все к тем же вопросам. Типичной была речь делегата от Израиля — профессора Мухсама. Он напомнил, что обычно повторяют лишь первую часть библейского призыва «Плодитесь и размножайтесь», но забывают, что этот текст заканчивается словами: «пока не наполнится вами Земля». По его мнению, настало время делать акцент именно на второй части фразы, ибо Землю уже надо считать наполненной человеческими существами. Позже этот текст из библии стал как бы эпитафией к серии выступлений мальтузианского толка.

Этот же самый текст остроумно использовали и некоторые противники мальтузианства. Так, советский делегат О. Р. Назаревский упомянул его, говоря об историчности самого представления о емкости Земли в целом и любой отдельной территории на Земле; емкость эта расширяется по мере роста производительных сил. «Вероятно, — говорил Назаревский, — и в пору пастушеского хозяйства библейских времен казалось, что емкость эта уже близка к исчерпанию». Он подтверждал свою мысль историческим примером скотоводческого хозяйства бывших кочевых народов Средней Азии, для которых емкость их пастбищ давно оказалась бы недостаточной, если бы их экономика не перешла на другие рельсы и не стала в результате этого неизмеримо производительнее.

Интересным и характерным было темпераментное выступление Нтабмвур — представителя маленькой, но густозаселенной африканской республики Руанды. Рассказав об очень низком уровне развития здравоохранения в его стране, где имеется всего несколько врачей-европейцев и лишь один врач из числа коренных жителей, Нтабмвур заявил: «Нам еще рано и даже опасно заботиться о снижении рождаемости, так как мы не знаем будущего нашей смертности. Белые врачи могут в любой день покинуть нашу страну, если им покажется, что мы недостаточно высоко их оплачиваем, а из нашего народа у нас есть пока только один врач. Лучше быть бедняками с детьми, чем бездетными богачами. Ведь в детях все наше будущее».

Наиболее впечатляющим по форме был, пожалуй, доклад, обобщавший материалы по теме «Народонаселение и природные ресурсы».

Его сделал профессор Института Карнеджи в Вашингтоне — географ Эдвард Аккерман. Он по справедливости считается одним из сильнейших ученых «мозгового треста» США, выдающимся знатоком ресурсных проблем мира; вместе с тем это и видный теоретик американской географической науки. Моложавый, высокий, рыжеватый, похожий на шведа, Аккерман в течение часа безраздельно владел вниманием всей аудитории — настолько стройна была его речь, настолько неотразимо логичной выглядела его аргументация.

Аккерман поставил вопрос очень четко: надо выбирать между двумя «рабочими гипотезами». В основе первой лежит вера во всемогущество человека, в безграничное развитие техники, которая сможет открывать и осваивать все новые и новые ресурсы нашей планеты, наращивать плодородие земли, черпать новые продукты питания из океанов и т. д. В результате этого «емкость» Земли сможет также безгранично расширяться. Эту «рабочую гипотезу» Аккерман назвал «технократической» (хотя обычно под технократией понимают нечто другое: такую организацию общества, при которой оно управляется высокообразованными техниками, то есть своего рода «инженеровластие»). Аккерман с таким воодушевлением, с таким проникновением говорил о силе человеческого разума, что, казалось, его выводы окажутся в пользу именно этой концепции. Но

«технократический» подход Аккерман признал приемлемым лишь для богатых стран, для меньшинства. Тем самым как бы само собой разумеется, что страны, отставшие в своем экономическом развитии, и далее будут обречены плестись в хвосте исторического развития человечества.

Набросав яркую картину человеческого прогресса, Аккерман совершенно неожиданно пришел к выводу о предпочтительности другой концепции, по существу мальтузианской.

В чем же ее суть и в чем предпочтительность?

Развитие человечества в целом вряд ли, по его мнению, пойдет таким путем, что рождаемость заметно сократится уже в ближайшее время. Вместе с тем развитие производительных сил в ныне отстающих и «бедных» странах может происходить не столь быстро, как на это рассчитывают некоторые экономисты. Может статься, что менее эффективным окажется использование атомной энергии, что дорого будет освоение пищевых ресурсов океана — словом, как он выразился, «лотерея» будет приносить в части освоения новых ресурсов один за другим несчастливые билеты. При таком сочетании неблагоприятных обстоятельств оправданной будет именно мальтузианская оценка положения вещей, утверждал Аккерман. Она даже, как он считал, гуманнее, так как ведет к автоматическому, как бы гарантированному равновесию между населением и ресурсами, в то время как «технократический» подход сулит, мол, человечеству напряженные усилия, а вероятность успеха не полная, она не становится достоверностью.

Таким образом, Аккерман поставил вопрос очень четко, чем и дал повод для нового взрыва дебатов.

Я впервые встретился здесь с этим очень интересным ученым. По его теоретическим работам я знал, что он очень честен в интеллектуальном смысле, доводя всегда до полной ясности, до полной обнаженности любую научную контроверзу. Поэтому решительное противопоставление двух «рабочих гипотез» меня не удивило; но я знал Аккермана также и как автора многих исследований проблем ресурсов, причем в этих исследованиях преобладал мажорный тон — вера в возможность вскрывать все новые пласты нетронутой природной целины, вера в силу техники. Поэтому конечный вывод его референтского доклада показался мне неожиданным и даже каким-то очень «не аккермановским». Может быть, это — общая ущербность идейных позиций мыслящих американцев? А может быть, это их неверие в силы других народов наталкивает на пессимистические выводы о будущем мира? Разумеется, все это открывало мне возможность вступить в спор.

Референт по другому «боевому» симпозиуму известный американский экономист, профессор Гарвардского университета Симон Кузнец в отличие от Аккермана построил свой доклад «Демографические аспекты экономического развития» куда уклончивее. Он отрицал наличие прямых связей между ростом населения и состоянием экономики. Если эти связи существуют, они, как он выражался, очень эластичны. «Давление населения» на экономику, считает он, — буржуазные ученые любят это пугающее словосочетание — может быть весьма различным. Ведь экономика может по-разному приспосабливаться к возникающему относительному перенаселению. В каждой стране хозяйственное развитие идет своими путями, и поэтому из роста ее населения будут вытекать различные последствия. Во всяком случае «тотальные» мальтузианские выводы профессор Кузнец считал неправомерными. Чем выше уровень экономики страны, тем в большей степени сама она «навязывает», как он выразился, такую демографическую структуру, при которой рождаемость не может быть слишком высокой. Но тем не менее профессор Кузнец считал, что невозможно выделить какие-то главные факторы, которые отражают взаимозависимость демографических показателей и экономического развития. И не только из-за несовершенства науки, но и потому, что в самих этих связях причины и следствия часто меняются местами.

Итак, и вторая половина конференции, озаглавленная референтскими докладами Аккермана и Кузнеца, прошла не менее бурно, чем первая. Когда распались чары логических построений Аккермана, один за другим на трибуну стали подниматься ораторы, решительно отвергавшие его конечные мальтузианские выводы.

Тон в этой контратаке задали советские делегаты. Я. Г. Машбиц из Института

географии Академии наук СССР. пункт за пунктом опровергая Аккермана, бросил в зал в противовес мальтузианским лозунгам «крылатые» слова: «оптимистическая концепция». Выражение это подхватили и другие ораторы. Слово «оптимизм» (а отнюдь не «технократия») стало с тех пор гулять по симпозиумам; его приняла и югославская пресса, объявившая о начавшейся на конференции «дуэли оптимистов с мальтузианцами».

Советские ученые упрекали Аккермана в том, что, произнеся сперва настоящий панегирик техническому гению человечества (что отражало лучшие традиции американской веры в силу прогресса), он затем вдруг изменил себе, сдал собственные же позиции, неосновательно «спустил флаг». Стремясь к тому, чтобы им же выдвинутая «рабочая гипотеза» была максимально приемлемой для любого сочетания обстоятельств, он явно перестраховался, допуская самое маловероятное сочетание наименее благоприятных случаев; притом, вопреки активному началу, образующему основу человеческого прогресса, он пожелал, чтобы его «рабочая гипотеза» действовала автоматически. На деле же люди, конечно, должны своим творческим трудом все время осваивать новые ресурсы, активно раздвигать сам их объем и благодаря этому и емкость Земли. Если искать автоматическое равновесие между населением и заданными раз навсегда ресурсами, то, конечно, пришлось бы стать на мальтузианскую точку зрения; но подобная позиция покорного приспособления к обстоятельствам просто унижительна для человечества, способного гением своего разума и силой своего труда их изменять, преобразовывать окружающий мир.

Болгарский академик Иван Стефанов предложил назвать концепцию, выдвинутую Машбицем, более точно: социально-экономической. Ведь основой оптимизма здесь была именно объективная оценка возможностей человечества, предпосылкой для реализации которых и могут быть социально-экономические преобразования. «Оптимисты» полностью соглашались с этим — именно такой и была их точка зрения, но слово «оптимизм» как-то привилось, и невольно все противники мальтузианства употребляли именно его. Чешский ученый Зденек Павлик все свое выступление даже построил как своеобразное «объяснение в оптимизме».

Хорошим подспорьем в выступлении наших и примыкавших к ним делегатов служили книга советского ученого К. М. Малина «Жизненные ресурсы человечества» и представленный на конференции доклад академика Н. М. Жаворонкова «Химия и жизненные ресурсы человечества».

Весьма своеобразную позицию в полемике против мальтузианства заняли на конференции многие католические деятели. Помимо непосредственных представителей Ватикана, делегатами конференции были и многие другие католические деятели — например, профессора католических университетов. Один из таких профессоров — Ж. М. де Вильмарс, занимающий кафедру в Лувенском католическом университете (Бельгия), председательствует в постоянной комиссии ООН по вопросам народонаселения. Выступавшие с трибуны конференции ученые-католики часто начинали с того, что декларировали свою принадлежность к католицизму. Но в то же время они нередко заявляли о своей солидарности с позицией советских участников конференции. В чем здесь дело?

Еще на предыдущей конференции 1954 года определился генеральный водораздел: по одну сторону его и тогда стояли неомальтузианцы, склонные запугивать человечество перспективами его дальнейшего роста, по другую — представители советской науки и... католики. При этом если советская доктрина народонаселения исходит из представления о труде как источнике любого богатства и всякого благополучия людей и, следовательно, в конечном счете положительно рассматривает рост народонаселения, то наиболее крайние из католиков тогда провозглашали регулирование рождаемости попросту нарушением воли божьей, а аборт — даже грехом, едва ли не равным детоубийству. Другие католические деятели не заостряли вопрос до такой степени, но в основной своей массе все же отрицательно относились к проявлениям неомальтузианства, исходя прежде всего из теологических мотивов.

Спустя одиннадцать лет советские ученые привезли в Белград немало научных материалов, подкреплявших новыми данными и аргументами марксистско-ленинскую

доктрину народонаселения; и вот снова стал складываться своеобразный «общий фронт» их с католиками. Но на сей раз доводы католиков были шире, разнообразнее (я бы даже сказал, пестрее) и в целом как-то человечнее. Они уже почти не ссылались на формальные догматы религии, но сетовали на то, что радикальные меры по контролю над рождаемостью, проводимые в порядке сильного давления со стороны государства (даже в форме простой пропаганды противозачаточных средств, если эта пропаганда ведется слишком рьяно), не могут не унижать человеческого достоинства.

Запомнилось выступление патера Франсиса Мадигара с Филиппинских островов. Он с возмущением отверг брошенный кем-то из участников дискуссии хлесткий лозунг: «Пять долларов, истраченных в развивающихся странах на пропаганду и распространение противозачаточных средств, дадут больший эффект, чем сто долларов, израсходованных на экономическую помощь». Патер Мадигар говорил о глубокой бедности, в которой живет большинство его соотечественников, о том, что создавшееся на островах относительное перенаселение может быть устранено только решительным подъемом сельского хозяйства, а это, по его мнению, требует действенной и, очевидно, немалой помощи извне; и видно было, что он очень реально знает нужду простых филиппинцев и принимает ее близко к сердцу. Но регулировать численность своих прихожан подобно поголовью стада он решительно отказывается.

* * *

Глубокие, удобные кресла в погруженном в полумрак зале заседаний; кондиционированный воздух. В наушниках звучит речь переводчика, обычно немного монотонная, но временами торопливо догоняющая оратора; традиционные для подобных собраний, устраиваемых Объединенными Нациями, взаимные вежливые расшаркивания. И вот когда внимание, особенно во второй половине дня, несколько притупляется, вдруг ловишь себя подчас на каком-то «смещении идей»: не с призраками ли мы воюем? Ведь и советская доктрина народонаселения ныне не отрицает, что в отдельные периоды для отдельных народов ускоряющийся рост населения может создавать трудные проблемы; а с другой стороны, вот ведь и исторический опыт Советского Союза излагается очередным мальтузианцем с этой трибуны в таком положительном, «журчащем» звучании...

Нет, не с призраками ведем мы борьбу. Это не нюансы точек зрения, в общем достаточно близких. Нет, не с ветряными мельницами мы должны сражаться. Перед нами идейный противник; он умен и может увлечь за собой многих колеблющихся. Водоразделы проходят сложно, они извилисты. Немало крупных западных ученых оказалось в компании неомальтузианцев, и вот уже кто-то даже умудряется представлять этих мужей науки в качестве лидеров, в качестве идейных пророков и создателей новых вариантов неомальтузианства. Разве не в такой роли перед нами выдвигают, например, выдающегося французского демографа Альфреда Сови? Да и сам Аккерман, — не обманул ли он, придя к выводам, которые так на него не похожи?

Давайте сбросим наушники, в которых вежливо-округлыми фразами звучит русская речь переводчика; от этой вежливости положение отнюдь не становится лучше. Давайте еще раз задумаемся в то, что вещают (в подлиннике, на «англо-американском» языке!) сменяющие друг друга на трибуне представители различных «фондов», чиновники ФАО.

Ведь все они беспрерывно внушают политическим деятелям развивающихся стран, сколь сложно, а порой и невозможно преодолеть «порочный круг», в котором оказываются ныне эти страны, только что вступившие на путь самостоятельной жизни.

Вы бедны, говорят они, значит, у вас мало капиталов для индустриализации и перестройки сельского хозяйства, а раз так, значит, вы не сможете и обеспечить полную занятость населения. И, как следствие, бедность будет еще усиливаться. Вы голодаете, и в результате — слабое физическое развитие ваших детей. Выросши, они будут плохими тружениками на своих полях и поэтому в свою очередь останутся голодными. Голод и нищета — плохие помощники в деле приобретения квалификации; вам суждено

остаться низкоквалифицированными, а значит, низкой будет и производительность вашего труда. К тому же вас много, и, чтобы хоть как-нибудь занять жаждающие работы руки, вам придется воздерживаться от механизации, сосредоточивать экономику в примитивных, но зато трудоемких отраслях; значит, вы и впредь останетесь бедными. И порочный круг снова — в который раз! — замыкается, создавая чувство неуверенности, а кое у кого, быть может, и отчаяния.

И тогда появляются белые волшебники. Сегодня это бизнесмен из пресловутого «Международного банка реконструкции и развития», завтра — отважные мисс из американского «Корпуса мира». Будь осторожней, африканец, азиат, южноамериканец. Тебе суют «пять долларов на противозачаточные средства», тебе внушают в миссионерских школах, в колледжах, по радио и через газеты, да вот и сейчас с этой же трибуны тупую веру в твою обреченность быть нищим и голодным. Тебя уверяют, что если, мол, и суждено тебе чуть-чуть поднять голову, то это будет заслуга не твоя, а лишь вот этих многоопытных и отважных белых мисс, так хорошо владеющих тайнами контрацепции.

Советским ученым пришлось терпеливо распутывать клубки искусно придуманных порочных кругов, снова и снова разъясняя их ложность. И делать это было непросто. Западный мир направил в Белград крупные научные силы. Кроме тех ученых, о которых я уже говорил — Эдварда Аккермана, Симона Кузнецца, Ирен Тойберг, — в дискуссиях участвовали Колин Кларк, Дональд Бог, Франк Лоример, Кингсли Дэвис, Альфред Сови, Филипп Хаузер... Всякий специалист, следящий за мировой литературой, знает, что все это настоящие «киты» западной демографии, экономики, географии, каждый в своей области. За ними шла, как бы прикрывая их фланги множеством работ на более частные темы, целая армия более молодых, но напористых и прошедших хороший «тренинг» стипендиатов бесчисленных «фондов» или стажеров из университетов, разбросанных по всему миру; немало было среди этих учеников и функционеров ООН (преимущественно американского происхождения или проамериканских убеждений).

Глядя на этот цвет мировой демографии, я много раз с горечью думал о том, что конференцию эту в СССР недооценили; подготовка советских докладов и состава делегации целиком была поручена одному лишь Центральному Статистическому Управлению СССР, даже участие в советской делегации Академии наук оказалось практически случайным. Конечно, было бы лучше, если бы советская делегация состояла из большего числа делегатов, представлявших более широкий круг наук, если бы в ее составе оказались и некоторые крупные ученые того же «ранга», что и западные «научные асы». Еще важнее было бы, если бы мы оказались порасторопнее и смогли бы пораньше — во время подготовки конференции — выдвинуть советских ученых и на роли организаторов, референтов или рапортеров; к сожалению, мы довольствовались для них лишь ролями председателей (на целых четырех симпозиумах, правда!). Я не думаю, однако, что наш национальный престиж выигрывал от того, что советский представитель мог нажимать кнопку, зажигающую перед оратором красную лампочку, когда исчерпывалось время регламента. Соединенные Штаты выставили на симпозиумах больше своих референтов и рапортеров; если прибавить к этому, что и среди представителей других стран, выступавших в наиболее ответственных ролях референтов и рапортеров, было немало проводивших проамериканские точки зрения, то не ясно ли, в какое неравное положение была поставлена горстка советских ученых на этом многолюдном собрании?

И все же именно наши «оптимисты» перешли в хорошо продуманное наступление и — мне радостно это писать — в конечном счете повели за собой большинство делегатов. Зал сочувственно и одобрительно реагировал на четко построенные речи советских делегатов; он дружно аплодировал и выступлениям тех афро-азиатских делегатов, которые заявляли требования своих народов о признании их человеческого достоинства, их прав на пищу, на знания, на счастье. Ведь на целую треть зал был наполнен представителями самих развивающихся стран, а среди остальных (я уверен в этом) добрая половина — это порядочные люди, честные ученые-гуманисты, которые сквозь лабиринты подчас еще опутывающих их ложных концепций способны и в глубине души хотят выйти на дорогу надежд, веры в будущее человечества...

Где-то здесь и пролегает невидимая граница возможности сосуществования точек зрения. Она причудлива, эта граница. То она раздвигается до целой широкой зоны, до обширной «ничьей земли», в этой зоне бродят многие честные ученые или заплутавшиеся в буржуазном лжедемократизме политики. Они занимаются при этом иногда очень узкими, частными вопросами, потому что братья за главные, «острые» темы им бывает страшно. На других участках или в другие моменты граница эта сужается до «либо — либо», становится похожей на лезвие ножа.

Конференция в Белграде позволила представителям многих стран не просто взаимно ознакомиться с их точками зрения по наиболее жгучим, наиболее острым проблемам народонаселения, но и понять, так сказать, самую манеру своих научных партнеров мыслить об этих проблемах. В том числе мы яснее ощутили и широкую подвижность рубежей сосуществования идей. Вот ученые, думающие так же, как и мы, столь же страстные в своей убежденности. А вот наши «попутчики»; их взгляды следует (и можно) подкрепить, сделать более твердыми и четкими. Иные (и их много) колеблются; за эти умы надо вести терпеливо и настойчиво борьбу, убеждая их фактами и логическими доводами. Идеиные враги? Но поищите, поищите; быть может, и в их стане мы найдем слабую струнку, и, умело задев ее, мы сможем кого-либо если не убедить, то нейтрализовать.

Я уже писал, что Белградская конференция не принимала решений. Не было даже резолюции по организационным вопросам, даже обращения к ООН о созыве следующего форума. Но морально невидимые решения все же звучали — и тем внушительнее, чем ближе к завершению были заседания. И в час закрытия, когда зал снова осветился юпитерами и вокруг президиума засуетились кинорепортеры, в нем господствовал дух надежды и оптимизма, дух солидарности прогрессивных сил человечества.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. СУРВИЛЛО

★

МЫСЛЬ ХУДОЖНИКА

(О повестях Эм. Казакевича)

В чем сила воздействия на читателя маленькой «Звезды» Казакевича? Перечнем возможных ответов на этот вопрос начиналась одна из первых статей о ней¹. Поставлены ли в повести проблемы, до нее не выдвигавшиеся? Таких небывалых проблем нет. Было ли в судьбах героев нечто неслыханное, прежде неведомое? И этого нельзя сказать. Может, в характерах есть исключительное, незнакомое ранее? Нет и этого. Простота повествования? Мало ли повестей, написанных не менее просто, но оставляющих равнодушным читателя. Привычные в критическом обиходе ответы, для других случаев вполне пригодные, на этот раз, как убедительно показал критик, оказались неудовлетворительными.

Недостаток всех этих ответов — в их односторонности. В «Звезде» проблемы словно бы, верно, и не новы, но освещены они и решены совершенно своеобразно. Судеб таких много, но раскрывается в них свое, неповторимое. И в совсем обычных характерах проявляется такое, с чем знакомиться еще не доводилось. Простота? Сказать, что повесть написана удивительно просто, — ничего не сказать. Надо обязательно добавить, чтобы сказать правду: и удивительно сложно.

В цельном единстве образа выразилось простое и сложное чувство народа: небывалая прежде, небывалой победой вызванная гордость своей силой — и тяжелое горе, принесенное неслыханными утратами.

Раскрыть и, раскрывая, сохранить в неприкосновенности многосоставность челове-

ческого чувства, взглянуться в противоречивый и сложный процесс его протекания, воссоздать его сложность — этой заботой обусловлены художественные особенности и сила повести. Потом обнаружится, что не только ее, что в этом особенность и сила всего творчества писателя.

Первые страницы «Звезды»: командир дивизии хочет и не хочет встречи с противником. Он не хочет самому себе признаться, что мечтает о приостановке наступления. Не хочет признаться, так как это противоречит страстному желанию всей страны. И как только он получает сведения о противнике, тотчас отдает приказ о сближении с ним. Встречи с противником желает и не желает и Травкин. Не желает, а скачет во весь опор, хотя нет никакого приказа, на поиски исчезнувшего противника. Оттого и отыскивали в повести, даже в этой повести, получившей всенародное признание и вызвавшей горячую любовь, черты фатальной обреченности. И чем дальше идти в повесть, тем чаще возникают возможности для такого рода разысканий. Всего только и нужно для этого, что выдернуть ту или иную пригодную для цели нить — ту, например, что Травкин, перед тем как идти в тыл врага, испытывал бездну сомнений и неуверенности. Или ту, что у его товарищей сжимались сердца от жалости и тревоги за него. При этом, правда, следовало пропустить строки о том, как негодовал на эту тревогу и жалость Травкин, как думал про себя: «Подождите, друзья, еще вас переживу». И не следовало при этом обращать внимание на его ликование: «Пройти такой передний край, а затем начиненные немцами леса и по-

¹ Статья Д. Дапина «Судьба Травкина». «Знамя», № 10, 1947.

том связаться по радио и передать своим об этих немцах,— нет, так стоит жить!» Но выборочное чтение вообще не редкость в критике, а по отношению к произведениям Казакевича оно применялось очень часто. И не только для надобностей осуждения.

В самых доброжелательных статьях можно неожиданно обнаружить странную убыль в содержании повести, возникающую при вполне положительной оценке произведения. В «Истории русской советской литературы»¹ напечатано: «Даже ограниченность времени действия повести — всего четыре дня — имеет существенное значение в реализации замысла: ведь это четыре дня войны! Малое как органическая часть великого — вот, пожалуй, в чем состоит идейно-художественная концепция повести, выраженная и в ее сюжете и во всех элементах повествования». Для этой концепции понадобилось изъять три четверти повествования: четыре дня герои повести находились в тылу противника, а время действия повести — несколько месяцев, и рассказано о них в одиннадцати главах повести, а не в двух, принятых во внимание. Ошибка вовсе не арифметическая только. Нельзя понять того, что произошло в четыре дня, если не постичь всего, что произошло за предшествующие месяцы.

А что произошло?

«Погоня лошадь, всматривался Травкин в безмолвную даль древних лесов. Ветер свирепо дул ему в лицо, а кони казались птицами. Запад озарился кровавым закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на запад всадники».

Это разведчики мчатся на поиски исчезнувшего противника. Строки эти часто цитировались. На них обратили внимание, как на пример высокого романтического стиля. Не обратили, однако, внимания, на какой лошади скакал Травкин. Между тем автор трижды на протяжении повести привлекает к ней внимание читателя. Она с отметиной: это была гнедая лошадь с белым пятном на лбу. Когда Травкин возвращался, чтобы доложить о найденном противнике, он «стегнул большую гнедую лошадь с белым пятном на лбу».

Откуда она у Травкина?

Перед тем как отправиться на поиск, разведчики останавливались на отдых в запад-

ноукраинской деревне, в избе старухи. Старуха была странная. У нее один сын ушел в бандиты, а другой был партизаном. Старуха, мать партизана, гостеприимно приняла и накормила разведчиков. Она же, мать бандита, угрюмо молчала при попытках солдат заговорить с ней. Когда Травкин попросил у крестьян дать на день лошадей разведчикам, они охотно согласились. Отдала лошадь и старуха. Ее лошадь и была с белой отметиной. Лошадей разведчики согласно уговору отослали обратно, но не всех сразу. Двух Травкин задержал еще на день, потом отправил и их с сержантом Мамочкиным. Травкин не подозревал, что Мамочкин в деревню их не доставил. Он сдал их внаем одному хуторянину, с которого потом аккуратно взимал обильную дань продуктами. Перед самым уходом в тыл противника Мамочкин в последний раз был у хуторянина. Он и тогда обратил внимание на большую гнедую кобылу с белым пятном на лбу. Снова напоминание: эта лошадь принадлежала той странной старухе.

Небольшое отступление: недавно в «Литературной газете» была напечатана заметка о найденной в архивах не вполне разборчивой надписи В. И. Ленина на конверте с жалобой двух крестьян на то, что у каждого из них для военных нужд была отобранана единственная лошадь. На этой жалобе сотрудник особой комиссии полевого штаба начертал: «Работы и так много и с пустяками занимаюсь некогда». Надпись В. И. Ленина, сделанная рядом с этой резолюцией, расшифрована: «Аванесову в Государственный контроль для ареста ответившего так чиновника. Ленин. 20.V.1919 года».

История, поучительная для тех, кто прошел вопреки воле автора мимо «некрасивого дела», как оно названо в повести. По-видимому, они сочли его пустяком, помехой для восприятия романтики. Всплывает это «дело» в последний раз в последний из четырех дней, о которых будто только и рассказывает повесть.

Пришли те четыре дня.

«Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнуры — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвывает к поясу гранату и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех

¹ : «История русской советской литературы», т. III. Издательство Академии наук СССР. 1961.

человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парт-оргу — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого и будущего, храня все это только в сердце своем.

Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу.

Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть».

Цитировались часто и эти строки. Они также приводились как образец романтического стиля.

Что, если взглянуть на них со стороны их философского содержания? Тогда придется установить: с той точки зрения, какая здесь предложена, человек просматривается как существо асоциальное, стоящее вне всяких человеческих норм, как человек по ту сторону добра и зла, — словом, как человек философии ницшеанской. Человек, не имеющий человеческого имени, не нуждающийся в человеческой речи, безраздельно слитый с природой, биологический, антропологический человек в чистом виде. Лесной дух, леший — это будет сказано и раз и два.

Правда, есть в этом описании и такая строчка: храня прошлое в сердце своем. Но эта строчка, если ее, единственную среди многих, не потерять, вступает в противоречие со всеми остальными, с тем, например, утверждением, что человек не подвластен даже своим воспоминаниям. Как примирить это противоречие?

Его не надо примирять. Оно должно работать.

Слишком часто злоупотребляла критика такими объяснениями встреченных — кажущихся или действительных — противоречий: писатель не видит, не понимает, недопонимает. А если видит?

В данном случае умысел несомненен. Таков замысел — воспользоваться особенностями реальной, конкретной ситуации, чтобы направить мысль читателя в сторону враждебной философии.

Замысел опасный: нельзя оставить эту философию позади героев в неприкосновенности, не разрушенной ими. Она угнездится. Уже и так усматривали мистический смысл в словах о древней игре со смертью. А как ее разрушить, опровергнуть? Советские разведчики в дальнейшем повествовании будут действовать с исключительным мужеством. Но мужества не лишены и вражеские разведчики. Советские разведчики выполняют задание, не пощадят себя, чтобы выполнить долг. Но долг выполняют и вражеские разведчики. Как-то было высказано мнение, что Казакевич в «Звезде» «не нуждается... в столкновении двух идеологий»¹. Нет, нужда в таком столкновении самая насущная.

Это столкновение происходит.

На второй день страшной «игры со смертью», уже после того, как разведчики передали по радио первые важные сообщения и испытали вопреки подстерегающей на каждом шагу смерти торжествующую радость жизни — «нет, так стоит жить!», — они захватили «языка». Немец дал ценные сведения. Все, что от него можно было добыть, добыто; ни взять его с собой, ни оставить его здесь живым разведчики не могут. Немец понял, что пришел его смертный час. Задрожав, он взмолился: он рабочий и сын рабочего, он показал свои руки и, умоляя поверить ему, взывал — не к лесному духу, не к тому, кто отрекся от прошлого и будущего, нет, он взывал к коммунисту, он бередил хранимое в сердце советского человека. Он сказал: «Господин коммунист, товарищ, я рабочий». Он был наборщиком из Лейпцига.

Травкин, с детства воспитанный в любви и уважении к рабочему человеку, поставлен перед тяжким испытанием: внять мольбе, внять тому, что хранится в сердце? Или отвергнуть мольбу, отвергнуть социальные чувства? В такой неожиданной и острой форме происходит столкновение двух идеологий: той, которая проступила в описании сборов в поход и освобождала от всех человеческих установлений, и той, в которой взращен советский человек.

В числе разведчиков был Аниканов. Травкин относился к нему с особым уважением, он был его надежной опорой. Человек-громадина, философ и жизнезнавец — так называет его автор.

¹ В. Костелянец. Творческая индивидуальность писателя. «Советский писатель». 1960.

«Вот он показывает свои мозолистые руки и говорит: я, дескать, рабочий,— задумчиво сказал Аниканов.— Значит, знает, что у нас уважают рабочего человека, знает, с кем воюет, и воюет же все-таки...»

Немец прочитал в глазах Травкина жалость и непреклонность. Он зарыдал, «увидев смерть в образе этого юного красавца лешего, с большими жалостливыми и непреклонными глазами».

Непреклонность требовала кары, жалость была оттого, что смерти обрекался рабочий человек. И в жалости и в непреклонности социальное чувство, их вызвавшее, едино. Непререкаемость человеческих установлений, власть моральных норм не была поколеблена. Сокрушительный удар был нанесен идеологии асоциальности.

Еще более неожиданным и не менее драматичным был другой эпизод.

Это произошло на четвертый день пребывания разведчиков в тылу врага, в последний час их жизни. Задание было полностью выполнено. «Звезда» передала «Земле» все сведения. Немцы уже обречены, все они, «жрущие, горланящие, загадившие окружающие леса, все эти Гилле, Мюлленкампы, Гаргайсы, все эти карьеристы и каратели, вешатели и убийцы — идут по лесным дорогам прямо к своей гибели, и смерть опускает уже на все эти пятнадцать тысяч голов свою карающую руку».

Разведчики возвращаются. Они идут, обессиленные, шатаясь, как пьяные. Внезапно прозвучал хриплый голос Мамочкина. Бия себя в грудь, он сказал: «Я тех двух лошадей не довел в деревню, а внаем сдал, за продукты...»

Травкин молчит. Но когда слышит: «Простите, товарищ лейтенант. Если приду здоровым...» — он обрывает Мамочкина и произносит безжалостный приговор своему товарищу: «Придешь здоровым — пойдешь в штрафную роту».

Преступление Мамочкина отвратительно не только корыстными побуждениями, но и своими последствиями, своим политическим и социальным смыслом: оно не могло не поддержать мать бандита против матери партизана, не могло не посеять недоверия крестьян к своим освободителям. Все так. И все же... какая еще нужна штрафная рота в дополнение к тому, что переживает и совершает Мамочкин в эти дни и часы рядом с Травкиным... «Травкин же в минуту, хуже которой не бывает, угрожает Мамоч-

кину именно штрафной ротой. Травкин здесь оказывается во власти каких-то абстрактных представлений и о долге, и о его «искуплении». Так говорит критик¹.

А что переживает Мамочкин — не в эти дни, а в это мгновение, как только слова неумолимого приговора прозвучали? С ним происходит непонятное:

«— И пойду! С удовольствием пойду! И я знал, что вы так скажете! Знал, что вы все равно так скажете! — восторженно вскричал Мамочкин. И он сжал руку Травкина в почти истерическом припадке непонятной благодарности и самозабвенной любви».

Здесь, как это часто бывает, о непонятности сказано, чтобы заставить задуматься, понять, дан и ключ для понимания. Этот ключ — «все равно», особо выделенное одинаковой фразой, без этих слов и с ними.

Все равно — несмотря на то, что над разведчиками нависла смертельная опасность и как никогда жизнь всех зависела от поведения каждого. Все равно — несмотря на то, что сказанная правда была вопиюще невыгодна и приговор мог оттолкнуть и — как знать — заронить мысль о предательстве. Все равно — несмотря на то, что люди здесь вне всяких установлений.

Правдивость Травкина, ненавидевшего ложь, его строгие моральные правила, его честность, бескорыстие, преданность долгу всегда восхищали самого Мамочкина, нечистого на руку человека. И то, что Травкин и теперь не поколебался сказать правду, то, что и здесь, на «другой планете» (из переживаний разведчиков до перехода переднего края: «Чем ближе к переднему краю, тем напряженнее и сдавленное воздух, словно это атмосфера не Земли, а какой-то неизмеримо большей неведомой планеты»), здесь, в «мировом пространстве» («люди чувствовали себя словно затерянными в мировом пространстве»), Травкин верен земным законам, что для него остались неизбывными нормы земной, советской морали, — это и вызвало в Мамочкине восторг и привил самозабвенной любви и благодарности.

В тылу у противника решалась не только боевая задача. Там решалась и философская проблема: социальное — это лишь одеяние, которое можно сбросить, сдать на хранение, или это человеческая сущность? Проблема коренная в идеологической борьбе.

¹ См. В. Костелянец. Творческая индивидуальность писателя.

В душевных движениях и переживаниях героев обнаруживается примечательная особенность, на которую следует обратить внимание. Травкин — человек, о котором говорят: словно вылит из одного куска металла. Но мы видели: ему свойственны душевные конфликты, противоборство чувств, столкновение мотивов. При всем том это чистая, цельная натура. Двойствен Мамочкин, но он-то как раз душевных конфликтов никогда не испытывал. Восхищаясь бескорыстием и честностью Травкина, он совершенно беззастенчиво, не только не колеблясь, но даже с фырсом и удовольствием осуществлял свои махинации. В нем жило два человека: один, влюбленный в Травкина, другой — любящий собой, своей лихостью и добрычливостью, и эти два человека мирно уживались. Он знал, конечно, что его поступки признают нехорошими, но угрызений совести не чувствовал. И признание в роковой час в обмане было сделано не по велению совести, а по суверию.

Таким образом, выходит, что там, где нет душевных противоречий, столкновений мотивов, — там двойственность, разорванность, где есть они — там цельность. По крайней мере это верно для случаев, прослеженных в повести.

Как быть все же читателю с Мамочкиным? Приговор Травкина справедлив. Значит, в своем сознании нам надо отлучить Мамочкина, оборонить от него созданное повестью чувство гордости за героев? Но такая мысль вызывает внутреннее сопротивление. Тем более что есть в повести следователь прокуратуры Еськин, вмешательство которого в «некрасивое дело» отталкивает. Чиновник Еськин видит преступление в том, что лошади взяты, как он подчеркнул, самовольно, без приказа начальства. Он засудил бы и Травкина, останься тот живым, а если засудить за это не позволил бы командир дивизии, то, наверно, осудил бы и его за притупление бдительности. Останься Травкин живым, возникла бы ситуация, подобная той, о которой рассказано в романе «Дом на площади», где был свой Еськин, выступивший против Лубенцова¹.

Понять, к какому исходу ведет противоречивое чувство, возбуждаемое образом

Мамочкина, может помочь гибель корыстолюбца и стяжателя Пичугина в «Весне на Одере» — мысли парторга Сливенко при его погребении. «Сливенко молча смотрел, как закапывают Пичугина. У него было гнетущее ощущение чего-то недоговоренного, чего-то такого, что он должен был доказать Пичугину и уже не мог».

Противоречие, вызванное образом Мамочкина, разрешается в подобном же побуждении: не упустить упущенное ее героями, договорить не договоренное ими, завершить незавершенное.

А. Бочаров в своей книге о творчестве Эм. Казакевича вооружается против мнения, что в заключительном эпизоде, когда на смену погибшим направляется новая группа бойцов, выражена необходимость великого дела. Он объявляет такое понимание плоскосюжетным и настаивает на необходимости философского разрешения проблемы. Но философское и следует искать в сюжетном.

Травкин возглавил взвод разведчиков, когда выбыл из строя лейтенант Скворцов; Марченко возглавил первую группу разведчиков, уходящих в тыл врага. Когда выяснилось, что эта группа погибла, идет в тыл врага Травкин. Командир дивизии не столько приказывает, сколько соглашается с этим. После гибели Травкина возглавляет разведку Мешерский, ставший разведчиком не по приказу, а по собственному настойчивому желанию. Все это — сюжетная цепь событий. И в этом развитии сюжета нашла выражение новая философия героизма — не как дела одиночек, стоящих выше массы, а как явления массового. Аниканов возвращается после госпиталя в группу Травкина и идет с ним в тыл врага без всякого приказа — это тоже обстоятельство сюжетное, и в нем тоже воплощена новая философия долга — не как навязанного извне чужой силой, а долга как внутренней потребности. Зачем же противопоставлять философскому сюжетное и называть сюжетное плоским?

Сборы разведчиков в поход также, несомненно, сюжетная ситуация. Обрисована она с расчетом вызвать призраки идеалистической философии. Дальнейшим развитием сюжета эта философия взламывается, взрывается, отвергается философия, прямо противоположная первой.

Сюжет всегда активен и берет на себя

¹ В задачу статьи не входит анализ романов Эм. Казакевича. Читатель может найти их разбор в недавно вышедшей книге А. Бочарова «Эммануил Казакевич» («Советский писатель», 1965).

подчас очень сложные философские задания.

Необычна и очень драматична философская роль сюжета следующей повести Казакевича — «Двое в степи». Не менее драматична, чем судьба повести.

Вот схематическое изложение ее сюжета: трагическая вина — смертный приговор — страх, безысходность, отчаяние — жизнь над бездной смерти, вживание в смерть — обретение свободы в приятии смерти.

Поразительное совпадение: это же изложение экзистенциалистской философии, ее сути, ее квинтэссенции. Как это могло произойти?

Если это произошло по замыслу, по плану, то это план засады. Высшим идеалом экзистенциализма является обретение подлинной свободы в свободном выборе смерти. Кульминацией повести является момент, когда герой испытывает небывалое чувство свободы в добровольном выборе смерти. Но если даже совпадение с экзистенциализмом здесь случайно, непреднамеренно, — спор с ним знаменателен. Именно в этом пункте и должна произойти решающая схватка двух мировоззрений, двух концепций жизни.

Что переживает Огарков после вынесения ему смертного приговора? На допросе он признал вину в том, что не доставил приказа об отступлении дивизии, которой угрожало окружение, признал, что содержание приказа ему было известно. Приговор он принял внешне спокойно. Это было спокойствие затуманенного сознания. Обрывки путаных мыслей лезли ему в голову, «чтобы прикрыть, затуманить главную и самую страшную мысль». Мысль о смерти? Нет, главная мысль билась еще до приговора. Не она главная, а главная какая-то другая. Потом, в арестантской землянке, снова: «Долго его мысли вертелись вокруг да около той, главной мысли, которая еще не то, что не доходила, а словно билась о его сознание, как волна о стеклянную перегородку». Производятся как бы анатомические срезы сознания, чтобы добраться до его центра. «Эта спасительная стеклянная перегородка выросла вокруг самого центра сознания в момент, когда были произнесены те слова». Слова приговора? Нет, те слова были произнесены до приговора. Здесь они не названы.

Еще и еще раз о главной мысли: перегородка «спасала от непосредственного взрыва боли, который неминуемо произошел бы при соприкосновении мягкой младенческой ткани сознания с бурлящей, горькой и смертельно-едкой волной главной мысли». И опять ни главная мысль, ни те слова не названы.

Перегорodka обрушилась, когда вспомнилась мать. «Что будет с мамой, когда она узнает о своем сыне, — не о том, что он погиб, а о том, как он погиб, — вот что было важнее всего».

Важнее всего, важнее смерти — позор, бесчестие. В воспоминании о матери это открылось ему. Это и была та главная мысль. Когда ему сказали о смерти, он молчал; когда он понял, что у него отнимают честь, произошел взрыв. Он зарыдал и закричал неистово: «Пустите меня! Я должен им все сказать». Что он может сказать? Он скажет, что судили кого-то другого, что он, Сережа Огарков, «не кто-нибудь другой, не посторонний», он тот, кто готов все отдать всем. Все отдать всем — вот это он будет защищать, в этом его честь, это его сущность.

Пусть запросят его полк. Он стал перебирать фамилии тех, кого надо запросить — майора Габидуллина, Кузина, Дубового, Валю, — его однопольчан, тех, кому он не доставил приказ и кого, быть может, нет в живых. Мысль о том, что они погибли, подкралась к нему незаметно, и только тогда он понял прежде прозвучавшие для него отвлеченно те слова, сказанные майором из оперативного отдела: «Мы потеряли эту дивизию».

Те слова и та главная мысль соединились, это ошеломило и сломило его: он, готовый все отдать всем, всех погубил. Тем самым он утратил честь, утратил свою сущность. Огаркову нечего сказать трибуналу. Наступила мертвая оцепенелость.

Когда Джурабаев, его суровый конвоир, сказал ему «иди», он послушно пошел. «Стреляйте же!» — крикнул он вне себя, когда затянувшееся ожидание смертельного выстрела в затылок стало невыносимым. Но Джурабаев вел его не на расстрел, он уводил его от немцев. Начались долгие поиски ушедшей вперед части.

Сколько разноречий было у критиков в толковании душевного состояния Огаркова в скитаниях по степи! Из сложных переживаний героя каждый выбирал то, что

ему казалось наиболее пригодным для сокрушения повести.

Огарков хочет жить, жить во что бы то ни стало, — утверждал один. А в повести Огарков мечтал быть убитым вражеской пулей и видел в этом счастье.

Смертищеские настроения, — констатировал другой. А Огарков, украдкой от Джурабаева выполнивший задание случайного командира, возвращался, в о с х и щ а я с ь и р а д у я с ь. Он возвращался к Джурабаеву — значит, к смерти. Но вело его вернувшегося на какое-то мгновение чувство, от которого он был отрешен, — чувство чести: он не мог обмануть доверия пославшего его командира. Он как бы хлебнул этого чувства пересохшим от жажды ртом.

«Его одиночество и порожденные этим одиночеством пассивность, обреченность, окрашивающие все его поступки...» Это Огарков в критической статье¹. А в повести Огарков ползет по изрытому воронками полю под обстрелом немецких минометов, выполняет боевое задание, получает благодарность и не может унять своей радости. Трижды отражены остервенелые атаки фашистов. «А все же мы их здорово били, — говорил он, — крепко повоевали ведь, правда? Бесстрашные мы люди — верно ведь?» Это рывок к утраченной сущности, возвращенное ненадолго чувство чести. Зов конвойра отрезвляет Огаркова, он останавливается как вкопанный, потом опускает голову и идет дальше отяжелевшим шагом.

Безысходно одиночество героя в критических статьях. А в повести, оказавшись в саперном батальоне, «этот высокий славный юноша всем здесь пришелся по душе своим открытым нравом и честной работой». «Останемся с ними, а?» — умоляет юноша своего конвойра.

Конвойр лишь качает головой, и снова двое бредут по степи — молчаливый и угрюмый Огарков, молчаливый и грустный Джурабаев.

У Дона Джурабаев был убит.

Порывы Огаркова к жизни были рывками из отчаяния, из вживания в смерть, какое должно было бы быть его желанным уделом согласно экзистенциалистской философии; следовательно, эти порывы были и ударами по этой философии. Но эти

удары не могли быть решающими. Огарков всякий раз, когда ему представлялась возможность свободного выбора, выбирал не свободу от каких бы то ни было моральных норм, как надлежало бы по экзистенциалистскому учению, а выбирал подчинение моральным нормам. Это оттого, объяснит экзистенциалист, что он не мог выйти из-под иллюзорной зависимости от общества, порвать с иллюзией закономерности, живым воплощением которой был Джурабаев: его присутствие мешало Огаркову постичь ту истину, что человек не зависит ни от чего. Но вот Джурабаева не стало. Теперь торжество экзистенциализму обеспечено: Огарков порвет с внутренним рабством, станет свободным в выборе, выберет смерть и в этом выборе обретет подлинную свободу и счастье. Так по экзистенциализму.

Огарков, предоставленный самому себе, свободный в выборе, действительно выбрал смерть и тогда действительно почувствовал никогда не испытанное им безграничное чувство свободы. Экзистенциализм торжествует? Преждевременное торжество!

Прежде всего кто такой Джурабаев для Огаркова? Сначала он суровый и неусыпный страж при осужденном на казнь военном преступнике. Затем этот справедливый и добрый человек, объявленный критикой — в отрыве от текста повести — «психологически неподвижной экзотической маской»¹, стал его товарищем, проникся к нему любовью. Полюбил и Огарков его. Когда Джурабаев погиб, Огарков почувствовал, что утратил опору. Это так и было на самом деле, чувство не обманывало Огаркова. Джурабаев был свидетелем его мужества, честности и верности воинскому долгу, и, если бы он довел осужденного до штаба, его свидетельство было бы лучшей защитой Огаркова перед трибуналом, приговор которого еще не был утвержден. Джурабаев был простым и честным человеком, а не фатальной силой, каким рисовала его вопреки автору критика. Не фатальная сила, а друг, уже это одно разрушало экзистенциалистские притязания на него.

Писатель продолжает анализировать работу человеческого сознания — это тот главный метод, каким Казакевич пользуется

¹ См. Л. Скориню. Разговор начистоту. Сборник «В борьбе за социалистический реализм». «Советский писатель». 1959.

¹ З. Кедрина. Литературно-критические статьи. «Советский писатель». 1956.

для воплощения образной идеи. Вскоре после того, как Огарков похоронил Джурабаева и почувствовал себя человеком, лишенным жизненной опоры и какой-либо видимой цели, он случайно нащупал в кармане своей гимнастерки приговор. Он прочитал его «внимательно и подробно, почти по складам». Теперь нное чувство овладело им: Джурабаева нет, он, Огарков, свободен. «Горькая, но буйная радость охватила Огаркова». Он скомкал приговор и отшвырнул его. В этот момент он услышал обращенный к нему хриплый голос пьяного дезертира: большой краснолицый человек с пьяной ухмылкой простирал к Огаркову руки, «словно жаждал обнять и облобызать его, быть с ним вместе».

Быть с ним вместе... С минутой Огарков и тот человек внимательно смотрели в глаза друг другу. Потом Огарков подобрал с земли смятый приговор и, не оглядываясь, ушел.

Советские войска уже переправились за Дон. Мост был взорван. Он решил переправиться через реку вплавь. Женщина ●тдала ему свою лодку.

И вот тогда, когда он плыл к людям, вынесшим ему смертный приговор, его где-то на середине реки охватило чувство безграничной свободы, незнакомое ему никогда прежде. Ему захотелось, чтобы хоть на мгновение увидела его теперь мать, увидел Джурабаев, химинструкторша Валя из полка, где он служил, чтобы видели его командиры частей, к которым он с Джурабаевым примыкал в пути, женщина из трибунала, допрашивавшая его. «Чтобы все они видели, что он не жалкий беглец, убегающий от смерти, а человек, сознающий свою вину и готовый держать за нее ответ». (В журнальном варианте: «Чтобы все они видели, что он не просто так едет в лодочке, как жалкий беглец, убегающий от смерти, а как мужична, идущий навстречу справедливой судьбе».)

Когда-то воспоминание о матери привело Огаркова к осознанию своего бесчестия и потрясло его. Теперь он хочет, чтобы его хоть на мгновение увидела мать. Он вернул утраченную честь. Он вернул отчужденную сущность. Не смерть он выбрал, а возможность жить вне общества отверг. И в этом выборе обрел свободу.

Он не посторонний. Когда-то он в неистовстве выкрикивал это, теперь он это доказал.

«Но раз уже случилось так, а не иначе, и

он, Огарков, получил свободу и выбор — он поступит, как сын своей страны, готовый умереть от ее руки, потому что не в силах жить, виновный и отринутый ею». В первом, журнальном варианте было: «Но раз уже случилось так, а не иначе, и он, Огарков, получил свободу, он воспользуется ею по совести и, посрамив свое имя однажды, не опозорит его во второй раз». В журнальном варианте был более выделен мотив чести, в книжном — невозможность жить отринутым родиной. Оба мотива в повести живут, они составляют единую художественную мысль созданного образа, и варианты разнятся лишь акцентом, поставленным на той или на другой ее части.

Вины же с себя он никогда, ни сейчас, ни в последующей жизни, не снимал.

Философия, которой построение сюжета, казалось бы, давало полную возможность торжества, философия, утверждающая, что человек не зависим ни от чего, что социальная сущность человека — фикция, потерпела крах. С большой художественной силой раскрывается в повести общественная природа человеческой психики.

Повесть напечатана была впервые в 1948 году. Это была вторая повесть писателя. В войне он всегда оказывался на ее переднем крае. Демобилизовавшись, он оказался на переднем крае в непримиримой борьбе между социалистической и буржуазной идеологиями.

Философская направленность повести не помешала утверждению критики: «Двое в степи» — наглядное свидетельство того, что отход от принципов марксистской эстетики в сторону теории «частного опыта», частных фактов и «фактиков» не проходит даром для писателя одаренного. Ведь подлинное искусство определяется не только степенью таланта, но и его направленностью»¹.

Повесть писалась в годы культа личности. Вопреки культу личности с его недоверием, неуважением к чести и достоинству человека она выражала горячую веру в человека и отстаивала его честь и достоинство. Честь же советского человека — в его верности родине и самоотверженной готовности «все отдать всем». Это был протест против игнорирования личности, и тем острее и выразительнее он был, что опирался на трудный случай, когда речь шла о человеке, совершившем преступление.

¹ Д. С к о р н о. Разговор начистогу.

После «Двоих в степи» Эм. Казакевич приобрел прочную репутацию абстрактного гуманиста. Обвинения в абстрактном гуманизме вызвала и следующая его повесть «Сердце друга».

Любопытно, что в этой повести как раз и была обнаружена подверженность писателя влиянию экзистенциализма.

Вот большой отрывок из небольшой статьи, в которой критик хвалит критика, написавшего отрицательную статью о «Сердце друга».

«Точный и умный анализ «Сердца друга» приводит критика к вполне обоснованному выводу, что социалистический гуманизм подменен здесь «гуманизмом жалости» и образ «человека-коммуниста» (термин Арагона) неоправданно сливается с образом трагического, обреченного героя литературы «потерянного поколения». Мне кажется даже, что порою автор делает героя своего менее человечным, чем сами герои «потерянного поколения», что «сборность» образа Акимова порою придает ему почти страшные черты.

По авторской рекомендации, Акимов сын ткача из города Коврова, выросший в среднерусской полосе на реке Клязьме, где он и полюбил жизнь на воде.

А как же воспринимает, как помнит медлительную, в зарослях лозняка, реку этот рабочий парень?

Майборода, ординарец Акимова, нередко спрашивает его о море, которого сам никогда не видел. И вот что отвечает ему Акимов: «В общем, это просто много воды, но это не похоже на воду в понимании такой полевой мыши, как ты. Это целый мир. Как нельзя, собрав много червей, сделать змею, так нельзя, собрав вместе сто рек, устроить море...» Нет, выросший на реке Клязьме рабочий парень никогда не воспримет реку как червя, ползущего по лицу земли.

Более того — и герой Хемингуэя, который все-таки чувствует своей искаленной душой прелесть силы и жизни, тоже никогда так не скажет. Мысль о реках-червях и море-змее могла бы возникнуть лишь в сознании героя Сартра периода «Мух» и «Закрытых дверей»¹.

Интересный факт для психологии кри-

¹ Е. Кнйпович. Утверждение героического слова (о сборнике Веры Смирновой «О литературе и театре»). Сборник «В защиту жизни». «Советский писатель». 1959.

тического творчества; сравнение человека с мышью («такая полевая мышь, как ты») не нарушает спокойствия критика. Между тем есть люди, которых именно мыши заставляют терять самообладание, так же как других черви, а третьих тараканы. Что касается Акимова, то с червями и тараканами он обращается запросто. И именно потому, что этот рабочий парень вырос на реке Клязьме. Вот что сообщает повесть о его детстве, о его занятиях с другими юными экзистенциалистами: «Они шли с банками из-под консервов, полными живых тараканов и червей, и с самодельными лучками для ловли». Использование червей для сравнения с реками было ему ни о чем, путь для ассоциации проторен с детства. Но стоит ли считаться с характером героя, если у критика свой характер, свои вкусы?

Однако не в этой статье, хвалящей дружую, предел субъективизма. Убежденнее и методичнее субъективизм статьи хвалимой.

В хвалимой статье сначала отдается должное и таланту автора, и высоким качествам героя. Герой характеризуется как широко и щедро одаренный человек с тонким насмешливым умом, острым чутьем к людям и большим обаянием. Талантливый писатель, говорится в статье, ярко показал мужество бойцов, высокое чувство товарищества, суровый труд войны, ее жестокость. Но критика совершенно не удовлетворяет, хотя и «сильно написанная», разведка боем, которой начинается повесть. Разведка боем на него «производит впечатление произвола, случайности, ненужности даже, ибо мы так ничего и не узнаем, зачем и кому она была нужна. Мы запоминаем гибель Погосьяна, Ремизова, мы видим раненых, но в повести нет и намека на «выполненную задачу»¹.

Никак не назовешь вывод критика обоснованным: в повести сказано, зачем и кому нужна разведка боем,— части, идущей на смену, ее не устраивают имеющиеся данные о противнике, его огневых средствах, системе обороны. Акимову приказано осуществить разведку, поставлена также задача захватить траншею противника, и в повести подробно описывается бой за эту траншею, а в конце повести точно указано, что эта траншея занята. Что же касается данных, полученных в результате разведки, о системе обороны, об огневых средствах

¹ Вера Смирнова. О литературе и театре «Советский писатель». 1956.

противника, то они нужны и будут использованы другой воинской частью, не той, о которой рассказывает эта повесть. В этой повести о них достаточно упомянуть, и критику остается лишь сетовать на то, что автор не написал и другой повести о части, пришедшей на смену.

Манера критика делать выводы небезобидна: она служит утверждению, что у Казакевича война производит впечатление ненужности, а в статье разъясняется: «Война была необходима, осмыслена, оправдана».

Затем в статье цитируются и набираются курсивом следующие строки повести: «Раненые пошли дальше, а Акимов долго смотрел им вслед, потом опустил голову, почему-то развел руками, вздохнул и пошел вперед». Далее следует то, что было оценено как точный анализ: «Здесь каждое слово вопиет против этого страшного, ненужного боя. А это последнее нелепое слово «вперед!» Куда вперед? Впечатление полной растерянности Акимова усугубляется следующим абзацем: «Стемнело быстро, как темнеет осенью... В оврагах и траншеях все угомонились, улеглись, кто где попало. Дождь перестал...» Как будто темной ночью хотел поскорее прикрыть автор все происшедшее».

Так последовательно смысл повести превращается в противоположный. Метод все тот же — выборочное чтение.

При изложении эпизода разведки и боя в статье опущено совершенно необходимое для понимания набранной курсивом цитаты обстоятельство. Акимов, которому предстояло вести в бой усталых, измученных солдат, выдвинул требование: не сообщать, что их завтра сменяют.

«— Это почему же? — холодно спросил полковник.

Акимов помедлил с ответом, потом напрямик сказал:

— Чтобы людям было легче умирать».

Об этом условии затем упоминается трижды. Пропустить его без внимания невозможно.

После боя мимо Акимова проходят раненые. Один из них сказал Акимову: «Вы все на отдых, а я в госпиталь».

Смысл этих слов дошел до Акимова лишь спустя полминуты. «Ты это про что? — спросил он. — Про какой такой отдых?» — «Будто не знаете! Это все знают».

Все еще до боя знали, что их сменяют.

Затем следуют процитированные и набранные в критической статье курсивом строки: «Акимов долго смотрел им вслед, потом опустил голову, почему-то развел руками, вздохнул и пошел вперед».

«Здесь каждое слово вопиет против этого страшного, ненужного боя», — говорится в статье. А в повести здесь каждое слово «вопиет» о ненужности сокрытия правды. Зная правду, солдаты мужественно, не щадя жизни, провели этот необходимый бой и достигли важного успеха. Правда не помешала им идти на смерть. Акимов был пристыжен.

«Стемнело быстро... — Продолжим урезанную цитату: — А в первом часу ночи все были подняты по тревоге и наконец увидели.

Лязгая оружием, гремя котелками, хлопая сапогами по глине, подходили свежие части. Хорошо одетые и вооруженные, оглядываясь не очень весело, но и вовсе не грустно, посмеиваясь над унылым видом здешних солдат, но и понимая причину этого унылого вида, нюхая воздух, пахнущий порохом и пожаром, — одним словом, в полном сознании трудности предстоящей жизни, но без всяких ужасов по этому поводу, — пришельцы занимали построенные другими землянки, хлынули во все щели, в том числе и в захваченную сегодня вражескую траншею...»

Продолжать ли? И без того со всей несомненностью видно, как стойкость, бодрость, уверенность превращаются в статье в результате «точного анализа» в уныние, безнадёжность, мрак.

Критик отказывается понимать самые обыкновенные слова, например, это «нелепое слово «вперед». «Вперед» по словарю означает движение в направлении перед собой. В этом смысле оно и употреблено. Но если возникла потребность в ином, иносказательном смысле, то и эту потребность легко удовлетворить. В конце повести уже не герой, а герою его начальники будут предъявлять требование скрывать от солдатской массы правду. В ответ он будет лишь усмехаться. Вот куда вперед шел герой. Он избавился от своего главного недостатка — от недоверия. О пути к этому, если говорить о развитии характера героя, и будет рассказывать повесть.

Да, этому человеку с широкой душой, полной любви к людям, присущ порок недоверия к ним. Была ли чужда ему вера в

людей? Нет, она жила в этой щедрой, отзывчивой душе. Но в ней таилось и недоверие. Как это могло совместиться? Это и будет исследовано в повести.

Травкин в «Звезде» в самых невыгодных условиях сказал правду бойцу. Акимов в условиях, которые он считал невыгодными для правды, утаил ее.

Вероятно, именно недоверие подсказывало ему в горячке боя угрозы трибуналом, которыми он сопровождал свои распоряжения. Как не пужны они были, он мог судить по себе, когда такую же угрозу передали от высокого начальства ему.

Придет время, он задумается над тем, какая дисциплина выше: та, когда его слушались оттого, что, как он думал, его боялись, или та, когда его требования выполнялись из опасения огорчить командира.

Он часто не доверял и себе, своим чувствам и побуждениям. На флоте, куда он был переведен, был такой случай. Катер, на котором он был дублером командира, должен был произвести высадку десанта разведчиков в тылу немцев на берегу Норвегии. Из-за шторма катер не мог подойти к берегу ближе чем на десять метров, сходни, которые матросы держали на плечах, стоя в воде выше пояса, не доставали земли. Акимов с содроганием подумал, как холодно и тяжело будет им на неприветливом берегу, спрыгнул в воду и стал переносить разведчиков на плечах.

Этот поступок открыл перед Акимовым сердца командира катера и матросов, прежде относившихся к новичку-офицеру с выжидательной настороженностью.

А как расценил свой поступок сам Акимов? Он был недоволен собой, он усмотрел в своем человеческом порыве желание заявить о себе, утвердить себя среди новых товарищей.

«Нельзя понять, чего хочет автор, ради чего написал он эту повесть. Война и любовь? Любовь на войне?» Это из критической статьи.

Накануне разведки боем в блиндаж Акимова пришла Аничка Белозерова. Акимов уже слышал о ней, ее поручили по телефону его особому попечению, и он заранее невзлюбил ее, подозревая, что она любовница кого-то из высокого начальства. И вот в землянку вошла, захлебываясь счастливым смехом, девушка, глаза которой сияли молодостью и жадной жизнью.

Что с Акимовым? Он сидел с видом полного равнодушия, но «что-то оборвалось в нем при виде девушки. Ему показалось, что он сразу понял, что именно эта девушка — кем бы она ни была и как бы ее ни звали, — эта девушка, со смехом вынырнувшая из осеннего, темного, безбрежного мира, и есть та самая, о которой он думал в течение прошлой жизни». И так как он это понял, он, тридцатилетний мужчина, знавший женщин, но не знавший любви, решил дать незнакомому, ненужному и опасному чувству отпор.

Из критической статьи: «И тот же Акимов, который час назад в этом же блиндаже объяснял своим офицерам последнюю, страшную, для многих смертную задачу, теперь, точно раздвоившись, продолжая механически отдавать распоряжения и готовиться к бою, ревниво следит, как «лебезят перед девицей» его товарищи, и, как бы обороняясь изо всех сил от немислимого для него очарования ее молодости и красоты, ожесточенно пытается думать о ней все самое грубое и дурное».

«Раздвоившись» — это неточно. Уж тогда расчленившись. 1. Один Акимов потрясен любовью. 2. Другой сопротивляется этому. 3. Третий Акимов отдает распоряжения. 4. Четвертый наблюдает за собой и слышит свой голос, как чужой. Итого четыре. Нет, пять: 5. Пятый Акимов ревниво следит, как лебезят перед девицей.

Всем неточно, в полном противоречии тексту повести утверждается, что Акимов отдает распоряжения «механически». В повести сказано, что он отдает приказания «так же спокойно, как всегда», и принимает решения «так же ясно».

Писатель решительно придерживается мнения и внушает его читателю, что работа человеческого сознания сложна, что она может протекать одновременно на нескольких уровнях, что сознание может вступить в конфликт с чувством, что между мотивами поведения происходит борьба и что за всем этим стоит, выбирает, отступает, побеждает цельная личность, волевой человек.

Острое переживание счастья настоящей любви, которой он так безрассудно противился, испытал он впервые в жизни во время нечаянной прогулки с Аничкой в осенней березовой роще случайного полустанка. Но и это победно завладевшее им счастье не окончательно изгнало притаившееся недоверие. Оно снова возникло в деревенке

под Бологим, когда Аничка храбро сказала, что останется у него ночевать. В эту ночь он проклял свое недоверие, небывалая великая нежность вытеснила его, казалось бы, навсегда. Но оно вновь вернулось к нему на Севере, когда он долго не получал от Анички писем.

«Так бывает порой в жизни, но нам странно видеть это у Акимова». Это из критической статьи. Наконец-то хоть одно слово понимания! Ну, конечно, странно.

Над тем и бьется автор, чтобы читатель почувствовал, как ненужно, как чуждо недоверие натуре Акимова. Когда пришло просветление, он заклеил себя. «Каким же надо быть маленьким и гнусным человеком, — думал он, — чтобы думать об Аничке то, что я думал раньше!»

Эти мысли находятся в непосредственном соседстве с мелькнувшей на его лице улыбкой в ответ на требование начальника — не сообщать своим людям о предстоящей смене. Речь идет не о смене под Оршей перед разведкой боем, а о смене перед боем в фашистском тылу на норвежском берегу.

Акимов не был человеком, он был настоящим человеком. Недоверие ушло, неискоренимой была вера в людей, жившая в нем. Он понял, «что, несмотря на все свои мучительные подозрения, он все время где-то в душе был тем не менее глубочайшим образом убежден в ее верности и душевной чистоте. Поразительно, что эта глубокая уверенность, жившая в нем, могла существовать рядом с самыми тяжелыми сомнениями». «Глубочайшим образом», «глубокая уверенность» — в основании характера. На его «поверхности» — пусть цепкое и живучее, но остаточное и пережиточное недоверие, преодоленное наконец.

Еще несколько строк из критической статьи.

«Все эти повторы, очевидно, не случайны, и они создают странное впечатление бессмысленности, какого-то заколдованного круга, обреченности, теряется даже представление о том, с кем, когда и за что воюет Акимов».

Один из повторов, о которых идет речь в критической статье, только что упоминался — смена под Оршей и на Севере. Он не единственный. Вот другой повтор: в начале повести, перед разведкой боем, генерал при свете фонарика, а в конце романа адмирал перед десантной операцией, тоже при свете фонарика, задают один и тот же вопрос

Акимову: «А тебе не хотелось бы опять на корабль?» — в первом случае, «А не хочется вам обратно на корабль?» — во втором. Это не ему, это им страшно хочется, чтобы Акимов был не здесь. Это им невероятно трудно подвергать его смертельной опасности, и это чувство, почти непреодолимое, нужно преодолеть: бой должен возглавить лучший командир, самый умелый, самый отважный, но мучительно посылать в смертельную схватку именно этого, такого талантливого, такого прекрасного человека. Жестокость войны и человеческая привязанность, симпатия — лицом к лицу. Этот мотив утверждается повтором. Бессмыслен ли он? В нем обреченность? Акимов погиб, но побеждает любовь, верность, преданность.

Художник ставит перед собой труднейшую из задач — задачу пластического изображения чувства любви, симпатии к герою самых разных людей. Нет ничего губительнее для художественного произведения малейшей фальши, насильственности, искусственности в изображении такого чувства. Победа Эм. Казакевича несомненна.

Понятна, естественна и влюбленность в Акимова его ординарца Майбороды под Оршей, и старания быть ничем не хуже Майбороды вестового Митюхина на Севере, и восхищение пехотинцев своим командиром, и гордость им моряков, и дружелюбие, шутливость, ласковость Акимова в разговоре со своими бойцами, и радость неожиданной встречи на Севере с давним задушевым черноморским другом, и новая дружба с северянином Бадейкиным, дружба намертво: в последнем своем смертном сражении Акимов шепчет имя Бадейкина.

У Мурманска по команде Акимова сбрасывают глубинные бомбы на немецкую подводную лодку, преследующую караван американских судов. «Он был полон холодной ненависти к притаившейся в молчаливой толще воды вражеской лодке и почти сумасшедшей боязни за судьбу огромной, красивой чужой посудины, груженной чем-то важным для...» — Он перебирает имена однополчан под Оршей: — для майора Головина, Майбороды, Файзулина, Вытягова, Филькова, Орешкина. И для Анички». («Теряется даже представление о том, с кем, когда и за что воюет Акимов», — вспомним эти слова критика.)

Акимов рассказывает пехотинцам о морской службе, не находя слов, чтобы выразить свою привязанность к морю, маскируя

свое восхищение и влюбленность словами простецкими, грубоватыми, не «поэтически-ми». А морякам он внушает, какая замечательная штука — суша, ее горы, холмы, луга, перелески, и с усмешкой кончает рассказ: «Хорошо там, где нас нет», и получается у него это так любовно, что чувствуешь: там — это здесь, здесь — это там, и все это одно, и одно это — Родина, и все, кого любит он, и все, кто его любит, — все это единая огромная семья — это Родина.

Связность, цельность, единство элементов всякого произведения создается единством чувства, единством выраженной в произведении авторской мысли. В «Сердце друга» чувство единой семьи, чувство любви всех к одному и одного ко всем, это непосредственное, непринужденное, лишенное малейшей натяжки семейное чувство стало в числе других связей убедительным способом создания композиционной слаженности повести.

Среди многообразных связей, создающих композиционное единство повести, следует выделить пронизывающее ее всю чувство социалистического интернационализма, очень активное, очень живое и животворное в этом произведении.

Стоит остановиться на некоторых моментах этой связи, хотя выделить такие моменты из повествования — дело почти варварское, так как при этом всегда создается впечатление жесткой прямолинейности.

Когда замполит Ремизов в траншею под Оршей в беседе с бойцами перед боем говорит о том, что война за родину это и война за будущее всего человечества, за счастье народов Польши и Чехословакии, Франции и Бельгии, Дании и Норвегии;

когда вслед затем в землянку Акимова со смехом вошла Аничка и потом выясняется причина этого непонятого смеха: она смеялась тому, что «Танец Анитры» солдаты называли «Танцем Анюты»;

когда Акимов смотрит в амбразуру блиндажа на вражеские позиции и думает о том, как хорошо было бы рвануться вперед и пойти и пойти по белорусской земле, войти освободителями в Польшу, потом в Германию, во Францию, и бормочет: «Мы придем, мы придем», —

связь между этими эпизодами еще почти не прорывается.

Но когда Акимов, подходя к норвежскому берегу на катере, которым командовал Бадейкин, вспоминает свои комсомольские

времена, овеянные несколько абстрактным, но страстным и великодушным желанием освободить весь мир от угнетения, и понимает, что теперь мечта оделась в плоть и кровь;

когда он заходит в переполненную людьми норвежскую хижину и выясняется, что хозяин ее — норвежский коммунист;

когда советский партбилет передается с любовью из рук в руки и чувство братства радостно волнует людей, когда в последнюю секунду перед уходом он внезапно останавливается как вкопанный оттого, что мелодия поставленной только что пластинки оказалась ему очень знакомой, родной, «полной интимнейших и радостнейших воспоминаний». «Танец Анитры» — произнес Акимов, и ему почудилось, что это произнес не его голос, а голос Анички, —

связь эта проявляется во всей своей неотразимости.

Чувство интернационального братства нераздельно с личным чувством, и этот сплав — это и единство частей произведения, и сюжетное развитие, и композиционная слаженность повести, это ее философия. А назвали эту философию, идею социалистического гуманизма, гуманизмом мелкобуржуазным.

Чем, вмешательством какой силы все ставится вверх дном, ясное омрачается, живое омертвляется?

Имя этой силы — субъективизм, отчество — доктринерство.

В последней повести Э. Казакевича, в «Синей тетради», изображение внутренней работы человеческого сознания, структуры человеческих чувств является и художественной целью писателя, и главным средством в решении поставленной им здесь перед собой ответственнейшей из задач — создание образа Ленина.

Мы видим Ленина в раздумьях о революции. Мысль о товарищах по делу вызывает в его душе великую нежность, всегда сдержанную, но тем более сильную, к людям его партии — «жизнерадостным и аскетическим, пылким и суровым...». И рядом с этим чувством — «острое, как бритва, чувство ответственности за жизнь и душу рабочих, матросов, солдат».

Художник фиксирует и те мгновения, когда Ленин задумывается, делается печальным, когда взгляд его становится скорбно-сосредоточенным. Здесь, у шалаша,

Ленина временами охватывает и чувство горечи, одиночества.

С особенной силой это чувство овладело им после того, как он из чердака емельяновского сарая услышал слова рабочего, отобранного Емельяновым в связные: «...А мы с тобой в душе у него не были. Кто его знает? Мы люди рядовые, рабочие. А он за границей всю жизнь прожил. Что ты, возле него был все время? Сам знаешь — Азеф, Малиновский. Им тоже верили. А Малиновский — тот был даже большевиком, членом ЦК... Мне от этих разговоров мутрно, я ночами не сплю. А сам-то Ленин? Скрылся? Если бы не скрылся, явился бы на суд, оправдал себя — тогда дело другое. А то скрылся. Пишут, на аэроплане перелетел в Германию».

Когда рабочий ушел, Ленин даже стал успокаивать смущенного Емельянова: «Рабочий класс, он ведь, к сожалению — и к счастью. и к счастью! — не состоит из однородной массы... Не огорчайтесь».

Но, оставшись один, он загрустил. «Он опустил голову на руки, скрещенные на столе, — поза, ему несвойственная». Потом стал перелистывать газетные страницы: они источали клевету и яд, чтобы сбить с толку рабочих. Эта клевета вызывала презрение и отвращение у Ленина. Но обидно за рабочих, за этого Алексея. Алексей упомянул о Малиновском. «Правда заключалась в том, что Ленин действительно не верил в предательство Малиновского до самого последнего времени, когда были опубликованы точные и неопровержимые доказательства из архива департамента полиции». Не верил, быть может, потому, что Малиновский был рабочим, а Ленин любил не только рабочий класс, а каждого сознательного и несознательного рабочего и терпеть не мог тех социалистов, которые обожали «пролетариат» и ни во что не ставили рабочего. Ленин гордился начитанностью, любознательностью, способностями Малиновского, не допуская возможности предательства, и тяжело ошибся. Ошибка проистекала из веры в рабочего человека.

«Так что, уважаемый Алексей... рабочий рабочему рознь».

Острое, как бритва, чувство ответственности за души рабочих, это оно побуждало его сочинять в одиночестве и мысленно проносить речи перед судом, о котором говорил рабочий Алексей, хотя Ленину было совершенно ясно, что никакого суда не было

бы, а была бы кровавая расправа, убийство, если бы он отдался полиции. Понимал — и продолжал сочинять эти речи, полные ненависти к буржуазии и уничижающего презрения к соглашателям.

Воочию предстают в повести работа ленинской мысли, жар его чувств, многогранность его характера:

его манера читать газеты, его яростный спор в этом чтении. «то презрение, то уныние, то страсть, то удовольствие, то азарт»; и неизменная вера в победу при самых плохих известиях;

его обаяние, удивительная, им самим не замечаемая способность завоевывать сердца людей, его простота, необыкновенная деликатность, живость и общительность, так поразившие и покорившие жену Емельянова Надежду Кондратьевну; его жадный интерес к ней, к детям, к повседневным ее заботам; его способность самые мелкие мелочи рабочей жизни переводить в иные масштабы, взвешивать их на весах революции и включать их в цели ее;

его непосредственность, его милая шутовость, его радость от дружбы с мальчиком; его тихая зависть к Емельяновым, их семейным заботам, которых он, профессиональный революционер, лишен;

его ликование, острое чувство счастья, когда он получил свою долгожданную «синюю тетрадь», тот необыкновенный подъем, какой он испытывал, когда перечитывал свои выписки из Маркса и Энгельса. Он думал о Марксе и Энгельсе, как о своих близких, ему казалось, что оба старика рядом. «Ах, какие же вы молодцы! — говорил он им. — Как мы с вами утрем носы рабовладельцам и филистерам земного шара...»

Непреклонность его заветного убеждения: говори массам правду, всегда только правду, даже когда это невыгодно. Если терпишь поражение, не выдавай его за победу. Если сделал ошибку, признайся в ошибке, не боясь за свой авторитет. «Будь правдив перед рабочим классом, если веришь в его классовое чутье и революционный здравый смысл, а не верить в это для марксиста — позор и гибель»;

его горькие мысли после споров с Зиновьевым. Сколько потерь за эти двадцать лет! Неужели предстоит и разрыв с Зиновьевым? «Самое трудное и страшное, — думал он, — это драться беспощадно не с врагами, а с близкими людьми, с единомышленниками. А не драться никак нельзя...»

Надо только никогда не забывать, что нет ничего прекраснее, чем убедить товарища в его ошибке и вернуть на верный путь».

Уже покинув Разлив и подходя к железнодорожной станции, Ленин неожиданно напомнил Емельянову о человеке, который своим необдуманном словом причинил Ленину жестокую боль:

«— Да, чтоб не забыть. Алексея, того самого, помниге, «связного»... Не обижайте его. За ошибку не надо взыскивать. Он сам поймет. События, революционный опыт помогут ему понять... Так вот,— не обижайте его.

— Хорошо, Владимир Ильич.

— А то я наших товарищей знаю. Будут его шпынять без надобности... Не забудьте, пожалуйста.

— Хорошо, Владимир Ильич, не забуду.

— Ну, вот и все... И спасибо».

Емельянова этот разговор потряс. Почему? «Он сам не знал почему».

Это у Казакевича можно встретить часто. Еще раз — когда он говорит: «непонятно», «неизвестно почему», — это значит, что он побуждает сосредоточить внимание на том, что происходит, тщательно разобраться в этом.

Что же происходит? Емельянова потрясла забота Ленина, его чуткость. Но разве дело только в чуткости? Нет. «Дело было в беспредельной уверенности Ленина, что события будут обязательно развиваться так, что Алексей поймет, не сможет не понять свою ошибку. Может быть, только в этот момент Емельянов по-настоящему понял, что рабочая революция действительно дело ближайшего будущего, и со всей полнотой осознал, какого человека скрывал он у себя в Разливе».

Это несколько неожиданно и не совсем ясно. Неясно и неожиданно потому, что Емельянов и раньше видел и понимал, что Ленин совершенно уверен в неизбежности скорого наступления революции — именно Емельянову Ленин говорил: скоро, Емельянов. Старый партийный боевик слышал об этом и споры Ленина с Зиновьевым и всей душой был на стороне Ленина.

Что же хотел сказать писатель своим утверждением, что Емельянов только теперь

по-настоящему понял, что революция дело ближайшего будущего и только теперь со всей полнотой осознал, какой человек Ленин?

Там, на чердаке, размышления Ленина об Алексее вызвали в его памяти историю с Малиновским, о котором Алексей упомянул. Это было раздумье об его, Ленина, ошибке, вызванной верой в человека. И в Алексея, как показал подслушанный разговор, не следовало верить: доверились бы ему, все провалилось бы. А в заботе Ленина об Алексее, в его последнем напутствии при расставании с Емельяновым все-таки вновь сказались эта вера. Вера несмотря ни на что. Такую веру обычно называют слепой, фанатичной. А здесь, в словах Ленина, в его напутствии Емельянову, с полной ясностью названа та основа, на которую эта вера опиралась: на неизбежность революции, на исторический процесс, на законы общественного развития. Эта вера, опирающаяся на овладение законами общества, могущественнее всякой другой: всякая другая, даже если те или иные факты придают ей силу, неизбежно рухнет, эта, даже если те или иные факты встают против нее, победит. Взаимопроникновение веры в человека и веры в революцию — вот что понял Емельянов, вот что раскрыло перед ним до конца и силу ленинской убежденности в неизбежность революции, и силу ленинской любви к человеку.

Это и составляет философию повести.

Революция неизбежна, но ее нужно осуществлять, делать. И Ленин уходит из Разлива, чтобы возглавить революцию. Очищение человека от всяческой скверны неизбежно — и Ленин поручает заботу о человеке, о каждом человеке, революционеру.

Входя в круг мыслей Емельянова, читатель невольно становится на место Емельянова. Этого писатель хотел. Но, становясь на место Емельянова, тем самым он сам начинает принимать участие в разговоре с Лениным. Слово бы каждому из нас поручал Ленин заботу о каждом человеке:

— Не забудьте, пожалуйста.

— Хорошо, Владимир Ильич, не забуду.

— Ну, вот и все... И спасибо.

Т. МОТЫЛЕВА



ЗАВЕЩАНИЕ РОМЕНА РОЛЛАНА

(К столетию со дня рождения)

1

Имя Ромена Роллана известно у нас чуть ли не каждому грамотному человеку. За двадцать с лишним лет, истекших со времени его смерти, круг его советских читателей намного расширился.

Кто он для нас сегодня, Ромен Роллан, — классик мировой литературы, предмет академического изучения или писатель XX века, органически связанный с нашей современностью?

В международной литературной критике наследие Роллана вызывает по сей день острые разногласия, подчас споры. Уже это показатель его актуальности.

Узловая точка споров — Роллан и социализм. Всего лишь два года назад критик Ло Да-ган в большой газетной статье сурово предостерег читателей «Жан-Кристофа»: этот роман, по мнению критика, проникнут буржуазно-индивидуалистической идеологией и может вредно повлиять на строителей социализма, особенно на молодежь. С другой стороны — в западном литературоведении имеет хождение взгляд на Роллана как на оторванного от жизни мечтателя, который оставался внутренне мало затронут социалистическими идеями даже и в те годы, когда наиболее активно выступал как друг СССР (такое мнение высказано, например, в книге Юргена Рюле «Литература и революция», вышедшей в ФРГ). Догматики и антикоммунисты сходятся в своих стараниях — «отлучить» Ромена Роллана от социалистических идей.

Во Франции в последние годы появилось много новых материалов из наследия писателя. Его вдова Мария Ромен Роллан при

содействии видных литераторов и филологов публикует его письма, дневники, автобиографические работы¹. Эти документы помогают увидеть его облик более отчетливо, с новых сторон.

Как известно, Роллан начал свою публицистическую, общественную деятельность лишь в годы первой мировой войны. Широко распространено мнение, что до этого времени он был по преимуществу интеллектуалом-книжником, человеком кабинетного склада, замкнутым в кругу художественных и научных интересов. Письма вносят основательные поправки в это представление хотя бы уже потому, что они свидетельствуют, насколько нуждался Роллан в дружбе, общении, повседневных душевных контактах с многими и очень разными людьми. Письма Роллана, опубликованные недавно, показывают, что он и в пору работы над «Жан-Кристофом» — то есть в первое десятилетие нашего века — проявлял живейший интерес к политике, близко принимал к сердцу все, что творилось в мире.

Примечательны, например, строки из письма к Софии Бертолини от 29 декабря

¹ В данной статье использованы новые выпуски «Тетрадей Ромена Роллана»: его письма к Софии Бертолини, к Эльзе Вольф, сборник «Тагор и Роллан», переписка Роллана с Альфонсом Сеше и Жан-Ришаром Блоком (Chère Sofia. Choix de lettres de Romain Rolland à Sofia Bertolini Guerrieri-Gonzaga. v. 1. 1959. v. 2. 1960 — Rabindranath Tagore et Romain Rolland. Lettres et autres écrits. 1961. — Ces jours lointains. Alphonse Sèche et Romain Rolland. Lettres et autres écrits. 1962. — Fräulein Elsa. Lettres de Romain Rolland à Elsa Wolff. 1964. — Deux hommes se rencontrent. Correspondance entre Jean-Richard Bloch et Romain Rolland, avec une lettre de Roger Martin du Gard. 1964).

1905 года: «Я со страстной заинтересованностью слежу за событиями в России. То, что происходит в Москве — одно из величайших явлений в истории. Какая сила народной революции — в самом сердце старой России, которая, казалось, спит непробудным сном! Она оставила позади Парижскую коммуны. Такого, наверное, еще мир не видел — целую неделю идет борьба бесчисленного, но недостаточно вооруженного народа против войск, которые обстреливают его из пушек и не могут взять город в свои руки, не разрушая его. Не пройдет и десяти лет, как в Европе совершится революция: в России, Германии и Франции, наверное, одновременно...»

Внимание Роллана привлекали и события общественной жизни, менее крупные по масштабу, но по-своему знаменательные. В марте—апреле 1909 года — как раз в период работы над книгой «Подруги», самой камерной, наименее связанной с политикой частью «Жан-Кристофа», — романист живо отзывался на забастовку почтовых служащих. «Дорогой друг, — писал он Эльзе Вольф, — дойдет ли это письмо? Сколь ни неудобна для меня лично забастовка почтовиков и нарушение моей эпистолярной жизни (а для меня это — добрая часть моей жизни в целом), не скрою от вас, что мои симпатии на стороне бастующих. Прежде всего я всегда за трудящихся, против политиканов и бездельников. А помимо этого я считаю, что в данном случае почтовики правы». К этой теме Роллан возвращается и в следующем письме: «Вы должны понять, что рабочие профсоюзы и Всеобщая конфедерация труда борются не только ради того, чтобы по крохам вырвать у нынешнего государства те или иные льготы, но и ради того, чтобы завоевать государственную власть и преобразовать республиканскую конституцию в более живом и демократическом духе, в пользу организаций трудящихся — против парламентской, узкобуржуазной республики. Именно это меня и занимает, и хоть мне лично, быть может, и придется худо в обстановке кризиса, все мое сочувствие на стороне профсоюзов. Я всегда и всюду буду с организованными и сознательными трудящимися — против их антагонистов: ибо где труд, там и жизнь».

Письма Ромена Роллана укрепляют в нас убеждение, что проблема социалистического преобразования мира стояла перед

его сознанием неотступно — не только в периоды «приливов» революционных настроений, в середине девяностых годов прошлого века или в начале тридцатых годов нашего века, но и в течение всей его жизни.

Еще в самом начале XX столетия Роллан чувствовал, что живет в эпоху, когда зревают великие исторические сдвиги. Это ощущение сказалось у него и в пьесе «Четырнадцатое июля», и в литературно-теоретической работе «Народный театр»; оно прямо выражено в его письмах «В наше время, — писал он Софии Бертолини в апреле 1904 года, — большие человеческие потоки значительнее и сильнее, чем отдельные личности. Под оболочкой видимого хаоса чувствуются мощные движения народов и классов, подобные движениям планетных миров». Итогом этих движений, полагал Роллан, будет — после многих потрясений и кризисов — создание «Социалистической Федерации Европы».

Роллан не раз задумывался над тем, как будет происходить борьба за преобразование жизни. Он отдавал себе отчет, что борьба эта будет трудной, упорной, быть может, и мучительной, жестокой. Он писал Эльзе Вольф в мае 1909 года по поводу исхода забастовки, о которой говорилось выше:

«Я вижу, вы не хотите простить почтовиков. И я тоже. Но по разным причинам. Вы находите непостыдным, что они бастовали, а я — что они сдались. Вот горемыки! Я их понимаю: они, в сущности, захудалые буржуа, привыкшие к домашнему уюту, как все чиновники; угроза революции их страшит: что они будут делать, разнесчастные, если у них отнимут стулья с кожаным сиденьем? У них не хватит сил найти себе иное место в жизни. Значит, придется рабочим совершить революцию одним, и, видимо, в недалеком будущем. Тем хуже для них и тем хуже для нас! Ибо великое общественное движение, которое готовится в настоящее время, нуждается в объединенных силах всех трудящихся, чтобы не выродиться в кровавую и бесплодную классовую войну. Но пусть будет то, что должно быть; нам надо постараться это понять и, если нужно, переделать самих себя. Неужели вы думаете, дорогой друг, что можно «законным способом» преобразовать правительства, которые отжили свой век? Когда система законов обнаруживает свою несо-

стоятельность и когда люди, стоящие у власти, отказываются ее изменить, что же остается делать? Сломать — и законы, и власть... Я ненавижу грубую силу. Но, чтобы добро восторжествовало на практике, сила необходима; она, как говорил Наполеон, условие всех добродетелей; она прежде всего условие прогресса. Нельзя сделать ни шага вперед без того, чтобы выиграть ожесточенное сражение со всякого рода эгоизмами и частными интересами, пустившими глубокие корни. Конечно, при всем этом поднимется много пыли и дыма, и я понимаю, что мечтателей это смущает — ведь в наше время не осталось монастырей, куда можно спрятаться. Но нужно устроиться так, чтобы пыль и дым, уносимые ветром, попали в глаза наших противников, а не в наши: ведь и это тоже — часть военного искусства».

Как видим, проблемы социализма и революции были предметом серьезных и глубоких размышлений Ромена Роллана до Октябрьской революции. Писатель был убежден в неизбежности крушения старого мира и приветствовал грядущий социальный переворот. Но мы знаем, что путь его идейного развития после 1917 года оказался гораздо сложнее, чем это можно себе представить по приведенным отрывкам из писем.

Дневники и письма Роллана позволяют судить об интенсивности его общественных интересов даже и в те годы, когда он, казалось бы, «всцело погружен в проблемы искусства. Но эти документы напоминают и о противоречиях его напряженно ищущей мысли. Живой интерес к политике — и недоверие к политике. Влечение к «коллективным страстям» борющегося народа — и стремление уберечь свою духовную независимость от вмешательства этих страстей.

Первая мировая война не сняла этих противоречий, а скорей обострила их. Роллан вмешался в политику, стал борцом против империализма. Он был глубочайшим образом убежден, что коренное обновление всех основ общества стало насущной, назревшей необходимостью. В письме к А. Сеше в марте 1917 года он утверждал, что во многом согласен с барбюсовскими «дуэлю» — героями романа «Огонь». Для Роллана и в начале века, а тем более в годы войны не было вопроса: нужна или не нужна социалистическая революция? Вопрос

ставился иначе: участвовать или не участвовать? К верному решению Роллан пришел не легко и не сразу.

2

В октябре 1918 года Ромен Роллан написал большое письмо Жан-Ришару Блоку. Оно полно негодования по адресу буржуазных газет, разжигавших антисоветские страсти. «Большевизм вызывает у буржуазии всей Европы такой священный трепет, что она беснуется от страха и ярости, едва только начнет говорить о нем». А сам Роллан? Какова была его собственная позиция? «Вы-то знаете, мой дорогой друг, что я не могу быть большевиком 1) потому, что я не политик, а тем более не человек партии, 2) потому, что насилие внушает мне ужас, откуда бы оно ни исходило, и я не могу подчиняться ничьему деспотизму, ни красному, ни белому, ни какого-либо другого цвета. Но я стремлюсь видеть, понимать, судить и сопоставлять. А люди, которые стоят во главе большевистского движения, представляются мне великими марксистскими якобинцами, которые героически предприняли грандиозный опыт».

Сопоставление большевиков с якобинцами тут не случайность. В сущности, вся работа Роллана над циклом драм о Великой французской революции (продолжавшаяся с перерывами не менее сорока лет) тесно связана с его политическими исканиями, с его стремлением осмыслить современность. Сама действительность подсказывала честному, чуткому художнику мысль: социалистическая революция стала в XX веке объективным велением времени. Но в драмах Роллана иной раз сказывалось давление идеалистических философских предрассудков — образ Французской революции затуманивался, приобретал вневременные черты, рисовался как аспышка иррациональных стихийных сил. Так было в начале века — в пьесах «Дантон», «Волки», «Торжество разума». Так было и в двадцатые годы — в пьесах «Игра любви и смерти», «Леониды».

Стоит особо вспомнить о такой — давно у нас забытой — драме Роллана, как «Игра любви и смерти». Стоит хотя бы потому, что совсем недавно вернулась в наш читательский обиход статья А. Луначарского, посвященная этой драме. (Статья была впервые напечатана в 1926 году, а сейчас

вошла в 4-й том собрания сочинений Луначарского, и многие прочтут ее, наверное, впервые.) Здесь дан острый, во многом правильный и меткий анализ идейных слабостей пьесы. Но разбор, естественно, несет на себе отпечаток времени и сделан лишь под углом зрения критики этих слабостей. Это обстоятельство сегодня стоило бы оговорить.

Комментаторы собрания сочинений поясняют: «Луначарский затевает спор с Р. Ролланом для того, чтобы на этом примере развернуть борьбу против абстрактного человеколюбия, против гуманизма в буржуазно-демократическом смысле этого понятия, за торжество гуманизма социалистического, который во имя подлинной и действенной любви к человечеству объявляет войну силам, мешающим социальному прогрессу. Конечно, желанием отстоять идеи социалистического гуманизма и диктуется страстность, проявленная Луначарским в осуждении тогдашней позиции Р. Роллана... И понятно, что временами в статье прорываются резкие ноты (особенно в конце ее)».

Действительно, А. Луначарский — личный друг Ромена Роллана, считавший его великим писателем, — в данном случае назвал автора пьесы «Игра любви и смерти» «идеологом обывателя», утверждал, что он всячески старается укрепить в человеке «овечьи инстинкты». Это вызывает несогласие не только по тону, но и по существу.

В данной статье, как и в других работах, написанных в разное время, А. Луначарский причислял Роллана к толстовцам. Это — как мы твердо знаем теперь — тоже неверно. Толстовцем в идеологическом, философском смысле Роллан не был.

В драме «Игра любви и смерти» многое уязвимо и ошибочно. На первом плане в ней оказывается не столько величие революции, сколько ее беспощадность. Однако Роллан и в пору работы над этой пьесой не был целиком захвачен абстрактно-гуманистической проповедью. Герой драмы, якобинский деятель Курвуазье, вступает в конфликт с Робеспьером, потому что отрицает необходимость террора. Но можно ли безоговорочно отождествлять позицию героя и самого драматурга? Спор между персонажами пьесы — это отчасти и спор Роллана с самим собой. Колеблущемуся, запутавшемуся Курвуазье, который и приведен к революции, и отворачивается от нее, противопоставлен подлинно идейный

якобинец (реальное историческое лицо) Лазар Карно: он стремится вернуть Курвуазье на верный путь, и в его словах есть своя правда¹.

Симпатии автора в «Игре любви и смерти» — на стороне трагически одинокого Курвуазье. Но слабость позиции Курвуазье очевидна, она раскрывается логикой действия. Достоинство встретить смерть — единственное, что ему остается.

Многолетние раздумья и сомнения Роллана, связанные с проблемой революционного насилия, вряд ли можно расценить просто как мешанский страх перед революцией. Мы видели, что Роллан еще в начале века чувствовал (вероятно, скорей именно чувствовал, чем понимал) и благотворность и неизбежность социалистического переворота. Ему приходило в голову и то, что сила — необходимое «условие прогресса». Вряд ли он когда-либо серьезно сомневался в том, что победившая революция имеет право на самозащиту и должна оказывать отпор своим врагам. Однако Роллана глубоко волновал вопрос о несправедливостях, злоупотреблениях, являющихся спутниками массового террора. Отчасти отсюда идет двойственность в трактовке Французской революции на страницах нескольких роллановских пьес.

Эта двойственность сохраняется и в пьесе «Леониды», которая была задумана как эпилог всего цикла. В ней преобладают минорные, элегические тона. Однако нельзя сводить содержание этой драмы (как иногда делается в нашей критике) к примирению двух былых врагов, принца де Куртене и якобинца Матье Реньо, которые встречаются стариками в эмиграции. Для нас вовсе не безразлично, на какой идейной основе происходит это примирение. Реньо, покинувший родину после падения Робеспьера, не отказывается от своих былых революционных идеалов, а аристократ де Куртене, наученный горьким опытом изгнания, понимает, что времена феодальной монархии прошли безвозвратно. В спорах между обоими противниками моральная победа по сути дела на стороне Реньо. Он горячо и умно защищает политику якобинской диктатуры. «Нам нужны были годы, чтобы поднять то, что подвергалось унижению веками. А в нашем распоряжении были только недели, только дни... Чтобы бороться и победить,

¹ В 1939 году Роллан написал добавление к пьесе — усилил аргументацию Карно.

нам нужно было разить, как молния, и быть беспощадными, как она». И старый якобинец добавляет: «Мы первыми решились на грозный опыт. Ошибки были для нас неизбежны...»

В ноябре 1927 года — едва закончив «Леониды» — Роллан писал Софии Бертолини: «Я принимаю за очень важную книгу о двух величайших религиозных душах современной Индии, а может быть, и всего мира — Вивекананде и его учителе Рамакришне. И я вынашиваю финал «Очарованной души», который будет носить характер завещания: ибо я выскажу там (как и в религиозной книге) самую суть моей мысли и мое нелицеприятное суждение о современных поколениях».

Книга об индийских вероучителях — рядом с «Очарованной душой»! Это может показаться очень неожиданным. Но цитированные строки отражают разные грани противоречивого умонастроения Роллана в тот момент.

«Жизнь Рамакришны», «Жизнь Вивекананды» сегодня интересны разве только узкому кругу специалистов: уж очень глубоко погрузился здесь Роллан в мир индийских религиозных преданий. Но само обращение его к индийской теме (как и в биографии Ганди) нельзя считать только поисками «восточной мудрости». Роллан был глубоко убежден, что народу Индии, как и вообще народам Азии и других неевропейских континентов, суждено сыграть важную роль в мировой истории, что народы эти внесут, и уже внесли, большой вклад в культуру человечества, — и в этом смысле он не ошибался.

В идейном развитии больших художников иногда очень сложно сочетаются победы и поражения, ошибки и движение вперед. В литературном наследии Роллана не всегда легко отделить произведения «правильные» от «неправильных» — во всяком случае такое деление не следует производить механически.

К финалу «Очарованной души» — который стал для Роллана в известном смысле итогом многолетних поисков, а значит, действительно частью его завещания — писатель шел через много промежуточных этапов, в том числе и через книги об Индии, и через такие драмы, как «Леониды». Об этой сложности пути художника не стоит забывать — тем более что сложность эта отозва-

лась и на иных страницах «Очарованной души». В этом романе сказано полным голосом о величии Октябрьской революции, о ее историческом значении. Однако единственный советский человек, который появляется на страницах романа — большевик Джанелидзе, — нарисован с примесью неприятной экзотики. В его образе сказались некоторые застарелые предубеждения Роллана.

Так или иначе в мировоззрении Ромена Роллана на рубеже двадцатых и тридцатых годов произошли глубокие сдвиги. Они запечатлены в его известной статье «Прощание с прошлым», в сборниках «Пятнадцать лет борьбы» и «Мир через революцию». Динамика этих сдвигов отражена и в тех роллановских рукописях, которые опубликованы недавно.

В некоторых своих письмах — как и в статьях — Роллан стремился рассеять сомнения и предрассудки своих друзей из буржуазно-демократической, пацифистской среды: те предрассудки, те сомнения, которые недавно еще жили в его собственном сознании.

Он писал Альфонсу Сеше в сентябре 1936 года: «Я разделяю ваше стремление к «отмене классов». Но ведь вы знаете, что именно такова ясно выраженная цель подлинно марксистского коммунизма. «Классовая борьба» для него — это необходимость, вытекающая из нынешней структуры общества, в данный момент исторического развития. И все его усилия направлены на то, чтобы преодолеть эту необходимость. Не бойтесь, что рабочий и сельский пролетариат, четвертое сословие, которое (если судить по России и Испании) борется за свое место под солнцем, будто бы грозит человечеству какой-то «мечтой о материалистическом царстве»! Вы не можете себе представить, каким пламенным порывом к идеалу — пусть даже наивным — пусть даже романтическим — одушевлена советская молодежь: это известно мне на сотнях примеров, и по личным встречам, и по письмам...»

Личные встречи, о которых говорит здесь Роллан, происходили в июне — июле 1935 года, когда он — в первый и единственный раз — приехал в СССР. Существует интереснейший документ, где частично отражены впечатления Роллана от этой поездки: отрывки из его путевого дневника — те страницы, где идет речь о пребывании в гостях у Горького под Москвой, — были

опубликованы в 1960 году в номере журнала «Эроп», специально посвященном Горькому.

Стоит привести запись от 10 июля, где идет речь о советской молодежи:

«В 4.30 прием делегаций, которые приехали ради Горького, а также и ради меня: за длинным столом, за чаем — не менее сорока гостей. Отборная группа самых отважных молодых парашютисток. Делегация работниц метро. Делегация комсомола. Несколько армянских пионеров — мальчиков и девочек, — находящихся проездом в Москве. Одна из парашютисток, маленькая, пухленькая, с манерами крестьянки, в одно и то же время коренастая и хрупко сложенная, по просьбе Горького с адским апломбом повествует о своих прыжках с высоты...» (далее подробно изложен рассказ парашютистки).

«Потом одна из работниц метро, высокая молодая женщина, с такой же смелостью манер, речи и взгляда (как они умеют смотреть прямо в глаза!), с радостью и гордостью рассказывает о тяжелых работах, о подземных пловунах, об опасностях и о бесстрашии этих маленьких тружениц, которым пришлось сломить упорство дирекции, чтобы быть принятыми на работу (вначале их не хотели принимать); она посмеивается над английскими и американскими инженерами, которые утверждали, что работницы не справятся, не научатся обращаться с механизмами, — а они научились не только обращаться с механизмами, но и производить их... Все это кончается, как и рассказ парашютистки, обязательным припевом («*gestativo obligato*») в честь Короля, — в честь «великих товарищей» и Сталина, — что в таких рассказах доставляет мне меньше всего удовольствия. ибо это попахивает официальной командой. А вместе с тем, когда видишь увлеченность и задор этих юных рассказчиц, не разберешь, что в этих восхвалениях идет от души, а что по команде. Вероятно, это обычный обряд, — они повторяют с искренним убеждением, что так, мол, и есть и что все это знают. И я подметил в этих героических маленьких женщинах дух соперничества по отношению к товарищам мужчинам! Работница метро прямо говорит, что присутствие женщин хорошо действует на них, заставляет их следить за своими манерами и языком. Вижу, как при этом иные рослые комсомольцы исподтишка смеются или сердито закатывают глаза.

Еще несколько женщин рассказывают о своей жизни. А потом молодой комсомольский председатель произносит небольшую речь с заключительными припевами в честь СССР и Горького и в мою честь. Я должен отметить, что всегда, когда они говорят о своих собственных трудах и успехах, они скромны и даже склонны себя недооценивать».

Уже по этому небольшому отрывку можно убедиться, что Ромен Роллан подметил в советской действительности тех лет и некоторые отрицательные явления, связанные с культом личности. Но главным, ведущим началом в его впечатлениях были именно рядовые советские люди, их героический труд, их самоотверженный энтузиазм. Поездка в СССР сделала для Роллана облик нашей страны более живым, конкретным и укрепила в нем чувства кровной привязанности к советскому народу. С тем большей остротой почувствовал теперь Роллан ответственность за все, что происходило в нашей стране, — именно потому, что относился к ней теперь не как посторонний, а как с в о й, близкий человек.

Трагические события 1936—1938 годов — необоснованные репрессии, связанные со всем этим кампанией в печати, — все это вызвало резкое идейное расслоение среди западных деятелей культуры. Неустойчивые люди спешили вернуться от СССР, отходили вправо — в стан антикоммунистов. Действительно большие, передовые художники Запада, оставаясь верными друзьями Советского Союза, мучительно размышляли, стараясь понять: что же происходит? Эти тяжелые раздумья запечатлены, например, в стихотворении Брехта, написанном в память С. Третьякова, — «Непогрешим ли народ?». Эти раздумья отозвались теперь — много лет спустя — в новом романе Арагона «Гибель всерьез», носящем во многом автобиографический характер.

Мучительно задумывался и Роллан. Об этом свидетельствует его письмо к Герману Гессе от 5 марта 1938 года. Гессе просил Роллана ходатайствовать за двух арестованных в СССР лиц. Роллан ответил, что уже сам в аналогичных случаях несколько раз пытался заступаться за своих советских знакомых, писал Сталину, но не получал ответа. «Пока был жив Горький, я мог многое сделать благодаря его посредничеству. Теперь я ничего не могу. По-видимому,

«философы» (как говорили во времена Жан-Жака) мало значат для тех, кто стоит у власти...»

Мы чувствуем горечь этих строк. Вместе с тем Роллан именно в этот период активно участвует в политической жизни, сотрудничает с французскими коммунистами, переехав в 1938 году на постоянное жительство из Швейцарии во Францию; к концу тридцатых годов относятся те дружеские беседы Роллана с Морисом Торезом, о которых говорится в книге Тореза «Сын народа». Писатель-гуманист и в эти годы не колеблется в своей привязанности к СССР, воспринимая трудные проблемы советской действительности как свои трудности, свои проблемы.

В 1939 году Роллан закончил и опубликовал драму «Робеспьер». Ее замысел возник давно, еще в начале столетия. В письме к Эльзе Вольф в ноябре 1906 года Роллан впервые попытался охарактеризовать будущего героя этой драмы. «Этот удивительный человек... представлял странную смесь величия и мелочности: глубоко искренний и неспособный на откровенность; одержимый пламенной верой и декламатор, литератор, немного комедиант; нежный, человечный и бессердечный. (Все эти слова, поставленные рядом, не дают впечатления о подлинной жизни, однако такова жизнь.) Стоит добавить, что сверхчеловеческие задачи, которые давили на него в течение двух лет, держали его в состоянии страшного напряжения, и это понемногу порождало в нем манию преследования и болезненный мистицизм, — но все это таилось в нем, сдерживаясь его холодной волей».

Само собой разумеется, что не следует искать в «Робеспьере» никаких прямых аналогий с современностью. Однако в очерке «Вальми», опубликованном в том же 1939 году, Роллан говорил: «В истории Франции периода Французской революции можно найти немало черт, напоминающих новейшую историю Франции, России и Испании. Пусть же история поучает и вдохновляет нас!» Работая над «Робеспьером», Роллан в декабре 1937 года сообщал Рабиндранату Тагору: «Пишу эту драму и чувствую, как в ней отзываются трагические события нашего времени».

Стоит еще раз подчеркнуть: в «Робеспьере» нет и тени модернизации прошлого. Напротив, отличие этой монументальной трагедии-хроники от других частей ролла-

новского цикла именно в ее историзме. Образ революции, овеянный величественной и суровой поэзией, нарисован густыми рембрандтовскими красками, с резкими контрастами светотени. Французская революция раскрывается не как взрыв «коллективных страстей», а в своей действительной сложной сути: как могучее народное движение, имевшее всемирно-исторический смысл, и вместе с тем как буржуазный переворот, который, по объективным условиям эпохи, не мог осуществить своих гуманистических лозунгов.

«Для того ли Революция отняла привилегии у знати, чтобы даровать их богатству?» — спрашивает Сен-Жюст. Деятели якобинской диктатуры — и в первую очередь главный герой трагедии — рисуются Ролланом как люди, самоотверженно преданные народу, искренно желающие дать ему обещанное благоденствие. Но Робеспьер, готовый согласиться с требованием Сен-Жюста об изъятии награбленного имущества у буржуа, вынужден считаться с реальной силой этих буржуа: ведь в их руках и торговля и кредит, от них зависит снабжение войска. В сцене встречи со старой крестьянкой Робеспьер глубоко смущен, когда старуха упрекает его: «Теперь пошли новые богачи. А бедняки так и остались бедняками».

Революция должна защищаться от своих врагов, она обязана быть сильной, а когда нужно и беспощадной: в прежних пьесах Роллана эта мысль была заявлена лишь в общей, декларативной форме, она не подкреплялась, а то и опровергалась логикой действия. В «Робеспьере» эта истина утверждается всем ходом событий — наглядно и неопровержимо. Драматург передает адскую напряженность обстановки, в которой приходилось действовать Робеспьеру и его ближайшим сподвижникам. Молодая республика находится в непрерывной острой опасности, ее существованию угрожают и уцелевшие остатки старой аристократии, и соседние монархические державы. Политика всепрощения в таких условиях была бы гибельной.

Однако Роллан заставляет читателя — или зрителя — задуматься: всегда ли верно, всегда ли в нужном направлении действовала карающая рука якобинской республики? Выразительная сцена в Пале-Рояле. На террасе кафе — биржевые дельцы, перекупщики, разношерстная разбогатевшая нечисть. Спекулянты договариваются о сделках, пе-

решептываются, что пора-де уже устранить Робеспьера: он начал им мешать. На сцене появляется Лазар Гош, участник взятия Бастилии, герой полковода. К нему тихо подходит агент Комитета общественной безопасности: «Генерал, я очень сожалею, но я обязан выполнить приказ» — «Тебе приказано арестовать меня?» — «К сожалению, да». Гош, стиснув зубы, идет за агентом: ему противно поднимать шум среди пирующего контрреволюционного сброда.

В драматически напряженных диалогах не раз встают имена: Эбер, Шометт, Жак Ру. Это вожаки «бешеных», плебейского крыла революции. Робеспьер послал их на гильотину — и оттолкнул этим от себя немалую часть парижской бедноты. В соответствии с правдой истории Роллан видит в этом одну из роковых ошибок, ускоривших падение якобинцев.

Ошибки и крайности политики якобинцев, террора осуждаются Ролланом не только с позиций человечности, но и прежде всего с позиций самой революции и. В условиях массовых беззаконий гибнут верные сыны народа, подрывается вера масс в правоту революционного дела.

От начала и до конца трагедии Робеспьер рисуется как человек, готовый отдать жизнь во имя революционной идеи. Его стойкость, воля, бескорыстие создают ему громадный личный авторитет. Второе действие открывается картиной массового празднества. Толпа восторженно приветствует его, женщины кричат: «Ты наш добрый пастырь. Счастлив народ, который ты ведешь!» В таком обожествлении главы республики есть и своя оборотная сторона. Народ, безоглядно передоверивший свою судьбу «доброму пастырю», — это уже не тот народ, который брал Бастилию: в нем постепенно ослабевает сознание собственной силы и ответственности.

Одна из заключительных сцен происходит на площади перед ратушей: вечер 9 термидора. Верный сподвижник Робеспьера Симон Дюпле пытается поднять парижские секции на его защиту. Толпа волнуется и шумит. Одни полны решимости, другие растеряны. Симон старается воодушевить собравшихся, напоминает, что его друг всегда стоял за народ. Но командир одной из секций отвечает: «Так-то оно так... да ведь и другие стояли за нас. А где они? Две трети посланы на гильотину. А те, кто остался,

уничтожают друг друга. В такой свалке и не разберешь, за кем идти».

Анализируя с суровой трезвостью сильные и слабые стороны деятельности якобинцев, Роллан не сомневается — и не дает читателю усомниться — в величии революции и бессмертия ее дела. Последнее слово Сен-Жюста перед казнью: «Декларация прав человека... Наше создание... она победит!» В символическом музыкальном финале трагедии «Марсельеза» переходит в «Интернационал».

Работая над «Робеспьером» — последним, итоговым своим художественным произведением, — писатель отдавал себе отчет, что история изобилует драматическими поворотами, которые осложняют, а порой замедляют движение человечества к лучшему будущему. Но это движение продолжается, оно неодолимо.

3

«Надо создать новое искусство для нового общества» — таков исходный тезис книги Роллана «Народный театр» (1903). Таков был, в сущности, один из исходных принципов всей его писательской деятельности.

В западной литературной науке упорно держится взгляд на Роллана как на «традиционалиста». Или в лучшем случае как на художника, который, быть может, и хотел, но не сумел выйти за традиционные рамки. Такой взгляд выражен, например, в книге известного французского литературоведа Р.-М. Альбереса «История современного романа»¹. Творчество Ромена Роллана рассматривается там в главе «Роман полифонический и роман-фреска». Автор «Жан-Кристофа» (как, впрочем, и автор «Тихого Дона») включен Альбересом в ряд прозаиков, которые, правда, обогатили роман новым содержанием, но следовали в основном уже давно установившимся образцам. «Роллан, который предвосхитил полифоническую композицию романа, все же не сумел отрешиться от вялой повествовательности». И это говорится о «Жан-Кристофе» — романе, который взволновал современников пафосом нравственного беспокойства, мятежной энергией, прямой обращенностью к страдающим, борющимся «свободным душам всех наций»!

¹ R.-M. Albèrès. Histoire du roman moderne. Paris. 1962.

Кто же, по Альбересу, настоящие новаторы? Те, для кого действительность непонятна, непознаваема. Ставя за одну скобку Кафку, Джойса, Роб-Грийе, Альберес утверждает, что в их книгах «жизнь человеческая предстает как факт, лишенный логики»: в этом и видит он признак новаторства.

Для того, чтобы оправдать такой взгляд на задачи искусства, Альберес прибегает к своего рода софизму: «Действительность бесконечно сложнее, чем это полагала наша гуманистическая цивилизация». Значит, художнику и не надо пытаться объяснить эту сложность: достаточно, если он постарается запечатлеть жестокий алогизм действительности.

В XX веке реальная жизнь необычайно сложна, драматична, подвижна, изобилует неожиданностями, переменами — так думал и Роллан. Но отсюда он делал вывод, что художник обязан вздуматься в эту реальность, увидеть новое в ней, а не бежать от нее и не довольствоваться ролью растерянного созерцателя.

В современной западной критике (иногда и в прогрессивной критике) мы часто встречаемся с таким рассуждением: буржуазное общество поражено тяжелыми болезнями, значит, художник, живущий в этом обществе, обязан отражать его болезни, его разложение.

Но тут очень важно различать, восстает ли художник против господствующего распада или поддается ему. Полвека назад — в феврале 1911 года — Роллан в письме к Жан-Ришару Блоку нелицеприятно отозвался о тех деятелях культуры, которые запечатлели упадок окружающего мира, никак не пытаясь этому упадку противостоять. «Вы говорите мне, что такие, как Блюм, Гурмон, Жид (назову только самых умных), «видят болезнь». Они не только видят ее. Они сами носители болезни. Нельзя преодолеть болезнь, погружаясь в болезнь. В искусстве не может быть компромиссов. Можно быть здоровым или нездоровым — среднего нет. Между человеком хорошим и дурным могут быть разные оттенки различия (ибо и зло может быть здоровым). Но между разложением и здоровьем духа идет борьба не на жизнь, а на смерть. Нельзя заключать пакта с харбинской чумой...»

Ромен Роллан видел распад окружающего общества и восставал против него: свидетельство тому — центральные части «Жан-

Кристофа» («Бунт», «Ярмарка на площади»), не говоря уже об «Очарованной душе». Но для Роллана смысл эпохи ни в каком случае не сводился к распаду. «Мы живем в одном из наиболее волнующих периодов истории, — писал он Софии Бертолини в октябре 1910 года. — Все кипит, все плавится: искусство, наука, мысль, общество. Отдельный человек, как бы он ни был велик, не может охватить всех элементов этого грандиозного процесса». И тем не менее художник должен, по мысли Роллана, чутко реагировать на этот грандиозный процесс, участвовать в нем силою своего творчества. Еще в начале века Роллан связывал воедино обновление искусства с обновлением общественным. Можно сказать, что он «с небес поэзии» тянулся к социализму. Он был убежден, что художник обязан занять активную позицию в общественной жизни — исходя из потребностей искусства. Он писал А. Сеше в июле 1903 года: «Даже если мой разум и не во всем согласуется с социалистической идеей, меня к ней приводит мое чувство художника... Речь идет о том, чтобы преобразовать искусство, чтобы спасти его от вырождения».

Преобразовать искусство: как именно? Требования активности, героики, жизнеутверждающей энергии, обоснованные в книге «Народный театр», были обращены Ролланом по сути дела не только к драматургии, но и к литературе, к искусству в целом. В конечном счете и к повествовательной прозе.

Можно понять, почему Роллан бывал иногда несправедлив в своих оценках Флобера, Мопассана, Гонкуров. Эти мастера не могли быть ему по душе уже хотя бы потому, что в их изображении действительность представляла как нечто стабильное, устойчивое, а ему хотелось идти новыми путями, отражать современность как век великих перемен. Восхищаясь «царственным искусством» Толстого, Роллан видел в нем, конечно, не модель для эпигонского копирования; у Толстого он учился воспринимать эпоху в ее динамике, человека — в его сложном, непрерывном развитии.

Слово «реализм» было во Франции конца XIX века основательно опорочено практикой литераторов-натуралистов. Роллан не отказывался от этого термина, но стремился обновить его смысл. «Я хотел бы, — писал он Софии Бертолини 1 октября 1904 года, —

присвоить себе звание Реалиста и вернуть ему все его благородство и величие. Видеть всё непредвзято, без иллюзий, вдохновляясь высшей страстью — правдой». Интересно признание в письме к Эльзе Вольф в июне 1908 года: «Я все больше и больше иду к «реальному» (но не надо ограничивать смысл этого слова тем, что есть, надо распространять его и на то, что возможно, на все те существа, бесчисленные зародыши которых окружают нас)». Роллановское понимание реальности было близко горьковскому, оно включало в себя возможное, нарождающееся: отсюда его тяготение к художественному предвосхищению, гипотезе, гиперболе — ко всему тому, что могло помочь передать динамический, драматический характер нового века.

Оба главных произведения Ромена Роллана — не только «Очарованная душа», но и «Жан-Кристоф» — основаны на столкновении образов-понятий: «смерть одного мира» — и «роды». В «Жан-Кристофе» картина умирающего старого мира дана широко, а нарождающееся, новое присутствует лишь в виде финальной символической картины (младенец — «грядущий день»); в «Очарованной душе» эта антитеза двух миров развернута и конкретна. В сущности, в обоих больших романах Ромена Роллана ломка устоев собственнического строя, движение человечества к лучшему будущему осмыслено как закон эпохи. Именно отсюда шли у Роллана поиски новых форм повествования.

Несколько лет назад И. Дюшен (критически разбирая мою книгу «Творчество Ромена Роллана») ¹ сделал верное замечание: нельзя в полной мере понять художественную природу «Жан-Кристофа», если не учитывать его жанровой многосоставности. Тут по сути дела несколько разных произведений в рамках одного большого повествования: роман-биография (первые четыре книги), роман-памфлет («Ярмарка на площади»), психологический роман (истории Оливье и Антуанетты), роман социально-психологический («Неопалимая купина»). Финал «Жан-Кристофа» (как и, двадцать лет спустя, последние страницы «Очарованной души») приобретает аллегорический характер: в концовках обоих романов как бы проецируется «образ героя, перешагнув-

шего через рубежи своего исторического времени» — совершается незаметный переход из настоящего в будущее.

Судьба Роллана как художника своеобразна. Его книги затрагивали наиболее проблемные времена, нередко они — в силу остроты своего общественного, нравственного содержания — вызвали бурю споров; отчасти именно поэтому критики обращали мало внимания на их новаторскую эстетическую природу. Сегодня, пожалуй, яснее видно то, чего не заметило большинство литературных сверстников Роллана: все его творчество отмечено необычайной интенсивностью поисков — не только в идейном, но и в чисто художественном плане.

Роллан-драматург сам постарался обосновать свой разрыв с устарелым и общепринятым, свое тяготение к новому в книге «Народный театр». Роллан-романист говорил о своих исканиях лишь изредка и мимоходом, на страницах отдельных писем.

Его глубоко обрадовало, что такой несхожий с ним прозаик, как Герберт Уэллс, сумел увидеть в «Жан-Кристофе» «свободный роман нового типа» (Роллан с большим удовлетворением сообщил об этом Софии Бертолини в июне 1911 года — он не был избалован вниманием отечественной критики, и признание со стороны английского собрата по перу было ему дорого).

«Жан-Кристоф» — роман полифонический не только в том плане, в каком трактует его Альберес: дело вовсе не просто в том, что образ героя и панорама общества взаимодействуют, музыкально соотносятся, как солирующий инструмент с оркестром. Можно говорить о полифонизме «Жан-Кристофа» и в том смысле, в каком пользуется этим термином известный советский исследователь М. Бахтин. Важный объект изображения для Роллана — не только судьба героя, прослеженная в тесной связи с судьбами общества, среды, но и развитие идей, их взаимодействие и столкновение. В диалогах Кристофа и Оливье сопоставляются, не сливаясь, разные взгляды на жизнь и искусство, и у каждого из друзей-оппонентов свои относительные преимущества; спор Кристофа и Оливье во многом определяет развитие сюжета романа.

В «Жан-Кристофе» Роллан выступает новатором и там, где он с невиданной дотоле конкретностью исследует сам процесс художественного, музыкального творчества; и там, где он в необычных для своего време-

¹ И. Дюшен. Реализм Роллана. «Вопросы литературы», № 4, 1960.

ни масштабах вносит в повествование публицистику, репортаж, размышление о главных проблемах эпохи; и там, где он в непривычных формах вводит автора как самостоятельное действующее лицо («Диалог автора со своей тенью»). Однако наиболее новым в «Жан-Кристофе» были не особенности композиции и не оригинальные черты стиля, совмещающего лиризм и патетику, но прежде всего сам центральный образ мыслящей, ищущей, бунтарской по своему складу личности: образ, заключающий в себе элемент предвосхищения и гиперболы, но вместе с тем реалистически полнокровный. Роллановский Кристоф, мятежный, неприимимый и добрый, при всем своем индивидуализме, отпугивающем современных догматиков, воплотил в себе некоторые реальные черты передового интеллигента нашего революционного столетия: недаром образ этот нашел столь живой душевный отклик у таких читателей, как Роза Люксембург, Юлиус Фучик, Морис Торез.

В художественных поисках Роллана было много спорного и много такого, что не удержалось в литературе. Не всем нравится его приподнятый слог — в наши дни прозаики предпочитают стиль более сдержанный и строгий. Однако Роллан одним из первых среди писателей XX века понял: реализм исторически переломной эпохи имеет право на резкое сгущение красок, на ломку привычных жанровых рамок, на вторжение лирики и публицистики в роман. И уже в этом смысле современная литература немалым ему обязана.

Писатели, на которых Роллан оказал прямое, непосредственное влияние, быть может, и не столь уж многочисленны: Роже Мартен дю Гар, Жан-Ришар Блок. Однако именно в творчестве Роллана берут свое начало некоторые из основных тематических линий западной прогрессивной литературы XX века: этот писатель, которого столько раз объявляли не знающим жизни чудачком-идеалистом, сумел чутко уловить важнейшие исторические тенденции эпохи.

Еще в начале столетия Роллан по горячим следам англо-бурской войны написал пьесу «Настанет время»: он осуждал империализм и колониальные захваты как дело, враждебное элементарной человечности. В то время сверстник Роллана Редьярд Киплинг был на вершине славы, а драма «Настанет время», написанная художественно неровно, казавшаяся наивной по самой сво-

ей идее, не имела успеха. Прошли десятилетия — и антиимпериалистическая, можно сказать, антикиплинговская тема широко развернулась в мировой литературе, она и в наши дни продолжает развиваться во множестве вариаций, все время обогащаясь новым жизненным материалом. Многие несхожие между собой антивоенные произведения писателей разных стран преемственно связаны с традицией, идущей от Роллана — поборника мира.

Из книги в книгу Роллан ставил проблему взаимоотношений мыслящей, творческой личности и народа, воплощая в судьбах своих героев-правдоискателей (Жан-Кристофа, Оливье, Клерамбо, Аннеты Ривьер и ее сына Марка) кризис буржуазного индивидуализма в XX веке и поиски выхода из этого кризиса. Творчество Роллана и в этом смысле предвосхитило важные тенденции современной литературы. Место интеллигенции в освободительной борьбе народа, путь мыслящего человека, порывающего — после трудных исканий — с миром собственников и их моралью, осознающего свою причастность к тем, кто трудится и борется, — все эти проблемы настойчиво ставятся в прогрессивной зарубежной литературе последних десятилетий. Чтобы не сбиваться на длинный перечень авторов и книг, лучше, пожалуй, сослаться на одно действительно выдающееся произведение — роман Хемингуэя «По ком звонит колокол»: роман, герой которого — личность думающая и сложная — обретает в антифашистском подвиге настоящий смысл своего бытия.

Особый, очень важный тематический аспект творчества Роллана — музыка и ее роль в духовной жизни нашего столетия, пути профессионального развития музыканта-композитора. Тут сразу напрашивается параллель: Ромен Роллан и Томас Манн. Критика обезчеловеченного, «отчужденного» искусства в «Докторе Фаустусе» во многом и дополняет и углубляет то суждение «ярмарки на площади», которое было дано в свое время Роменом Ролланом. Пути Жан-Кристофа и Адриана Леверкюна полярно противоположны. Однако призыв Кристофа — «нужны целые поколения музыкантов-тружеников, которые по-братски слились бы со своим народом», — находит своеобразное продолжение в мечте Адриана Леверкюна о «прорыве» искусства к народу, об искусстве духовно здоровом, «побратавшемся с человечеством».

«...Где труд, там и жизнь»,— утверждал Ромен Роллан в одном из писем, приводившихся выше. Современному советскому читателю слова эти могут показаться попросту общим местом. Но в литературно-художественном мире Франции начала нашего века так могли думать, а тем более говорить лишь очень немногие: для этого требовалась и проницательность и смелость. Афоризм из письма был несколько лет спустя перефразирован Ролланом в «Кола Брюньоне»: «труд — это борьба; борьба — это удовольствие». Труд как гнет и унижающее бремя — это было уже показано в литературе не раз. Труд как понятие эстетическое — это было ново. В повести о Кола Брюньоне, так полюбившейся Горькому, работа ремесленника, народного умельца, выступает как творчество, как воздействие живого человеческого разума на мертвую материю. В оболочке фольклорной стилизации здесь передана одна из важнейших тенденций эпохи — духовный рост трудового народа, постепенное осознание им своей силы и своей роли в истории. Сегодня это одна из магистральных тем передовой литературы мира.

Иной раз у Роллана отдельные догадки, находки, брошенные вскользь замечания в свете сегодняшнего опыта обнаруживают свою жизненность, получают неожиданный отзвук в литературе наших дней. В «Кола Брюньоне» — где образ главного героя по своей народно-поэтической сути, казалось бы, и не претендует на сложность внутреннего мира — мимоходом сказано: «В каждом из нас сидит двадцать разных людей...» У Роллана не раз возникала мысль о психологической многообразности человеческой природы, в какой-то мере перекликающаяся с известными замечаниями Толстого о «текучести» человека. В «Очарованной душе» мы читаем: «В дремучем лесу человеческой

души растут рядом и высокие, строевые деревья мысли и пустые заросли желаний — двадцать различных пород. В обычное время, когда они дремлют, их и не различишь. Но стоит ветру пролететь по лесу — и ветви их сталкиваются...» За этим следует авторская характеристика «многоликой» натуры Аннеты Ривьер.

Но в творчестве Р. Роллана возникает и более общая, вполне реальная проблема: возрастающая сложность, изменчивость человека, бурное и резкое развитие личности в эпоху великих сдвигов и потрясений. Все это по сей день занимает писателей Запада. И тут есть повод снова вспомнить о романе Арагона «Гибель всерьез». Преемственная связь с Ролланом ощущается у Арагона не только в лиричности прозы, не только в сплаве повествования и эссе, но и в том, как остро, с оттенком парадокса ставится в романе проблема «многоликости» человека, совмещения разных характеров и наклонностей, разных возможностей в одном лице...

Арагон — среди писателей нашего времени один из наиболее очевидных литературных наследников Роллана и один из лучших его истолкователей. Серия статей о нем, написанная Арагоном пятнадцать лет назад, и сегодня перечитывается с живым интересом. Наследие автора «Жан-Кристофа», по мысли Арагола, напоминает о значении «подлинной человечности, подлинно гуманных чувств, без которых был бы невозможен социализм» Не это ли главное в завещании Роллана?

Передовая реалистическая литература наших дней развивается очень различными путями. Но для этой литературы остается насущно важным роллановское творческое кредо. «Говорить правду, не писать ни строчки того, что не думаешь и что не хочешь превратить в действие».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Левицкий. От сердца к сердцу.— **Нат. Ильина.** Сказки Брянского леса.— **Н. Реформатская.** Маяковский и его современники.— **Р. Орлова.** «В ответе за всех людей...».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Федоров. Мера ответственности.— **Ю. Шарапов.** Публицист возвращается в строй.— **Г. Лисичкин.** Смелые размышления.— **Л. Зак.** Закономерный перелом.— **А. Каждан.** Рукописи из Кумрана.

Литература и искусство

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Ольга Берггольц. Узел. Новая книга стихов. «Советский писатель». М.—Л. 1965. 144 стр.

Рассказывая в «Дневных звездах» о главной книге, мысль о которой владеет каждым писателем, Ольга Берггольц писала: «Моя главная книга рисуется мне книгой, которая насыщена предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце...»

В поэтический сборник Ольги Берггольц «Узел» вошли стихи, создававшиеся на протяжении долгого времени. Первые из них датированы 1937-м, последнее — 1964 годом. Более чем за четверть века, отделяющие их друг от друга, автор выпустил несколько поэтических книг. Новый сборник словно перекрещивается с ними тематически: достаточно сказать, что в него вошли блокадные стихи, примыкающие к «Февральскому дневнику» (показательно, что они называются «Из ленинградских дневников»). Когда читаешь «Узел», то складывается впечатление, что составившие его стихи писались как бы на полях ранее вышедших книг. До поры до времени, видимо, они существовали сами по себе, как разрозненные стихотворения. Теперь они образовали книгу —

новую не только по времени выхода в свет, но и по существу, несмотря на ее глубинную связь со всем творчеством поэта.

«Узел» состоит из четырех разделов: «Испытание», «Память», «Из ленинградских дневников», «Годы». Такое деление сборника меньше всего продиктовано хронологическими соображениями. Временная последовательность в книге то и дело нарушается. За стихотворениями конца тридцатых годов идут стихи, написанные в пятидесятые годы, затем снова стихи довоенного и военного времени, перемежающиеся со стихами, написанными в другие годы. При первом знакомстве со сборником может даже показаться, что в расположении стихов царит случайность. Но это обманчивое впечатление. В построении книги ощутима логика — не очень выпирающая и жесткая, но достаточно определенная.

События, вызвавшие к жизни стихи, располагаются так, как они запечатлелись в душе автора. Логика движения внутреннего мира поэта, хотя она и определяется логикой развития действительности, редко ко-

пирует ее. Здесь действуют свои законы. И прежде всего — законы памяти, придающие жизненным фактам свой вес и отпечаток. Не случайно и стихотворение, и целый раздел книги носят название «Память». Ольга Берггольц остро чувствует власть воспоминаний — подчас она сознает память как мучительную ношу, которую она обречена нести:

В наказание такую память
Мне судьба-насмешница дала,
Чтоб томило долгими годами
То, что сердцем выжжено дотла.
Лучше б мне беспамятство, чем память,
Как асфальт расплавленный, как путь —
Вечный путь под самыми стопами:
Не сойти с него, не повернуть...

В построении книги, в кажущейся ее хронологической хаотичности явственно проступает свой порядок. Каждое из стихотворений существует независимо друг от друга, вполне самостоятельно, но в соседстве с другими оно обогащается новыми оттенками и приобретает новые смысловые связи.

Это, может быть, отчетливее всего заметно в циклах стихов о друзьях. Поэт постоянно возвращается к мыслям о друзьях, о тех жестоких обстоятельствах, которые горестной чертой отделили их от него. Друзья далеко, нет о них никаких вестей, неизвестно даже, живы они или нет, но они не вычеркнуты из памяти:

Я хочу сказать, что не забыла,
никого из вас не разлюбила,
может быть, забывших обо мне.

Верю, милые, что все вы живы,
что горды, упрямы и красивы.
Если ж кто угрюм и одинок,
вот мой адрес — может, пригодится? —
«Троицкая семья, квартира тридцать».
Постучать. Не действует звонок».

Это стихотворение 1940 года, несколько наивное по интонации. Через пятнадцать лет после этого было написано стихотворение «Тот год», воспринимающееся как естественное продолжение приведенных строк — нет, больше, чем продолжение: как прямой ответ на них. То, что было робкой надеждой, стало непреложным фактом нашей жизни:

И я всю жизнь свою припоминала,
и все припоминала жизнь моя,
в тот год, когда со дна морей, с каналов
вдруг возвращаться начали друзья.

Зачем скрывать — их возвращалось мало.
Семинадцать лет — всегда семнадцать лет...

Эти два стихотворения, возникшие в разные годы и помещенные в разных разделах сборника, вступают в естественную перекличку между собой, бросая друг на друга дополнительный свет. Так складывается внутреннее единство книги Берггольц — качество, не часто встречающееся в современных стихотворных сборниках...

Марина Цветаева вспоминает, как Андрей Белый говорил ей: «Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребностью, человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда поэт».

О стихах Ольги Берггольц вряд ли можно сказать, что они написаны по последнему слову поэтической техники. Они не отличаются интонационным разнообразием. Нет в них ни затейливых ритмических узоров, ни останавливающих внимание рифм. Словесная ткань их, при всей эмоциональной насыщенности, проста и скупа. Ольга Берггольц поэт не потому, что она пишет стихи. Она поэт потому, что у нее поэтический склад характера. Потому, что она личность. Личность страстная, трепетная, задетая всем, что происходит вокруг нее, наделенная обостренным чувством времени. Ей присуще чувство истории. Это выражается и в сознании масштаба событий, и в точном ощущении того, что обречено на забвение и что не будет тускнеть от времени. Так, в самые трудные дни войны, когда, казалось бы, не до истории было, она понимала, что приметы жалкого блокадного быта — и убогий паек баланды, и ржавые койки, столпившиеся в первую военную весну на улицах осажденного Ленинграда, — станут великими реликвиями мужества и героизма ее земляков, не путивших врага в свой город, что это войдет в летопись времени и будет вызывать восхищение потомков. Так, в 1937 году (это подтверждают многие стихотворения из «Узла») она верила, что наступит час справедливости, что клевета и ложь будут отмечены, что то не правое, что в ту пору творилось, будет названо по имени и осуждено.

История для поэта не внешний фон, на котором развевалась его жизнь, а неотъемлемая часть биографии. История страны с ее победами и потрясениями прошла через сердце поэта, оставив нестираемый след. И наша современность воспринимается Ольгой Берггольц как живое и непосред-

ственное продолжение прошлого. День вчерашний не только подготовил наше настоящее; он вошел и продолжает сегодня входить в него. Так возникает в книге тема преемственности революционных традиций и поколений.

Вот дом, в котором она жила до войны. Здесь прошли незабываемые годы. Здесь постучалась к ней беда. Она идет мимо этого дома. По вечерам освещаются его окна. Но в душе ее нет зависти к незнакомым людям, обосновавшимся в ее старом жилье.

Я так хочу, чтоб кто-то был счастливым там, где безмерно бедствовала я.
Владейте всем, что не досталось мне,
и всем, что мною отдано войне...

Вот проспект, который в октябре 1917-го был назван Международным. С ним связана вся жизнь. Здесь росли жилье массивы большого Ленинграда. Здесь комсомольцы двадцатых годов «в ряды сажали тополя». Здесь ленинградцы осенью сорок первого года рыли окопы, чтобы преградить дорогу врагу. Здесь пролегал фронт, «и каждый дом уже не дом, а ДОТ». Здесь сразу же после войны закладывался Парк Победы. Прошло семнадцать лет, и вот

Наш Парк шумит могуче и светло,—
Победой рожденная природа.

Сами недостатки стихов Ольги Берггольц связаны с особенностями ее характера. Патетика и высокий строй речи, составляющие затаенную ее потребность, иногда оборачиваются риторической декламацией; поиски крупного плана, емких и обобщенных образов-символов порой приводят к абстрактности стиля, и тогда конкретные переживания становятся алгебраическими знаками. И дело в данном случае не в том, велик или мал удельный вес таких стихотворений и строк. Дело в том, что эти недостатки того же происхождения, что и самые сильные стороны дарования автора. Источник их не столько в манере письма, сколько в психологическом складе поэта. Он коренится в его характере и в его биографии. В биографии человека, много сил отдавшего в юности агитационной работе, а в годы войны почти ежедневно обращавшегося по радио со словами ободрения и воодушевления к своим согражданам. Отсюда — ораторская интонация со всеми ее привлекающими особенностями и упущениями.

Опытные ораторы, часто выступающие перед многолюдной аудиторией, хорошо знают, что успех их речи обеспечен в том случае, если, найдя одного слушателя, говоря как бы для него одного, они сумеют дойти до его ума и сердца. Убедить одного — это значит убедить всех. И секрет воздействия поэзии Ольги Берггольц на читателей кроется в том, что даже тогда, когда в ее стихах непрigлушено звучат ораторские ноты, она обращается к каждому в отдельности. Ей не надо для этого напрягаться. Это ее душевная необходимость.

Когда десять лет назад Ольга Берггольц ринулась в теоретические споры и яростно защищала право поэта на выражение того, что его переполняет, — это вызывалось не отвлеченными соображениями, а насущными «рабочими» ее потребностями. Она лирик «по самой строчечной сути». Лирическое общение с читателем для нее — это разговор с глазу на глаз, прямой, открытый, избегающий умолчаний и недоговоренностей. Это исповедь. Предельно искренняя, предельно честная, предельно обнаженная. И тогда, когда она делится радостным, и тогда, когда касается тяжелого:

От сердца к сердцу.

Только этот путь
я выбрала тебе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он виден всем и славой не украшен.

На этот путь она не сегодня встала. По нему она идет давно и уверенно, не спораживая в сторону, не смущаясь сердитыми окриками, которые иногда сопровождают ее. Не от гордыни это, не от сознания своей непогрешимости, а оттого, что для нее это — единственный путь.

В статьях о стихах часто мелькает термин «лирический герой». Фигурирует он и в тех случаях, когда лирикой, что называется, и не пахнет, когда в стихах уныло и добросовестно фиксируются первые попавшиеся внешние впечатления, не прошедшие через сердце автора. В книге Ольги Берггольц есть лирический герой. И, в сущности, новая книга ее стихов — не собрание разнородных откликов и признаний, а последовательно развертывающееся лирическое повествование. Это веки душевной биографии лирического героя. Здесь все связывалось в один узел. Его не развяжешь и не разрубишь.

Лирический герой книги Берггольц обла-

дает резко выраженным характером. Это человек страстный и цельный, который ничего не умеет делать наполовину—ни работать, ни любить, ни страдать. Золотая середина претит ему. Уж лучше совсем не быть, чем прозябать, чем довольствоваться крохами того, что было когда-то в полную силу.

Друзья твердят: «Все средства хороши, чтобы спасти от злобы и напасти хоть часть Трагедии, хоть часть души...»

Разве не логично? Коль нельзя спасти все, то пусть хоть что-нибудь уцелеет. Ведь сколько сил в это вложено! Но этот благоразумный совет не для Берггольца. Она не может его принять, если бы даже захотела, это противоречит самой сути ее бескомпромиссного характера:

А кто сказал, что я делюсь на части?
И как мне скрыть — наполовину —
страсть,
чтоб страстью быть она не перестала?
Как мне отдать на зов народа часть,
когда и жизни слишком мало?
Нет, если боль, то вся душа болит,
а радость — вся пред всеми пламенеет.
И ей не страх открытой быть велит —
ее свобода,

та, что всех сильнее.
Я так хочу, так верю, так люблю.
Не смейте проявлять ко мне участия.
Я даже гибели своей не уступлю
за ваше принудительное счастье...

Это не поза. В этих строках — гордое достоинство человека, не желающего ни в чем довольствоваться суррогатами, сознающего свои силы и возможность, предъявляющего себе самые большие требования.

В книге Берггольца немало горьких страниц, связанных с довоенными испытаниями, утратами блокадной поры, личными обстоятельствами.

В состоянии крайней душевной подавленности лирический герой признается:

Какая темная зима,
Какие долгие метели!
Проглянет солнце еле-еле —
И снова ночь, и снова тьма...

Какая в сердце немота,
Ни звука в нем, ни стона даже...

Все, казалось, замерло и остановилось. И автор этих строк, обращаясь к песне, молит:

Очнись, как хочешь, но очнись во мне,—
в холодной, онемевшей глубине...

Я не прошу — надолго, хоть на миг.
Хотя б не стих, а только вздох и крик.

Хотя бы шепот только или стон.
Хотя б цепей твоих негромкий звон.

Но, оглядываясь назад, вспоминая все, что было, поэт не отказывается от этих страданий. Они — часть жизни, и их берут с собой в дорогу:

Я все оставляю тебе при уходе:
все лучшее в каждом промчавшемся годе.
Всю нежность былую, всю верность былую,
и краешек счастья, как знамя, целую...
А я забираю с собою все слезы,
все наши утраты, удары, угрозы...

Книга Берггольца трагедийна. Испытание за испытанием. Удар за ударом. Но ущербности нет. Недаром поэт решительно отмечает не только жалость к себе, но даже и участие. Никогда он не стремился к тихой гавани, затянутой тиной. И не уничтожен паче гордости, а ощущение полноценности прожитого и подлинного достоинства звучит в самых трагических и горьких строках:

Я сердце свое никогда не щадила.
Ни в песне, ни в горе, ни в дружбе, ни
в страсти.
Прости меня, милый. Что было — то было.
Мне горько. И все-таки все это — счастье.

И то, что я страшно. горюче тоскую.
И то, что, страшась неизбежной напасти,
на призрак, на малую тень негодую.
Мне страшно. И все-таки все это — счастье.

О, пусть эти слезы и это удушье,
пусть хлещут упреки, как ветки в ненастье.
Страшней — всепрощенье. Страшней —
равнодушие.
Любовь не прощает. И все это — счастье.

Я знаю теперь, что она убивает.
Не ждет сострадания, не делится властью.
Покуда прекрасна, покуда живая.
Покуда она не утעה, а — счастье.

И когда на заключительной странице сборника автор пишет: «А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет», то эти строки звучат так убежденно потому, что за ними — биография человека, который шел и продолжает идти сегодня по трудному пути, но шел по этому пути вместе со своими современниками, человека, всегда находившегося на переднем крае истории, живущего в полную силу. «Правда нашего общего бытия», говоря словами Берггольца, прошла через сердце поэта. «Узел» — неотъемлемая часть «главной книги», лирический комментарий к ней.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.

СКАЗКИ БРЯНСКОГО ЛЕСА

Михаил Алексеев. Повесть о моих друзьях-непоседах. «Молодая гвардия», № 9, 1965.

«Повесть о моих друзьях-непоседах» — называется новое произведение Михаила Алексеева. Автор и друзья его объединены общей профессией и общей страстью к ужению рыбы. Эта страсть и желание спастись от городской суеты делают друзей непоседами. «...наш брат писатель принужден часто оставлять уютное житье в московской квартире и менять его на беспризорное мытарство где-нибудь в Брянских лесах, в том же Усухе, о котором поэт Сергей Васильевич Смирнов сказал как-то: «Усух есть советская власть минус электрификация». И верно, цивилизация обошла это и богом забытое место стороной».

Кто ж такие друзья-непоседы? Это известные литераторы. Автор решил рассказать читателю о том, как люди, имена которых он привык видеть в печати, ведут непривычную жизнь в крестьянских избах, трудятся над стихами и романами, удят рыбу, беседуют с населением... Не так-то просто жить в глухих местах после ставшего привычным городского комфорта! «...на подобный подвиг способен лишь литератор, подверженный рыбацкой или охотничьей страсти. Иначе бегство будет, но только уж в обратную сторону — из Усуха, скажем, в Москву».

Сейчас мы узнаем, как живут в нелегких условиях оторванности от цивилизации Н. Грибачев, поэт С. Смирнов, брянский поэт Илья Швец и сам автор М. Алексеев.

«Надо знать Грибачева: если вы уж избрали его в свои предводители... то будьте уверены — он сделает из вас рабов, он заставит вас вспомнить, что на свете существует такая, в общем-то, неприятная, но необходимейшая вещь, каковую зовут дисциплиной».

«Раб» — это, конечно, преувеличение. Автор шутит. Прозвища, которыми он награждает Грибачева, тоже, видимо, шуточные: «командир», «командор», «наш учитель», «старший товарищ», «мастер»... Но дисциплина была заведена не шуточная, и это автор убедительно доказывает.

Друзья-непоседы обязаны подчиняться строгому распорядку дня. «Не было в этом распорядке дня только утренней и вечерней поверки, в остальном же режим был почти казарменный». «По графику этому первую

половину дня мы должны проводить за рукописями, и только уж потом, отчитавшись перед командиром, могли отправляться на реку или там на озеро».

Хотя перед командором не мальчики, а мужи, вполне зрелые литераторы, их заставляют вот даже в творчестве отчитываться. Как именно — автор не уточняет. Непременен ли надо читать вслух написанное? Или дозволялось просто сообщить: написал, дескать, сегодня столько-то? Но командор не верит на слово. Когда один из друзей, сбжав раньше времени на реку, оправдывался тем, что не нашел подходящей рифмы, командор устраивал ему «изошреннюю пытку» — требовал сейчас же прочесть это незаконченное стихотворение. Тот читал, а наш учитель не оставлял от сочинения ни одного живого места».

«Пытка» — это, конечно, шутливое преувеличение. Однако стоит вообразить, как взрослый мужчина мнетя и краснеет под неумолимым взглядом «холодных глаз мастера», как, запинаясь, читает свои неудавшиеся стихи — становится ясно: не такое уж это преувеличение. Строг командор! И следит он не только за успеваемостью, но и за поведением друзей-непосед.

«Выпили по одной. Илья Швец вознамерился было налить по второй, но Николай Матвеевич демонстративно опрокинул вверх дном свою рюмку. Илья конфузливо убрал руку с бутылочного горла, вздохнул и первым вышел из-за стола».

Читатель догадывается, что и остальные непоседы последовали примеру Швец: выпить по второй под взглядом командора не решился никто. Попытка выпить по второй была, однако, сделана позже, «в затишке», под укрытием ракитового куста, когда взор начальника был прикован к поплаву. Стоило, значит, на минуту выпустить этих шалунов из-под присмотра...

А сейчас мы увидим, что случилось, когда друзья-непоседы были однажды предоставлены самим себе.

«Было воскресенье. Хоть в графике нашем и не значилось выходных, мы все-таки один выходной устроили. Мы — это Сергей Смирнов, я и Швец, но только не Грибачев. Видя, что ему не справиться с коллективной самоволкой, он сразу же после завтрака

удалился в свою избу и с подчеркнутой яростью затархтел на машинке».

А вырвавшиеся на волю друзья убежали к речке, наловили рыбы и устроили пир. «...мы провожали в себя одну рюмку за другой и очень быстро поняли, что ограничиться одной кастрюлей ухи и двумя поллитровками никак не сможем». Послали за подкреплением. «Тут уже веселье стало совсем бурным. Сначала пели разные песни, а потом пустились в пляс на своем лужке-бережке. Мы резвились и не знали, что командор наш сидит с удочками напротив, по ту сторону Сева, и сердито наблюдает за нашими милыми шалостями. Он будто заранее знал, чем они кончатся...» И действительно, шалости кончились плохо. «Кувыркаясь на поляне, мы с Ильей не видели, как ушел куда-то Сергей Смирнов. Затем мне показалось, что кто-то бултыхнулся в воду...»

Автору не показалось. В самом деле — бултыхнулся и сломал ногу о поваленное дерево...

Живо описана эта дружеская попойка на лужке-бережке, не правда ли? Так понятны, так человечны слабости друзей-непосед: выпили, показалось мало, еще выпили, пели, плясали, кувыркались, один из друзей, будучи нетрезвым, ногу сломал — разве не с каждым из нас подобное случается? Эта авторская интонация как бы звучит в подтексте, успокаивая внезапно задумавшегося читателя...

А читатель задумался вот над чем... С какой все-таки целью решил автор изобразить себя самого и друзей своих, людей небезызвестных, эдакими резвыми шалунами?

Вот как рисует автор брянского поэта И. Швеца: «После первого завтрака надо было бы усестись за письменный стол, а он два часа тайно просидел с удочкой на берегу Сева... Будучи уличенным... он долго отпирался, лгал самым отчаянным образом...» «...Илья не приучил себя подолгу корпеть над строкою, копаться в гряде словесной руды «единого слова ради». Какое подвернулось, он тому и рад». К тому же он способен тайно таскать из «общего ведерка лучших червей, выращенных хозяйкой специально к нашему приезду». Автор сообщает еще и вот что: «...по правде сказать, я был также недоволен Ильей: забрав весь мой пескаринный улов, он мог бы оказаться

не такой свиньей, а покликать бы и нас к своему удачливому месту». Но зато Илья Швец добродушен. Починил кое-что в хозяйстве двух сестер, местных жительниц, в избе которых остановился. И интонация автора шутивая: ты, дескать, братец, хоть и свинья, но все же симпатичная...

Однако к чему же все-таки наш автор выносит на страницы печати эти интимные клички, эти дружеские попреки? Почему он решил показать друзей своих, фигурально выражаясь, без галстуков?

Автор сознается, что, приезжая в село с рюкзаком и удочкой, он сначала испытывает «мучительную неловкость». «...как ты докажешь людям, которые от зари до зари заняты совершенно определенным и всем понятным и всеми видимым делом, что ты тоже не бездельник, что твое занятие также нужно, также необходимо?.. Сельский житель любит книжки, но он несокрушимо убежден, что пишутся книжки в городе, а в деревне должно пахать землю, сеять хлеб, доить корову и рубить дрова. Требовалось какое-то время, чтобы растаял ледок этой подозрительно-удивленной настроженности со стороны крестьян, чтобы они поняли наконец, что книжки пишут обыкновенные люди, а не апостолы Павлы и Савлы».

Итак, значит, сельский житель как-то не улавливает связи между книжками, выставленными в витрине книжного магазина, и «явившимися в село бог весть откуда» лицами, которые ходят мимо окон с удочками и выпивают на лужке-бережке. Автор же хочет, чтобы сельский житель эту связь уловил. Мы, мы пишем книжки, которые вы уважаете, как бы говорит автор, — мы, я и друзья мои, хоть и живем тут запросто среди вас. По-видимому, новая поность М. Алексеева — это нечто вроде моста, переброшенного от книжного магазина к лужку-бережку. Решив доказать, что писатели, право, не так уж отличаются от прочих смертных, М. Алексеев изображает ужение рыбы, прогулки и развлечения группы литераторов. Не апостолы мы, а люди! И выпить любим, и пошалить, и дисциплину блюдем, и отчетом начальству обязаны, ну совсем как вы, совсем как вы!

И, верный этой задаче, наш автор спешит «утеплить» образ командора. Этот человек со светлыми холодными глазами, «привыкший больше советовать, чем совето-

ваться», заставляющий ходить по струнке немолодых литераторов, даже он, даже он, оказывается, не какой-нибудь небожитель, архангел с карающим мечом, а обыкновенный смертный.

«...очень многие люди... внешнюю его колючесть и суровость принимают за чистую монету — за признаки его якобы несокрушимо-железного характера». Это не так, оказывается! «В иные минуты Грибачев бывает трогательно-беззащитен и нежен».

Доброе, ласковое сердце бьется под этой суровой внешностью! Из литературы известно, что такие люди очень застенчивы, скупы в проявлениях нежности. Днем командор строг, неприступен, неумолим, устраивает головоломки, накачивает, а вот ночью... «ночью два раза подымался и поправлял на моих ногах сползающее одеяло».

Маленькие слабости, встречающиеся у больших людей, не унижают, как известно, этих людей, а, напротив, делают их милее, привлекательнее, доступнее, ибо приближают к обыкновенным смертным. Есть такие слабости и у командора. Он, вообразите, немного завистлив! «Илья в первые же десять минут подцепил такого голавля, что мы все ахнули. Почти все. Грибачев не ахнул, а насупился».

А как он кричал на драматурга Козина, когда тот выловил огромную щуку! Из одной только зависти кричал! «...раздалась такая ругань, что мы даже испугались». И ругаться, вот видите, умеет не хуже других!

Не один только трепет, но и теплое сыновнее чувство должен внушить командор читателю! Но автор наш человек увлекающийся. У него прорывается вдруг, что в спорах командор «напирает больше на теоретические выкладки, которые не всякий раз вяжутся с тем, что видится нам и невооруженным глазом».

Как отнесутся друзья-непоседы и их командор к тому, что автор решил перечислить в печати все их маленькие слабости? Но утешить и примирить с повестью их может вот что: автор и себя не щадит. Он сознается, например, в том, что некоторые болезни, и в частности радикулит, воспаление нервных отростков, причиняющие мучительную боль, вызывают у него, у автора, смех...

«И когда бедный Илья взывал о помощи,

я самым нахальным образом ухмылялся...» «Илья от времени до времени глубоко постанывал, поскуливал, а меня распырал смех».

Смешливость эта при виде страданий ближнего и изумляет и огорчает читателя. Но он не успевает над этим задуматься. Дальше автор предстает в свете уж совершенно неожиданным:

«Прелесть Десны начинается с ее имени. Какой изначальный смысл заключало это слово, теперь уж знают немногие, как многие знают, почему Волга—Волга, Днепр—Днепр, ракета—ракета, а тополь—тополь. Не знаем мы всего этого, но при всем том отлично чувствуем плснительную красоту таких названий».

Но почему же, почему не знаем? Очень многие знают, что славянское слово «десна» означает «правая» (вспомним «десницу» и «одесную»). При наличии дома словарей нетрудно узнать и многое другое, в частности происхождение слова «тополь». У М. Алексеева, литератора, автора повестей, словари дома, конечно, имеются. Отчего же не узнал он происхождение интересующих его слов?

«Даже города с окончанием на «тополь» хранят для нашего уха, а еще больше для души неизъяснимое очарование. Пускай ты не родился в Мелитополе и в Севастополе, не освобождал этих городов, но при одном их имени на душу твою непременно прольется нский светлый и теплый ручек. И все это колдовство — в слове «тополь», только в нем, уверяю вас».

Нет, куда клонит автор? Он неспроста, конечно, притворяется, будто не знает, что слово «тополь» никакого отношения к названиям городов не имеет. Каждый помнит со школьной скамьи (и автор в том числе, разумеется!), что есть окончание «поль» от греческого «полис» (город, государство). Отсюда и Константинополь, и Адрианополь и наши Симферополь, Ставрополь, те же Севастополь с Мелитополем...

Зачем же автор прикидывается невеждой? В чем дело? А быть может, это поэтическая вольность? Истина, дескать, меня не интересует, к чему это чужое слово «поль»? Хочу думать, что названия родных городов оканчиваются на родное слово «тополь»! Мне так больше нравится, и все тут. Но в этом случае делают хотя бы сноску от редакции: автор, мол, все знает, но жсляет думать так, а не иначе. Сноска

отсутствует. Вольные упражнения автора с окончаниями подаются без всяких оговорок. Но ведь читатели будут возражать: при обязательном среднем образовании мало найдется читателей, не знающих слова «десна» и окончания «поль». И, кто знает, могут найтись среди читателей и такие, кто усомнится в познаниях автора, заподозрит его в невежестве. Смелые авторские игры со словами вполне могут навести на это подозрение.

А автор себя не шадит. Он еще и вот что пишет: «Он, конечно, чуток поделится своим богатством (речь идет о командоре, обладающем заграничными удочками и поплавками. — *Н. И.*), но не прежде того, как ты выслушаешь в свой адрес бездну всяческих упреков... Ты поймешь наконец... что тебя надобно еще долго и тщательно чистить от разных сучков и задорин, но и твое счастье, что ты попал в руки такого опытного и неутомимого фрезеровщика, он сделает из тебя полезную для общества вещь. Взглянув раз и два в холодноватые глаза мастера, ты вдруг и сам отчетливо почувствуешь: а что, этот делает».

Читатель растерян... Пусть самокритика, пусть недовольство собой, пусть автор просит учителя, чтобы тот сделал из него человека — это еще можно понять. Но вещь? Но уподобление себя неодушевленной детали, которую надо обрабатывать на станке? Автор шутит, разумеется. Раньше он шутил со словом «раб». Теперь шутит со словом «вещь»! Какая, однако, странная склонность к самоуничижительной иронии...

Они не только удят и пируют, наши друзья-непоседы, они обязаны еще и трудиться. Дело в том, что они «отпущены из своих московских служебных кабинетов не для праздных путешествий. И командировка наша называется не просто командировкой, а с обязательным добавлением «творческая».

Усух же — место для творчества подходящее... «Двадцать пять дворов — и ни тебе приличной дороги до райцентра, ни тебе телефона, ни тебе радио, ни тебе электричества. Увози сюда твое вдохновение, и никто уж не спугнет его...» А кроме того: «...в деревне только еще и можно встретить подлинно народные характеры, подлинные типы, а как же ему, литератору, без этих самых характеров, без этих самых типов!»

Но автор признается вот в чем: «В селе,

где ты родился, где, стало быть, знают тебя с малых лет, относительно тебя не существует табели о рангах. Какой бы ты высокий пост ни занимал в городе, для односельчан ты остаешься Петькой, Мишкой либо Алешкой, и перед этим самым Петькой они не станут разыгрывать комедию, не укроют ни своих радостей, ни своих печалей. А что еще литератору нужно?»

Что же, значит, не с односельчанами, а с другими сельскими тружениками общение затруднено: чины и ранги воздвигают непреодолимые барьеры? Что ж, значит, крестьяне ведут себя уклончиво, комедию разыгрывают и откровенны лишь с теми, кого звали Петьками?

Опять задумался читатель... У друзей-непосед были предшественники: писатели-охотники, писатели-рыболовы. Л. Толстой, например, И. Тургенев, С. Аксаков... Этим как-то удавалось общаться с крестьянами, проникать в их радости и печали, хотя никого из них, помнится, уменьшительными именами эти крестьяне не называли. В чем дело? Утратил, что ли, современный литератор это свойство?

Нет, автор скромничает, разумеется. Он преодолет барьеры и поведаст нам о радостях и печалях населения того глухого местечка, куда автора забросила страсть к ужению рыбы. Он не рядовой рыболов. Он — писатель.

Пустеет Усух. Все больше там брошенных домов. В одной из опустевших изб наш автор устроил свой рабочий кабинет. «Отдыхая, я рассматривал семейные фотографии, почему-то оставленные хозяевами, портреты кинозвезд и разные картинки из иллюстрированных журналов...» «...в хижину мою стал часто наведываться Сергей Смирнов». Эта хижина вдохновила поэта на такие строки:

...Как сюда попали кинозвезды?
Ведь вокруг столетний Брянский лес?
Вероятно, родниковый воздух
Пробуждает к звездам интерес.

«Прочтя,— пишет наш автор,— я грустно улыбнулся. Увлечшись эффектным образом, поэт, верно, запечатовал, что «родниковый воздух», пробудивши интерес к звездам, почему-то не задержал хозяев избы в Усухе, что, забыв о всех благостях сельской жизни, они... подались в город».

Дальше мы читаем: «Между тем Усух жил своей обычной жизнью. Му-

жики — их было не больше десятка — пахали, сеяли, собирали смолу, по воскресным дням ставили жерлицы, ловили шук, пили водку, пели свои вечные песни. Женщины доили коров, топили печи, пекли хлебы, водили квасок, вскапывали огород, сажали картошку, лук, огурцы».

Вот оно! Сейчас автор расскажет нам, читателям, о жизни этого глухого местечка, где мало мужчин, где... Но автор, поставив точку после слова «огурцы», говорит дальше вот что: «Нашествие городских здоровенных верзил положило некую печать на поведение женщин... Когда же мы шагали по улице со своими удочками, женщины хихикали, выкрикивали двусмысленности, явно поощряли нас к активным действиям. Не знали бабоньки, что у нас был график, что в графике том не отводилось и минуты на дела амурные».

Напрасны были наши ожидания. Автор не захотел размышлять о судьбе пустующей деревни, где мужиков не больше десятка. Автор делает это предметом шутки. И тревожно становится на душе у читателя...

В мае 1960 года наш автор и С. Смирнов, собиравшиеся в Усух, получили оттуда открытку, подписанную И. Стаднюком: тот просил привезти как можно больше соли для вяления и копчения рыбы, поскольку «в местной кооперации не осталось ни солинок». «Я, разумеется, тотчас же поверил: ведь речь шла об Усухе». Нагруженные тяжелыми пакетами, М. Алексеев и С. Смирнов являются в Усух, друзья их встречают. «Под предлогом того, что надобно купить водки и угостить нас при встрече, поехали сначала не на квартиру, а к лавке. Она разместились в стареньком амбаре, который каким-то образом умудрился сохраниться при двадцатиградусном тепле снаружи январскую стужу внутри». Закутавшаяся в шубу продавщица встретила друзей-непосед удивленным вопросом: «Вы зачем?» «Вопрос был резонным. За прилавком не было решительно ничего, была водка, но и та почему-то пряталась под прилавком. Зато посреди магазина, от пола до потолка, высился террикон соли, завезенный сюда, по-видимому, сразу на всю семилетку. Хотелось сейчас же обрушиться на Стаднюка с бранью, но розыгрыш был столь остроумным, что мы — я и Сергей — расхохотались вместе со всеми».

Не будем оспаривать утверждения авто-

ра, что розыгрыш был остроумен. Вкусы бывают разными. Одним кажется очень остроумным вызывать по телефону пожарных, те приезжают, а пожара-то и нет. Другим эти шутки остроумными не кажутся. Но не о разнице вкусов задумался сейчас читатель, а совсем о другом...

Автор наш упустил из виду, что место-то, место, где предается веселью группа литераторов, для веселья плохо оборудовано. Сельский магазин, разместившийся в холодном амбаре. Пусты прилавки, товаров нет. Настолько ничего нет и давно нет, что продавщица изумлена при виде покупателей. На полу — огромное количество соли. Чьи-то бесхозяйственность и головотяпство за этим, чье-то равнодушие, граничащее с издевательством.

А литераторы наши дружно смеются, и от этого громового хохота около пустых прилавков еще тревожнее становится на душе у читателя...

Когда Сергей Смирнов ногу сломал, то ввиду того, что «в Усухе никогда не было и сейчас нет врача», к поэту пригласили колдунью-шепотунью. По этому поводу большой написал шуточные стихи:

Не смотрел, как надо было, в оба,
И меня ужалила змея.
Сразу жар — и приступы озноба,
Сразу — пот по телу в три ручья.

...Мне смешно подобное лечение,
Но лишь только мысленно ворча,
Я лечусь в порядке развлечения
И ввиду отсутствия врача.

...Я вздыхал, распластанный верзила,
Я кивал с покорностью немой.
А она мне пальцем погрозила
И ушла, красивая, домой.

И автор, улыбаясь, грозит пальцем своему распластанному другу: полно, какая там змея? «Если уж кого и следовало бы винить, то скорее змия, о котором говорят с неизменным прибавлением эпитета «зеленый».

Шутит автор: поэт-то по вполне определенной причине ногу сломал, а делает вид, будто его змея ужалила! Шутит и поэт: смешно интеллигентному человеку лечиться у колдуньи. А колдунья-то молодая и красивая! Неожиданное развлечение! Смеху-то, смеху сколько!

А попутно выяснилось, что в Усухе нет не только приличной дороги до райцентра и электричества, но и врача нет. Для раз-

влечения и вдохновения это хорошо, а вот как для населения? И помогают ли шепоты колдуньи заболевшим местным жителям?

Но после всех этих шуток и смеха читатель уже не ждет ответа на свои вопросы, не ждет, что автор будет печалиться печалью местного населения. О своей «мучительной неловкости» и «грустной улыбке» автор только мимоходом упомянул... А тема у автора совсем другая: не о жизни населения глухих мест эта повесть, а о том, как весело в этих местах проводит время группа литераторов. Что ж. Примем эту тему — каждый волен писать, о чем хочет... Но в таком случае не нужно было водить читателя по опустевшим измам. Не надо было таскать его за собою в сельский магазин. И с колдуньей знакомить не следовало. Не работают эти экскурсии на тему, а напротив — уводят читательские мысли в другую сторону...

Итак, наш автор решил доказать нам, что литераторы умеют шутить и развлекаться и ничем, в сущности, от простых смертных не отличаются. Но тут же спешит добавить: а все же отличаются! Другие бы просто веселились, а писатели еще и пишут. И едут в глухие места не только затем, чтобы рыбу ловить, но и общаться с «подлинно народными характерами».

На деревенском празднике автор услышал «щемяще-пронзительно-горькую песню», тут же ее записал, и «теперь она полностью воспроизведена в последней моей повести». Евфросинья Дорофеевна, умная, старая женщина, много на своем веку поведавшая, рассказывает автору о своей молодости. «Короткую ее исповедь я впоследствии слово в слово перенес в повесть «Хлеб — имя существительное». Та же Дорофеевна подсказала автору концовку для главы, долго ему не дававшейся: «Была Вишенка, да птица склевала». Встретился наш автор с лесничихой — и ее рассказ вставил в данную повесть.

На литературном вечере в Суземке, где выступали друзья-непоседы... Кстати! Сергей Смирнов выступал вскоре после злополучного падения в реку. «То, что он вышел на сцену с костылями, прибавило к личному его, всегда неотразимому обаянию еще нечто героическое». Героическое? Ах, опять что-то не то говорит наш увлекающийся автор! Но вернемся к вечеру в Суземке. Среди публики был старик, который дал литерато-

рам мудрый совет: «О чем не подумал — про то не расскажешь; о чем не поплакал — про то не споешь». Автор вздрогнул от этих слоз: так точны, сильны и глубоко они были. «Отыскался, наконец, эпитаф к «Вишнево-му омуту!»»

И действительно, очень мудр совет неизвестного старика — ах, если б все писатели этому совету следовали! И правильно делает автор, что вставляет народные умные речения в свои повести. И песни записывает.

Но тревога, которая давно росла в душе читателя, внезапно выливается в такой вопрос: а что, если жители глухих мест интересуют нашего автора лишь как поставщики эпитаф, концовок, песен? Увы. Текст «Повести о моих друзья-непоседах» сам наводит на горькое это подозрение...

Автор перечисляет все деревни и села, где писался им «Вишневый омут»... Автор скрупулезно сообщает, какие эпизоды и на что именно вдохновили его самого и остальных друзей-непосед. Автор встретился со стадом кабанов, рассказал об этом Грибачеву и Смирнову, и у тех родились стихи... Стихи эти (и многие другие) цитируются... Автор считает так: о писателе, любимом народом, все важно, все нужно. Совершенно верно. Но автор нетерпелив. Он не хочет ждать, пока время решит, кто именно был любим народом и чьи записные книжки следует публиковать, а чьи не следует. Он ждать не хочет. Он недавно опубликовал «Биографию моего блокнота». И эту вот повесть опубликовал.

Были в нашей литературе «Записки об ужении рыбы» Аксакова, были «Записки охотника» Тургенева. В данной повести тоже говорится о том, как люди, живя на природе, рыбу ловят. Но других точек соприкосновения с классическими «записками» повесть не имеет. От нее — хотел этого автор или нет — так и веет самодовольством. И получилось вот что: частная жизнь знаменитых людей. Это жанр рекламный, у нас в России непопулярный, нераспространенный...

Дорожка почти непроторенная, отсюда ошибки, срывы, увлечения. Отсюда и то, что образы героев не удалась: ведь невозможно поверить, что известные литераторы, о которых идет речь в повести, таковы, какими изображает их автор...

Он назвал первую часть повести так: «Сказки Брянского леса». Он сообщает, что всех своих друзей в сказках охватить ему

не удалось. О частной жизни других знакомых литераторов (С. Шуртаков, А. Калинин, Л. Гайдай, С. Воронин, М. Годенко, В. Закруткин) автор собирается поведать во второй части.

Вряд ли друзья «охваченные» испытывают к автору чувство благодарности. И можно предположить, что «неохваченные» с

большой тревогой ждут продолжения сказок.

Ну, а читатель закрывает эту повесть с чувством неловкости и за автора, и за героев его, и за редколлегию журнала со знаменательным названием: «Молодая гвардия».

Наг. ИЛЬИНА.



МАЯКОВСКИЙ И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ

В. Перцов. Маяковский. Жизнь и творчество в последние годы (1925—1930). «Наука». М. 1965. 420 стр.

Новая книга В. Перцова о Маяковском в последние годы жизни завершает собой многолетнюю работу исследователя над созданием первой полной биографии поэта. В 1950 году вышел ее первый том (детство, юность поэта, произведения предреволюционных лет), в 1956 — второй (1917—1924 годы), и вот теперь, спустя десятилетие, третий (1925—1930 годы) — едва ли не самый сложный и ответственный.

Этот давно обещанный читателю том, отдельными главами публиковавшийся в различных журналах и сборниках, несомненно, привлечет к себе широкое внимание среди наиболее значительных работ о Маяковском, появившихся за последнее десятилетие.

Как несомненную удачу в целом воспринимаете почти всю первую часть книги, начиная от главы под названием «Вызов» — о поездке Маяковского в Америку и цикле его американских стихов — до одной из лучших глав всей книги, посвященной поэме «Хорошо!». В этих главах, связанных с произведениями, казалось бы, достаточно изученными, есть свежий подход к темам, острота, наблюдательность, умение акцентировать существенное, есть все то, что составляет наиболее сильную сторону работ В. Перцова.

Так, заново прочитаны критиком многие стихотворения американского цикла, такие, как «Атлантический океан», «Христофор Колумб», «Бродвей», «Нью-Йорк», «Бруклинский мост», «Вызов» и другие, расшифровано происхождение ряда опорных художественных образов (в том числе образ самого поэта — «я полпред стиха...», рожденный в годы, когда советского полпредства в США еще не существовало), прослежена их эволюция, постепенное вытеснение иронической

интонации сатирическим пафосом и т. д. Все это помогло исследователю увидеть тот «нравственный потенциал», с которым Маяковский вступил на берега Америки, и раскрыть пройденный советским поэтом путь из Мексики в США как путь от удивления к вызову.

Бесспорно интересен живой рассказ о многократных встречах Маяковского с Парижем и эволюция этой темы в стихах поэта. Иногда только выпадает из общего стиля исследования и несколько коробит читателя романтически интригующий тон повествования, когда речь заходит о событиях личной биографии поэта, связанных с именем Т. Яковлевой и получивших отражение в двух его лирических стихотворениях 1928 года — «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой».

Писать о поэме «Хорошо!», может быть, особенно трудно — настолько обширна литература, посвященная этому произведению. Монография В. Перцова обогащает ее изучение во многих направлениях. Это относится и к исследованию истории создания поэмы, политических позиций автора, выраженных как в стихах того периода («Нашему юношеству», «Наше новогодие» и других), так и в самой поэме; и к характеристике поэмы «Хорошо!» как «программной вещи» поэта, ее места в развитии советского эпоса; и к вопросу о разрыве левовской теории фактографии с творческой практикой автора «Октябрьской поэмы» и назревающих принципиальных расхождений вождя «Нового Лефа» со своими соратниками.

Интересны широко представленные В. Перцовым отзывы современников о поэме Маяковского. Они со всей резкостью обна-

жили раскол между читателем и критикой, проявившей удивительное единодушие в отрицательной оценке поэмы. Как резюмирует В. Перцов, «связь с читателем через голову своих собратьев и своих противников по перу определяла теперь главное в творчестве Маяковского», его положение в литературе. Особенно ясно это сказалось в последующие годы, когда Маяковский перешел к темам задуманной и неосуществленной поэмы «Плохо», сатирическим стихам на злобу дня и сатирическим пьесам «Клоп» и «Баня». Разбору этих произведений посвящена глава «Сатира пророческая».

Круг проблем, занимающих автора, очень широк, и соответственно этому широк и разнообразен материал, который вместе с важнейшими произведениями поэта вводит В. Перцов в орбиту своего изучения. И здесь наряду с бесспорными исследовательскими победами есть и свои «беда». Об этих «бедах» следует говорить, так как они носят, к сожалению, не частный характер и присутствуют главным образом там, где автор касается вопросов наименее изученных, прежде всего — творческих и личных связей Маяковского со своими современниками. Этой теме предоставлено достаточно большое место в монографии Перцова, ей целиком посвящена глава «В борьбе и содружестве», написанная на материале стихов и статей Маяковского о поэзии, современной ему литературы и критики.

Много внимания здесь уделяет автор теме «Маяковский и Есенин». Она всегда возникала в исследованиях о Маяковском, но в таком широком объеме разработана впервые. Здесь и история их литературных взаимоотношений, споров, вражды, и творческие соприкосновения, возникшие в связи с поездкой поэтов в Америку, и наконец развернутый комментарий к стихотворению «Сергею Есенину» и к высказываниям Маяковского о Есенине в статье «Как делать стихи?». Автор трактует стихотворение как защиту Маяковским Есенина — поэта, нужного «народу-языкотворцу», от «есенинщины», от критиков, которые не увидели в Есенине последних лет «ясной тяги к новому».

Приходится, однако, упрекнуть автора в том, что он не вполне справедлив по отношению к А. Воронскому, говоря о его якобы пристрастно-отрицательной оценке некоторых поэтических выступлений Есенина на тему о Ленине, о Марксе. Скажем, извест-

ные строфы в стихотворении «Стансы» были действительно написаны не на уровне поэтических возможностей Есенина. Они, безусловно, говорят об изменении его политических взглядов, но говорят не всегда еще так, как хотел бы поэт. В. Перцов несколько облегчает стремительность поэтической и политической эволюции поэта. А не с ее ли сложностью связана «поэтическая нервность» Есенина и его недовольство собой, даже зависть, с какой относился Есенин ко всем поэтам, «которые органически спаялись с революцией», как писал Маяковский в статье «Как делать стихи?».

Другая историко-литературная тема, которую в плане истории взаимоотношений двух поэтов-современников поднимает В. Перцов в своем исследовании, это Маяковский и Пастернак. В предыдущем томе монографии В. Перцова уже шел разговор о Пастернаке как об одном из поэтов Лефа, разговор, довольно лаконичный и носивший тогда несколько «проработочный» характер. Теперь разговор о Маяковском и Пастернаке возобновлен на более конкретном материале, с пересмотром ряда оценок историко-революционных поэм Пастернака («Высокая болезнь», «1905 год», «Лейтенант Шмидт»), созданных в годы, когда Пастернак был официально связан с группой Леф. В. Перцов не без основания замечает, что в повороте Пастернака к этим темам сыграл роль и Маяковский: в атмосфере общения с Маяковским, с литературной средой, которая выдвигала на первый план революционную тему, Пастернаку легче было решать новые для него задачи. В центре внимания исследователя — поэма Пастернака «Высокая болезнь» (она была напечатана в 1924 году в журнале «Леф», только не во втором номере, как ошибочно указывает В. Перцов, а в первом, траурном, посвященном Ленину) и отношение к ней Маяковского. Оно известно из воспоминаний С. Чиковани, рассказавшего, как он беседовал с Маяковским о поэме, как Маяковский тут же прочитал наизусть любимые им отрывки о Ленине, заявив: «Это замечательно!»

Какие именно отрывки из поэмы Пастернака читал Маяковский, Чиковани не указывает и, видимо, не помнит. За него приводит их В. Перцов. «Вот эти любимые отрывки», — говорит он и, не задумываясь, цитирует всю последнюю часть поэмы, посвященную выступлению Ленина на IX съезде Советов в 1921 году. Эти строфы,

думается, вполне могли бы вызвать восхищение Маяковского. Но что дает В. Перцову основание утверждать, что именно они были прочитаны Маяковским у Чиковани? Да вдобавок не полностью, а с выпуском следующего четверостишия:

И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью болей начерталось:
Он был их звуковым лицом.

Кому не понравилось это четверостишие? Маяковскому или В. Перцову?

Но главное не в этом четверостишии, а в том, что Маяковский вообще не мог цитировать при встрече с Чиковани в 1924 году (а встреча Чиковани с Маяковским в Тбилиси происходила, как нетрудно установить из воспоминаний С. Чиковани, именно в 1924 году¹) заключительные строки поэмы Пастернака «Высокая болезнь». Они были написаны позже, спустя несколько лет после появления поэмы в «Лефе», и опубликованы вместе с другим отрывком в 1928 году в одиннадцатом номере журнала «Новый мир» с подзаголовком «Две вставки в поэму «Высокая болезнь».

Появление в 1928 году, уже после официального разрыва Пастернака с Лефом, заключительных строф поэмы о Ленине ставит под сомнение беспристрастность утверждения В. Перцова, что Пастернак, восстав против Лефа, «с какой-то демонстративной обидой отошел на привычные для него позиции «аполитизма».

Сожалеея о том, что «осталось невысказанным этим большим поэтом (Пастернаком.— Н. Р.), который так и не развернул в революции своих возможностей», В. Перцов уклоняется от прямой оценки того, что составляет «прелесть лучшего из созданного им», за что так любил и ценил Пастернака Маяковский. Чем дорожил Маяковский в работе Пастернака над поэтическим языком, какие черты его новаторских открытий были близки ему? Все это остается погребенным под общей формулой пастернаковского «косноязычия», которое Маяковский якобы пытался «подогнать» под требование лефовского утилитаризма.

Свой рассказ о разрыве между Маяковским и Пастернаком, наступившем в конце

двадцатых годов, В. Перцов заканчивает цитатой из предсмертного письма Маяковского: «Я с жизнью в расчете и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид», за которой следует внешне эффектная, но по существу вполне безответственная фраза: «Одна из неутоленных болей Маяковского — Пастернак». Слова Маяковского относятся, как известно, к личной трагедии поэта, и не следует произвольно переадресовывать их Пастернаку.

Тема «Маяковский и Горький» в различных сопоставлениях имен этих двух писателей проходит почти через всю книгу. Но насколько содержательна и интересна по привлекаемому новому материалу трактовка этой темы в связи со знаменитым стихотворением «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому», настолько вопрос об их личных взаимоотношениях в советские годы остается по-прежнему непроясненным. Чем можно объяснить, что крупнейшие советские писатели, близкие друг другу по своим идейным позициям и революционным устремлениям, оказались в состоянии разрыва личных отношений? Обстоятельство это, конечно, не из легких, но существующие документы дают возможность уже сейчас осветить его более или менее обстоятельно и объективно.

Но В. Перцов пошел по иному пути — он вновь накладывает идиллический грим на отношения Горького к Маяковскому. Так, в числе откликов на смерть поэта цитируется — одним из первых — отрывок из письма Горького к И. Груздеву (май 1930 года), но при этом опускается конец письма, в котором Горький уверял своего адресата, что в революционность Маяковского он якобы не верит. И совсем уж неловко чувствуешь себя, когда в качестве комментария к предсмертному письму Маяковского В. Перцов приводит цитату из статьи Горького «О солитере»; в ней на вопрос, брошенный неким обывателем Горькому, почему, мол, вы молчите по поводу смерти Маяковского, писатель отвечает: «Маяковский сам объяснил, почему он решил умереть. Он объяснил это достаточно определенно». Цитата оборвана, но читатель, заглянувший в статью Горького, может прочесть ее продолжение: «От любви умирают издавна и весьма часто. Вероятно, это делают для того, чтобы причинить неприятность возлюбленной».

¹ С. Чиковани. Незабываемые встречи. В сборнике «Дни и встречи». Тбилиси. 1963, стр. 134, 139.

Читая книгу В. Перцова, мы видим Маяковского в гуще общественно-литературной жизни, в процессе острейшей литературной борьбы, все усложняющихся взаимоотношений с РАППом. Это большое достоинство исследования. Тем более огорчает и удивляет, когда в критике некоторых выступлений, враждебных по отношению к Маяковскому, появляется чрезмерная осторожность, уклончивость, стремление сгладить острые углы. Так было с оценкой рецензии И. Юзовского на поэму «Хорошо!» и со статьей К. Зелинского «Идти ли нам с Маяковским?». Последняя названа только в связи с поэмой «Хорошо!». Но эта статья теоретика-конструктивиста сыграла значительную роль в развитии конфликта Маяковского с конструктивистами и поддерживавшими их рапповскими критиками. Именно на статью Зелинского, как на авторитетную критику, ссылался Г. Горбачев, когда на втором пленуме правления РАППа в сентябре 1929 года объявил творчество Маяковского «историческим наследством», упрекал поэта в «примитивизме», в уходе от постановки больших проблем. Именно со статьей К. Зелинского, как и с докладом Г. Горбачева, полемизировал на этом пленуме Маяковский.

Другой пример полемики тех лет — отрицательный отзыв о пьесе «Баня» В. Ермилова, одного из создателей рапповской теории «живого человека». Образ бюрократа Победоносикова был объявлен В. Ермиловым — с точки зрения этой теории — фальшивым и абсолютно неправдоподобным. Уделяя много места «теоретической» подоплеке этого отзыва, появившегося в «Правде» 9 марта 1930 года, за неделю до премьеры «Бани» (и перепечатанного затем в апрельском номере журнала «На литературном посту»), В. Перцов склонен почему-то сильно преуменьшать значение его для судьбы пьесы и представлять этот факт более безобидным для литературной биографии Маяковского, чем это было на самом деле.

Исследователь говорит, что в статье Ермилова оценка «Бани» не занимает такого большого и самостоятельного места, как разбор пьес И. Сельвинского «Пушторг» и А. Безыменского «Выстрел», что «Баня» служит лишь одним из примеров для иллюстрации мыслей критика. Это верно. Но В. Перцов упускает из виду, что «мысли критика», которые иллюстрировала «Баня», были мыслями «О настроениях

мелкобуржуазной «левизны» в художественной литературе» — так называлась эта статья и в газете и в журнале. Вся ее вступительная часть занята разоблачением этих настроений. В образе Победоносикова критик увидел мелкобуржуазную хулу на «представителя» большевистской гвардии, заявил, что здесь у Маяковского звучит «очень фальшивая «левая» нота». Критик по существу обвинял Маяковского в политической ошибке. И напрасно В. Перцов уверяет читателя, что сам Маяковский «не придал значения высказыванию В. Ермилова». Он именно «придал» и ответил на него своим поэтическим оружием — четверостишием, написанным к премьере «Бани» и вывешенным в зрительном зале в виде лозунга («Сразу не выпарить бюрократов рой. Не хватит ни бань, ни мыла вам. А еще бюрократам помогает перо критиков — вроде Ермилова»).

Цитируя этот лозунг, В. Перцов указывает, что на следующих спектаклях, «уступая давлению Авербаха», поэт, будучи членом РАППа, должен был его снять. В предсмертном письме Маяковского об этом сказано так: «Ермилову скажите, что жаль снял лозунг, надо бы доругаться». Разве само упоминание о конфликте с известным критиком в предсмертном письме не достаточно говорит о том, как реагировал на него Маяковский? Из какой ложной предосторожности биограф Маяковского говорит здесь читателю полуправду?

Предпоследняя глава книги — «Комментарий к письму поэта «Все»» — очень важна. Комментарий, который биограф поэта дает здесь предсмертному письму Маяковского, естественно, вызывает к себе особый интерес читателя. В этом нет ничего удивительного и ничего нездорового.

Объяснить самовольный уход из жизни такого поэта, как Маяковский, очень нелегко и вряд ли до конца возможно. Говоря его же словами, сказанными о Есенине, «не откроют нам причин потери ни петля, ни ножик перочинный». Но знать обстоятельства жизни поэта, предшествующие и так или иначе связанные с катастрофой, можно и должно.

Достаточно полно, достоверно и остро дана В. Перцовым характеристика ближайшего литературного окружения Маяковского последних лет — Леф, затем Реф; довольно подробно рассказано о выставке Маяковского «20 лет работы», о РАППе, куда вступил

Маяковский, и о тяжелейшей атмосфере равнодушия, непонимания, которую он там встретил. Недостает здесь для полноты картины одного существенного звена, напрашивающегося рядом с рассказом о выставке Маяковского, — рассказа о судьбе поэмы «Во весь голос», впервые прочитанной на открытии выставки 1 февраля 1930 года, но так и не получившей отклика при жизни поэта.

Значительно более трудным оказалось прокомментировать обстоятельства личной трагедии поэта. «Любовная лодка разбилась о быт...» — сказано в предсмертном письме Маяковского. В. Перцов утверждает, что за этой фразой «стоит прежде всего поэма «Про это» в ее целом». Но что это утверждение дает? И законна ли, при всей автобиографичности поэзии Маяковского, такая апелляция к его творчеству? Более правомерным представляется обращение автора к таким материалам, как письма Маяковского к Л. Ю. Брик, опубликованные несколько лет тому назад на страницах 65-го тома «Литературного наследства». Но размышления автора о значении этих писем (а также писем Маяковского к Т. Яковлевой) представляют сплошной ребус, и читателю очень нелегко сквозь витиеватые рассуждения об особенностях избранного Маяковским эпистолярного стиля пробраться к прямому смыслу вывода исследователя о постоянном внутреннем одиночестве Маяковского и — главное — судить, насколько этот вывод обоснован.

Впечатление большой натяжки производят все приписываемые Маяковскому размышления о проблемах семейной жизни, которые приводит В. Перцов в качестве комментарий к отношениям поэта с В. В. Полонской.

Но как бы ни остра была личная трагедия поэта, о чем так красноречиво говорит опубликованный В. Перцовым автограф Маяковского — план его предстоящего разговора с В. В. Полонской, — она отнюдь не отменяет роли других факторов, о которых говорилось раньше, в общем комплексе обстоятельств, вызвавших катастрофу.

Сама В. В. Полонская в своих неопубликованных воспоминаниях пишет: «Я убеждена, что причина дурных настроений Владимира Владимировича и трагической его смерти не в наших взаимоотношениях. Наши размолвки — только одно из целого комплекса причин, которые сразу на него нава-

лились. Я не знаю всего, могу только предполагать и догадываться... Удалась поэма «Во весь голос». Но эта замечательная вещь осталась неизвестна. Маяковский остро ощущал эти свои неудачи, отсутствие интереса к его творчеству со стороны кругов, мнением которых он дорожил. Он очень этим мучился, хотя и не сознавался в этом».

«Равнодушие, — несколько раз подчеркивает Полонская, говоря о выставке, о «Бане», — выбивало его из колен... Я считаю, что я и наши взаимные отношения явились для него как бы соломинкой, за которую он хотел ухватиться» (Библиотека-музей В. В. Маяковского).

Заключительная глава книги, посвященная поэме «Во весь голос», при всей своей познавательной ценности, написана не с той основательностью, какой требует тема. В ней прежде всего нет ощущения масштабности разговора поэта с потомками, темы «Памятника», которая проходит по существу через всю поэму как тема бессмертия «всех ста томов моих партийных книжек», прокладывающих путь в «коммунистическое далеко». Но в отличие от торжественного спокойствия монолога Пушкина, который говорит о своем поэтическом бессмертии, не вступая в спор с «хвалой и клеветой» и «не оспаривая глупца», разговор Маяковского с потомками полон напряженного драматизма и накаленной полемики с теми, кто оспаривал само право поэта на разговор с будущим, на место его в литературе. Острота этой полемики несколько приглушена В. Перцовым.

Нет попытки поставить вопрос о замысле поэмы в целом, о том, что помешало поэту окончить второе вступление в поэму, посвященное теме любви, и переключить личную трагедию в творческую победу, как это было в поэме «Про это». Правда, гадать об этом бесполезно. Но важно, что в тексте черновых набросков, откуда взято Маяковским четверостишие для предсмертного письма, стояло: «С тобой мы в расчете». И к кому бы ни обращено было это «ты», с кем подводил поэт итоги личной жизни, в расчете «с тобой» еще не означало «я с жизнью в расчете», как это перефразировано было в предсмертном письме. Наоборот, за этими строками в поэме следовало просветление, по-тютчевски глубокое торжественное обращение к природе, к «векам, истории и мирозданию».

Книга В. Перцова написана рукой опыт-

ного литератора, написана легко и увлекательно, хотя порой, может быть, несколько выпренно и — главное — недостаточно «свободно и раскованно». Очень жаль, что в интересном, насыщенном обшир-

ным материалом исследовании так много осторожных недомолвок и недосказанностей, столь чуждых духу Маяковского.

Н. РЕФОРМАТСКАЯ.

★

«В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ ЛЮДЕЙ...»

Артур Миллер. Это случилось в Виши. Пьеса. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова. «Иностранная литература», № 7, 1965.

После девятилетнего перерыва Артур Миллер вернулся к драматургии. На сценах США и Англии, Италии и Франции, Польши и Чехословакии поставлены две его новые драмы «После грехопадения» (1964) и «Это случилось в Виши» (1965).

Пьесы формально никак не связаны друг с другом, во всем различны, даже противоположны. «После грехопадения» — многоплановая драма-роман, история долгой и сложной человеческой жизни. Драма исповедальная, кровоточащая, до неловкости личная.

«Это случилось в Виши» — драматическая новелла, один замкнутый в себе эпизод, сценическое время которого почти совпадает с реальным. Франция, сорок второй год, полицейская облава на евреев. Пьеса скорее объективно эпическая, действие происходит даже не в родной стране автора.

«Быть в ответе за всех людей...» — вот к чему призывает один из персонажей пьесы «Это случилось в Виши». Ответственность за себя, за своих близких и дальних, за страну, за человечество — вот что объединяет новые пьесы Миллера, вот о чем вся его драматургия. Ещё о своей первой пьесе «Все мои сыновья» Миллер писал: «Крепость, на которую я нападаю, — это крепость безответственности».

Герой драмы «После грехопадения», сорокалетний адвокат Квентин — обыкновенный средний американец. Жестокое потрясение — самоубийство его второй жены Мэджи, прославленной эстрадной певицы, — заставляет его оглянуться на всю свою жизнь.

Сурово, беспощадно судит Квентин эпоху, те социальные обстоятельства, которые определили поведение его современников. И свои собственные убеждения и поступки. Чтобы ощутить ответственность, надо помнить. А если забыл — вспомнить, как бы это ни было трудно. Сценическая площадка и расположена своеобразными «террасами

памяти», которые освещаются не последовательно, по законам хронологии, а то параллельно, то в обратном порядке, от конца к началу, по законам поэтических ассоциаций.

Как жить после грехопадения, после того, как сам жестоко осудил себя?

Расчет со своей совестью неразрывно связан с острейшими политическими проблемами.

Недавно, отвечая на вопрос репортера, Миллер сказал, что к созданию пьес его подтолкнул процесс над гитлеровскими преступниками в Дюссельдорфе, на котором он присутствовал. В пьесах, разумеется, не найти новых сведений о фашистских зверствах. Писатель, даже наделенный самым богатым воображением, не мог бы состязаться в этом с беспристрастными свидетельствами судебных процессов. Но обе пьесы Миллера говорят о вчерашнем фашизме и о новых формах наступления на человека сегодня не меньше, чем тысячи документов.

Действие драмы «После грехопадения» происходит под знаком вышки концентрационного лагеря. Вполне конкретный лагерь уничтожения в Бельзене; присхавшего в Австрию Квентина туда привела бывшая заключенная, немка Хельга. Вместе с тем лагерь — и олицетворение мирового зла.

Зловещая вышка нависает и над сценами «охоты за ведьмами». Гражданин Артур Миллер достойно держался во время своего процесса, и отношение его героев к маккартизму совершенно недвусмысленно. Один из них, профессор права Лу, гневно говорит доносчику Мики: «Если все станут предателями, — погибнет цивилизация. Вся эта комиссия — воплощенное лицемерие. И меня поражает, как ты можешь говорить о правде и справедливости, когда речь идет о банде политиканов, потерявших честь и совесть в погоне за рекламой?»

Квентину претит все, что происходит на комиссии. Он заявляет ее членам: «Под всеми вашими социальными, политическими, расистскими взглядами подписался бы Гитлер!»

Он согласился — хотя и не без внутреннего сопротивления — быть адвокатом своего друга Лу, с которым они вместе в юности посещали коммунистические собрания. Но Лу не дождался процесса, он погиб — то ли случайно, то ли намеренно. И Квентин, узнав о смерти друга, испытывает облегчение. Это свое состояние облегчения он и сравнивает с душевным состоянием тех немцев, которые не мучили, не пытали, не убивали, но «просто жили», не вмешиваясь. Трубопроводчики, водопроводчики, каменщики, те, что строили и обслуживали лагерь, видели, как ежедневно, ежечасно убивали не их. И испытывали облегчение.

Фашисты могли вершить свои преступления в Берлине, Варшаве, Виши, везде также и потому, что нефашисты молчали. Одни из трусости. Другие из равнодушия. Третьи по неведению. Квентин обвиняет себя и многих таких, как он, в молчаливом соучастии. Все молчавшие отказывались, таким образом, от ответственности. Но все они разделяют ее.

Мера вины, мера ответственности — это все проблемы не отвеченные, не абстрактные. Это проблемы сотен тысяч, даже миллионов судеб человеческих — и тех, кого уже нет в живых, и тех, кто жив; проблемы прошлого, настоящего и будущего.

Понять ответственность — значит не только осудить военных преступников. Это непременно предполагает самостоятельные поиски истины, стремление разобраться в причинах.

Квентин вспоминает, как легко было жить в мире готовых истин, когда за тебя все решали — как поступать, как относиться к окружающему. Как легко было жить, когда ответственность за судьбы мира лежала на ком-то другом — на боге, царе, диктаторе... И как трудно, когда эта ответственность становится личной для каждого.

Мир готовых истин был еще и царством лживости: ведь очень многим американцам казалось, что их от лагерных вышек отделяет океан. Ведь «у нас это невозможно». Миллер разрушает эти иллюзии. «Ни один из оставшихся в живых не может сохранить наивность», — говорит Хельга.

Надо знать правду о мире и о себе, даже

если эта правда ужасна и постыдна. Но, утрачивая наивность, познавая горькую правду, — не впасть в отчаяние. Недаром Квентин просыпается с надеждой, недаром разрывается круг одиночества. Недаром драма начинается и заканчивается простым приветствием «здравствуй».

Драма «После грехопадения» отвечает далеко не на все поставленные вопросы. Иные ответы весьма туманны, иные — неудовлетворительны. Но вопросы, поставленные с прямотой и честностью, будят сознание читателя.

В пьесе «Это случилось в Виши» автор изображает, а порою, к сожалению, просто иллюстрирует, как именно разные люди по-разному приходят к познанию страшной правды о фашизме, как начинают ощущать связь с другими и ответственность за них.

На сцене не истязают, не умирают, не убивают. На сцене спорят. Спор начинается с самого ближайшего, насущного: почему фашисты схватили именно их? Что с ними будет? Заходит речь о лагерях уничтожения, и возникает новый круг спора: возможно ли такое?

Драматизм этого (как и других) спора в пьесе состоит в том, что мы, читатели и зрители Миллера, знаем, что эти лагеря были. А персонажи пьесы этого еще не знают. Не хотят знать. Актер Монсо прячется от правды, называет все это «бредовыми слухами». И когда рабочий-коммунист Байяр советует на всякий случай запастись каким-либо орудием — можно отбить болт и выпрыгнуть из эшелона, — Монсо с возмущением призывает «вернуться к действительности».

Способен ли вообще человек поверить в не испытанный еще ужас? О чем спор на сцене — о вчерашних лагерях уничтожения или о завтрашней водородной бомбе? За каждым словом о вчерашнем — сегодняшнее и завтрашнее.

В чем сущность фашизма, какие силы могут ему противостоять? Байяр надеется на Красную Армию, на рабочий класс, он убежден, что в конце концов фашизм, порожденный интересами крупных монополий, будет уничтожен.

Австрийский князь фон Берг (схваченный по ошибке) с уважением относится к вере Байяра и глубоко симпатизирует ему лично. Но сомневается в основах этой веры: ведь большинство нацистов — из труда-

щихся. Развращение народа фашизмом — одна из сложнейших и, пожалуй, самых трагических проблем вчерашнего и сегодняшнего дня — едва намечено в этой пьесе. Байяр, в свою очередь, решительно оспаривает кредо фон Берга: «Неужели вы верите, что пять, десять, тысяча, десять тысяч честных и мужественных людей — это все, что стоит между нами и всеобщей гибелью?»

Байяр не очень искушен в спорах, его речи звучат несколько доктринерски; когда мысли собеседника противоречат тому, в чем он убежден, он не аргументирует, а просто отрезает: пропаганда, вражеская пропаганда. Но ведет он себя безупречно. А ему это труднее, чем другим, его дольше испытывают страхом: уже после вызова его возвращают ждать — у нацистов перерыв на завтрак. Он выдерживает испытание с честью. А ведь это главное и в пьесе и в жизни.

Миллер не коммунист, он совсем по-иному смотрит на мир. Но тем более важно, что он так увидел коммуниста, с таким уважением написал о нем, даже наделил его именем легендарного Байяра, рыцаря без страха и упрека. Он не забыл о том, как вели себя в трудные для родины часы члены той партии, которую во Франции называли партией расстрелянных.

Перед неминуемой гибелью, отчаявшись, врач Ледюк говорит о бессмысленности страданий, о том, что разделить страдания другого человек не может. И, стало быть, самый тяжкий опыт не передается никому.

Он утверждает, что в душе каждого нееврея таится антисемит. Антисемитизм предстает в драме Миллера как некая всеобщая, почти иррациональная форма человеческого разъединения, взаимонепонимания. Автор ищет корни антисемитизма в глубинах подсознания, в психологии и психопатологии, в массовых психозах в большей степени, чем в обстоятельствах социальных.

Казалось, что финал предрешен. Но, получив пропуск, получив возможность жить, фон Берг отдает этот пропуск Ледюку. В заключительной, немой сцене фон Берг и немецкий майор «стоят, навеки непостижимые друг для друга». В драматической схватке человек героически победил нечеловека.

Миллер утверждает способность к подвигу. Мы знаем, что такое случилось не только в Виши. Мы знаем, что польскому

учителю Яну Корчаку предложили спастись. А в эшелоне с пунктом назначения «Треблинка» были его, Корчака, ученики. И он отказался от предпочтения, означавшего жизнь, отказался, чтобы детям было не так страшно умирать.

Героиня французского Сопротивления, монахиня мать Мария (в миру — русская поэтесса Кузьмина-Караваева) пошла в газовую камеру вместо осужденной.

А сколько их было неизвестных, погибших за других, оставивших другим самое ценное достояние — жизнь, а нам всем — урок мужества и самоотверженности?

В американской критике спорят о том, закономерно ли социальное положение героя «Это случилось в Виши». Автор, вероятно, предвидел возможность такого спора. Ведь даже некоммунист Ледюк очень удивлен, узнав, что фон Берг враждебен фашизму: «Я привык считать, что аристократия... подерживает любой реакционный режим». Так и у него проявляется мышление готовыми общими категориями, столь свойственное фашизму: «все католики», «все коммунисты», «все евреи», «все аристократы». А Миллер постоянно полемизирует с этим стремлением подвести человека под рубрику, полемизирует всеми своими пьесами. Каждая жизнь индивидуальна и неповторима.

Мне, впрочем, кажется, что на этот раз в выборе героя проявилась и своего рода «антисхема»: каждый-де может свершить самоотверженный поступок, даже князь. Но для искусства «антисхемы» так же чужды, как и просто схемы. Ощущение известной неудовлетворенности возникает, конечно, не потому, что фон Берг — князь (как известно, король Дании надел желтую звезду в знак протеста против преследований евреев), а потому, что герой недостаточно индивидуализирован, автор не дал возможности увидеть его, полюбить.

Быть может, такая претензия незаконна — ведь критика давно назвала драмы Миллера интеллектуальными драмами, драмами идей, а не образов, давно установила, что он сильнее не в сшибке характеров, а в столкновении мыслей. Было бы странно сегодня оспаривать право любого художника увлекать зрителя прежде всего саморазвитием мысли, ее движением, противоречиями, даже парадоксами.

И все же думается, что есть в его драматургии, в том числе и в последних пье-

сах, такие удачи, такие поразительные находки именно в создании характеров, которые позволяют, исходя из его собственного опыта, предъявлять к нему и такие требования.

Все то, что происходит на сцене с героем драмы «После грехопадения» Квентином, по-настоящему увлекает и волнует зрителя. Это про всех нас, это важно. А сам он как человек оставляет читателя и зрителя холодным. Как и фон Берг. Быть может, яснее всего это обнаруживается в столкновении Квентина с Мэджи. Как только в драму входит Мэджи, куда-то исчезают мысли и о господстве, и о превосходстве интеллектуальной драмы. На сцене живет человек — необыкновенный, неповторимый.

Эта часть драмы на родине Миллера вызвала бурный скандал. Быть может, из-за того, что мы далеко от эпицентра скандала и нас менее занимают подробности взаимоотношений Мерилин Монро со своим мужем Артуром Миллером, здесь все это воспринимается совсем иначе.

История Квентина и Мэджи — история внезапного возникновения и сравнительно быстрой гибели любви. Гибели закономерной. Формально, по законам рассудка, Квентин во всем прав, а Мэджи во всем неправ. Он не хотел, чтобы она пила. Он не хотел, чтобы она принимала наркотики. Он требовал, чтобы она серьезнее относилась к своему таланту. Но почему же читатель и зритель оказываются на стороне Мэджи? Да потому, что ее нельзя не полюбить такую, как она есть, со всеми ее достоинствами и пороками. Достоинства и пороки органически связаны. Мэджи добра, щедра и безотказна, неразборчива. У нее словно нет ядра, нет своего, твердого, сопротивляющегося «я», не зависящего от того, кого она сейчас любит. Она все время принимает чужие формы. Квентин не дает ей принять свою форму и не помогает — отчасти уже не может помочь — стать собой. Беда ведь не в том, что у Мэджи до брака с Квентином было много мужчин. Беда в том, что она в них исчезала, позволяла топтать себя. И даже противоестественно радовалась этому. Живое страдание Мэджи сталкивается с рассудочной справедливостью Квентина. И человек гибнет. Действует уже не логика, а тайна саморазвивающегося образа, не подвластного никому, в том числе и создателю.

Смерть этой любви неминуема еще и потому, что оба они решили вычеркнуть про-

шлое и жить только настоящим. Это тоже форма безответственности. Прошлое нельзя вычеркнуть ни в жизни общества, ни в жизни отдельного человека. Его можно только преодолеть. А для этого — сказать о нем правду. И это Миллер сделал бесстрашно.

Артур Миллер, в сущности, одинок в американской драматургии. Ведь большинство современных театральных писателей США исследуют психологию и даже психопатологию изолированной личности, отдельной, отчужденной, как теперь принято говорить. Миллер однажды горько заметил, что современный американский драматург из пьесы о Гамлете изгнал бы все, кроме взаимоотношений датского принца с матерью. Сам он упорно, в самые неблагоприятные моменты, вразрез с общим течением, вновь и вновь возвращается к проблемам социальным. Да, каждая жизнь самоценна, но не отделена от других. Да, каждая незаменима, но и связана с другими.

Кто мы такие? — вот какой вопрос ставит писатель и стремится на него ответить.

Субъективнейшая на первый взгляд драма-исповедь Квентина насквозь социальна. В обстоятельствах общественного развития Америки, начиная с кризиса и кончая маккартизмом, ищет прежде всего писатель те пружины, которые определяют развитие героя.

Миллер наделен редким даром социальной чувствительности: он постоянно говорит в своих драмах именно о том, что волнует в мире многих и многих. Но эта воинственная социальность ничуть не освобождает от ответственности каждого. Потому что в одной и той же ситуации — как в полицейском участке в Виши — разные люди ведут себя по-разному.

Свой бой за коллективную и индивидуальную ответственность, бой за современный реализм Миллер часто переносит, так сказать, на территорию «противника». В пьесе «Это случилось в Виши», казалось бы, избрана ситуация, которая в наибольшей степени способствует созданию драмы абсурда, беспросветного пессимизма.

В его последних пьесах в «снятом виде» есть и напряженные сомнения, моральная взыскательность драматургии экзистенциализма (и ее же схематическая линейность), и горькая ирония Ионеско, и сложная связь времен современной прозы.

Но люди в драмах Артура Миллера — не

разъединенные песчинки, атомы, случайно брошенные в жестокий, бессмысленный мир чьей-то равнодушной рукой, а личности, связанные друг с другом коллективной ответственностью каждый за себя, за других и все вместе за судьбы этого очень несовершенного, но единственного мира.

Смело и самостоятельно искать истину, отбрасывая любые заблуждения, любые утешительные иллюзии, какими бы благородными мотивами ни диктовались эти иллюзии. Сурово судить мир и себя, уметь не

только проповедовать, но и исповедоваться, постоянно ощущая свою личную ответственность за судьбы человечества, но в трезвости и беспошадности не терять веры в человека. И вместе с тем не только мучиться и сомневаться, критиковать и даже проклинать, но и уметь действовать. Сверхать те единственные поступки, которые помогают тебе и другим оставаться людьми. Вот уроки тревожащих, умных и благородных пьес Артура Миллера.

Р. ОРЛОВА.

★

Политика и наука

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

А. М. Некрич. 1941. 22 июня. «Наука». М. 1965. 174 стр.

В предисловии к своей книге «1941. 22 июня» А. Некрич пишет: «Легче и проще говорить о победах. Описывать блеск торжественного салюта в честь выигранных сражений, разумеется, приятнее, чем горькую скорбь поражений... Историк, взявшийся за исследование войны, обязан помнить не только о том, чем она окончилась, но и о том, как она началась... О причинах, приведших к поражениям начального периода войны, нельзя говорить скороговоркой, ибо такой подход не только наносит ущерб исторической правде, не только принижает героизм советских воинов, проявленный ими в начальный период войны, и величие нашей победы в войне, начатой в исключительно неблагоприятных условиях, но и объективно наносит ущерб интересам нашего государства, наталкивая на неверные выводы из тех уроков, которые были преподаны нам историей».

Эти мужественные и правдивые мысли, высказанные автором, как показывает его книга, отнюдь не пустые слова. Именно они, эти мысли, лежат в основе основ исследования, придают ему ответственность и объективность, делают книгу А. Некрича полезной и нужной самому широкому кругу читателей.

Автор начинает со знаменательного эпизода. Май 1940 года. Большая часть Европы под пятой фашизма. В небольшом городке Бастонь в Арденнах в ставке командующего наступающей на Западном фронте группы немецкой армии «А» фон Рундштед-

та опьяненный успехами Гитлер снова возвращается к мысли о нападении на Советский Союз.

Эта мысль не была случайной. Самый последовательный идейный противник фашизма, Советский Союз был и остается несокрушимым препятствием для того, чтобы в мире восторжествовал фашизм и то зло, которое он приносит людям.

Несколько лет назад американские историки нашли среди трофейных немецких материалов, а затем и опубликовали (под названием «Вторая книга Гитлера») рукопись фашистского фюрера о внешней политике Германии. «Вторая книга» была прочитана недавно, но содержащиеся в ней «идеи» тысячи раз повторялись фашистскими пропагандистами. В них таился яд, которым гитлеровцы сумели постепенно отравить сознание миллионов немцев и повести их за собой по пути кровавых преступлений.

Сразу после разгрома фашистской Германии и вплоть до наших дней генералитет бывшего гитлеровского вермахта и его историографы стремятся снять с себя ответственность за эти преступления, за продуманную подготовку войны против СССР, за хладнокровно запланированные чудовищные злодеяния по отношению к военнопленным и к мирному гражданскому населению в оккупированных областях СССР. Мы знаем, что среди офицеров вермахта, в частности среди участников антигитлеровского заговора 1944 года, была группа прогрессивно мыслящих, патриотически настроенных му-

жественных и смелых людей, которые, находясь в лапах гитлеровских палачей, сохранили человеческое достоинство перед лицом мучительной казни, решительно и гневно осудили национал-социализм, его звериную сущность, то горе, которое он принес народам, в том числе и самому немецкому народу. Мы знаем имена Штауфенберга, Мольтке-внука, Иорка, Штифа и других и отдаем им должное, как это сделано, например, в монографии советского историка Д. Мельникова «Заговор 20 июля 1944 года в Германии». Однако, к сожалению, не эти офицеры, конечно, определяли позицию и действия гитлеровского генералитета.

Покойный президент США Джон Кеннеди говорил, что у победы сто родственников, а поражение — всегда сирота.

После разгрома гитлеровской Германии генералитет вермахта и его защитники стали утверждать, что в подготовке к разбойничьему нападению на СССР, в планировании и проведении войны, в бесчеловечном ограблении и уничтожении беззащитных советских людей — военнопленных и мирного гражданского населения — они не виновны, а виновен только Гитлер и его ближайшие нацистские соратники. Подобные утверждения содержатся и в официальных показаниях и заявлениях, и в многочисленных мемуарах генералов разгромленного гитлеровского вермахта. Так, например, начальник оперативного управления генерального штаба сухопутных сил немецкой армии генерал Гюнтер Блюментрит пишет в статье «Московская битва»: «Первые роковые решения были приняты немецким командованием в России. С политической точки зрения самым главным роковым решением было решение напасть на эту страну».

Что же, как говорится, золотые слова, святая истина! Однако из дальнейших рассуждений Блюментрита следует, что виноват в подготовке к войне против СССР и в развязывании этой преступной войны один Гитлер, а генералы тут ни при чем, более того, Рундштедт, Браухич и Гальдер якобы отговаривали Гитлера от войны с Россией. В общем, получается, что если не считать покончившего самоубийством фашистского фюрера, то поражение гитлеровской Германии в войне против Советского Союза — круглая сирота

Так ли это на самом деле? Книга А. Некрича дает на это ясный и точный ответ, и одно из достоинств этой книги за-

ключается в самой постановке вопроса об ответственности и его решении. Ведь именно в ставке Рундштедта 17 мая 1940 года Гитлер снова вернулся к мысли о нападении на СССР и не встретил там никаких возражений. Далее, с конца мая и до конца июля 1940 года в высших немецких военных кругах с участием руководителей верховного командования, командующих сухопутными войсками, флотом и авиацией происходил оживленный обмен мнениями о том, когда и какими средствами начать войну против СССР. Ни у кого из генералов этот план войны против СССР не вызывал никаких принципиальных возражений. 22 июля 1940 года на совещании высшего командного состава германской армии с участием Гитлера командующий сухопутными войсками Браухич доложил уже практические выкладки генштабистов по поводу войны с СССР. К декабрю 1940 года был закончен гитлеровским генералитетом план «молниеносной» войны против СССР, подписанный Гитлером 18 декабря 1940 года и закодированный как «операция Барбаросса». Все эти и другие яркие факты, доказывающие ответственность гитлеровского вермахта в подготовке к нападению на СССР, приведенные в книге, основаны на подлинных записях в служебном дневнике генерала Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных сил Германии, и на других неопровержимых документах.

Гитлеровский генералитет несет полную ответственность за преступления против советских людей во время войны. Так, уже после начала войны, 16 июля 1941 года, Кейтель отдал приказ всем частям германской армии неуклонно выполнять директивы, обрекавшие на голод и смерть миллионы наших соотечественников. А еще 12 мая 1941 года верховное командование германских сухопутных сил издало директиву, согласно которой в грядущей войне подлежали уничтожению попавшие в плен армейские политработники и комиссары. Иодль в личной приписке к этой директиве не только выразил с ней согласие, но и указал, как вероломно следует проводить это злодейское «мероприятие». Как видим, в предвкушении грядущих побед в планах нападения на СССР было более чем достаточно «родственников» из гитлеровского генералитета.

Внимательный анализ положения нашей страны к 22 июня 1941 года позволяет автору показать, что гитлеровцы, готовившие

нападение на страну социализма, совершили по крайней мере две роковые ошибки: во-первых, они недоценили военно-экономическую мощь Советского государства, во-вторых, с презрением относясь к народу, не могли себе представить, что народные массы, объединенные и воодушевленные высокими идеями, «во имя этих идеалов готовы на самые невероятные жертвы, страдания и подвиги».

Многие из приводимых фактов широко известны, многие впервые публикуются. Но принципиально новой является прежде всего самая постановка вопроса.

Известно, что мы потеряли в этой войне около двадцати миллионов жизней, причем особенно значительными были эти потери в первый период войны, когда наши войска отступали почти до самой Москвы и в руки врага попали огромные территории, миллионы мирных жителей и военнопленных. И тут встает трудный вопрос: можно ли было избежать таких колоссальных потерь или они были неизбежны, ибо диктовались роковым стечением обстоятельств, неотвратимостью объективных причин?

Абсолютно честный, прямой ответ был дан в решениях нашей партии, в частности в постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий», где без обиняков говорится о серьезной ошибке, допущенной Сталиным «в организации подготовки страны к отпору фашистским захватчикам».

Да. Количество жертв могло бы быть значительно меньшим, если бы героические усилия народа, всех его слоев, по подготовке к грядущей схватке с фашистами не тормозились обстоятельствами, порожденными культом личности Сталина. О ряде фактов, подтверждающих это, читатель впервые прочтет в книге А. Некрича. Записи бесед автора с Маршалом Советского Союза Ф. И. Голиковым, генерал-майором И. А. Суслопаровым, сведения, почерпнутые из бесед с другими участниками событий, материалы из архивов германского МИДа, большинство которых публикуется на русском языке впервые, проливают дополнительный свет на эти события. Предупреждение, сделанное немецким послом в Москве Шуленбургом советскому послу в Берлине Деканозову о готовящемся нападении, донесение Шуленбурга Риббентропу и запись беседы посла с Гитлером вызывают огромный интерес. Нельзя пройти и мимо

мнения автора относительно «дела Тухачевского» и его товарищей. «Тем, кто давал распоряжение об их аресте и суде над ними, должно было быть известно, что обвинения беспочвенны, а документы сфабрикованы». Неизвестные или мало известные советскому читателю факты о предупреждениях относительно предстоящего нападения гитлеровской Германии на Советский Союз приводятся также и по другим источникам.

Собранные вместе известные и вновь публикуемые факты, четко и точно квалифицированные и описанные, будь то область внешней политики, разведки, подготовки оборонительных рубежей, размещения стратегических запасов, судеб военачальников, — все эти факты производят потрясающее впечатление, пробуждают прежде всего чувство гордости за наш народ, который под испытанным руководством своей партии, с коммунистами в первых рядах сражающихся, сумел, несмотря на крайне неблагоприятные условия, остановить, а затем и разгромить сильнее его врага.

Чем ближе подходит дело к роковому дню 22 июня, тем напряженнее становится изложение. В таких главах, как «Предупреждения, которыми пренебрегли» и «Накануне», счет от месяцев и недель переходит буквально на часы и минуты. Мировая печать под огромными аншлагами публикует сообщения о концентрации немецких войск вблизи советских границ. Фашистская авиация усиливает облеты приграничной полосы. Наши пограничники то и дело задерживают шпионов и диверсантов. Некоторые командиры советских дивизий обращаются к высшему командованию с просьбой разрешить им произвести необходимую передислокацию. Но следует категорическое «нет», так как это может быть расценено Германией как провокация.

Это «нет» звучит и в первой директиве, отданной наркомом обороны в 00 ч. 30 мин. 22 июня 1941 года, о приведении вооруженных сил в боевую готовность. Требуя принятия необходимых мер, директива в то же время умалчивала об открытии огня.

На рассвете 22 июня немцы начали наступление по всему фронту. Вероломный враг, разорвав в клочки советско-германские соглашения, вторгся в пределы нашей страны. В книге взволнованно рассказывается о первом дне войны. Воскрешается трагическая и героическая эпопея...

Книга написана квалифицированным спе-

циалистом-историком. Однако сквозь четкий, уравновешенный ритм продуманных и отточенных формулировок к читателю все время пробивается взволнованный голос современника событий — гражданина своей страны, ее историка и ее защитника, офицера, вернувшегося после победоносного завершения войны к своей мирной профессии ученого, не забывшего и не растерявшего ничего из обуревавших его тогда дум и чувств. И это сообщает книге особую драматическую напряженность, наполняет ее той атмосферой достоверности, подлинности, которую невозможно выдумать, придает ей огромную силу эмоционального воздействия.

А. Некрич известен и как автор солидных исследовательских монографий, например, «Внешняя политика Англии в годы второй мировой войны», и научно-популярных изданий вроде «Войны, которую назвали «странной» и других. Книга «1941. 22 июня» вышла в научно-популярной серии издательства «Наука». Однако ее трудно отнести только к популярным изданиям, потому что в ней сочетается яркое, понятное и интересное изложение описываемых событий и явлений со строгой научностью метода и рядом новых интереснейших выводов.

Г. ФЕДОРОВ,

доктор исторических наук.



ПУБЛИЦИСТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СТРОЙ

Ю. М. Стекло в. Воспоминания и публицистика. Издательство «Известия».
М. 1965. 248 стр.

Вечером 25 октября 1917 года петроградский корреспондент английской газеты «Манчестер гардиан» Филип Прайс направился в Смольный. «Второй Всероссийский съезд Советов уже окончился, — писал он впоследствии, — и делегаты разъезжались по всем направлениям компаса. Они везли с собой громадные тюки с брошюрами, прокламациями и воззваниями, чтобы распространить их в отдаленных областях. Татары в степи и охотники за пушниной в Сибири должны были получить известие о великом событии в Петрограде — о попытке создать первое в мире рабочее правительство...»

Большевики уже завладели помещением официального советского органа, газеты «Известия». Его меньшевистский редактор собрал свои пожитки и покинул редакцию незадолго до моего прихода. Большевистский деятель Стекло в стоя вел серьезный разговор с каким-то неизвестным мне человеком... Другой человек ковырял шилом в замке ящика, ключ от которого, по-видимому, захватили меньшевики. Вдоль одной из стен комнаты, погрузившись в глубокую задумчивость, расхаживал Ленин».

Так начались для Юрия Михайловича Стекло ва его рабочие будни в «Известиях», длившиеся восемь лет. Все эти годы центром его кипучей деятельности была редактируемая им газета. Ей прежде всего отдавал он жар своего сердца, ум и эрудицию

ученого, неистощимую революционную энергию большевика-ленинца.

Ю. М. Стекло в оставил большое литературное наследие. Известно, как высоко оценил его книгу «Н. Г. Чернышевский» В. И. Ленин, какие выразительные пометки оставил на ее полях, как часто подчеркивал удачные формулировки, отмечая вместе с тем ее недочеты.

Тематика научных интересов Юрия Михайловича была разнообразна. Здесь исследования о Чернышевском, о Бакунине, Герцене, Добролюбове, о Первом Интернационале... Эта разносторонность отнюдь не означала поверхностного подхода к вопросам. Какую бы тему ни избрал Ю. М. Стекло в для исследования, он разрабатывал ее глубоко, всесторонне. Разумеется, далеко не все его оценки и выводы бесспорны, многое не выдержало проверки временем, но одно ясно: автор их был настоящим ученым, историком-марксистом. К сожалению, в силу трагической судьбы Ю. М. Стекло ва многие его труды стали библиографической редкостью.

С тем большим удовлетворением встречаем мы однотомник работ Ю. М. Стекло ва, выпущенный издательством «Известия». В этой книге собраны некоторые его воспоминания и статьи с 1917 по 1926 год.

Мемуарные произведения Ю. М. Стекло ва посвящены прежде всего В. И. Ленину, которого он знал на протяжении четверти

века. Летом 1900 года Владимир Ильич пригласил Стеклова (только что совершившего дерзкий побег из якутской ссылки) в Женеву и поручил ему представлять искровские издания в Париже. По предложению В. И. Ленина Юрий Михайлович выступил на V Всероссийском съезде Советов в 1918 году докладчиком о первой Конституции Советского государства.

Стеклов рисует в своих воспоминаниях выразительный, запоминающийся портрет Ленина — вождя партии, теоретика-марксиста, организатора масс. К облику Ленина, воссозданному многими мемуаристами, он добавляет свои черточки и детали. Характерная особенность стекловских статей о В. И. Ленине — их злободневность, острое чувство современности, не увядающее много годы.

«...Гений характеризуется еще и тем, — писал Ю. М. Стеклов в статье «Наследие Ленина», — что работа его не исчезает бесследно, что она оставляет в истории прочный след, что она дает результаты осязательные и способные к дальнейшему развитию. Все это Ленин сделал. И можно прямо сказать, что ни один исторический деятель в этом отношении не создал ничего подобного тому, что создал Ленин, ни один не оставил таких богатых и плодотворных следов своей работы, какие удалось оставить Ленину... Он дал грядущим поколениям и учение, и оружие, и заступ для расчистки исторической нови и для прочного социалистического строительства. И чем дальше, тем все яснее и нагляднее выступает весь объем и величие ленинского наследства».

Эта характеристика Ленина звучит актуально и поныне. Между тем напечатана она была сорок один год назад, в январской книжке «Нового мира» за 1925 год!

Сказал свое слово Ю. М. Стеклов и о Якове Михайловиче Свердлове. Ценно то, что в этой статье Свердлов показан и как Председатель ВЦИК — выдающийся государственный деятель, и вместе с тем «просто милый, добрый товарищ Я. М. Свердлов, который волею партии поставлен на ответственный центральный пост».

Составители сборника правильно сделали, включив в него воспоминания «Как я бежал из Якутки» Современный читатель получит отчетливое представление о жизни и быте политических ссыльных до революции, о тех

условиях, в которых продолжали бороться за дело революции истинные большевики.

Значительную часть сборника составляют отрывки из книг Ю. М. Стеклова «Год борьбы за социальную революцию», «За кулисами современной печати», а также передовые «Известий» разных лет. Историки советской журналистики будут изучать этот материал. Он достоин внимания специалистов, представляет интерес для читателя любознательного, думающего.

Особо следует сказать о передовицах Ю. М. Стеклова, тех самых, которые Маяковский называл «стекловицами». Это был плод вдохновенного труда первого большевистского редактора «Известий». Все его журналистское мастерство проявилось в этих убедительных, с подъемом написанных, а точнее, продиктованных статьях. Об одной из них, озаглавленной «В стране Коммуны», В. И. Ленин писал автору в 1921 году:

«Тов. Стеклов!

Пишу наспех. Очень хочется послать Вам привет по поводу прекрасной статьи сегодня (13/1) о съезде в Туре. Анализ отношений гедизма и крестьян превосходен. Вот как и вот о чем надо Вам и писать побольше и дать, может быть, брошюру. Вероятно, и на французский перевести понадобится.

Лучшие приветы! Ленин».

Посвященные самым злободневным вопросам внутренней и внешней политики Советского государства, передовые статьи Ю. М. Стеклова почти ежедневно открывали и украшали номера «Известий» в течение многих лет.

«Я любил присутствовать в кабинете Юрия Михайловича, — вспоминает Д. И. Эрде, долгие годы работавший в «Известиях» со Стекловым, — когда он диктовал свои передовые, размашисто шагая из угла в угол. Предварительно Стеклов составлял конспект статьи, вернее, не конспект, а кратенькие тезисы, но часто даже не брал их в руки. Диктовал он не очень быстро, но сразу начисто, и запись потом уже почти не правил».

Стеклов, как всякий истинный талант, имел свой, присущий только ему, почерк и стиль. Его эрудиция и память просто поражали. Он был на одном уровне с такими большевиками-энциклопедистами, как Луначарский, Ольминский, Воровский. Он знал решительно все — историю, социологию, политическую экономию, философию, государ-

ственное право, литературу и искусство, знал все главные европейские языки. Известно, например, что народный комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин, сам большой стилист, любил советоваться с Юрием Михайловичем при составлении дипломатических нот».

Ю. М. Стеклов вместе с А. В. Луначарским организовал и редактировал журналы «Новый мир» и «Красная нива». Он руководил журналом «Советское строительство». В последние годы жизни он возглавлял Комитет по руководству учеными и учебными заведениями ЦИК СССР.

В своей жизни Ю. М. Стеклов не избегал и серьезных ошибок. Он был одним из организаторов литературной группы «Борьба», которая пыталась примирить революционное и оппортунистическое направления в российской социал-демократии. Стеклов сам впоследствии называл затею с группой «Борьба» мертворожденной.

В феврале 1917 года Ю. М. Стеклов выступал за двоевластие, занимал позицию революционного оборончества. Эти его ошибки получили суровую отповедь В. И. Ленина в «Апрельских тезисах». Под влиянием Владимира Ильича Ю. М. Стеклов признал ошибочность своих взглядов. Верный партии, он преодолел свои заблуждения, продолжая отдавать все силы революции.

Когда советская общественность отмечала девяностолетие со дня рождения Ю. М. Стеклова, старые коммунисты П. И. Воеводин, Р. П. Катанян, Н. П. Богданов поделились воспоминаниями о нем и выдвинули предложение — издать труды Ю. М. Стеклова. И вот эта книга вышла в свет. Многие читатели откроют для себя еще одного талантливого журналиста, ученого, человека широкой культуры, отдавшего всю свою большую жизнь борьбе за коммунизм.

Ю. ШАРАПОВ,

кандидат исторических наук.



СМЕЛЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В. Г. Венжер. Использование закона стоимости в колхозном производстве. «Наука». М. 1965. 350 стр.

К сожалению, название этой книги вряд ли привлечет к себе внимание широкого читателя, хотя для него она была бы полезна. И в этом нет вины читателя, который будто бы не дорос до того, чтобы находить и раскупать серьезные книги: виноват скорее укоренившийся в нашей издательской практике обычай, когда вещи, волнующие самые широкие круги населения, называются настолько равнодушно, академически-холодно, что массовый читатель с опаской обходит книги, адресованные именно ему, а не узкому кругу специалистов, как это он по ошибке в таких случаях думает.

Есть в этом какой-то налет высокомерия и страха: не снизиться бы с научного уровня до «демократических» приемов журналистики. А ведь даже самые ученые из ученых и самые солидные издательства всегда стремились сделать книгу притягательной для возможно широкого круга читателей.

Это несколько раздраженное замечание рождается из чувства глубокого удовлетворения, которое приносит исследование В. Г. Венжера, благодаря четкости и смелости мысли, живому языку, публицистическому задору, а также из сожаления, что эту интересную работу прочтут очень немногие (тираж семь тысяч экземпляров) в сравнении с числом даже только тех, кто просто должен ее прочитать.

О законе стоимости у нас написано много. Сторонники его использования — все, противников, можно сказать, нет. И все-таки этот вопрос остается в центре самых жарких споров. Иному наблюдателю подчас даже трудно разобраться, из-за чего же, собственно, идут дискуссии, когда несогласных-то нет. И тем не менее спорить есть о чем. Дело, если его несколько упростить, в следующем. До недавнего времени закон стоимости трактовался большинством ученых просто как учетная категория: поскольку в рабочих часах учитывать затраты труда и сложно и непривычно (сколько стоит этот паровоз? — двадцать часов), то следует сохранять, утверждают многие, стоимостную, денежную форму учета затрат в производстве. Вот и все место, которое они отводят в таком случае закону стоимости.

Сторонники его использования — все, противников, можно сказать, нет. И все-таки этот вопрос остается в центре самых жарких споров. Иному наблюдателю подчас даже трудно разобраться, из-за чего же, собственно, идут дискуссии, когда несогласных-то нет. И тем не менее спорить есть о чем. Дело, если его несколько упростить, в следующем. До недавнего времени закон стоимости трактовался большинством ученых просто как учетная категория: поскольку в рабочих часах учитывать затраты труда и сложно и непривычно (сколько стоит этот паровоз? — двадцать часов), то следует сохранять, утверждают многие, стоимостную, денежную форму учета затрат в производстве. Вот и все место, которое они отводят в таком случае закону стоимости.

Цены на ту или иную продукцию, движение ее от предприятия к предприятию, пропорции развития отдельных отраслей, размер и место вложения тех или иных капиталов — это не ограниченное ничем и никем поле деятельности для плановых организаций. По существу такой подход обосновывает волюнтаризм в решении хозяйственных вопросов. Другие думают по этому поводу иначе. Их позиция по существу сводится к следующему: решать проблемы цены, распределения готовой продукции, капиталовложений должны в условиях социализма, конечно, плановые организации, но они не так уж свободны в своем выборе, как это кажется. Эта свобода ограничена действием объективных, стихийных сил, игнорирование которых может принести только ущерб народному хозяйству, нарушая нормальное движение продукции, обрекая ее на гибель и порчу в одних местах и образуя дефицит в других.

Большое внимание автор уделяет использованию закона стоимости для стимулирования интенсификации сельскохозяйственного производства, улучшения землепользования.

На наш взгляд, в книге намечается верное решение проблемы слияния сельскохозяйственного производства с сопутствующими ему промышленными отраслями. Переработка сельскохозяйственного сырья — один из наиболее трудных этапов всего производства. Очень много продукции теряется каждый год из-за того, что не найдено нужного решения в этой области. Некоторые хозяйства пытаются строить собственные пункты по переработке зерна, молока, мяса. В принципе это правильно, отмечает автор, но колхозные заводы «должны быть на уровне современных требований техники и технологии производства». Это действительно очень важно, если только посмотреть, как много продукции теряется на мелких колхозных заводиках с отсталой технологией.

Большое место уделено в книге одному из коренных вопросов колхозной экономики: хозяйственному расчету и повышению рентабельности колхозного производства. Здесь конкретизируются такие категории и способы их расчета, как валовой продукт, валовой и чистый доход, рассказывается о путях повышения эффективности материального стимулирования. С интересом читатель познакомится также и с разделом о реализации колхозной продукции.

В. Г. Венжер принадлежит к тем пока еще не очень многочисленным экономистам, которые доводят понимание действия закона стоимости в условиях социализма до признания рынка, рассматриваемого в диалектическом единстве с планом, а не в противопоставлении, как это делают многие, одного другому. В этом — свежесть работы и ее особая актуальность при подготовке мер, способных создать мощную плотину против всякого рода волюнтаризма, субъективизма. Однако отметим, что в рецензируемой книге автор менее последователен и четок в этой своей позиции, чем, скажем, в статье «Особенности колхозной экономики и проблемы ее развития», опубликованной в недавно вышедшем сборнике «Производство, накопление, потребление» (издательство «Экономика»).

В. Г. Венжер — экономист с большой и завидной научной биографией. С предложениями о широком использовании товарно-денежных отношений в развитии колхозного производства он выступал еще задолго до того, как об этом заговорили все. Но здесь хотелось бы возразить тем, кто воспринимает разработки В. Г. Венжера узко, считая, что все поставленные им проблемы относятся только к колхозам, а к государственным предприятиям теоретические предписания автора неприменимы. Опыт передачи техники из МТС в колхозы, по-моему, как нельзя лучше показал, что совершенствование товарно-денежных отношений только в каком-то одном, автономном уголке народного хозяйства дела еще не решает. Действительно, когда колхоз может свободно купить технику, а услуги по ремонту, запасные части, сама система заказов техники находится еще под сильным воздействием административной, а не товарно-денежной системы, то эффект принятой меры сильно снижается. К сожалению, и сам автор недостаточно активно подчеркивает универсальность своего подхода к решению народнохозяйственных задач, и это дает право на ограниченное толкование его выводов. Экономист — это живой организм, и любое вмешательство в один из уголков ее должен быть соответственно согласован со всеми ее составными компонентами.

Об особенностях колхозной экономики, об организационном их устройстве написано у нас немало. И вот что бросается в глаза: слишком многие авторы как бы извиняются перед читателями и сразу же спешат заве-

ритель, что эти особенности — явление переходное, отмирающее и что недалек тот день, когда особенности эти исчезнут и произойдет наконец долгожданное слияние «высшей» и «низшей» формы собственности. Но каких таких особенностей — постараемся вспомнить — приходится стесняться тем, кто пишет о колхозах? Это прежде всего такой «анакронизм», как выборы председателя колхоза, — то ли дело директор: назначили — и все ясно сразу; это «странное» правило считать законным только то решение, которое обсуждено и принято правлением колхоза, а не единолично председателем; это в конце концов общее собрание колхозников, которое регулирует основные вопросы хозяйственной и культурной жизни предприятия. Не будем говорить о том, что когдa все эти особенности колхозов превратились в формальность: за это как раз и приходится платить дорогой ценой

Но сами принципы демократического управления хозяйством — вещь далеко не эмоционального свойства, рассчитанная на какую-то абстрактную справедливость. Можно привести много примеров того, что их осуществление в практике позволяло поднимать из разлуки, казалось бы, самые безнадежные хозяйства. Само собой разумеется, что для хозяйственника-бюрократа, мня-

щего себя всемогущим, особенности колхозного строя как бельмо в глазу, потому что демократические принципы управления экономикой — самые худшие враги волюнтаризма, субъективизма.

Мартовский и сентябрьский Пленумы ЦК КПСС 1965 года ориентируют нашу экономику на гораздо более широкое, чем прежде, использование товарно-денежных отношений и демократических принципов управления народным хозяйством. В этом отношении государственным предприятиям есть чему поучиться у колхозов, если, конечно, избежать высокомерия. И нечего думать, что демократические институты управления хозяйством — специфическая особенность мелких, патриархальных общин. Иной современный колхоз по объему валовой продукции, по уровню рентабельности, пожалуй, заткнет за пояс среднее промышленное предприятие!

Не сдавать в архив, а развивать и укреплять дальше здоровые принципы колхозной демократии призывает автор. Я горячо рекомендую прочитать эту книгу о колхозах всем, кто интересуется вопросами развития сельского хозяйства в нашей стране.

Г. ЛИСИЧКИН,

кандидат экономических наук.



ЗАКОНОМЕРНЫЙ ПЕРЕЛОМ

С. А. Федюкин. Советская власть и буржуазные специалисты. «Мысль». М. 1965. 255 стр.

«Если бы этот крутой перелом произошел только во мне, о нем не стоило бы писать, — мало ли как ломаются психология и убеждения людей. Но в том-то и дело, что я был одним из многих, — писал в своих воспоминаниях бывший царский генерал М. Д. Бонч-Бруевич, с первых дней Октября мужественно вставший на сторону революции. — Существует ошибочное представление, что подавляющее большинство прежних офицеров с оружием в руках боролись против Советов. Но история говорит о другом».

О чем же говорит история? Ответ на этот вопрос и дается в книге молодого историка С. А. Федюкина.

Автор рассказывает, как решалась проблема привлечения буржуазных специали-

стов к сотрудничеству с советской властью в течение первого послереволюционного пятнадцатилетия (1917—1932 годы).

Выступая во всеоружии фактов, автор убедительно и веско опровергает четкую, но на поверку слишком плоскую схему, сложившуюся в исторической науке и популярной литературе под влиянием сталинских догм. Как известно, выступая на XVIII съезде партии, И. В. Сталин заявил, что наиболее влиятельная и квалифицированная часть старой интеллигенции объявила борьбу советской власти и затем была разбита и рассеяна; средняя ее часть заняла выжидательную позицию, а рядовые присоединились к народу. Федюкин опровергает это утверждение. Действительно, нелепо было бы говорить, что такие

всемирно известные представители науки и искусства, как К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, А. П. Карпинский, И. В. Мичурин, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, К. С. Станиславский, А. И. Сумбатов-Южин. Вс. Э. Мейерхольд, не пользовались влиянием в своей среде или не были высококвалифицированными специалистами. Но они не объявляли войны советской власти, а пошли вместе с нею. И, конечно, их никто не «разбивал» и не «рассеивал». Не являлась единой и группа «рядовой» интеллигенции. Были в ней и «саботажники». И автор делает совершенно правильный вывод, что такой подход Сталина к этому вопросу был неверен методологически. «Водораздел здесь проходил не между группами интеллигенции, а внутри этих групп», — замечает С. А. Федюкин.

Историк, исследуя статистику и отчеты, воспоминания и протоколы, письма и газеты, вскрывает качественные и количественные стороны процесса «мирного завоевания» буржуазной интеллигенции советской властью. В. И. Ленин никогда не сводил эту проблему к узкому вопросу об использовании спецов, а связывал ее с решением главных задач культурной революции.

Особенно интересна глава книги «Военные специалисты в Красной Армии». В. И. Ленин первым поставил вопрос о привлечении буржуазных военных специалистов к строительству армии нового типа, необходимой для того, чтобы отстоять завоевания Октября. Миллионы штыков, как замечал Ленин, — это еще не армия. Нужны были кадры командиров: из рабочих и крестьян. Только за 1918—1920 годы военно-учебные заведения подготовили сорок тысяч командиров и политработников.

Но советская власть не могла обойтись и без старых специалистов. В числе откликнувшихся на призыв большевиков были генерал А. А. Брусилов, генерал А. А. Самойло, бывший помощник начальника генштаба Н. М. Потапов, известный специалист военно-инженерного дела подполковник Д. М. Карбышев (в будущем легендарный герой Великой Отечественной войны). Руководящие посты в Красной Армии заняли бывшие полковники И. И. Вацетис, С. С. Каменев, Б. М. Шапошников, А. И. Егоров, поручик М. Н. Тухачевский, капитаны Е. А. Беренс, А. И. Берг и многие другие.

В 1918 году семьдесят пять процентов из числа всех военных специалистов составляли офицеры старой армии. Их удельный вес, разумеется, сокращался, и в 1920 году они составляли лишь сорок два процента.

С. А. Федюкин отмечает, что «левые коммунисты», сопротивляясь привлечению военных специалистов, поднимали шумиху о восстановлении старого офицерского корпуса, об «урезывании» диктатуры пролетариата.

Особую роль в Красной Армии играл институт военных комиссаров. Автор выступает против примитивного представления о военкомах, стоявших якобы с револьвером в руках за спиной командира. Ведь к концу 1919 года в армии было всего немногим более пяти тысяч комиссаров, а бывших офицеров старой армии — несколько десятков тысяч. Задача военкома заключалась в другом — в терпеливом воспитании и перевоспитании старого офицера. Этому воспитанию помогала сама жизнь, борьба, когда в крови и огне сражений раскрывались благородные цели подлинных, а не мнимых защитников родины и народа — большевиков. «Эта обстановка массы дружно действующих рабочих и крестьян, знающих, за что они борются, — говорил В. И. Ленин, — делала свое дело, и все большая и большая часть людей, которые переходили к нам из другого лагеря, иногда несознательно, превращалась и превращается в наших сознательных сторонников».

Известно важнейшее ленинское положение о том, что борьба за буржуазных специалистов есть особая форма классовой борьбы в переходный период от капитализма к социализму. Автор показывает, что это была борьба, включавшая в себя и отсеменение прямых врагов революции, и нейтрализацию колеблющихся, и, главное, повседневное воспитание в труде, в строительстве социализма, борьба не против интеллигенции, а — за нее. Именно так широко смотрел В. И. Ленин на функции диктатуры пролетариата, сочетавшей в себе борьбу кровавую и бескровную, насильственную и мирную, педагогическую и административную.

При создании комиссий рабочего контроля, а затем и органов управления предприятием было обязательно включение специалистов. Они широко привлекались к работе производственных совещаний, к планированию

производства. План ГОЭЛРО привлек к работе по электрификации страны более двухсот специалистов.

Автор книги не приукрашивает положения. Он говорит и о забастовках профессуры, и о вредительстве некоторых специалистов как определенной форме острой классовой борьбы в тот период, и о мучительно трудном и длительном процессе внутреннего перевоспитания, коренной ломки буржуазного мировоззрения тысяч людей. Ленинские методы идеологической работы среди интеллигенции сочетали в себе принципиальную и острую борьбу против буржуазной идеологии с тактом, чуткостью и заботой о специалистах, с величайшим доверием к человеку.

Ценность исследования С. А. Федюкина — в правдивом показе повседневного, непрерывного внимания Ленина, партии к этому вопросу. И действительно, не было ни одного партийного съезда, ни одного съезда Советов в течение первых лет революции, который не рассматривал бы острый и жизненный для страны вопрос о буржуазных специалистах. Смешно и беспочвенно выглядят голословные выпады западных фальсификаторов о «насилиях» над специалистами. «Заставить работать из-под палки целый слой нельзя», — говорил В. И. Ленин.

В книге хорошо показано, как строг и беспощаден был Ленин к незаконным арестам, клевете, травле специалистов, проявлению «спецедействия».

В. И. Ленин гневно бичевал «комчанство», бюрократическое самомнение тех, кто не умел ценить творческую работу интеллигенции. «Поправлять с кондачка работу сотен лучших специалистов, отделяться пошло звучащими шуточками, чваниться своим правом «не утвердить», — разве это не позорно? — писал В. И. Ленин. — Надо же научиться ценить науку, отвергать «коммунистическое» чванство дилетантов и бюрократов...» О создании обстановки товарищеского совместного труда со специалистами говорил Программа партии, об этом напоминало постановление ЦК партии 1925 года.

С. А. Федюкин пошел, на наш взгляд, по правильному пути — он рассказывает не о судьбах отдельных людей, а о психологических сдвигах в среде старых специалистов, прошедших сложный путь от враждебно-выжидательной позиции, аполитич-

ности — к лояльности и наконец к увлеченному, активному социалистическому строительству. Сбылось смелое пророчество Ильича, уверенно заявившего: «Весь опыт неминуемо приведет интеллигенцию окончательно в наши ряды...»

В книге имеется и ряд пробелов. Необходимо было бы основательнее вскрыть исторические корни исследуемого явления — показать сильное влияние революционно-демократических идей и настроений русской дореволюционной интеллигенции. Это, безусловно, способствовало приходу ча сторону народа, победившего в октябре 1917 года, ее лучших представителей.

Думается, что следовало более обстоятельно показать деятельность ленинцев-большевиков, воспитывавших буржуазных интеллигентов. Великим умением притягивать к себе талантливых людей, привлекать и воодушевлять их на большое дело отличался, в частности, Г. М. Кржижановский. А какое исключительное воздействие на умы и сердца русских интеллигентов оказал первый нарком просвещения А. В. Луначарский! Мало в этом плане исследована исключительно плодотворная роль А. М. Горького, недостаточно раскрывается деятельность Ф. Э. Дзержинского, В. В. Куйбышева, Г. К. Орджоникидзе, неуклонно проводивших ленинскую линию по отношению к специалистам.

В книге как бы пунктиром начертана параллельная линия — подготовка новых советских кадров. Однако эта линия почти не пересекается с основной линией исследования. И это досадно. Ведь буржуазные специалисты помогали создавать новые кадры, и в этом была их особая ценность для молодого Советского государства.

Книга написана неровно: последняя ее часть, посвященная периоду социалистической реконструкции, изложена более бегло, менее основательно, чем предыдущие разделы. Однако в целом книга С. А. Федюкина — несомненная удача историка.

Буржуазная интеллигенция уже в середине тридцатых годов перестала существовать в нашей стране как понятие. Она вошла в единую семью советской интеллигенции, стала ее органической частью. Опыт, накопленный партией, — это драгоценный опыт перековки, воспитания и руководства важным общественным слоем, образце борьбы за людей, за превращение потенциал-

ных врагов и колеблющихся в друзей и союзников

Проблема формирования советской интеллигенции — одна из наименее разработанных в нашей исторической науке; в этом плане представляет большой интерес и статья Э. Б. Генкиной о ленинских методах привлечения интеллигенции в социали-

стическое строительство (см. «Вопросы истории», № 4, 1965). Интерес к этой теме подсказан самой жизнью, и в частности, практикой стран, вступивших на путь социализма.

Л. ЗАК,

кандидат исторических наук.

★

РУКОПИСИ ИЗ КУМРАНА

И. Д. А м у с и н. *Находки у Мертвого моря.* «Наука». М. 1965. 103 стр.

Когда пишут о кумранских рукописях, обыкновенно начинают с козы. С козы, которая укрылась в пещере. И с юноши-бедуина по имени Мухаммед эд-Диб, который в поисках козы наткнулся на глиняные сосуды с кожаными свитками в них. С трогательно наивного бедуина, решившего было нарезать ремни для сандалий из рукописей, которые впоследствии продавались за сотни тысяч долларов.

История с козой придает научному открытию оттенок приключения и вместе с тем внушает надежду, будто каждому невежественному человеку доступно сказать новое слово в науке — словно Золушке женить на себе сказочно богатого и красивого принца. То и другое привлекательно, но — иллюзорно. Истинная увлекательность исследования — не в авантюристике сопутствующих обстоятельств, а в поэзии научной логики (пусть простят мне и поэты и ученые сочетание этих будто бы несочетаемых понятий). У начала и конца исследования стоят слава *Boгу*, не козы и не быки — разве что в той роли, какую отвел им Пифагор, который, доказав известную теорему о сторонах треугольника, принес в жертву сто откормленных быков.

Поэтому я нарушу установившуюся традицию и начну не так, как Амусин, — не с козы. Тем более что и сам Амусин в предисловии к полуроману-полуисследованию Г. Штоля «Пещера у Мертвого моря» написал: «В конце концов для истории открытий кумранских рукописей совершенно безразлично, соответствует ли истине рассказ самого Мухаммеда, что он метнул камень в отверстие пещеры, надеясь сплунуть козу, если она забралась туда, или версия Штоля, что потерявшаяся коза была найдена Ома-

ром, другом Мухаммеда, а Мухаммед вне связи с козой заинтересовался неведомой ему ранее пещерой...»

В IV — начале V века нашей эры жил благочестивый писатель Иероним. Родом из Далмации, он получил прекрасное образование в Риме, изучал богословие в Антиохии, посетил Палестину и Александрию. Он овладел древнееврейским языком и создал классический латинский перевод Библии, по которому столетиями отправляли богослужение католические священники. Он отстаивал в жарких спорах христианские догматы и обличал еретиков.

Среди инакомыслящих, чье учение Иероним критиковал, — палестинская секта эссенов, которых греки именовали ессеями. «Эссены говорят, — писал, между прочим, Иероним, — что сам Христос был тем, кто научил их всяческому воздержанию». Слова Иеронима на первый взгляд не кажутся примечательными: казалось бы, что с того, что палестинские сектанты считали своим наставником Христа? Но секта эссенов возникла не позднее середины II века до нашей эры. Как же мог научить их «всяческому воздержанию» Христос, если его деятельность евангелия относят к тридцатым годам I века нашей эры, если он, таким образом, на полтора-два столетия моложе эссенов?

Впрочем, может быть, учителем эссенов был не евангельский Иисус Христос, а какой-то другой Христос? В подобном допущении нет ничего невероятного, ведь греческое слово «христос» — отнюдь не собственное имя. Оно означает «помазанник». Этим словом (в его еврейском варианте «машиах», «мессия») в древней Палестине называли и царей — помазанников божьих, и на-

родных вождей, обещавших угнетенным и обездоленным помощь божью и освобождение от страданий. Мессией объявляли многие и Бар-Кохбу, вождя повстанцев, поднявшихся в Палестине в 132 году нашей эры против владычества римлян.

Кто же такие эссены, считавшие основателя своего учения мессией, христом? О них подробно писали различные древние авторы: Филон Александрийский, Плиний Старший, Иосиф Флавий. Все они в один голос свидетельствуют: эссены — иудейские сектанты, уходившие из городов, отвергавшие частную собственность, отказывавшиеся от семьи и расселявшиеся общинами в полупустынной местности на западном побережье Мертвого моря.

И как раз в этом районе, на западном побережье Мертвого моря, в местности, называемой Кумран (на территории нынешней Иордании), с конца сороковых годов стали находить рукописи, переписанные самими эссенами и в момент опасности спрячанные в пещерах. До настоящего времени обнаружено одиннадцать кумранских пещер, содержащих рукописи или отрывки из них, и найдено одиннадцать лучше или хуже сохранившихся свитков и около сорока тысяч фрагментов.

Кумранские рукописи датируются примерно II веком до нашей эры — I веком нашей эры (немногие еще старше). Это кожаные свитки с древнееврейским или арамейским текстом (арамейский язык — семитический, широко распространенный в то время на Ближнем Востоке). По своему содержанию они могут быть разделены на три большие группы: 1) отрывки из Ветхого завета; 2) апокрифы, то есть не включенные в канонический текст Библии сочинения на ветхозаветные темы; 3) эссенские произведения.

Ветхий завет — хорошо известная книга, многократно издававшаяся и в еврейском оригинале, и в многочисленных древних переводах. Почему же ученые с таким жадным любопытством исследуют и публикуют ветхозаветные кумранские рукописи, даже ничтожные обрывки размером в несколько квадратных сантиметров? Из всех существующих ныне рукописей Ветхого завета кумранские — самые древние. Они на тысячу с лишним лет старше наиболее ранних манускриптов еврейской Библии, известных до находок у Мертвого моря. Они были переписаны еще до того времени, как еврей-

ские богословы создали единый канонический текст Ветхого завета, так называемый масоретский текст. Они позволили ученым заглянуть в историю библейского текста, проследить его изменение. (Любопытно при этом, что кумранские тексты в некоторых случаях, расходясь с масоретской редакцией, оказываются близкими к так называемой Септуагинте — греческому переводу Ветхого завета, выполненному еще до утверждения канонического еврейского текста. Был найден даже 151-й псалом, имевшийся в Септуагинте и отсутствовавший в масоретском тексте.)

Находки апокрифов значительно расширили наши представления о палестинской литературе накануне возникновения христианства: были обнаружены памятники либо вовсе неизвестные, либо же сохранявшиеся в средневековых греческих, латинских, славянских версиях. Находки апокрифов в кумранских пещерах расширили наши представления — как это ни удивительно — и о культуре Древней Руси: ленинградский славист Н. А. Мещерский показал недавно, что апокрифическая книга Еноха была переведена в Древней Руси не с греческого, а с еврейского оригинала, ставшего ныне известным по находкам в Кумране. А это свидетельствует, что русские книжники знали не только греческую, но и еврейскую литературу.

Но, пожалуй, наибольший интерес ученых вызвали собственно эссенские памятники: «Устав» общины, существовавшей в Кумране, толкования на ветхозаветные тексты, гимны и пророчества эсенов. (Кстати сказать, самый термин «эссены» не встречается в кумранских сочинениях — по-видимому, этим словом называли сектантов те, кто не принадлежал к общине, которой сами эссены дали имя «Община бедных», или — реже встречающееся — «Новый завет».)

Сообщения о кумранских находках в нашей литературе стали появляться только с 1956 года. Первая — чисто информационная — статья была написана ленинградской исследовательницей К. Б. Старковой. Затем интерес к рукописям из Кумрана стал стремительно возрастать. Начали выходить переводы текстов, статьи и книги.

В отечественном «кумрановедении» Амусину принадлежит особое место.

Плохо, если ученый оказывается бессильным осмыслить свои частные исследования

и не поднимается от конкретных статей к обобщению накопленного материала. Но, пожалуй, еще хуже, когда ученый приступает к обобщению до конкретного исследования: в таком случае им руководят взятые идеи и результатом творчества поневоле оказывается сочинение, пронизанное догматизмом.

Амусин счастливо сочетает искусство анализа источников с даром синтезирования, а если сказать об этом проще — он автор и специальных статей, рассчитанных на историка-профессионала, и лучших на русском языке общих очерков, посвященных кумранским находкам. Первая его книга — «Рукописи Мертвого моря» — вышла в 1960 году. Новая книга короче и популярнее, но вместе с тем богаче по содержанию, ибо в ней Амусин мог учесть все то новое, что достигнуто кумрановедением за последние годы: новые находки, новые публикации текстов, новые гипотезы и новые решения старых проблем.

Научная достоверность, осведомленность о последних работах, умное и ясное изложение — все это большие достоинства, но мне бы хотелось сказать не только о них, но и о другом качестве книг Амусина.

Брань, звонкая фраза, сопровождающаяся передержками и грубыми ошибками, приносит только вред научно-атеистической пропаганде и обесценивает иные книги, посвященные историко-религиозным темам. Напротив, только спокойное просветительство, объективное освещение истории религии способно зародить сомнения у верующего и укрепить скепсис у того, кто уже стал сомневаться. Действенность полнinho научных книг несравнимо более значительна, чем книг разоблачительных. Ведь знание истории религии важно для пропагандиста и опасно для верующего.

Книги Амусина как раз и принадлежат к просветительским произведениям такого рода: ни на йоту не отступая от принципов научно-атеистического мировоззрения, Амусин остается объективным, и если «бесчисленные исправления библейского текста, предложенные библейской критикой за последние два столетия, как правило, не подтверждаются древнейшими... библейскими рукописями из Кумрана», то Амусин и не старается спасти авторитет библейской критики «Это говорит о том, — пишет он. — что дошедший до нас масоретский текст ос-

нован на хорошей рукописной традиции». Таков вывод серьезного советского специалиста.

Библия (именно это принципиально важно для атеиста) — не продиктованная богом книга, а человеческий документ, и история библейского текста не отличается от истории других созданных людьми текстов. Между домасоретским (найденным в Кумране) и каноническим масоретским текстами имеются существенные расхождения, свидетельствующие о большой редакционной работе. Но заслуга Амусина в том, что, признавая все это, он не стремится представить масоретов бесцеремонными фальсификаторами.

Еще до кумранских находок бросалось в глаза сходство между эссенской общиной и ранним христианством. Эссены считали родственниками, предками христиан. Рукописи кумранской общины сделали это сходство еще более ощутимым. Сходство — но не тождество: Амусин справедливо подчеркивает различие между иудейской сектой, проповедовавшей бегство в пустыню, и христианством, отвергшим племенную рознь и пытавшимся завоевать мир.

И все же сходство поразительно: сходство терминологии, сходство обрядов, сходство социальной проповеди, сходство этических принципов и даже сходство преданий об основателе учения. Та скупая фраза Иеронима, которая показалась нам загадочной, получает разъяснение в кумранских свитках и фрагментах. Не очень внятно, полунамеками, повествуют эссены об «учителе праведности» (или «учителе справедливости»), создавшем их «Новый завет». Они повествуют о нечестивом жреце, который преследовал учителя, и о нестойких учениках, которые предали его. Они ждут его воскресения «в конце дней». Для эссенов учитель — предмет поклонения, вера в него — залог будущего блаженства.

В первый момент может показаться, что перед нами рассказ о Христе. Кое-кто на Западе (больше из числа журналистов, нежели ученых) пустил в ход отождествление Иисуса Христа и «учителя справедливости». Отождествление, впрочем, не новое — ведь и Иероним не разграничивал того и другого. Однако я должен повторить то, что уже было сказано по поводу Иеронима: «учитель справедливости» — не Иисус Христос, ибо предания о нем возникли задолго до того

времени, к которому евангелия относят жизнь Иисуса Христа. Кто он был — мы не знаем, отождествить его с каким-либо персонажем палестинской истории не удается. Он жил, видимо, во второй половине II века до нашей эры, если он вообще когда-либо жил.

На проповеди ранних христиан отчетливо проступают следы эссенства. Обстоятельство это чрезвычайно существенно для научно-атеистической пропаганды. Суть дела заключается в следующем.

То, что разделяет атеистов и христиан, — не признание историчности Христа (как это иногда у нас представляют, сосредоточивая весь удар на доказательстве мифичности Иисуса). Нас разделяет не это, потому что можно допустить реальность Иисуса как политического, социального и религиозного проповедника — и остаться атеистом. Различие в другом, и прежде всего в том, что для христианина проповедь Христа — божественное откровение, ни с чем не сопоставимое, единственное в человеческой истории явление. И это по-своему логично: ведь сын божий должен был проповедовать истины,

которые оставались скрытыми от человеческого взора.

И вдруг оказывается, что он не только принес в мир идеи, уже выраженные до него эссенами, но и сформулировал их так, как формулировали это авторы кумранских сочинений. Он говорит — в евангелиях — языком эссенов. В чем же тогда уникальность его проповеди и почему ее надо считать божественной?

Для атеиста родство раннего христианства и эссенства не кажется загадкой. Христианство — земное явление и имеет свои социальные и идейные корни. Эссенство — один из идейных источников христианства. Создатели христианства использовали наличный багаж эссенских принципов и формул, а может быть, даже эссенское предание об учителе.

Находкам в Кумране посвящена первая часть интересной книги Амусина. Вторая часть рассказывает о рукописях из Мурабаата и других окрестных мест. Она относится к иному времени и трактует иные проблемы.

А. КАЖДАН.



К семидесятипятилетию Ильи Эренбурга

Б. ПОЛЕВОЙ

★

НЕТ, ЭТО НЕ СТАРОСТЬ!

Редакция «Нового мира» от своего имени и от имени читателей журнала поздравляет Илью Григорьевича Эренбурга с семидесятипятилетием и сердечно желает ему доброго здоровья, неиссякаемых творческих сил и новых успехов.

Когда я сел к столу, чтобы написать эти строки, которыми мне хотелось откликнуться на весьма почтенный юбилей одного из известнейших писателей современности, мне прежде всего припомнились не сто книг самых разнообразных жанров, написанных им за его большую и бурную жизнь, а скромная сцена, свидетелем которой я стал в Афинах несколько лет тому назад. После длинного, утомительного дня, заполненного митингами и собраниями в защиту мира, греческие друзья повели нас смотреть ночной Акрополь, который в эту пору, освещенный лунным светом, дивно как хорош. Мы любовались Парфеноном и в профиль, и в фас, и в три четверти. Я готов был заниматься этим всю ночь, но Илья Григорьевич вдруг сказал:

— Это камни, прекрасные камни. А люди? Где люди? Я хочу видеть людей...

Наши греческие друзья улыбнулись и каким-то иным, не парадным, не туристским, ходом повели нас с холма вниз, и мы быстро оказались в путанице окраинных улочек, уже пустых, сонных, погруженных во тьму. И тут вспомнили, что мы не ужинали. Но до центра далеко: ни автобусов, ни трамваев, ни такси. И тогда один из наших греческих спутников постучал в ставню крохотной и уже закрытой забегаловки. Из двери высунулся пожилой полуодетый человек с сердито встопорченными усами. Завязался быстрый южный разговор, во время которого хозяин заведения так энергично бранился, что и без перевода было понятно, что заведение давно закрыто, что мы сумасшедшие нахалы, что ради нас он вставать не будет и мы сделаем правильно, если немедленно уберемся ко всем чертям, если у нас нет охоты познакомиться с полицией. Такой охоты у нас не было, и мы было уже и ушли, но в это время друг, хлопотавший за нас, произнес: Илья Эренбург.

— Илья Эренбург?— удивленно переспросил хозяин и уставился в лицо Ильи Григорьевича, который в разговоре участия не принимал.

И тут произошло невероятное. Стуча босыми пятками, хозяин шумел в доме. Там загорелась лампа. Стало видно, как тени мечутся по комнате. Потом дверь открылась, и нас пригласили в крохотное помещение, где стояло три столика. Они были сдвинуты. На них топорщилась накрахмаленными углами старенькая починенная скатерть. На ней стояли фляги с вином, на тарелках были нарезаны помидоры, сыр и хлеб—все, чем были богаты хозяева,—а оба они, муж и жена, немолодые люди, суетились у стола, то и дело поглядывая на писателя, явно смущенного таким выражением их симпатий.

А тем временем совершалось совсем необычное. Как в этот глухой час ночи распространилась по темным улочкам весть о необычном госте из Советского

Союза, не знаю, но через несколько минут забегаловка оказалась совершенно набита людьми так, что дышать стало нечем. Тогда наши столики вынесли на тротуар, и нас уже окружала целая толпа, а люди все подходили и подходили. И звучало: Илья Эренбург, Илья Эренбург. Потом какая-то молодая женщина протолкалась с книгой. Попросила автограф. Пример оказался заразительным. Скоро книги — растрепанные, зачитанные — лежали перед Ильей Григорьевичем уже стопкой. Он подписывал их одну за другой, кто-то помогал ему, подавая книги. Словом, налачился этакий непрерывно действующий конвейер. Эренбург пал жертвой своей славы, в то время как мы, не обремененные такой известностью, эгоистически уплетали хлеб со свежим сыром и запивали его густым и терпким домашним вином.

Кончилось это совсем мило. Чтобы доставить нас в центр Афин, разбудили какого-то шофера, владевшего «фордиком», построенным на заре автомобилестроения. Ему поручалось довезти Илью Эренбурга до роскошного нашего отеля. У машины была одна только скорость. Поклонники литературного таланта разогнали ее руками, и так же — руками — нам пришлось разгонять ее потом у нашего «Атений палас», где шофер не взял с нас ничего, ибо друзья, по его словам, просто побили бы его, если бы узнали, что он взял что-то с Эренбурга.

Подобных страничек много в большой, интересной, сложной биографии Ильи Григорьевича, и если я сейчас вспомнил этот случай, происшедший на южной окраине Европы, на улице рыбаков и каменотесов, то только потому, что он, как мне кажется, характеризует отношение к этому многостороннему, своеобразному человеку и его литературной и общественной деятельности со стороны тех, кого мы очень неточно именуем «простыми людьми», ибо всякий человек сложен и простых людей нет.

За свою долгую литературную жизнь Илья Григорьевич написал много книг. Это очень разные книги. Иные из них были сразу приняты читателем. По поводу других разгорались в литературе яростные споры. Наконец были и произведения, вызвавшие у некоторых читателей, да и у меня самого, например, активный протест. Но можно ручаться, что его книги — среди которых и объемистые романы, и сборники боевых газетных корреспонденций, и нежная лирика, и яростная публицистика, и искусствоведческие исследования о культуре давних веков, и страстные реплики на политические события сегодняшнего дня, — среди всей массы созданного и создаваемого им нет литературы равнодушной, серой, стандартной. Можно, прочтя, невзлюбить ту или иную книжку, можно протестовать против той или иной концепции автора или толкования того или иного исторического факта. Но при всем том среди всех этих книг, созданных одним человеком, вряд ли найдешь хоть одну, которая оставит равнодушным и которую мы, не дочитав, отложим в сторону.

В этом особенность Эренбурга-автора.

Ему исполнилось нынче семьдесят пять лет. Обычно о заслугах человека в этом возрасте приходится говорить в прошедшем времени. О нем мы говорим в настоящем. Из-под пера его продолжают выходить и мемуары, и статьи на самые боевые, животрепещущие темы, и стихи... Совсем недавно мы видели отличный фильм об отличном художнике Мартиросе Сарьяне, текст для которого написал Эренбург. Он много ездит, вернее летает, ибо не любит терять время на дорогу. Он делает доклады, выступает на диспутах, борется. Он борется сейчас за мир, против империализма во всех его проявлениях, с той же яростью и страстностью, с какой боролся с нацизмом в дни Великой Отечественной войны. Его любимые цветы частенько остаются неухоженными, ибо хозяин, обожающий их, оказывается в далеком путешествии.

Ну какая же это, скажите, старость в семьдесят пять лет!



«— А пошел ты на фиг! — сказал Гуляев. — Не имею я права об этом думать. Ясно тебе? И не желаю. У меня сердца на всех не хватит.

— И все-таки здесь что-то не так, — сказал Саша.

— Ах, не так? — Гуляев приблизил к нему через стол свое красное, потное лицо. — А можешь ты мне сказать как?

— Не могу, — сказал Саша».

Рассказ кончается этим диалогом, диалогом между совестью и необходимостью. Преступников нельзя было оставлять на свободе. Это факт. Но семья разрушена. Заодно страдаю те, кто ни в чем не виновен. И это тоже факт. Может быть, лучше иметь сердце, которого «на всех не хватит», не воспринимать жизнь во всей ее драматической полноте? Герой киноповести «По совести» капитан Серебровский так и говорит: «Ну, знаешь, совесть — это беспартийное понятие. Народ, к вашему сведению, воспитывают законом...» Но вот Ганин, тоже работник милиции, считает, что воспитывать надо не только законом, но и совестью: «Если мы все это жулье не сумеем сделать мало-мальски порядочными людьми, то наше будущее несколько отсрочится. Ясно?» Капитану Серебровскому не ясно. «Моему поколению обещано, и все. Точка. Я верю...» Во что же верит капитан Серебровский, не верящий в совесть? В закон? На словах — да, на деле — нет. На деле он верит в начальство. Ему «обещано». За него подумают.

Они часто встречаются на страницах книги И. Меттера, эти односторонние, жестокие и жесткие люди. Они вовсе не железные. Они просто жестяные и плоские, и они легко гнутся в ту сторону, где выгоды. Их всех — и Дуговец из повести «Мухтар», и кадровика Каляева из упомянутой выше киноповести, и заведующего роно из повести «Свободная тема»... обедняет, калечит внутреннее отсутствие человечности, мягкости, атрофия того нравственного чувства, которое называется совестью. «Жестяные люди» готовы убить Мухтара, заодно тяжело обидеть Глазычева, заставить любой ценой учителя давать старшеклассникам тему: «Положительные и отрицательные черты моих родителей». Но в конечном счете побеждают не они, удовлетворенные, самодовольные, бессовестные. И дело тут прежде всего в том, что совесть, мучительное ощущение разлада между тем, что должно быть, и тем, что порой приходится делать, как и всякое творческое беспокойство, развивает человека, движет жизнь вперед.

Как раз скромные, совестливые люди оказываются у И. Меттера твердыми, бесстрашными. Именно Глазычев, а не «жестяной человек» Дуговец «берет» опасных преступников. Хотя статью о том, как потерянный во время войны ребенок много лет спустя обрел отца, пишет капитан Серебровский, но не он, а скромный майор Сазонов его нашел. Это естественно: люди совестливые

обладают полной человеческих чувств, полнотой жизни, и поэтому именно они делают больше других.

Книга И. Меттера, хоть она и составлена из разных произведений, представляет собой цельный, единый мир. Внешне этот мир неяркий, в нем много будничных подробностей и деталей. Но он освещен и согрет изнутри глубокой убежденностью писателя в правоте человеческой совести.

Ю. Айхенвальд.

★

ВИКТОР ГОЛЯВКИН. Рисунки на асфальте. Повесть. «Детская литература». Л. 1965. 94 стр.

Повесть В. Голявкина «Рисунки на асфальте» как бы продолжает вышедшую ранее его повесть «Мой добрый папа» — продолжает не сюжетно, а скорее нравственно, психологически. Герой новой повести учитель рисования Петр Петрович, как и «добрый папа», — искренний, душевный человек. Он входит в класс сразу же после войны в солдатской гимнастерке, в сапогах, с гвардейским значком и двумя орденами Красной Звезды на груди.

Война, семья, быт помешали Петру Петровичу испытать себя — есть у него талант или нет? И в этом грагедия учителя. Однако он не сетует на судьбу, а радуется искусству и борется за него. Он рассказывает детям о древнерусских художниках, которые никому при жизни не были известны и даже не подписывали свои произведения: «Какое имеет значение в конце концов, кем эта работа сделана?» То, что существует искусство — важно для каждого, то, что Петр Петрович никогда в жизни с искусством непосредственно, «на равных» не встретился, — это частность, хотя ему и очень обидно.

По-иному подходит к искусству двенадцатилетние школьники и юные художники Алька и Витька. Они ходят по городу, рисуют мелом на стенах палитры, а внутри пишут: «Витя! Алик! Рублев! Иванов! Тинторетто!..» Такое — на первый взгляд крикливое — самоуверженное есть, однако, не только петушиный задор молодости. Что ж, желание утвердить себя в жизни и творчестве наступает обычно много раньше реальной возможности это сделать. Но подобная преждевременность выглядит симпатичнее бескрылой инфантильности. Конечно, юные герои повести самоуверенны, наивны и многого не понимают, но их желание обогнать время, утвердить себя в нем, предъявить себе самые высокие, максимальные требования, их мечта придумать что-то совершенно новое — все это черты, вызывающие не снисходительную улыбку, а уважение и надежду.

И в формировании их будущего облика большая роль принадлежит учителю. Петр Петрович для Витьки и Алика — человек, с которым они не могут не считаться и которого не могут не уважать. Витя замечает, что Петр Петрович говорит с ними как с

равными. Когда Петр Петрович узнает, что не все ребята принесли на урок рисования краски, он искренне удивлен: «Я никогда не понимал таких людей, которые не любят краски... Посмотрите «Боярню Морозову!» Посмотрите эту картину — и вы будете приносить в класс краски...»

В. Голявкин сталкивает своих юных героев со сложными проблемами и даже с трагическими событиями человеческой жизни. Думаю, что так и должно поступать литератору, пишущему для детей, если он хочет участвовать в духовном руководстве детством; ведь жизнь, к сожалению, не оберегает детей от преждевременных страданий и горестей. И когда Петр Петрович умирает, Алику и Вите предстоит очень над многим задуматься, а вместе с ними и юным читателям этой книги.

В. Соловьев.

Ленинград.

★

А. ТАЛАНОВ. К. С. Станиславский. «Детская литература». М. 1965. 172 стр.

Передо мной — книга А. Таланова «К. С. Станиславский». Она обращена к детям среднего и старшего возраста. Вероятно, эту книгу прочтет молодежь, интересующаяся театром, может быть, мечтающая посвятить себя театральной профессии. Но в легкой и доступной форме книга касается вопроса серьезного и широкого. В последнее время обнаружилась тенденция не то чтобы отрицать деятельность Станиславского, а относиться к ней с унылой скукой. Что же произошло? Я часто слышу, как умные педагоги, внушая молодежи необходимость «системы», говорят убежденно, доказательно, но в их речах не хватает самого образа Станиславского, его безграничного обаяния, его «буйства» — словом, того, что может заразить, увлечь. А в разговоре об искусстве одна только убедительность, «научность» не вдохновляет.

Есть у Моцарта высказывание, которое звучит примерно так: у меня было плохое настроение и потому я писал красиво, прямо и серьезно; сегодня я в хорошем настроении и пишу я беспорядочно, криво и весело.

Вот этого «моцартовского» в современном образе Станиславского и нет. Его лишили поэзии и необычайности, а оставили то, что ему вовсе не свойственно — неподвижность, сухость, в решениях спектаклей — бытовизм, натурализм. Незнание его доходит до того, что молодые артисты часто искренне думают, что Станиславский не мог бы поставить публицистического спектакля, что включение зрительного зала в сценическое действие (например, выход играющего актера на сцену из зала) — великая новость, которую Станиславский никогда не пробовал, и т. д.

И вот появляется новая книга о Станиславском. Я ее раскрыла с опаской, боясь, что все в ней будет правильно и культурно, но — как это часто бывало раньше — далеко от живого Станиславского.

Читаю о самом начале пути... Рассказ о том, как семья собиралась в театр, как детям их мать в нарядном платье казалась красавицей, — правдив и нужен. Благодаря всей семейной обстановке до ребенка доходит ощущение торжественности события. В этом его кровное ощущение искусства, оно разовьется с годами, никогда не угаснет волнение, связанное со сценой, театром.

Слежу, как возникает новая черта в облике «героя» — неумолимая требовательность к себе прежде всего и ко всем своим соратникам.

Описывать спектакли «На дне», «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» — дело трудное Пожалуй, только в записках Юрьева возникают облики спектаклей с необычайной убедительностью. Здесь же автор и не мог задаваться такой профессиональной целью. Он просто мимоходом, ненавязчиво приводит слова Немировича-Данченко и Чехова о спектаклях Станиславского, слова меткие, помогающие представить себе образ великого актера и режиссера.

О «системе» в книге А. Таланова рассказано на конкретных примерах: это главы о постановке «Месяца в деревне», создании 1-й студии, репетициях «Бронепоезда» И это верный прием. Нельзя жертвовать увлекательностью чтения. Автор все время точно насаживает на крючок рыбку и тянет ее к себе. Крючок — это интерес, а рыбка — читатель. Во всяком случае читателю ясно, что «система» — это путь к свободе вдохновения и путь к самой широкой, победоносной фантазии, которой Станиславский сам был богат свыше меры.

Если б с театральной молодежью почаще разговаривали о Станиславском поэтическим языком, я думаю, она глубже проникла бы в его «систему», поняв, что есть вещи, которые не умирают, а развиваются. Таким языком и говорит о Станиславском автор этой книги.

С. Гиацинтова,

народная артистка СССР.

★

СТ. РАССАДИН. Обыкновенное чудо. Книга о сказках для театра. «Детская литература». М. 1964. 192 стр.

Если бы Ст. Рассадин просто рассказал о пьесах-сказках Т. Габбе, Е. Шварца и С. Маршака — уже это было бы любопытно и полезно. Но он стремился и осмыслить свой материал как жанровое явление.

Среди многих пьес-сказок, о которых пишет Рассадин, есть и целиком относящиеся к детской литературе (как, например, «Оловянные кольца» Т. Габбе и другие), есть и более сложные («Дракон» или «Тень» Е. Шварца). Но Ст. Рассадин рассматривает их в одном ряду: сказка, считает он, обращена к лучшему в человеке любого возраста, к его «детности» и «наивности», разница лишь в полноте восприятия. И критик здесь, пожалуй, прав: сколь ни различ-

ны советские театральные сказки, которые он анализирует, они достаточно значительны и глубоки, чтобы не раскладывать их по возрастным полкам, а исследовать как целостное жанровое явление.

Стремление понять, как много говорит сказка читателю и зрителю, позволило Ст. Рассадину сказать о значительных идеях, выраженных художником через самый, казалось бы, наивный сюжет. Все это потребовало внимательного комментирования проблематики произведений, выявления их нравственного и социального заряда. Таков анализ «Дракона», сказки мудрой, исследующей общественно-психологический механизм деспотизма, взаимозависимости, в которой находятся при нем власть и безгласная, покорная масса.

Этический и гражданский пафос критика выгодным образом обнаруживается в главе «Чудаки», где развернута романтическая концепция героя, противостоящего реакционной мешанской среде. Рядом с Ученым из «Тени» здесь становятся Гамлет и Чацкий. Внимание критика обращено на связь между человеческим содержанием героев и их поведением в жизни, мерой их участия в общественном и нравственном прогрессе.

Гуманистический смысл современной литературной сказки Ст. Рассадина выражает в полемическом определении: «Чудо живет в самом человеке». Этот этический знаменатель, по мнению критика, преобразует и жанровую природу сказки. У советских сказочников, пишет Ст. Рассадин, волшебство оказывается лишь средством (но средством первоклассным) для того, чтобы показать или сложные и глубокие перемены в душах героев, или самую суть того или иного героя. Но не слишком ли рациональным становится у Ст. Рассадина сказочное чудо? Приравняв волшебство в современной сказке к любой другой условной форме, критик вынужден «не заметить» эстетическую прелесть чуда, оригинальность и изящество фантастического сюжета. В конечном счете чрезмерный упор на «целесообразность» сказочного волшебства при явном невнимании к самой его природе оказывается в противоречии с самым существом книги Ст. Рассадина, пропагандирующей духовное богатство современной сказки, назначение которой — развить все подлинно человеческое в душе ребенка и взрослого.

Как видим, со Ст. Рассадинным порой хочется спорить, на него временами досадует, иногда жалеешь, что упущена важная тема (вовсе, скажем, не оценен юмор в современной сказке). Но книга критику удалась — живая, во многих местах ярко и остроумно написанная, полезная и для того, кто просто любит сказки Шварца, Маршака или Габбе, и для того, кто вслед за Ст. Рассадинным попытается понять законы, по которым живет этот интереснейший и вполне современный жанр.

А. Липелис

Пермь.



А. АНАСТАСЬЕВ. Советский театр сегодня. «Искусство». М. 1965. 108 стр.

Книжка А. Анастасьева «Советский театр сегодня» предназначена для массового читателя. Мы бы даже сказали: для самого массового, для тех, кого не столько интересуют проблемы театра как такового, проблемы драматургии, сколько волнует зрелище — таинственный момент, когда раздвигается занавес и актеры начинают представление. Мы теперь не очень-то любим говорить о чуде искусства, о магии сцены, — мы предпочитаем объяснять интерес к театру категориями более рациональными. А между тем первопричина тяготения к сценическому искусству как раз в необыкновенности происходящего. И нужна очень большая степень искусства, чтобы зрительское «как в жизни» прозвучало не со знаком минус, а со знаком плюс.

Конечно, вкусы у людей разные. Но почти для всех — тут исключения брать в расчет не приходится — безусловен лишь один критерий: настоящее искусство. Ну, а как быть, если к настоящему лишь приближаются, только ищут его, стремятся? Вот тут-то и очень важен совет компетентного человека, пристрастно, но не предвзято судящего о произведениях искусства. У А. Анастасьева как раз такая цель: помочь людям разобраться, ввести их в курс того, что делается в советском театре сегодня. Достигнута ли эта цель? Да, несомненно, хотя, на наш взгляд, автор говорит об этом иной раз чересчур спокойно. Эмоциональные характеристики понравившихся ему спектаклей несколько скуповаты, а полемика до крайности сдержанна. Впрочем, тут он, исходя из задач книги, может быть, и прав, особенно если прибавить, что в выводах своих автор объективен и точен. Глава «Разными дорогами» — наилучшее тому подтверждение.

Однако прежде чем обратиться к этой главе — последней (за ней идет лишь коротенькое заключение), — проследим те позиции, на которых стоит критик и о которых по преимуществу говорится в главе «Театр в нашей жизни». Что такое для него театр в первую очередь? Инструмент познания, орудие мысли или нечто вторичное, способное лишь образно запечатлеть сложившиеся жизненные формы? А Анастасьев говорит о нерасторжимом единстве познания и наслаждения, которые существуют в нашем восприятии искусства, интеллектуального познания и эстетической радости, которые должен дать нам театр, вызывающий на лучших своих спектаклях душевную активность зрителей, его «сопереживание».

Для А. Анастасьева театр современен не только по своим задачам — что очень существенно, — но и по своей природе. Тут как раз для него и для нас, читающих, происходит сближение двух притягательных начал сценического искусства. Его чуда — актер творит при нас, он воздействует на нас непосредственно, сегодня, сейчас, — и его продуманного интеллектуализма, которому по-прежнему или должны подчиниться все эле-

менты зрелища. Вот почему критик так требователен к образу современника на сцене (глава «Современник»): он меряется высокой меркой истинно человеческой ценности.

Так возникает еще одна тема, подробно разработанная в последней главе,— тема активного неприятия догматических, узких взглядов на искусство социалистического реализма. Речь идет как о способах выражения содержания, так и о самом содержании. Вопрос не ставится так: что лучше, что похвальнее — показать героя в обстановке завода или дома, в момент решения им производственной задачи или в сфере личных переживаний. Также не унифицируется одна какая-либо режиссерская школа, одна манера; значительным, важным и нужным признается все то, что служит действительно созданию характеров и жизненных обстоятельств. Доказательства этих мыслей и исторически прослежены — берется в пример практика Художественного театра, система Станиславского, — и подкреплены театральной реальностью наших дней: так возникает ощущение верности написанного, столь важное для читателей.

Н. Лордкипанидзе.

★

Р. БЕНЬЯШ. Без грима и в гриме. «Искусство». Л.—М. 1965. 223 стр.

«Говорят — и это уже стало общим местом, — что трагедия актера в его эфемерности, в том, что он не оставляет следов, и поэтому день его — вся жизнь его. Я думаю, что это также трагедия и театральный критика. Мне часто, особенно по мере того, как уходят годы, приходит в голову мысль о жалком жребии того самого дела, которое я делал всю свою жизнь». Так писал в конце своего литературного пути знаменитый театральный критик Александр Кугель. Искренняя и взволнованная горечь этих слов, казалось бы, опровергается тем фактом, что после смерти А. Кугеля разные сборники его статей издавались не раз, а в настоящее время готовится к выпуску новый сборник, который, вероятно, не будет последним. И тем не менее известная доля правды в этом есть, хотя объясняется это, как мне кажется, вовсе не фатальной текучестью и быстрым исчезновением форм искусства театра (исторические события тоже преходящи и текучи). сколько тем, что вечный спутник этого искусства — театральная критика, — несмотря на ряд блестящих исключений, в целом бегло и неточно отражала и фиксировала главное в искусстве театра — игру актера.

Все занимавшиеся хоть немного историей театра знают, как ничтожно мало в горах исписанной о театре бумаги занимает места описание того, что, собственно, и делает театр театром — актерской игры. Я перечитал буквально все написанное современниками о любимой и ставшей легендарной

актрисе Варваре Асенковой и нашел всего только несколько строчек о том, как она играла. Что Асенкова! Как мало осталось описаний игры Комнессаржевской — не бесконечных повторов того, что она была «факел» или «звезда», а скромных рассказов о том, как она входила на сцену, садилась, поворачивалась, держала паузу, опускала и поднимала ресницы. Ведь именно это индивидуально и неповторимо и является высшим выражением души актера и души образа.

Вот почему я всегда радуюсь, когда вижу новую книгу об искусстве актерской игры, да к тому же хорошо написанную, да к тому же усердно раскупаемую. Радуюсь тому, что есть еще на земле театралы-авторы и театралы-читатели. Ибо будет театралы — будет и театр.

Герои новой книги Р. Беньяш «Без грима и в гриме» — Н. Симонов, Ю. Толубеев, И. Смоктуновский, Е. Лебедев, А. Фрейдлих, С. Юрский. Р. Беньяш не только выразительно и точно описывает сценические образы, созданные ее любимыми актерами, но она умело вписывает их в судьбы актеров-художников, и судьбы эти удивительно разнообразны и не похожи одна на другую: они человечны и драматичны, ибо нет судьбы художника без своего внутреннего драматизма, без истории подъемов, падений, мечтаний и свершений. Биографии людей искусства — не укатанные горки, и это отлично сумела показать Р. Беньяш в главах книги, посвященных Н. Симонову, И. Смоктуновскому и молодой Алисе Фрейдлих. Эти три имени представляют собой три разных поколения в нашем театре, и если бесспорно лучшей является глава о Н. Симонове, то, может, потому, что им больше прожито и сделано. Эта глава — вершина книги. Не случайно именно в ней рассказ автора делается наиболее драматичным и — если это слово уместно — сюжетным. Видно, отсутствие «бесконфликтности» важно и в этом жанре. Есть в книге и другие главы, более гладкие и традиционные; мне они понравились меньше. Но, может, не стоит винить за них автора — просто судьбы героев этих глав еще не так значительны и наполнены, как судьба Николая Симонова. Когда их договорит время — будет что сказать и биографам.

Александр Гладков.

★

Г. КОГАН. Ферруччо Бузони. «Музыка». М. 1964. 192 стр.

В 1961 году в газете «Правда Украины» были опубликованы воспоминания А. Вербицкого. Со слов Марии Ильиничны Ульяновой автор сообщал, что Владимир Ильич в свое время был в концерте Бузони, игра которого, отличающаяся «какой-то возвышенностью и кипучей вдохновенностью», произвела на Ленина громадное впечатле-

ние. «Когда я слушал Бузони... — рассказывал Ильич, — я так разволновался, что, поверьте, в ту ночь плохо спал...» Одна эта фраза Владимира Ильича — не только драгоценный вклад в музыкальную Лениниану. Она со всей остротой и настойчивостью ставит вопрос о давно назревшей переоценке музыкального наследия эпохи рубежа и первой четверти нашего столетия, о решительном преодолении в музыковедении догматки и пережитков вульгарного социологизма. Книга Г. Когана — немаловажный шаг в этом направлении. Она написана с большой эрудицией, доскональным и точным знанием предмета.

Гениально одаренный, широко и разносторонне образованный музыкант, Бузони прежде всего был великим пианистом. Причем в историю музыки он вошел как пианист-еретик, пианист-бунтарь. Остро ощущая упадок и застой, грозившие искусству пианизма после смерти таких гигантов, как Ф. Лист и Антон Рубинштейн, Бузони восставал против выхолащенного, мертвого и ложного «академизма», все больше утверждавшегося на мировой эстраде, против господствовавших в его времена буржуазных салонных вкусов. Как это нередко бывало в истории, последователи — эпигоны великой школы пианизма XIX века, на словах клявшиеся в верности своим учителям, на деле извращали их традиции и заветы, тушили мятежное пламя их искусства. Бузони ратовал за восстановление истинных, передовых традиций исполнительства, за возрождение на концертной эстраде подлинной классики. Важной чертой книги Г. Когана является ее эмоциональность и, я бы сказал, «боевитость». А как важна и полезна подобная «боевитость» даже для серьезного научного исследования, можно судить хотя бы по сравнительному описанию в книге Когана интерпретации одного и того же произведения — листовской фантазии «Риголетто» — двумя исполнителями: известной пианисткой Есиновой и Бузони, описанию, которое по яркой образности само по себе, можно сказать, стоит на грани художественности.

Путь Бузони — как пути многих художников того времени — был сложен и противоречив. Г. Коган не упрощает, не высветляет нарочито образ Бузони. И это большое достоинство книги. Свой рассказ о Бузони автор доводит лишь до дня смерти мастера — 27 июля 1924 года. Значения Бузони для нынешнего мирового пианизма, его растущего в наши дни влияния Г. Коган почти не касается. Ничего не говорит он о Бузони и советском пианизме. Впрочем, «чтобы воспринять художественное произведение, — писал Бузони, — половину работы над ним должен проделать сам воспринимающий». Советские музыканты, прочитав книгу Г. Когана, сами проделают вторую половину работы и возьмут себе все лучшее и передовое, что есть в наследии замечательного итальянца.

М. Сокольский.

БЕРНАРД ШОУ. О музыке и музыкантах. Сборник статей. Перевод с английского. «Музыка». М. 1965. 340 стр.

Даже для весьма интеллигентного читателя эта книга является в некотором роде открытием. Из огромного музыкально-критического наследия Бернарда Шоу, составляющего в английских изданиях пять томов (около ста печатных листов), на русском языке не появлялось почти ничего. Целая жизнь одного из блестящих писателей в музыке, притом жизнь необычайно длинная, оставалась неизвестной нашему читателю. Новое издание, хоть и не более чем скромный подбор фрагментов, все же дает отчетливый портрет Шоу-музыканта и множество ценных свидетельств о музыкальной жизни Европы на протяжении более чем полувека. В книге, интересно составленной и прокомментированной С. Кондратьевым (общая редакция и вводная статья И. Бэлзы), содержатся высказывания прославленного драматурга о Моцарте, Бетховене, Берлиозе, Вагнере, Мендельсоне, Листе, Верди, Григе, о ряде крупных музыкантов-исполнителей, а также статьи «на разные темы». Но перечень тем не дает полного представления о содержании и непреходящей ценности статей Шоу: их главная особенность в том, что «специальное» всегда извлекается автором из захолустья профессиональной цеховщины и выносятся на простор больших вопросов искусства.

Шоу всю жизнь видел перед собою хмурые лица музыкантов «цеха», не признававших за ним права вторгаться в святая святых профессиональных оценок. Он писал об этих профессионалах: «Очевидно, в моем изложении им недоставало вавилонской клинописи, присущей тем писаниям о музыке, в которых приводятся ничкемые мелочные грамматические разборы музыкальных отрывков, сделанные из тщеславного желания поразить профанов, как поражает сельских жителей на ярмарке дрсированная свинья». Разумеется, Шоу не против специальной критики, и его статьи свидетельствуют об отличной музыкальной эрудиции писателя; он враг наукообразия, доктринерского культа «правильности» в искусстве, мнимопрофессиональной мелочной возни в критике — всего того, что служит удобным прибежищем для людей, абсолютно чуждых большому миру искусства.

Подобно известному ироническому наименованию своих ранних пьес Шоу мог бы назвать свои музыкальные статьи «неприятными рецензиями». Их независимость, прямота, саркастичность были почти скандальными для отечественной обывательщины.

Притворство, фальшь, самодовольная рутинность — вот обычные мнимо Шоу-критика. Он обращает внимание на «белоперчаточную эlegantность, пошловатую sentimentalность» даже у композитора с незыблемым академическим авторитетом. Ибо ведь «красивость не может сделать бессодержательную музыку интересной». Шоу возму-

щает профанация слова об искусстве, например, статьи, в которых Бетховену «рассочают те же банальные славословия, какими без разбора превозносят любого великого композитора».

У Шоу-критика можно поучиться «чувству времени». Неистовый защитник революционной ломки, он вместе с тем никогда не отдавал себя во власть одной-единственной новаторской концепции в искусстве: он понимал, что и прогресс на известной стадии порождает свою рутину, свой «левый» догматизм.

Как верно отмечает один из исследователей Шоу, его высказывания о музыке раскрывают и кое-что непривычное в облике великого социального сатирика — показывают человека с романтическими чувствами. Впечатление от статей Шоу подкрепляет и его собственное признание: «Когда мое критическое чувство обострено до предела, то уже мало назвать меня пристрастным: во мне бушует настоящая страсть, страсть к художественному совершенству, к возвышенной красоте звука, зрелища и действия». И это редчайшее соединение в одном лице скептически трезвого ума и пламенного художественного чувства делает статьи Шоу особенно поучительными.

Д. Житомирский.

★

ДМИТРИЙ ИВАНОВ. Это было на Балтике. Воспоминания матроса. Перевод с украинского. Литературная запись Павла Румянцева. Львов. Издательство «Каменир». 1935. 228 стр.

В 1912 году деревенского паренька призвали на флот и направили в Кронштадт. С этого момента начинает свои воспоминания бывший матрос линкора «Гангут» Д. И. Иванов.

Пережитое, видимо, крепко засело в памяти мемуариста. Об этом свидетельствуют и живые подробности труда и быта матросов, и описания их походов, и приметы времени, а особенно та до сих пор не изжитая горечь, с какой Иванов вспоминает об униженном положении простого матроса в царском флоте.

«Гангут» называли «плавучей тюрьмой», но и на других кораблях также непосильно трудились матросы, также изводили их тяжелой муштрой, издевались над ними, били, ругали и без всякой вины загоняли в карцер, ставили под ружье.

Иванов доводит свои воспоминания до 1917 года. Пять лет — сравнительно небольшой отрезок времени, но он вместил в себя первую мировую войну и канун Великого Октября. Это был период созревания революции, время приобщения трудящихся к большевистской правде, к ленинской мудрости. Иванов рассказывает, как происходило все это в среде матросов. Его воспоминания проникнуты духом борьбы, кульминационным пунктом которой было восстание на линкоре «Гангут» в

1915 году. Автор показывает большевистских вожаков матросов В. Ф. Полухина, Г. Ваганова, К. И. Пронского, И. П. Андрианова.

В предисловии к книге «Это было на Балтике» адмирал флота Советского Союза И. С. Исаков отмечает, что до сего времени об этом революционном событии не было опубликовано ни одного исследования. Поэтому он особо высоко оценивает как «редкое и убедительное свидетельство» воспоминания Иванова — живого участника восстания.

К сожалению, литературная запись сделана недостаточно квалифицированно. Особое возражение вызывают выспренность и газетные штампы, которые так неуместны в устах матросов того времени. Встречаются и просто неграмотные обороты речи вроде: «закоченные до икр брюки».

Е. Городецкая.

★

Л. П. ПЛЕШАКОВ. Вокруг света с «Зарей». «Мысль». М. 1965. 232 стр.

Даже «старые морские волки» не скрывают своего восхищения, встречаясь в открытом океане, за тысячи миль от земли, с маленьким парусным суденышком, смело сражающимся со стихией. Этот кораблик, водоизмещением немногим более пятисот тонн, хорошо знаком многим морякам. Единственная на нашей планете советская немагнитная шхуна «Заря» вот уже более десяти лет бороздит моря и океаны.

«Заря» построена из немагнитных материалов: дерева, бронзы, латуни, алюминия, специальных сплавов. Даже балласт на «Заре» немагнитный — восемьдесят пять тонн свинца.

При рождении этого необычного корабля ему выдали свидетельство, в котором указали: разрешено плавать не дальше ста миль от берега. Ну а как же с исследованиями в океане? Из материалов, которые использованы при создании «Зари», океанского лайнера не построить. Советские исследователи смело вышли на уникальной шхуне в океан. «Заря» уже шесть раз пересекла Атлантику. Исходила вдоль и поперек Индийский и Тихий океаны. Бросала якорь у островов Святой Елены и Пасхи. Того, что «Заря» повидала за десять лет, другим судам хватит на несколько поколений. Вот вам и «дубовая скорлупка».

Советская шхуна ведет уникальные наблюдения за магнитным полем Земли, исследует ионосферу и космические излучения в океанах. Результаты экспедиций на «Заре» уже широко используются для научных и практических целей, в первую очередь для морской и воздушной навигации и для изучения геологического строения Земли под водой. Исследования «Зари» помогут ученым лучше понять и объяснить процессы, происходящие в недрах нашей планеты и в околоземном пространстве.

В книге рассказывается только об одном научном рейсе «Зари». Но этот рейс продолжался почти год. Участники экспедиции побывали за это время в Японии и Канаде, в США и на островах Океании, в Мексике и Панаме, на Кубе и в Дании. Описание этих стран, рассказы о жизни их народов, о встречах в портах многих государств составляют значительную часть очерков. С особым увлечением автор рассказывает о далеких островах Фиджи, Самоа, Таити и Гавайях. Сюда редко заходят советские суда, поэтому их описания особенно интересны читателю.

С. Осокин.

★

А. ЭЙНШТЕЙН. Физика и реальность. Сборник статей. «Наука». М. 1965. 359 стр.

В небольшой книге Эйнштейна «Физика и реальность» собрано около сорока статей великого физика. Они составляют содержание трех разделов сборника. Первый из них посвящен общим вопросам теоретической физики, ее основам и методам. Сюда входят и статья «Физика и реальность», и его знаменитая оксфордская речь (1933), в которой говорится о роли фантазии в постижении закономерностей мира, о взаимоотношении опыта и мышления, и статьи о принципах научного исследования.

Другой раздел сборника — это статьи Эйнштейна о теории относительности. Сюда включена и его творческая автобиография (ведь биография выдающегося ученого — это в большой мере летопись его научных достижений, а основные даты жизни — счастливые дни выхода в свет его наиболее замечательных работ).

И наконец еще один раздел сборника — «Предшественники и современники». Если для понимания самых сложных статей двух предыдущих разделов нужно знать физику в объеме примерно двух курсов технических факультетов (хотя большинство этих статей не предусматривает у читателя и этих скромных специальных знаний), то этот раздел может быть понят всеми. В нем Эйнштейн предстает перед нами как тончайший психолог. Его статьи о современниках — выдающихся физиках Лоренце, Планке, Эренфесте, Марии Кюри, Ланжевене, Нернсте — великолепные миниатюры, чтение которых доставляет истинное наслаждение. Некоторые из этих статей — некрологи, при написании которых всегда имеется опасность впасть в некоторую крайность, создать идеализированный портрет ушедшего из жизни человека. Но высокий дар Эйнштейна-писателя не уводит его за эту опасную черту, и перед нами встает галерея живых, глубоко человеческих образов физиков XX века. «Моральные качества выдающейся личности, — пишет Эйнштейн в статье памяти Марии Кюри, — имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения. Последние зависят от величия характера в значительно большей степени, чем это принято считать».

Именно по этой причине Эйнштейн в своих статьях о современниках основное внимание уделяет их человеческому облику. Со страниц написанных им биографий встает и лицо их авторов — чуть печальное, иногда лукавое и всегда мудрое, доброжелательное.

В. Френкель.

Ленинград.

★

ВИКТОР ВАЙСКОПФ. Наука и удивительное. Как человек понимает природу. Перевод с английского. «Наука». М. 1965. 227 стр.

В наши дни все труднее становится сделать научные знания доступными для непосвященных. Профессор В. Вайскопф замечает, что для этого «слишком много надо объяснить прежде, чем дойдешь до существа дела». И тем не менее автору вполне удалось нарисовать доступную непосвященным физическую картину мира с ее главными элементами. Картины им открытые составляют величайшие достижения культуры нашего времени.

Основная часть книги посвящена физике, составляющей основу естественных наук, и в частности атомной физике. В. Вайскопф прежде всего устанавливает наше место во времени и пространстве. Он рассказывает о новых способах астрономических исследований, о размерах Земли, планет, галактик, всей Вселенной, приводит новейшие данные о возрасте космических тел, вещества, геологических пород. Время и пространство — это «подмости, на которых развиваются все события в нашем мире». К этим подмосткам обращается взор зрителей-читателей, перед которыми развертывается грандиозная феерия (даже если действие происходит в атомном ядре). По мере накопления знаний обнаруживаются связи между науками. Возникают универсальные законы, которым подчиняются все явления неживой и живой природы. Так автор от физики переходит к проблемам биологии и эволюции.

В. Вайскопф — физик-атомник, но он хорошо знает и биологию. В этом нет ничего удивительного. Возможность рассматривать любые объекты на основе одних и тех же законов привели к тому, что многие физики (в том числе и Нильс Бор) заинтересовались биологией.

Книга логически завершается изложением современного учения об эволюции. Это проблемы происхождения форм жизни, образования Земли, возникновения звезд и галактик. Венец эволюции — развитие сложнейшего образования — человеческого мозга.

В. Вайскопф доказывает, что только глубокое изучение природных явлений в их взаимосвязи и открытие универсальных законов макро- и микрокосмоса даст ключ к пониманию эволюции. Его небольшая работа представляет особый интерес для тех читателей, которые еще не имели случая познакомиться с миром большой науки. Все, о чем пишет автор, будь то открытия в об-

ласти элементарных частиц, квантовой теории или космогонии, охватывающей проблемы мироздания, доступно и могло бы показаться фантазией, если бы не опиралось на строгие результаты работы ученых в последние десятилетия.

Перевод книги В. Вайскопфа отлично выполнил один из известных наших физиков-теоретиков профессор А. С. Компанеев. Простые, ясные иллюстрации удачно дополняют текст.

Ф. Кедров.

★

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД СУДОМ. Воспитательное значение судебных процессов по уголовным делам. Сборник. Лениздат. 1965. 243 стр.

Этот сборник, как явствует из предпоследнего ему «Введения», — своеобразный итог научной конференции юристов в Ленинграде. Но в числе авторов не только юристы. Тут и партийный работник, ученый, педагог, инженер. Юридические проблемы в нашей стране давно переросли узкоцеховые рамки. В их обсуждении принимают участие люди многих других профессий — самые широкие круги советской общестственности.

Авторы не чурались исторических экскурсов и теоретических поисков, но суть сборника от его первой до последней страницы — сегодняшний день, его трудности, проблемы, пути и методы их разрешения.

Разумеется, статьи очень разные — и по содержанию, и по форме, и по языку. Статья прокурора Ленинграда С. Е. Соловьева, например, представляет собой должностной разбор служебных ошибок, допущенных за последнее время подчиненными ему прокурорами и следователями. В ином ключе — ряд других работ, помещенных в сборнике. Выразительно сказал о культуре судебного процесса и о судебной этике Н. А. Ермаков, председатель Ленинградского городского суда. В превосходной статье доктора юридических наук И. И. Карпеша проблема индивидуализации наказания получила новое, глубокое решение. По своему интересны «Суд товарищей» И. А. Иванова, «Основная задача судебной деятельности» профессора В. Н. Мясничева, «Вопросы психологии и педагогики в уголовном процессе» А. П. Бороданкова и некоторые другие. Есть, к сожалению, в книге и слабые статьи; они лишь повторяют давно известные советским юристам положения.

Думается, что следовало включить в сборник также статьи практических (низовых) работников — следователя, помощника прокурора, народного судьи... Возможно ли, чтобы конференция, проходившая под девизом содружества науки и практики, обошла огромный опыт рядовых работников прокуратуры и суда? В книге обойдены некоторые злободневные вопросы, волнующие

юристов-практиков, и, очевидно, произошло это именно потому, что в ней нет их статей.

И. Слуцкий.

★

ДЭЙЗИ БЕЙТС. Длинная тень Литл-Рока. Воспоминания. Перевод с английского. «Прогресс». М. 1965. 224 стр.

Дэйзи Бейтс — опытная журналистка и одна из лидеров освободительного движения негров в США. Негритянка, она с детских лет почувствовала, а затем и поняла, что значит родиться в Америке с черной или коричневой кожей. Она играла одну из главных ролей в тех событиях, которые сделали печально знаменитыми на весь мир и город Литл-Рок, и штат Арканзас, и всю Америку.

Далекая теперь осень 1957 года вновь оживает в книге Д. Бейтс. Она живо воссоздает атмосферу тех дней. Мы как бы видим этих девять мальчиков и девочек, осмелившихся осуществить право совместного обучения с белыми. Эти мужественные дети-борцы, старшему из которых едва минуло шестнадцать лет, прошли все «круги ада», созданного для них садистской фантазией и ненавистью взрослых расистов и их хулиганствующих отпрысков. Огромное уважение вызывают немногие смельчаки из числа белых, выступившие против расистского бунта — во имя справедливости или исполняя долг службы.

Фигура губернатора штата Фобуса, напавшего против десяти подростков чуть ли не всю национальную гвардию Арканзаса с примкнутыми штыками, фигуры рядовых фобусов вызывают отвращение и негодование.

Книга будит не только чувства, она заставляет задуматься, ибо ставит острые и злободневные вопросы. В расистских погромах в Литл-Роке действовало меньшинство во главе с состоятельными, видными гражданами города. Большинство жителей не участвовало в беспорядках, даже сочувствовало (в душе) борцам против сегрегации. Но не выступало. Но ведь и в Германии тридцатых годов молодчики в коричневых рубашках тоже составляли меньшинство. Так возникает тема ответственности народа и каждого гражданина в отдельности.

Бейтс впечатляюще воссоздает атмосферу подозрений, страха, ненависти, травмы, которую создали большие и маленькие фобусы в Литл-Роке. Бейтс знает, что Капитолий и заседающий там конгресс не олицетворяют свободу и справедливость. Но все же она верит в силу американской демократии, в справедливость президентов и судей, в благожелательность более просвещенной и гуманной «северной буржуазии». Бейтс не хочет или еще не может понять, что расизм в США вполне совместим с той «демократией», миф о которой она вдребезги разбивает своей же книгой.

«Длинная тень Литл-Рока» все еще лежит на Америке.
Саратов.

Б. Козенко.

В. РОДИОНОВ. Африка на стыке столетий. Лениздат. 1965. 226 стр.

Эта книга не об истории Африки; она рассказывает об африканском континенте наших дней, как бы оказавшемся на стыке столетий,— настолько поразительны здесь контрасты между прошлым, настоящим и будущим. Эти контрасты проявляются и во внешнем облике африканских городов, где современные небоскребы соседствуют с такими же примитивными хижинами, в каких африканцы жили сотни лет назад, и в гораздо более глубоких социальных преобразованиях, происходящих в странах континента.

Автор, а за ним и читатель не случайно начинают путешествие по Африке с лондонского Сити — штаб-квартиры английского

финансового капитала. Здесь конторы Ротшильда, Оппенгеймера и других бывших полновластных хозяев Африки, все еще продолжающих наживаться на несметных природных богатствах Черного Континента.

Книга ведет читателя по крупнейшей стране Африки Нигерии, приводит его на плантации какао в Гане и кофе — в Кении. При этом автор рассказывает об истории, политике и экономике молодых африканских государств.

Книга богато иллюстрирована, и об одной фотографии хочется упомянуть даже в этой короткой рецензии — настолько она символична. Воины из племени масаи с допотопными копьями и щитами в руках встречаются в пустыне своего собрата, который ведет тепловоз.

В. Молчанов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. Беллев. Ночные птицы. Памфлеты. 184 стр. Цена 23 к.
И. Верховцев. Возникновение ленинской партии. 1883—1903 гг. 112 стр. Цена 12 к.
М. Колодезнев. Навстречу великому повороту (1904 — февраль 1917 г.). 112 стр. Цена 12 к.
Коммунист. Настольный календарь-справочник. 1966. 336 стр. Цена 45 к.
Компас Колумбов. 152 стр. Цена 15 к.
Люди легенд. Выпуск первый. 656 стр. Цена 1 р. 16 к.
И. Масеев. Что такое эстетика. 104 стр. Цена 9 к.
М. Рольникайте. Я должна рассказать. 200 стр. Цена 26 к.
А. Терской. У сектантов. Путевые очерки. 152 стр. Цена 22 к.
В. Цветов. Увлечательный поиск. Репортаж о том, как была найдена в Токио запись беседы В. И. Ленина с японскими журналистами. 56 стр. Цена 6 к.

«МЫСЛЬ»

Л. Александровская. Гана. 149 стр. Цена 25 к.
И. Аршаруни. Ливия. 141 стр. Цена 24 к.
А. Ацаркин. Жизнь и борьба рабочей молодежи в России. 1900 г.— окт. 1917 г. 446 стр. Цена 1 р. 55 к.
Г. Гуревич. Мы из солнечной системы. 415 стр. Цена 79 к.
С. Дёриберг. Краткая история ГДР. 375 стр. Цена 1 р. 65 к.
П. Дроздов. Вехи многовековой дружбы. К истории советско-венгерских связей. 448 стр. Цена 1 р. 45 к.
С. Йилсетер. Волна за волной. Перевод со шведского. 143 стр. Цена 64 к.
Б. Макаров. Критика троцкизма по вопросам строительства социализма в СССР. 103 стр. Цена 24 к.
На суше и на море. 646 стр. Цена 1 р. 54 к.
С. Никитин. Структурные изменения в капиталистической экономике. 254 стр. Цена 1 р.
В. Норруд. Один в джунглях. Перевод с английского. 190 стр. Цена 55 к.
Первый Интернационал. Часть 2. 1870—1876. 632 стр. Цена 2 р. 30 к.
Н. Решетников. Клерикализм. 446 стр. Цена 1 р. 51 к.
Г. Теряев. Предшественники научного коммунизма. Утопический социализм. 87 стр. Цена 11 к.
Р. Тонконог. Пути повышения рентабельности молочного животноводства в совхозах. 67 стр. Цена 8 к.
Д. Шульц. Моя жизнь среди индейцев. 359 стр. Цена 90 к.
Экономические законы, планирование, эффективность производства. 94 стр. Цена 14 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Абчук. Страницы прошлого. Роман, повесть и рассказы. Перевод с еврейского. 200 стр. Цена 39 к.
Н. Атаров. Запахи земли. Рассказы и повести. 179 стр. Цена 63 к.

Г. Бакланов. Июль 41 года. Роман. 268 стр. Цена 37 к.
И. Бернштейн. Литература социалистической Чехословакии. 248 стр. Цена 65 к.
В. Большак. Обида. Роман. Перевод с украинского. 388 стр. Цена 71 к.
Г. Велле. Антуан и Жаннет. Новеллы. 268 стр. Цена 54 к.
Е. Винокуров. Характеры. Стихи. 120 стр. Цена 17 к.
Д. Вишневский. Клочок земли. Повести. Перевод с украинского. 352 стр. Цена 66 к.
О. Влызьмо. Избранные стихи. Перевод с украинского. 116 стр. Цена 21 к.
А. Гитович. Зимние послания друзьям. Стихи. 164 стр. Цена 20 к.
День поэзии. 1965. Москва. 280 стр. Цена 1 р. 3 к.
Л. Дмитрико. Планета в теплых ладонях. Кн. I—III. Роман-хроника. Перевод с украинского. 580 стр. Цена 1 р. 18 к.
Н. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. 503 стр. Цена 93 к.
Р. Казанова. Пятницы. Стихи. 100 стр. Цена 17 к.
Я. Качура. Ольга. Роман. Перевод с украинского. 248 стр. Цена 46 к.
А. Кривциний. Ночь и рассвет. Очерки. 456 стр. Цена 69 к.
А. Крон. Дом и корабль. Роман. 564 стр. Цена 96 к.
В. Курочкин. Наденька из Апалева. Повести. 348 стр. Цена 53 к.
В. Кучер. Две жемчужные нити. Роман. Перевод с украинского. 298 стр. Цена 55 к.
В. Ланина. Поэзия строгой любви. О лирике Ярослава Смелякова. 192 стр. Цена 40 к.
Ю. Либединский. Об уважении к литературе. Статьи, рецензии, воспоминания. 328 стр. Цена 79 к.
М. Лисянский. Дивный город. Стихи. 144 стр. Цена 25 к.
М. Максимов. Голубые огни. Стихи и поэма. 124 стр. Цена 19 к.
И. Муратов. Метаморфозы. Стихи. Поэмы. Перевод с украинского. 120 стр. Цена 20 к.
Л. Озеров. Дороги новый поворот. Стихи. 176 стр. Цена 24 к.
А. Прокофьев. Чудесная тревога. Стихи. 160 стр. Цена 20 к.
Г. Регистан. Зрелость. Стихи и поэмы. 84 стр. Цена 21 к.
А. Рыбанов. Лето в Сосняках. Роман. 176 стр. Цена 29 к.
В. Солоухин. С лирических позиций. 188 стр. Цена 40 к.
Р. Стийенский. Следы на песке. Стихи. Перевод с сербохорватского. 140 стр. Цена 23 к.
А. Хорунжий. Город над нами. Повесть. Перевод с украинского. 200 стр. Цена 44 к.
М. Цагараев. Осетинская быль. Повести и рассказы. Перевод с осетинского. 400 стр. Цена 68 к.
Ю. Шамшурич. Человек идет по Северу. Рассказы. Повесть. 400 стр. Цена 54 к.
М. Шехтер. Удивление. Стихи. 192 стр. Цена 19 к.
В. Шукшин. Любавины. Роман. 340 стр. Цена 67 к.
Ю. Яковлев. Зимняя радуга. Стихи. 96 стр. Цена 17 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Хорхе Абалос. Шунко. Повесть. Перевод с испанского. 152 стр. Цена 33 к.

Е. Анджеевский. Пепел и алмаз. Роман. Перевод с польского. 296 стр. Цена 50 к.

Э. Базен. Семья Резо. Роман в 2-х книгах. Перевод с французского. 399 стр. Цена 1 р. 8 к.

Л. Баррето. Записки архивариуса. Роман. Перевод с португальского. 184 стр. Цена 27 к.

А. Бруштейн. Дорога уходит в даль... В трех книгах. Книга первая и вторая. 496 стр. Цена 96 к. Книга третья. 304 стр. Цена 65 к.

И. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том первый. Вступительная статья А. Твардовского. 596 стр. Цена 90 к.

Б. Гарт. Гэбриель Конрой. Роман. Перевод с английского. 480 стр. Цена 83 к.

О. Гончар. Тронка. Роман в новеллах. Перевод с украинского. 344 стр. Цена 73 к.

Г. Гуновский. Пушкин и русские романтики. 356 стр. Цена 92 к.

Н. Елина. Данте. Критико-биографический очерк. 200 стр. Цена 54 к.

С. Емельяников. «Ругон-Маккарны» Э. Золя. 136 стр. Цена 20 к.

Е. Журбина. Искусство фельетона. 288 стр. Цена 60 к.

А. Зегерс. Человек и его имя. Повести и рассказы. Перевод с немецкого. 332 стр. Цена 67 к.

Жор Йокан. Золотой человек. Роман. Перевод с венгерского. 592 стр. Цена 96 к.

М. Краец. Я их любил. Повести и рассказы. Перевод с словенского. 280 стр. Цена 58 к.

Л. Мештергази. Свидетельство. Роман. Перевод с венгерского. 592 стр. Цена 1 р. 31 к.

Д. Молдавский. Николай Асеев. 152 стр. Цена 27 к.

Мы из XX века. Стихи друзей — поэтов Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. 320 стр. Цена 58 к.

В. Нефф. Браки по расчету. Роман. Перевод с чешского. 384 стр. Цена 78 к.

К. Нозый. Пламя и ветер. Роман. Перевод с чешского. 575 стр. Цена 1 р. 8 к.

Л. Паэгле. Рассказы. Перевод с латышского. 288 стр. Цена 43 к.

В. Рейман. Сестра и братья. Повесть. Перевод с немецкого. 183 стр. Цена 40 к.

А. Смирнов. Из истории западноевропейской литературы. 368 стр. Цена 94 к.

Н. Снетюва. «Дон Кихот» Сервантеса. 160 стр. Цена 22 к.

М. Старницкий. Стихи. Перевод с украинского. 184 стр. Цена 14 к.

Ю. Федьнович. Любовь — погибель. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 214 стр. Цена 27 к.

Б. Чопич. Случай из жизни Николеттины Бурсача. Перевод с сербохорватского. 184 стр. Цена 37 к.

Т. Шторм. Новеллы. Перевод с немецкого. Том I. 520 стр. Цена 68 к. Том II. 568 стр. Цена 72 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

П. Александровский, А. Егоров. Партизан Фриц. 160 стр. Цена 18 к.

С. Алексеев. Удивительный день. Рассказы. 144 стр. Цена 16 к.

А. Аленов, В. Андреев. Концерн шпионажа и диверсий. 336 стр. Цена 74 к.

Ф. Арский. В стране мифов. 184 стр. Цена 30 к.

В. Белькович, С. Клейнберг, А. Яблоков. Загадка океана. 176 стр. Цена 42 к.

Г. Богоявленский, Н. Смирнова, И. Юнчев. Идут любовознательные. 160 стр. Цена 35 к.

Р. Гамзатов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

Г. Граубин. Чем пахнут ветры. Стихи. 144 стр. Цена 41 к.

В. Дагуров. Солнечный ветер. Стихи. 88 стр. Цена 12 к.

В. Крупин. Карлики рождают гигантов. 200 стр. Цена 46 к.

И. Лаврецкий. Миранда. 272 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 58 к.

А. Луначарский. Силуэты. 544 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 98 к.

С. Мартынов. Первые залпы. Документальная повесть. 128 стр. Цена 15 к.

Г. Немеров. Игра на своем поле. Роман. Перевод с английского. 368 стр. Цена 46 к.

Р. Рыскулов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

Содружество. Сборник стихов. 288 стр. Цена 54 к.

К. Станюкович. По следам удивительной загадки (Из дневника экспедиции). 112 стр. Цена 17 к.

Е. Шатъко. Кто ждет тебя? Повесть и рассказы. 240 стр. Цена 50 к.

Е. Шерстобитов. Акваланги на дне. Приключенческая повесть. 192 стр. Цена 44 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Арго. Восторги и вдохновения. Книга примеров. 78 стр. Цена 36 к.

Б. Гришин. Невидимки служат человеку. 143 стр. Цена 31 к.

С. Жемайтис. Зеленая ракета. Рассказы о старшине Иванове и сержанте Ложкине. 199 стр. Цена 40 к.

Е. Мар. Важный груз. Рассказы о В. И. Ленине. 47 стр. Цена 14 к.

А. Пришелец. Охাপка сена. Стихи. 63 стр. Цена 9 к.

Я. Раннап. Юхан Салу и его друзья. Рассказы. Перевод с эстонского. 112 стр. Цена 24 к.

Р. Сеф. Федюня Левкин в Санкт-Петербурге. Из рассказов о 9 Января. 64 стр. Цена 7 к.

А. Тверской. Турецкий марш. Повесть. 224 стр. Цена 46 к.

О. Хавкин. Нилка. Повесть. 128 стр. Цена 32 к.

А. Шалимов. Когда молчат экраны. Научно-фантастические повести и рассказы. 205 стр. Цена 56 к.

А. Шварц. Незримый поиск. 223 стр. Цена 58 к.

И. Юргелевич. Чужой. Повесть. Перевод с польского. 240 стр. Цена 43 к.

«НАУКА»

Во имя дружбы с народом Кореи. Воспоминания и статьи. 232 стр. Цена 1 р. 7 к.

Германский империализм и милитаризм. Сборник. 362 стр. Цена 1 р. 67 к.

Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». Творческие рукописи. 519 стр. Цена 2 р. 40 к.

Древнерусское государство и его международное значение. 476 стр. Цена 2 р. 15 к.

Из творческого наследия советских писателей (Литературное наследство, т. 74). 742 стр. Цена 3 р. 50 к.

Б. Итенберг. Движение революционного народничества. Народнические кружки и «хождение в народ» в 70-х годах XIX в. 443 стр. Цена 1 р. 65 к.

Ю. Лимонов, В. Мавродин, В. Панеях. Пугачев и его сподвижники. 140 стр. Цена 56 к.

Г. Линде, Э. Бретшнейдер. До прихода белого человека. Африка открывает свое прошлое. Перевод с немецкого. 263 стр. Цена 78 к.

Логическая структура научного знания. Сборник статей. 350 стр. Цена 1 р. 29 к.

И. Майский. Воспоминания советского посла. Война 1939—1943. 407 стр. Цена 1 р. 75 к.

Г. Миронов. Поэт нетерпеливого созидания. Н. Г. Гарин-Михайловский. Жизнь. Творчество. Общественная деятельность. 159 стр. Цена 25 к.

А. Образцова. Драматургический метод Бернарда Шоу. 315 стр. Цена 2 р. 5 к.

П. Преображенский. В мире античных идей и образов. 394 стр. Цена 1 р. 68 к.

Б. Розенфельд, А. Юшкевич. Омар Хайям. 191 стр. Цена 48 к.

Г. Славин. Освободительная война в Югославии. 1941—1945 гг. 152 стр. Цена 48 к.

Современные литературные языки стран Азии. Сборник статей. 207 стр. Цена 84 к.

Современные проблемы реализма и модернизм. Сборник статей. 615 стр. Цена 1 р. 73 к.

Х. Танер. Без одной минуты двенадцать. Рассказы. Перевод с турецкого. 192 стр. Цена 48 к.

Хозяйственный расчет в молхозах и совхозах. 410 стр. Цена 1 р. 50 к.

Чхандогья упанишада. Перевод с санскрита. 256 стр. Цена 1 р.

М. Шахнович. Современная мистика в свете науки. 207 стр. Цена 40 к.

Шекспир и русская культура. 823 стр. Цена 2 р. 10 к.

Что случилось в полнолуние. Новеллы бирманских писателей. 94 стр. Цена 22 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Есенин. Стихотворения. 800 стр. Цена 1 р. 7 к.

Д. Жуков. Переводчик, историк, поэт? Слово тебе, машина! 208 стр. Цена 45 к.

В. Солоухин. Славянская тетрадь. Избранные этюды. 152 стр. Цена 20 к.

Ф. Хусни. Год тридцатый. Роман. Перевод с татарского. 368 стр. Цена 75 к.

А. Черкасов. Ласточка. Повести. 384 стр. Цена 77 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ф. Артемьев. Трудовые права медицинских работников. 144 стр. Цена 17 к.

Н. Крылова. Центральные государственные органы Великобритании. 232 стр. Цена 78 к.

Г. Кригер. Борьба с хищениями социалистического имущества. 328 стр. Цена 1 р. 20 к.

Б. Никифоров. Тебя охраняет закон. 112 стр. Цена 13 к.

А. Ромашов. Кривые тропы. 80 стр. Цена 9 к.

Судебные речи советских обвинителей. 272 стр. Цена 63 к.

ЧУВАШКНИГОИЗДАТ (ЧЕБОКСАРЫ)

Б. Бассаргин. Яков Ухсай. Критико-биографический очерк. 115 стр. Цена 34 к.

П. Хузангай. Великое сердце. Поэмы. Перевод с чувашского. 35 стр. Цена 8 к.

ЯКУТКНИГОИЗДАТ

С. Данилов. Двое в тундре. Рассказы. Перевод с якутского. 295 стр. Цена 55 к.

А. Сыромятнинова. Подруги. Повесть и рассказы. Перевод с якутского. 196 стр. Цена 46 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 9/XII 1965 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/I 1966 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
А 10002. Зак. 3093. Тираж 150 000

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636